

ISSN 0130-7673

НОВЫЙ МИР

НОВЫЙ
МИР

2000

5

2000

**В 2000 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ
90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А. Т. ТВАРДОВСКОГО.**

**В 2000 ГОДУ «НОВЫЙ МИР» ПРЕДПОЛАГАЕТ
ОПУБЛИКОВАТЬ:**

- АНАТОЛИЙ АЗОЛЬСКИЙ. Монахи (роман);
БОРИС АКУНИН. Новый роман;
ВИКТОР АСТАФЬЕВ. Приключения Спирьки (повесть);
АНДРЕЙ БИТОВ. Общество охраны героев (повесть);
РАВИЛЬ БУХАРАЕВ. Гость случайный (роман-эссе);
АЛЕКСЕЙ ВАРЛАМОВ. Купавна (повесть);
СВЕТЛАНА ВАСИЛЕНКО. Мария из Магдалы (повесть);
АНДРЕЙ ВОЛОС. Новая повесть;
РЕНАТА ГАЛЬЦЕВА. Русский узел и Ален Безансон (актуальные заметки);
ВЛАДИМИР ГЛОЦЕР. Я помню;
ИГОРЬ ДЕДКОВ. Дневники 1980-х годов (из наследия);
БОРИС ЕВСЕЕВ. Отреченные гимны (роман);
БОРИС ЕКИМОВ. Рассказы и очерки;
ВАЛЕРИЙ ЗАЛОТУХА. Свечка (роман);
ЮРИЙ КАГРАМАНОВ. Культурно-политические статьи для рубрики «По ходу дела»;
ЕЛЕНА КАСАТКИНА. О современном английском романе;
ТАТЬЯНА КАСАТКИНА. Литература после конца времен (статья);
МИХАИЛ КУРАЕВ. Новая повесть;
ОЛЕГ ЛАРИН. Пятиречь (сцены из захолустной жизни);
СТАНИСЛАВ ЛЕМ. Эссе из книги «Мегабайтовая бомба» (перевод с польского);
БОРИС ЛЮБИМОВ. Очерк современной сцены и зрительских реакций;
ВЛАДИМИР МАКАНИН. Новая повесть;
АЛЕКСАНДР МЕЛИХОВ. Нам целый мир чужбина (роман);
АНДРЕЙ НЕМЗЕР. Империя от Павла I до Николая I в зеркале новейшей историографии;

(См. на обороте)

ВЛ. НОВИКОВ. Филологическая поэзия;
**ЕЛЕНА ОЗНОБКИНА. Тюрьма или ГУЛАГ (современная фило-
софия наказания);**
ЮРИЙ ПЕТКЕВИЧ. Заморозки (повесть);
ВАЛЕРИЙ ПОПОВ. Подарок (сказка о новом);
ВЯЧЕСЛАВ ПЬЕЦУХ. Летом в деревне (рассказы);
**ИРИНА РОДНЯНСКАЯ. «Гамбургский счет»: возможность и
действительность;**
**МАРК РОЗОВСКИЙ. Театральный человек (документальное по-
вестование);**
ОЛЬГА СЛАВНИКОВА. Период (роман);
АЛЕКСЕЙ СЛАПОВСКИЙ. А в это время... (роман);
А. СОЛЖЕНИЦЫН. Крохотки;
РОМАН СОЛНЦЕВ. Человек с печальными глазами (повесть);
**ИРИНА СУРАТ. Пушкинский юбилей как заклинание истории
(опыт подведения итогов);**
МИХАИЛ ТАРКОВСКИЙ. Ложка супа (повесть);
ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ. Путешествие с... (роман);
**ТАТЬЯНА ЧЕРЕДНИЧЕНКО. Музыка о перспективах для Рос-
сии и мира (три композиторских портрета);**
**МАРИЭТТА ЧУДАКОВА. Людская молвь и конский топ (из за-
писных книжек 1950 — 1990-х годов);**
ГАЛИНА ЩЕРБАКОВА. Прощение о Еве (повесть);

а также романы, повести, рассказы **ВЛАДИМИРА БОГОМОЛОВА, МИХАИЛА БУТОВА, НИНЫ ГОРЛАНОВОЙ, ДАНИИЛА ГРАНИНА, СЕРГЕЯ ЗАЛЫГИНА, ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА, АНАТОЛИЯ КИМА, ИРИНЫ ПОВОЛОЦКОЙ, АНТОНА УТКИНА;** стихи **МАКСИМА АМЕЛИНА, ТАТЬЯНЫ БЕК, ДМИТРИЯ БЫКОВА, ЕВГЕНИЯ КАРАСЕВА, ВЛАДИМИРА КОРНИЛОВА, ЮРИЯ КУБЛАНОВСКОГО, МАРИНЫ КУДИМОВОЙ, АЛЕКСАНДРА КУШНЕРА, СЕМЕНА ЛИПКИНА, ИННЫ ЛИСНЯНСКОЙ, ОЛЕСИ НИКОЛАЕВОЙ, ОЛЬГИ ПОСТНИКОВОЙ, ЕВГЕНИЯ РЕЙНА, МИХАИЛА СИНЕЛЬНИКОВА;** статьи, очерки, эссе **СЕРГЕЯ АВЕРИНЦЕВА, СЕРГЕЯ БОЧАРОВА, НИКИТЫ ЕЛИСЕЕВА, АЛЛЫ МАРЧЕНКО, ВАЛЕНТИНА НЕПОМНЯЩЕГО, МАРКА ФЕЙГИНА** и других авторов.

NEW!

Частные лица и организации, находящиеся в любой точке земного шара за пределами Российской Федерации и стран СНГ, могут подписаться на журнал «НОВЫЙ МИР» без посредников, круглый год, с любого месяца, на любой срок и на любое количество экземпляров.

СПОСОБ ЗАКАЗА: по факсу, по электронной почте или по Заявке (см. ниже).

СПОСОБ ОПЛАТЫ: 100 % предоплаты на счет АОЗТ «Редакция журнала „Новый мир“» № 40702840938040101095 в Московском банке Сбербанка г. Москвы, Российская Федерация, Тверское отделение 7982, корп. счет 30301840638000603804.

Tverskoe OSB 7982 MB SBERBANK PF, Moscow, Russia, ACC. 30301840638000603804, ACC. Beneficiary: 40702840938040101095.

Заявка принимается к исполнению с момента поступления денег на счет редакции. О возможности купить номера журнала за прошлые годы можно узнать в редакции.

СТОИМОСТЬ одного экземпляра в 1999 и 2000 годах: \$ 14,

СТОИМОСТЬ годового комплекта: \$ 168.

АОЗТ «Редакция журнала „Новый мир“» обязуется: отправлять заказчикам журналы в экспортном исполнении (белой обложке) по почте бандеролью в течение 5 дней с момента выхода тиража за счет редакции, обменивать бракованные экземпляры или повторно высылать не полученные заказчиком экземпляры за счет редакции, немедленно информировать заказчиков о всех затрагивающих их изменениях (объем журнала, периодичность, цена и проч.).

С момента передачи оплаченного тиража журнала на Московский почтамт обязательства продавца считаются выполненными и право собственности переходит к подписчику.

Адрес редакции: Россия, 103806, ГСП, Москва, К-6,
Малый Путинковский переулок, 1/2, Редакция журнала «Новый мир».
Телефон/факс: (095) 200-08-29, (095) 209-62-13.
E-mail: nmir@aha.ru

Заявка на подписку на журнал «НОВЫЙ МИР»

(вырезать или ксерокопировать Заявку,
заполнить и отправить в редакцию по почте или по факсу либо
отправить все требуемые в Заявке сведения по факсу или по электронной почте)

Я (фамилия, имя или название организации) _____

прошу подписать меня на ежемесячный журнал «Новый мир»
с _____ (месяц, год) на _____ месяцев.

Количество экземпляров _____

Стоимость заказа _____ (число месяцев x число экземпляров x \$ 14).

Дата оплаты (заявка заполняется и отправляется в редакцию после оплаты) _____

Контактный телефон (факс, e-mail) _____

Адрес для отправки журнала (почтовый индекс, страна, город, улица, дом, имя и фамилия получателя) _____

Подпись заказчика и дата заполнения Заявки _____

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Подписной индекс «Нового мира» — 70636 в зеленом Объединенном каталоге «Подписка — 2000» (том 1). Спрашивайте этот каталог во всех отделениях связи. Каталожная стоимость подписки на второе полугодие 2000 года — 210 рублей плюс стоимость доставки.

Те из вас, кто имеет возможность приходить за журналом в редакцию «Нового мира», могут оформить *льготную* подписку на вторую половину 2000 года по адресу: Малый Путинковский переулок, 1/2 (м. «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская»), в понедельник, вторник, среду, четверг с 9 до 17 часов. Стоимость льготной подписки — 198 рублей. Для членов творческих союзов, преподавателей высших и средних учебных заведений, студентов вузов, постоянных подписчиков, пенсионеров и инвалидов предусмотрены дополнительные льготы.

В редакции можно приобрести отдельные номера «Нового мира». Журналы выдаются подписчикам в понедельник, вторник, среду, четверг с 9 до 18 часов, в последнюю субботу месяца — с 10 до 13 часов. (Справки по тел. 200-08-29.)

Спрашивайте наш журнал в московских книжных магазинах «Ad marginem» (1-й Новокузнецкий переулок, 5/7), «Библио-глобус» (Мясницкая, 6), «Гилея» (Большая Садовая, 4), «Графоман» (ул. Бахрушина, 28), «Летний сад» (Большая Никитская, 46), «Мир печати» (2-я Тверская-Ямская, 54), «Эйдос» (Чистый переулок, 6) и в киосках «Мосинформ».

Распространением журнала «Новый мир» за рубежом занимаются:

германская фирма «Кубон унд Загнер» (Kubon & Sagner. D-80328 München Germany. Tel. (089) 54-218-130. Telex: 5216711 kusa d. Fax (089) 54-218-218; Электронная почта: postmaster@kubon-sagner.de Адрес в Сети: <http://www.kubon-sagner.de/ksinfo>)

американская фирма «Ист Вью Пабליкейшенз» (East View Publications, Inc. 3020 Harbor Lane North Minneapolis, MN 55447 USA. Tel. (612) 550-0961. Fax (612) 559-2931. В Москве тел. (095) 318-08-81, факс (095) 318-09-37).

Уважаемые зарубежные подписчики!

Экземпляры журнала, предназначенные для распространения за пределами России и стран СНГ,

выходят в обложке белого цвета с надписью «Novy Mir».

Приобретая «Новый мир» в голубой обложке, вы отдаете свои деньги фирмам, не связанным официальным контрактом с журналом, что наносит редакции финансовый ущерб.

Вы очень поможете «Новому миру», оформляя подписку через наших официальных распространителей (см. стр. 4) или через редакцию журнала (см. стр. 3).

НОВОЛЫГИ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г.

№ 5 (901)

Май, 2000 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ЮРИЙ БУЙДА — У кошки девять смертей. Повествование в рас- казах	7
МАРИЯ ВАТУТИНА — От нас пойдет Четвертый Рим, стихи	45
ВЛАДИМИР ТУЧКОВ — Русская коллекция	51
ВЛАДИМИР САЛИМОН — Небо в алмазах, стихи	69
МАРИНА ПАЛЕЙ — Long Distance, или Славянский акцент. Сценар- ные имитации. Окончание	74
ДМИТРИЙ БЫКОВ — Рыцарь отказа, стихи	104
МИХАИЛ АРДОВ (прогоиерей) — Вокруг Ордынки. Портреты. Но- вые главы	110

ФИЛОСОФИЯ. ИСТОРИЯ. ПОЛИТИКА

ВЛАДИМИР МАУ — Интеллигенция, история и революция. Очерки жизни современной России	140
---	-----

ПО ХОДУ ДЕЛА

ЮРИЙ КАГРАМАНОВ — Многоликий джинн	168
------------------------------------	-----

ПОЛЕМИКА

АЛЕНА ЗЛОБИНА — Кто я? К вопросу о социальной самоидентифи- кации бывшего интеллигента	174
---	-----

ПРЕМИЯ

А. СОЛЖЕНИЦЫН — Слово при вручении премии Солженицына Ва- лентину Распутину 4 мая 2000	186
---	-----

РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

Мария Ремизова. Вниз по лестнице, ведущей вниз	190
Дмитрий Быков. Огонь блед	193
Давид Фельдман. Проблема реального комментария: почти правда, почти вся, далее — по тексту...	197
Павел Басинский. Основы искусства жить	201

(См. на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

Евгения Свитнева. — Лариса Миллер. Между облаком и ямой	204
Александр Касымов. — Александр Левин. Кудаблин-тудаблин. Стихи	205
Григорий Померанц. — Марианна Вехова. Бумажные маки. Повесть о детстве	206
Евг. Иванова. — Евгений Голлербах. К незримому граду. Религиозно-философская группа «Путь» (1910 — 1919) в поисках новой русской идентичности	209
Сергей Шаргунов. — Агата Кристи. Автобиография	211

ЗАРУБЕЖНАЯ КНИГА О РОССИИ

МАРИНА АДАМОВИЧ — Лики и личины	212
---------------------------------	-----

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

АНДРЕЙ БЫСТРИЦКИЙ — Общество вне себя. Россия: от принципа удовольствия к принципу реальности	216
ИГОРЬ ЕФИМОВ — Солженицын читает Бродского	221
АДЕЛЬ ВЕЙС — «У меня захватило дух от совпадения...»	226

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ПОЛКА КИРИЛЛА КОБРИНА	228
-----------------------	-----

БИБЛИОГРАФИЯ

Книги (составитель Сергей Костырко)	235
Периодика (составитель Андрей Василевский)	238
Сетевая литература (составитель Сергей Костырко)	249
SUMMARY	256

**ПОЗДРАВЛЯЕМ
ВАЛЕНТИНА ГРИГОРЬЕВИЧА РАСПУТИНА
С ПРИСУЖДЕНИЕМ ЕМУ
ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИ АЛЕКСАНДРА СОЛЖЕНИЦЫНА!**

Речь Александра Солженицына при вручении премии
см. в настоящем номере журнала.

Из общего тиража каждого номера институт «Открытое общество» выкупает и безвозмездно направляет в библиотеки России и ряда стран СНГ 3850 экземпляров журнала «Новый мир».

Из общего тиража каждого номера Благотворительный Резервный Фонд выкупает с благотворительными целями 1500 экземпляров журнала «Новый мир» для их последующего бесплатного распространения среди неимущих читателей, а также для провинциальных библиотек.

ЮРИЙ БУЙДА

*

У КОШКИ ДЕВЯТЬ СМЕРТЕЙ

Повествование в рассказах

СЕМЕРКА

0 Семерка! Настоящее — почтовое — имя ее ничего не скажет сердцу. В бывшей Восточной Пруссии, откуда еще в сорок восьмом депортировали последнего коренного немца и которую быстро, наскоро заселили жителями из областей Новгородской и Псковской, Московской и Ярославской, Калининской-Тверской и Смоленской, а также из соседней Белоруссии, названия же улицам и поселкам давали впопыхах, вот и случились десятки Вишневок и Некрасовок, немецкий Таплаккен переименовали в Таплаки, Рамау в Ровное, а вкусное народное название центральной площади областного центра — площадь Трех Маршалов (долго на ней стояли огромные портреты Василевского, Баграмяна и Жукова) заменили пресным именем вождя русской революции.

Но ведь мы о Семерке! О Семерке!

Если не считать углового дома с книжным магазином, равно принадлежавшего Семерке и Липовой, то начиналась она с дома, где жил вселенский брехун Жопсик, безвинный обладатель зеленого сердца, — раз, дальше — дом, где жил молчун Казимир, — два, больница — три, желтый узкий дом с его стаей белобрысых братьев-футболистов — четыре, детский сад — пять, дом под каской (мелкочешуйчатая черепичная кровля его уж больно напоминала кайзеровский стальной шлем с шишаком) — шесть, дом Фашиста и его вечно голодных фашистиков — семь, дом Буяники — восемь, наш дом — девять, напротив — магазин и товарные склады, устроенные в бывшей кирхе, — десять, дом с парочкой юных евреек-давалок, томной Ларисой и бойкой рыжухой Валькой — о, как сладки были их огнедышащие устья! — одиннадцать, дом Кувалды — двенадцать, дом старухи Три Кошки, умершей в подвале на тюфяке, набитом мятыми трехрублевками, — тринадцать, дом Ивана Тихонина, храброго ратая с зелеными чертами, которых он после восьмой бутылки водки принялся выковыривать из руки вилкой, — четырнадцать, дом директора бумажной фабрики, жившего одиноко и любившего собственноручно ошипывать в ванной живых кур, — пятнадцать, дом болтливейшей на свете старухи Граммофонихи — шестнадцать, дом без номера — семнадцать, дом деда Муханова, курившего исключительно ядовитые сигареты, набитые вместо табака черным грузинским чаем высшего сорта, — восемнадцать, дом как дом — девятнадцать, дом злых собак и посторонним вход запрещен — двадцать, дом учителей — двадцать один, дом Кольки Урблюда, сумевшего пропить все, кроме звездного неба, — двадцать два, дом моей тайной возлюблен-

Буйда Юрий Васильевич родился в 1954 году в Калининградской области. Закончил Калининградский университет. Автор романов «Дон Домино», «Ермо», «Борис и Глеб», многих повестей и рассказов. Лауреат премии Аполлона Григорьева 1999 года. Живет в Москве. Постоянный автор «Нового мира».

ной, так никогда и не узнавшей об этом, ибо волны весенней Преголи утащили ее на дно, чтобы она под водой пересекла Балтийское море и всплыла у ног бронзовой Русалочки в Копенгагене, — двадцать три, дом с гнездом шершней в стене — двадцать четыре, фабричный клуб, бывшее немецкое офицерское казино с борделем, где по субботам и воскресеньям устраивались танцы, которые не имел права пропустить ни один владелец складного ножа старше тринадцати лет, — двадцать пять, и, наконец, дом железнодорожных путевых обходчиков Рыжего и Рыжей — двадцать шесть!.. Итого — двадцать шесть, в которых помимо упомянутых жили еще десятки семей, собак, кошек, коров, мышей, пауков, о которых незачем и говорить, потому что они и сами способны постоять за себя перед моим знанием и моей памятью.

С самого начала, от Липовой, улица была вымощена булыжником, а дальше — красным кирпичом в несколько слоев — за тыщу лет не сотрешь, не протрешь до основания — до залитой янтарем решетки из неохватных сосен, в гнездах которой покоились сизые валуны из морен, оставленных доисторическими ледниками; из начала в конец улицу, густо обсаженную липами, можно было пройти под проливным дождем и не замочить ни одной ниточки.

С одной стороны параллельно улице пролежала железная дорога, а с другой, вниз от садов-огородов, — изрезанная мелиоративными канавами болотистая равнина со стадионом в центре, упирившаяся в высокую дамбу, за которой несла свои желтовато-зеленые воды Преголя, с плотиной и шлюзом, с Бабским берегом, где купались стар и млад и где я впервые в жизни по-настоящему утонул и был возвращен к жизни.

За фабричным клубом вздымался старинный парк с оплывшими и заросшими ежевикой зигзагами траншей, которыми неразумные фашисты пытались остановить героический напор наших войск. За парком высилась Башня, весной служившая для спуска полой воды из реки в мелиоративные каналы, тянувшиеся к Инстербургу.

О, Семерка! Эти мятежные женщины, носившие летом сатиновые халаты на одной пуговице, иногда под напором живота стрелявшей сопернице не в бровь, но в глаз, а зимой облачавшиеся в твердые, как двери чердаков и подвалов, пальто со шкурами неведомых зверей на воротнике! Эти безмятежные мужчины-алкоголики, со сросшимися на переносье белесыми бровями, в порыжелых рублевых ботинках, похожих на дохлых крыс, мужчины, которые за гроши вкалывали на фабричках и заводиках, мытарилась со свиньями и кроликами, потому что на зарплату прожить было невозможно, по выходным под водку слушали радио и резались в домино, а по будням врезали отпрыскам ремнем по заднице, искренне убежденные в том, что голова для вразумления не годится. Эти столетние полуслепые и полубезумные старухи в черных плюшевых жакетах, в платочках и тюлевых шляпках, похожих на воздушных змеев, съедавшие за раз ведро слив и гулявшие под ручку по улице, оставляя за собою влажный след... Эти дети, наконец, которые готовы были убить меня только за то, что я выходил на улицу с куском хлеба, политого подсолнечным маслом и защищенного ритуальным заклинанием: «Сорок семь — сам съем!», но это был *белый хлеб*! Когда — при Хрущеве — ввели талоны на пшеничную муку и, кажется, на белый хлеб, мою младшую сестру озверевшие старухи сбросили с крыльца магазина: слишком много взяла *в одни руки*, хотя по количеству талонов было все правильно. Слава Богу, девочку успел подхватить городской сумасшедший Вита Маленькая Головка, не то она упала бы головой на брусчатку, — хотя Вита вообще-то ненавидел детей, потому что они при каждой встрече норовили плюнуть в него...

О, Семерка! Эти алые черепичные крыши в разливе липовой зелени, эта тонкая алая пыль над краснокирпичной мостовой, так красиво подсвеченная закатным солнцем, эта дурацкая сирень, пышной грудью вывалив-

шаяся через забор детсада, это непостижимо прекрасное в своей банальности состояние блаженства, когда лежишь за парком в высоких одуванчиках, смотришь на глупейшее пронзительно голубое текучее небо и думаешь конечно же о бессмертии...

Мы живы, пока бессмертны.

О, Семерка! К сожалению, ты и есть бессмертие: мир превыше всякого ума.

О, Семерка! Чем была бы твоя жизнь, твое бессмертие, твой мир превыше всякого ума — без косматого чудовища, которое захватывало людей, предметы и стихии, чтобы привести их в движение, сблизить или развести, оставаясь в центре, — без чудовища с раскосмаченными волосами соломенного цвета, излучающими безумие глазищами, с взволнованной грудью божьего литья и коленками, которые она умела выворачивать назад, как кузнецик, — да, поскольку я говорю о Семерке, я говорю о Тарзанке.

О Тарзанке будет эта история.

Тарзанками в городке, как и повсюду в России, называли кусок веревки, привязанной к склонившейся над рекой ветке дерева. Покрепче вцепившись в палку-ручку на конце веревки, ты разбегаешься по берегу, пролетаешь над водой и, отпустив ручку, прыгаешь в реку — как Бог на душу положит, вниз ногами или кувыркаясь в воздухе, но с переливчатым воплем, имитирующим крик Джонни Вайсмюллера из трофейного фильма о диком Тарзане. Говорили, что, если пловец упадет на обыкновенную газету, распластанную на воде, не миновать ему перелома позвоночника или трещины в черепе, в которую можно просунуть два пальца. И бледным лягушонком, и сисястой девицей Ольга Веретенникова по прозвищу Тарзанка напроць опровергала эту легенду, прыгая и головой и задницей на специально расстеленную на воде газету и вылезая на берег с целехоньким черепом, неповрежденным позвоночником и даже без синяка на заднице, похожей на золотую от спелости крупную сливу, разделенную бороздкой на две равно прекрасные половинки.

Все лето она проводила на реке, раз за разом обгорая, но так и не покрываясь загаром; зиму отбывала школьный срок в муравейнике троечников, с одинаковым энтузиазмом игнорируя что математику, что литературу, что физкультуру и равнодушно обходя стороной всякие кружки хоровые, танцевальные и прочую самодеятельность. Пять дней в неделю, зимой и летом, она словно пребывала в спячке, пробуждаясь лишь вечером в пятницу и с усиливающейся дрожью приближаясь к субботнему вечеру, когда над входом в фабричный клуб вспыхивала круглая матовая лампа, а у двери в паркетный зал занимала свое место беспалая Эвдокия, ловко надрывававшая своими красными культиями синие билетки с черным штампом «танцы».

Тансы!

Почти все в городке именно так и произносили это заветное слово: «Тансы!»

По субботам к дружинникам, дежурившим у входа в клуб, присоединялись учителя, призванные не допустить проникновения подростков в значное место, где пили вино, играли в бильярд, дрались, со рвением изучали анатомию-топографическое строение партнеров и мочились на горячий шлак у черного входа, соседствовавшего со спуском в ад — в кочегарку, где на драной лежанке козлородного кочегара по прозвищу Пахан устраивались последние стоянки девственников, давно превративших вытертое сукно в географическую карту с блекло-альными отметинами на местах бывших сражений и кратчайшими маршрутами в Эдем. Подростки хитрили, юлили, пролезали в клуб по пожарной лестнице — на крышу, через чердачные окна, — и лишь Тарзанка проходила в бывшее казино, даже не удостоивая учителей и дружинников взглядом.

Ее никто не останавливал. Лет с семи-восьми она была здесь своей.

В субботу она заряжалась энергией сразу от трех электростанций — матери и старших сестер, которые мыли и укладывали волосы, брили подмышки, протирая порезы квасцами, и выдергивали друг у дружки маленькими плоскогубцами волосики, торчавшие из носа, с мучительным стоном стригли толстые ногти на ногах и бегали по дому, размахивая руками, как безумные куры крыльями, чтобы поскорее высох лак на ногтях, гладили юбки, блузки, платья, перебирали лифчики и трусики, всю неделю томившиеся в ящиках комода, обсыпанные гвоздикой, корицей, душистым перцем (а матушка добавляла к своим лаврушку, на которую, по ее глубочайшему убеждению, хорошо клюют порядочные мужчины с интересом), пришивали и перешивали пуговицы, втягивали перед зеркалом животы, по сложной схеме обрабатывали друг дружку духами — за ушком, затылочек, ямку меж ключицами, а матушка, отвернувшись, из маленького флакончика «Красной Москвы» щедро плескала на пылающий рыжим огнем мысок, узенькой дорожкой, словно струйкой муравьев, дотягивавшийся до сложно увязанного пупка, тонувшего в потной ямке... Подолгу возились с чулками и поясами, с облегченным вздохом пощелкивая черными резинками и в последний раз проверяя, идеально ли льется стрелка из-под юбки через мускулистую икру к темно-желтой пятке. Со шпильками во рту, мыча и шипя, сооружали прически, а старшая Зойка, обернув палец шелком, выправляла свой «черт возьми» — локон, с точно рассчитанной непослушностью касавшийся уголка напوماженного рта.

Наконец, потопав каблуками и так и сяк повертевшись перед зеркалом, проверяя, красиво ли в случае чего вылетит из-под подола кружево нижней юбки, хлопали разом в ладоши и присаживались на дорожку за накрытый клеенкой стол, чтобы молча и не чокаясь — не сглазить бы! — выпить по рюмке клейкого кагора и выкурить по тонкой папироске «Дюшес», коробка которых, одна на троих, береглась к субботе, тогда как в остальные дни вполне можно было обойтись беломориной или даже копеечным «Севером».

— Н-ну-с! — Мать вставала, резким движением раскидывая юбку-плиссе. — Вставай, страна огромная!

И, вооружившись лаковыми сумочками, они выходили из дома на смертный бой, не обращая внимания на семилетнюю Оленьку, которая Бог весть в каком качестве — может, в роли щенка-глупыша, прыгающего за гусарским полком, — скакала за шелково-шумным пахучим отрядом, стараясь не оторваться от своих и в то же время — если вдруг матушка или сестры оборачивались — демонстрируя отменное смирение лягушонка в линиях платьяшке, знаящем свое место и вообще гуляющем и случайно увязавшимся за шелковыми богинями...

В клуб ее конечно же пускали без билета, и она весь вечер слонялась по этажам, заглядывая в буфет, где благоухающие одеколоном кавалеры угощали дам конфетами «Ласточка» под крепкое красное, а то, бывало, и под шампанское; торчала в уголке бильярдной, тупо следя за сухо шелкающими костяными шарами с облупившимися цифрами и стараясь не попасть под горячий кий Коли Смородкина, у которого после третьих ста грамм вдруг налаживалась игра с финальным шаром в окно, нарочно задержанное плюшевой гардиной, чтобы и на этот раз чемпиону не удалась заветная мечта — услышать победный звон оконного стекла; залезала в кинобудку, где слепой киномеханик, давно служивший сторожем, рассказывал ей о симфонии сверкающего стекла в лучшем фильме всех времен и народов — «Индийской гробнице»; прогуливалась по периметру танцзала, аккуратно переступая через ноги дождавшихся своей очереди девушки и парней — иные из них вдруг подхватывали лягушонка и втаскивали в ручеек «летки-енки» или даже, почтительно склонившись над ее стриженной

макушкой, вели из фигуры в фигуру в вальсе-квадрате, чтобы вдруг на самом интересном месте со смехом усадить ее на свободный стул и пригласить на танец настоящую даму, в то время как эрзац-дамочке приходилось с тоской выглядывать среди танцующих матушку и старших сестер. После десяти лет они ходили на танцы втроем — Зойка наконец вышла замуж за военного и благополучно уехала с ним на Чукотку. Через два года лягушонок уже сопровождал одну матушку — средняя, Ирина, умело преодолев все ухищрения осторожного учителя физкультуры, победно забеременела и сменила фамилию. Матушка все ту же стягивала живот, без посторонней помощи не могла застегнуть лифчик, а по возвращении домой, выпив из граненого стакана водки, опускала ноги в чулках в таз с горячей водой и замирала на полчаса-час, изредка шмыгая носом и слизывая шершавым языком помаду с набухших губ. Наступила наконец суббота, которую матушка провела в халате об одной пуговице, в тапочках на босу ногу и с бутылкой посреди крытого клеенкой стола, сплошь усыпанного пеплом последней пачки «Дюшеса». Она не плакала — молчала. А когда младшая поинтересовалась походом на танцы, с протяжным вздохом ответила: «Пора курей заводить, Олька. И поросенка».

Зиму они прожили как во сне, но уже следующим летом матушка отвела дочку к знакомой портнихе, чтобы заказать выходное платье.

— Что ж, — сказала Анна-Рванна, о которой в городке говорили, что ее золотая двудольная задница весит столько же, сколько остальная Анна-Рванна, — товар созрел: ни жопу, ни сиськи шить не надо — все свое. А то ведь знаешь каких приводят...

Матушка кивнула: знала.

Благословляя дочь на первые в ее жизни самостоятельные настоящие танцы, она предусмотрительно снабдила ее всеми сведениями, которые помогли бы девочке достойно справиться с испытанием и с первого раза не оказаться на драной лежанке в кочегарке (куда сама в последние годы спускалась лишь по необходимости, брезгливо поддернув шелковую юбку и сморщив нос в сушеную сливу, легонько подталкиваемая сзади пьяным партнером, норовившим поскорее справить нужду и смыться, оставив ее наедине с Паханом, который с сочувственным вздохом помогал ей натянуть чулки на варикозные ноги и застегнуть лифчик, лямки которого тонули в глубинах ее обильного тела, где-то там, где богатое воображение могло предположить наличие позвоночника и прочих частей скелета, чья участь была сродни судьбе затонувших кораблей, некогда гордо пылавших парусами и угрожавших пушками, но давно превратившихся в нестойкую память о былом величии и предмет вожделения ценителей археологического мусора). Заставив дочь пройти и покружиться перед зеркалом, еще раз тщательно ощупала и обнюхала ее с ног до головы и, оставшись довольной, налила ей на дорожку кагора.

— Н-ну-с!

И ритуальным шлепком по заднице отправила Ольгу в самостоятельное плавание.

Откуда ей было знать, что дочь за первым же углом, спрятавшись в тени, переоденется в свитер и юбочку шириной в мужской галстук, а в сквере у клуба причастится портвейном с сигаретой.

Откуда ей было знать, что дочь встретится с Чунаем, если об этом не догадывалась и сама Тарзанка...

Это было лето Сальваторе Адамо, из песен которого девушки предпочитали — «Tombe la neige», то есть «Амбала нежу», и некоего испанца Мануэля, хриплым голосом сотрясавшего старый клуб своим «Tonight», переведенного знатоками как «Чунай».

Амбал по прозвищу Синила с первого взгляда сделал своей избранницей Ольгу Веретенникову, Тарзанку, и в тот же вечер трижды выводил в парк за клубом парней, осмелившихся пригласить ее на медленный танец, чтобы уточнить значение притяжательного местоимения «моя». В темноте можно было давать волю рукам по зубам и ногам по яйцам, но складным ножом допускалось бить только в задницу — с такой раной никто не обращался ни в больницу, ни в милицию. Синила был носат, широкоплеч и не столько силен, сколько дьявольски ловок в драке.

Уже к середине вечера все в клубе знали, что на танец Тарзанку имеет право пригласить только Синила, и даже если она ему сдуру и отказывала иногда, никто другой не осмеливался вывести ее на паркет за руку. Девчонки-подружки, мастерски расширявшие зрачки при помощи атропина, который закапывали друг дружке за сценой, объяснили Тарзанке, что и белый танец не спасет ее избранника от встречи с Синилой: она стала «его девушкой». Ольга, впрочем, отнеслась к этому довольно равнодушно: за нею еще никто всерьез не ухаживал, хотя многие парни и провожали ее многозначительными взглядами, — пусть будет Синила. «В случае чего — коленкой по помидорам, если здорово пристанет, — напутствовала ее Нина Чистякова. — Когда домой пойдет провожать».

Но тут Эвдокия поставила на проигрыватель «Tonight», и толпа разгоряченных вином парней и полуслепых от атропина девушек ринулась на паркет с воплем: «Чунай! Чунай!» Тарзанку толкнули, развернули — разверзлись небеса с ангельским воинством и адская бездна с тучами демонов, и грянул могучий хор: «Чунай!» Девушка закричала что-то бессмысленное, невразумительное, рванувшееся из необъятных душевных глубин, вскинула руки, что-то сделала плечами, животом и ногами — и мгновенно обратилась в сумасшедший вихрь, захвативший всех этих парней и девушек, беспалую Эвдокию и Мануэля, клуб, звездное небо, реки, городок со всеми его людьми, собаками и свиньями, ввергнув наконец всю вселенную в состояние, когда не было ни предметов, ни имен, ни даже Бога, которому лишь предстояло родиться, родив Слово...

Музыка уже отзвучала и Господь уже вернул мир в привычное состояние, а Тарзанка не унималась, и ее боялись остановить, потому что все вдруг поняли, что финалом такого танца может быть только гибель богини, продолжавшей свое сумасшедшее кружение до тех пор, пока сама, с обратившейся в дух душой, не рухнула на пол без сознания с такой улыбкой на лице, что Эвдокия от неожиданности зарыдала в голос...

Синила приблизился к ней на цыпочках, присел на корточки и прошептал: — Стэнд ап, Ольга, унд геен вир нах хаузе.

Он боялся произнести хоть словечко по-русски, чтоб не сойти с ума или окончательно не умертвить Тарзанку, и возблагодарил Бога за то, что Он милосердно вернул ему единственные семь иностранных слов, которые Синила когда-то знал и которые непостижимым образом — магически — действовали на девушку: протяжно пукнув, она открыла глаза и села.

Синила отшатнулся: он и сам не ожидал, что магия всеильна настолько, что под взглядом очнувшейся Тарзанки он ощутит себя бессмысленной морковкой, забытой Богом на выжженной солнцем Луне.

Кинотеатр устроили в другом месте, а летом фильмы и вовсе крутили в десятке дощатых загончиков без крыши, где с наступлением темноты за гривенник, а то и бесплатно — в дощатом заборе всегда находилась подходящая дырка — можно было посмотреть кино, вольготно покуривая в «зале» и продолжая тактильное знакомство с прелестями подружки, — так что клуб в конце Семерки пришел в некоторое запустение, если бы не фабричная библиотека, бильярд и паркетный зал, где два-три раза в году проводились торжественные собрания по революционным праздникам да новогодняя елка, а главное — танцы, танцы, танцы.

Танцульки устраивали в средней школе, в «шанхае» — солдатском клубе, но туда ходили главным образом любители подраться с солдатами, центральной же площадкой стал клуб. Сюда по субботам тянулася бандитско-цыганская молодежь из Питера, кучами шли маргариновские и станционные, гаражные и даже из окрестных сел; здесь по-прежнему окончательно уточнялись значения притяжательных местоимений и вошли в моду девчачьи драки; здесь было последнее место дежурства выдыхавшейся команды дружинников, которые еще могли вывести и скрутить закуражившегося малого, но были бессильны по окончании вечера предотвратить «отходную» — как бы ни с того ни с сего вспыхивавшую и растягивавшуюся по всей Семерке драку, с треском выдираемых из заборов штакетин, уханьем и аханьем, женским визгом и собачьим лаем, разоренными палисадниками с беспощадно растоптанными георгинами и обнаруживаемыми наутро алыми носовыми платками, потерянными ремнями с пряжками и валявшимися в пыли правыми перчатками, хранившими отпечатки чужих зубов...

Как и прежде, перед танцами полагалось вымыть голову и нагладить брюки, начистить до блеска ботинки и проверить складной нож, купить крепкого красного, потребляемого до начала действия, и по пути обсудить, кто с кем и кто кого и когда. Иной раз танцы заканчивались милицейским наездом с отловом отличившихся бойцов — некоторые даже получали срок по двести шестой и через год-два возвращались героями в тот же клуб, окруженные поклонниками и почитателями, к «своим» девушкам, которые успевали выйти замуж или сменить кавалера, что давало повод для пьяного куража и большой драки — уже с новыми участниками: смена поколений была естественна и неудержима. Случалось, что прежних королей, перед которыми некогда трепетали улицы и районы городка, беспощадно «сажали на жопу», то есть шквалом ударов солдатских ремней с пряжками валили наземь и бросали где придется: смена власти была беспощадна и неизбежна. Ушли в небытие Сальваторе Адамо и Мануэль, «Битлз» и Дас-сэн, Ободзинский и «Песняры», и недавние завсегдатаи субботних танцев мирно подремывали у телевизоров, выращивали картошку и поросят, вкалывали за гроши на заводиках и фабричонках или, если везло, учились в техникумах и институтах и плавали за селедкой на банку Джорджес, наезжая в городок в отпуск и заглядывая в клуб разве что постучать на бильярде, возле которого вечерами одиноко слонялся Коля Смородкин, гоняя шербатые костяные шары по покоробленной поверхности стола, обтянутого повытертым кое-где до дыр зеленым сукном...

Но последний танец по-прежнему оставался за Тарзанкой, таков был неписанный закон, и хотя голос Мануэля теперь звучал с катушечного магнитофона, который не всякому удавалось и включить-то с первого раза, — на этот хриплый зов с воплем: «Чунай!» — бросались на паркет подвыпившие юнцы и девушки, заведенные вовсе не музыкой забытого танца шейк — Тарзанкой, которая вольно или невольно всякий раз оказывалась в центре толпы и с непрекращающимся животным воем, вскидывая руки и играя сиськами божьего литья, выворачивая коленки назад, как кузнечик, магическим образом отпирала врата райские и разверзала бездны адские, чтобы в конце концов остаться в полном одиночестве и тишине и рухнуть без сознания на пол, вернув миру его имена, а людям, животным и предметам — назначенные судьбой и Богом места и формы.

Однажды после такого финала ее пришлось на руках бегом отнести в больницу, где доктор Шеберстов остановил бурное кровотечение, оприходовал мертворожденного мальчика и с изумлением констатировал разрыв девственной плевы при родах.

— Вообще-то когда-то это называлось непорочным зачатием, — сказал он, — но поскольку это невозможно, диагноз проще простого: танцы.

С того дня и утвердилась новая слава Тарзанки, непорочно зачавшей то ли от ангела, то ли от демона танцев, закономерно разродившейся мертвым ребенком и уже через неделю вернувшейся в клуб на паркет.

Впрочем, возвращение в клуб не было чем-то неожиданным: по окончании школы Ольга Веретенникова устроилась в клуб уборщицей, и никто ни разу не слышал от нее сетований на судьбу. Матушка умерла. Синила, вернувшись в городок после многоэтапной отсидки (после каждой попытки побега ему набрасывали срок, так что сумма в итоге вышла внушительная), пристрастился к чифирю пополам с водкой, а когда однажды в кочегарке остался наедине с Тарзанкой, шепотом попросил сделать ему рукой — сзади при помощи морковки, что Ольга и сделала, в конце концов умотавшись так, как не уставала после мытья паркетного зала. Когда она пожаловалась на усталость, Синила лишь со вздохом заметил: «Ничего бабы не понимают в настоящих мужиках».

Она побывала замужем, но неудачно. Детей у нее не было. Библиотека была под боком, в фабричном клубе, но она редко заглядывала туда. Единственная память о замужестве — многочисленные замысловатые наколки, которыми муж измучил Тарзанкину плоть, не пожалев даже сисек божьего литья и белой, как грудь, задницы. Надписи, черепа, звезды, слоны, змеи, тигры, географическая карта острова Шри-Ланка во весь живот, смеющиеся рогатые черти и ангелочки с воробьиными крылышками, браслеты на руках и ожерелье на шее... В общественной бане, куда регулярно по пятницам ходила Тарзанка, на нее сбегались поглазеть не только женщины, но из банного буфета и мужики являлись с пивом в качестве платы за вход. Намылив пол, она скользила танцующим шагом в клубах пара, то выплывая к Буянихе пухлым слоном с беседкой на спине, в которой мужчина играл на гитаре, то пугая Граммофонику хищно разинутой змеиной пастью с кривыми зубами и раздвоенным языком...

Пятница — женский день в бане, а в субботу вечером Ольга Веретенникова, как всегда, являлась на танцы, чтобы, дождавшись своего часа, потрясти воображение собравшихся легендарным «Чунаем», после которого — это все признавали — и дралось, и трахалось легче, свободнее, с душой. Раздухарившиеся парни даже предлагали Тарзанке прогуляться в кочегарку, но этого она не любила, да и парни ей уже в сыновья годились.

Работы в клубе было не много, поэтому летом Тарзанка по-прежнему пропадала все дни на реке, подальше от людей, купалась и загорала. Однако, наверное, татуировка что-то изменила в составе ее кожи, которую никакой загар не брал, а организм так и вовсе на солнечный жар отзывался нарастающей болью.

Прибрел с авоськой, полной пачек черного чая, Синила, который, пока Тарзанка подремывала в тени, варил на костерке чифирь.

— Тоска тебя сожрет, — заявлял он после выпивки. — Вон и худеть начинаешь. Одни сиськи разве что и остались. Пятна какие-то на шкуре... — Проводил шершавой ладонью по ее животу: — Бугры какие-то...

Она недовольно отталкивала его:

— Больно ж, дурак!

— Я и говорю: болезнь. А ты все на танцах каждую неделю помираешь, и некому поднять тебя из мертвых, ибо я туда не ходок. А помнишь, как я тебя импортными словами оживил? — разевал в улыбке рот с четырьмя черными зубами. — Ей-богу, до сих пор не знаю, как их вспомнил и что они значат.

Наконец она не выдержала и обратилась в больницу, где после долгих осмотров, анализов и прочих мытарств ее уложили в желтую палату, куда, по всеобщему убеждению, помещали лишь приговоренных к смерти.

— Так это я что же — умру? — удивилась Тарзанка. — Умру — и все, и больше ничего не будет?

— Ирине твоей я сказал уже, — сухо ответил доктор Шеберстов. — Другие родственники имеются?

— Какие родственники! Если только Синила... Да он-то — с какого боку? Никто и звать никак.

Ночами она лежала в больнице без сна, вспоминая о матери и сестрах, о танцах былых времен, и иногда ей казалось, что где-то в глубине ее тела, среди болей, на мгновение возникало то загадочное вращение, которое силами человеческими превращало мир в хаос радости, по силе сравнимой только с ужасом...

Самыми тяжелыми днями были субботы. Мимо больницы по Семерке молодые люди шли в клуб и возвращались с танцев: цоканье каблучков, запахи, посвист, выкрики...

По субботам ее навещал пьяненький Синила, который путано рассказывал о своих тюремных приключениях и вспоминал о былых танцах, о девчонках в кочегарке и лихих драках в темном парке за клубом, когда он кулаком и складным ножом в один вечер доказал всем придуркам, чьей девушкой на самом деле является Ольга-Тарзанка.

— А на самом деле ты как была ничьей, так и осталась, — однажды с грустью заключил он. — Мы ведь с тобой даже ни разу не поцеловались. После твоего «Чуная» я тебя боялся целовать, вот тебе крест, хоть я и неверующий.

— А может, зря, — задумчиво откликнулась Тарзанка. — Может, и жизнь прошла бы по-другому. А то ты теперь дурак дураком, хуже морковки на Луне, а я и вовсе трупом лежу, червей жду... Никакого смысла.

— Ничего б не изменилось, — возразил без энтузиазма Синила. — Ну поженились бы, может быть, завели бы пару ребятишек, корову, поросенка, курей... А потом все равно помирать. И без танцев ты б еще раньше померла. Танцы и есть твой смысл.

— Ты думаешь? — встрепенулась Ольга. — Правда?

— Правда. Если весь мир переворачивался, когда ты чунаила, что же внутри тебя происходило? А?

— Не знаю, — честно призналась Тарзанка. — Не помню.

— То-то же. А на самом деле ты просто помирала. Сколько раз — никто не считал, но столько раз ты ее, косую, и обманывала. Точняк по субботам. — Вздохнул: — Сегодня суббота...

— Суббота... А ну-ка вспомни, какие слова ты мне тогда сказал? Стэнд ап — а дальше?

Синила напрягся.

— У меня в тумбочке мензурка со спиртом — выпей, прочисть мозги.

Он с удовольствием выпил и щелкнул пальцами:

— Унд геен вир нах хаузе, Тарзанка! А? Настоящую любовь не пропешь!

— Геен вир, — прошептала она. — Ну-ка отвернись.

Когда десятипудовая Ирина попыталась таранить доктора Шеберстова в лоб, он остановил ее, схватив крепкими пальцами за нос, и сказал:

— Если ее нет в палате и в морге, значит, она в клубе. Неужели не ясно? На танцах.

Ирина на всех парусах бросилась в клуб.

Доктор Шеберстов, как всегда, не ошибся.

Конечно, она была там, в клубе, за сценой, в своем растянутом свитерке и юбке уже мужского галстука, с пузырьком атропина и пипеткой в руках, — ждала своего часа в компании совершенно пьяного Синилы, что

спал на полу, уткнувшись носом в пронафталиненные валенки, которые Эвдокия надевала раз в году, выступая на новогодних праздниках в роли Деда Мороза.

Обнаружив ее в этом закутке, до смерти перепуганная Эвдокия просипела:

— Миленькая, но ведь и пластинки нету, и магнитофон тот давно выбросили. Откуда тебе «Чуная» взять?

— Взять! — рыкнул, не просыпаясь, Синила. — Бог подаст!

Тарзанка только улыбнулась и, оттянув веко, капнула атропин в глаз.

Молодые люди с интересом наблюдали за женщиной в свитерке и мини-юбке, которая, слегка пошатываясь, вышла на середину зала и что-то прошептала.

— Говори громче, бабуля! — крикнул кто-то из парней. — Тебе чего? Вальс-бостон или просто так — поссать заглянула?

В зале захохотали.

— «Чунай», — громко сказала Тарзанка. — «Чу-най».

Стало тихо.

— «Чунай», твою мать! — На сцену вылез пьянящий Синила и, схватившись за плюшевую штору, погрозил потолку кулаком: — «Чунай»!

— «Чунай», Господи, — шепотом попросила Эвдокия, молитвенно сложив беспальные руки на груди. — Чуть-чуть «Чуная», Боже милостивый.

— «Чунай»! — крикнула Тарзанка, топнув ногой. — «Чунай»! «Чунай»!

Молодым людям определенно понравилась старухина придурь, и они стали хором скандировать, в такт хлопая в ладоши:

— «Чу-най»! «Чу-най»! Да-вай! «Чу-най»!

— «Чунай»! — что было мочи завопила Тарзанка, уже ни на что не надеясь и готовая провалиться сквозь землю или, пробив потолок, рассеяться в ночном небе, как догоревшая комета. — «Чунай»...

— «Чунай», «Чунай»! — откликнулся голос Всевышнего. — И оф, оф най!

Вскинув руки, Тарзанка заревела нечеловеческим голосом, взывая к воинствам ангельским и дьявольским, и полчища их не замедлили явиться, хором подхватив припев, и закружилась, превратившись в само вращение, затягивающее в свою орбиту ошалевших от изумления подростков, последнего дружинника Лапутина в смазных яловых сапогах, беспалую Эвдокию и пьянящего Синилу с морковкой в заднице, рухнувшего на колени перед извивающейся, крутящейся, бьющейся всем телом Тарзанкой, и Коле Смородкину наконец-то удалось насладиться победным звоном стекла в бильярдной, когда бесцельно пущенный лысый костяной шар продырявил траченную молью гардину и вышиб окно, и закружила Ирину с выводком детей и внучат, едва она ворвалась в зал, и доктора Шеберстова, и вырванный из темного ада погашенной кочегарки дух Пахана бросился вприсядку, и Тарзанкина матушка с пылающим «Красной Москвой» каракулевым лобком закружилась в вальсе с избранником сердца, заплутавшим среди времен этой вечности в одной из бескрайних России в поисках своей первой и единственной, а слепой кинемеханик церемонно раскланивался с Конрадом Фейдтом, кумиром из «Индийской гробницы», и портниха Анна-Рванна, лихо закусив дорогую дюшесину, бесстыже встряхивала юбками, являя восхищенным взорам золотую двудольную жопищу, которая весила ровно столько, сколько весила остальная Анна-Рванна, мчались и раскачивались в безумном танце брехун Жопсик, безвинный обладатель зеленого сердца, и молчун Казимир, Буяниха и Фашист с голодными фашистиками, старуха Три Кошки отплясывала со сладкими давалками Вальской и Ларисой, а Граммофониха с дедом Мухановым, «злые собаки» и «посторонним вход запрещен», моя тайная возлюбленная с копенгагенской Русалочкой, Рыжий и Рыжая, женщины в твердых, как

двери подвалов и чердаков, пальто со шкурами неведомых зверей на воротниках и их мужа-алкоголики в рублевых ботинках, похожих на дохлых крыс, вооруженные до зубов тигры освобождения Тамил-Илама с острова Шри-Ланка, изображенного на Тарзанкином животе, и остановились и сгнили поезда и паровозы, и слова изменили свои смыслы, и имена уже больше ничего не значили в мире, где в пляс пустились дома и улицы, реки и тюрьма с зеками и злыми сторожевыми псами, фабричные трубы и мертвецы в гробах, и ангелы с дьяволятами отплясывали под ручку, и некому было вострубить в трубу Господню, чтобы вернуть миру время, форму и имя, и тогда-то и вызвали меня телеграммой-«молнией», и я примчался на Семерку самолетом, который с трудом приземлился в сквере перед клубом, и потный перепуганный Пахан, вылетевший мне навстречу из перекошенных дверей клуба, заорал, шибая перегаром всех времен и народов:

— Ну хоть этому-то ты, сука такая, научился? Тогда останови весь этот трус и мор, чтоб живые жили, а мертвые помирали себе спокойно, — как это сделать? Она же мертвая пляшет! Знаешь?

Конечно. Увы, только этому я и научился с тех пор, как покинул Семерку, — ставить точку. Я поставил точку, и все остановилось, прекратилось, и мир обрел время, форму и имена, среди которых значилось и имя Тарзанки, упокой, Господи, душу ее навек. Тансы кончились. Стэнд ап унд геен вир нах хаузе. Точка.

У КОШКИ ДЕВЯТЬ СМЕРТЕЙ

Даже распоследняя кривая сучка с Семерки знала, что Машенька Фурялинна-Фляйсс кончит жизнь самоубийством, как ее предки, родители и даже петух-красавец, в минуту безумия бросившийся под колеса машины с таким «ку-ка-ре-ку», что у водителя тотчас случился инфаркт.

Какой-то ее то ли финский, то ли немецкий предок состоял в переписке с великим писателем Достоевским, который, убеждая корреспондента в пагубности самоубийства, написал ему: «Если убеждение в бессмертии так необходимо для бытия человеческого, то, стало быть, оно и есть нормальное состояние человечества, а коли так, то и самое бессмертие души человеческой существует несомненно». Вставив это письмо в рамочку, предок, глядя на бесценный автограф, как в зеркало, аккуратно перерезал себе горло бритвой.

Прадед ее с математической точностью вычислил, сколько вреда он причиняет природе и людям, топча землю, убивая жуков, поедая мясо животных и мякоть растений, выдыхая отравленный воздух, передавая любимой при поцелуе сотни тысяч микробов, заставляя ее же надрываться при родах, тратя средства на одежду и откладывая деньги на отпевание и погребение. Сложив килограммы с километрами и умножив сумму на рубли, он тайком заперся в покосившейся деревянной будке садового сторожа и подвергнул себя самосожжению, продуманному столь тщательно, что после него не осталось даже горсти праха, но лишь горелое пятно на земле.

Машенькин дед был крупным военачальником, но и его не миновала костлявая лапа семейного рока. После многочисленных и безуспешных попыток выманить из себя раба, врага и прочую дрянь, терзавшую его душу, он выпил бутылку ртути, после чего распался на одиннадцать сверкающих пузырей, открывших друг по дружке огонь из табельного оружия, пока не лопнул последний серебряный шар.

Отец ее, хоть и не верил в Бога, утверждал, что смерть есть лишь предисловие к истории, а Россия сделана из такого материала, который годится только для вития веревок. Он ни от кого не скрывал своего намерения раз и навсегда покончить с бессмысленностью предисловия к несуществующему или, что то же самое, непостижимому тексту. Его приятель,

учитель литературы Меньшиков, возражал: «Ты себя в рабстве у идеи держишь. В вечную жизнь не веришь и поэтому хочешь язык ей показать, а на самом деле ты ее раб, поэтому и хочешь язык ей показать. А раба, как Чехов говорил, надо из себя выдавливать по капле!» — «Подумаешь, Чехов! Только человек, страдающий геморроем, может оценить эту чеховскую шутку. Сам-то он из себя никакого раба не выдавливал». Он повесился. С криком: «Бить мертвых стыдно! стыдно!» — Машенькина мать долго била мертвого ногами, а наутро после похорон спилила и сожгла тополь, на котором свел счеты с жизнью муж, сохранив, однако, веревку. Себя же подвергла мучительной казни, зашив суровой ниткой рот, нос, глаза и все прочие отверстия, после чего воткнула длинную швейную иглу в сердце и завязала узелок.

Парень, который ухаживал за миловидной Машенькой, со страхом оттягивал день свадьбы. Пытаясь одолеть сжигающий его изнутри пламень, Миша залезал в бочку со льдом и сидел, пока лед не превращался в воду, которая выкипала до дна. Поскольку это средство мало помогало, Миша однажды по брови зарылся в огромный лесной муравейник, из которого спустя неделю с трудом вытащили добела объединенный скелет с красивыми каштановыми волнистыми волосами на черепе, еще хранившими запах одеколона «Русский лес».

Отец и Маше предрек смерть в петле или в омуте, когда прочел в заветной тетрадке четырнадцатилетней девочки стихи:

Хорошо какать утром.
А еще лучше осенью,
Когда даже какашки
Пахнут вечностью какашек.
Бабье лето.
А ты воображаешь себя полезной скотинкой,
Златождой коровушкой,
Роняющей там и сям
Пахучие малахиты и изумруды...

Машенька честно пыталась не подводить семью, но ничего у нее не получалось. Даже из-под паровоза она выбралась без единой царапинки, хотя целила шеей между колесами. Не выдержавший издевательства над природой отец как бы случайно пальнул в дочь из ружья картечью, но промахнулся, прострелив себе руку.

— У кошки девять смертей, — задумчиво проговорила Буяниха. — А Машка ваша — кошайшая из кошких кошек. Это судьба: отруби кошке хвост — она все равно кошкой останется.

Мужчины ее слегка побаивались, с девушками Машенька как-то не сходилась — вот и получилось, что единственной ее подругой стала непутевая старуха Молодцова, пережившая четверых мужей и обладавшая могучими руками, подбородком в форме кувалды и глазами первой в мире красавицы. В молодости она работала кочегаршей на бумажной фабрике и до старости любила кашлять угольной пылью, которую, поднеся спичку, пускала изо рта метровым огненным гулким факелом. Выпив же водки, задирала юбку и проделывала то же самое другим местом. «Могу и спереди, да лобка жалко: красив, как Пушкин, — курчавчатый. Это вам не лысая цигейка за полтинник — смушка!» Поэтому и прозвали ее Смушкой.

Была она родом из Крыма и часто рассказывала Машеньке о тамошнем скудном и суровом житье-бытье.

— А море? А горы? — вскидывалась Машенька, для которой, как и для всех жителей городка, Крым был землей обетованной, куда тянулась всякая душа, всяк человек — хоть вполглаза перед смертью глянуть на рай земной, и существующий-то, может, лишь затем, чтобы русскому человеку ад земной не казался уж совсем беспросветным. — А воздух? Дух?!

— В море мой первый муж утонул, а я его любила больше моря, — отвечала Смушка. — А воздух... этот дух у нас, милая, бздухом зовется... Да-ром, что ли?

Изю всех крымских историй старуха любила рассказывать лишь одну, и всякий раз так же, как впервые, даже если перебирала водки.

Это была история о диком любвеобильном барине по фамилии Ореховый, человеку богатым, щедрым, но беспутным. Квелую свою жену, маяв-шуюся под тюлевым зонтиком в дворцовых залах с опущенными шторами, он и в расчет не брал. Полулежа в белом кружевном шезлонге, она курила гашиш, постепенно превращаясь в палево-сизое привидение, в то время как он вольготно резвился в своих бескрайних охотничьих угодьях. Любая особь женского пола, ступившая на его земли (а это было три четверти Крыма) и способная устоять на ногах перед натиском его огнедышащего «Здравствуйте!», становилась его гостьей, хотела она того или нет. Возраст, сословная принадлежность или замужество не принимались во внимание, как цвет утреннего неба или ночной вой шакалов. Девушек же из просто-народья — крымчанок или русских, евреек или немок, украинок или гречанок — он просто забирал в свой дворец и держал в качестве прислуги, пока не надоест. В женщине его могло привлечь что угодно: горб, запах мочи или даже «впуклая» грудь, которая после знакомства с Ореховым непременно становилась выпуклой. На какие только уловки не пускались мужчины и женщины, чтобы отвадить барина от «бабятинки»: в него стреляли, к нему подсылали цыганку, согласившуюся за солидную сумму зара-зить его сифилисом, ему подсыпали в еду и питье средства, способные убить или хотя бы надолго лишить сил дюжину слонов, — все ему было нипочем. Иные из женщин уже собирались навсегда покинуть благосло-венный край, которому со временем могло угрожать безбабье, — как вдруг Ореховый влюбился. Впервые в жизни. В настоятельную Свято-Елизаве-тинского монашью матушку Олимпиаду, женщину довольно молодого, красивую, прятывшую глаза под накидкой, которая дымилась под взглядом барина — но не загоралась. Узнав об этом, весь православный, лютеран-ский, мусульманский и иудейский народ, люди все уважаемые, соборно обратились к ней со слезной просьбой: изгнать из Орехового беса, — кото-рая повергла матушку игуменью в ужас. О чем там у них шел разговор и какие там были споры, никто никогда так и не узнал, но спустя три часа Олимпиада вышла на крыльцо, перед которым без шляпы под палящим солнцем все три часа ждал приговора Ореховый, и что-то ему сказала. Никто не слышал ее слов. Одни говорили, что она якобы согласилась ему отдаться при условии, что после этого он навсегда вернется к законной жене, дотлевавшей в ажурном шезлонге под тюлевым зонтиком. Другие утверждали, что речь шла о том же, но немножко по-иному: кто осилит, тот и возвластвует. «Ну, не знаю, — разводила руками Смушка, — расска-зываю — а сама не верю: ведь монахиня, игуменья, да еще и из дворянок. Беса изгнать — понятно, но ведь все равно срам. И чтобы на такой срам согласиться? Но ведь согласилась — значит, было? Значит, другого спосо-ба у Бога не было. Значит, Господь такой жертвы потребовал, чтоб изгнать из мужчины беса». Что случилось, то и случилось. Ореховый и игуменья-красавица заперлись на ночь в келье, а наутро вышли на крыльцо к чест-ному народу, и барин, покаявшись и попросив у всех прощения за про-шлые свои прегрешения, сказал, что впервые в жизни полюбил жизнь и Бога именно так, как жизнь и Бог велели, и отныне никогда не расстанет-ся с женщиной, которая стала для него единственной. Игуменья тоже пок-аялась и повинилась, прилюдно сняла с себя сан и сказала, что Бог велел ей никогда не разлучаться с этим мужчиной, возлюбленным самой вели-кой любовью, которую только способна вместить ее жизнь. Кинулись тут некоторые к законной супруге Орехового, но обнаружили лишь палевою

тень в тени ажурного шезлонга под тенью тюлевого зонтика. Ореховый продал свой дворец, но сколько ни старались новые владельцы, палевая тень, пахнувшая гашишем, так и осталась в зале с опущенными шторами на окнах. Бывший же владелец дворца с бывшей игуменьей поселились в скромном домике на склоне горы, и вскоре красавица Олимпиада родилась сразу четырьмя детьми. На следующий год — тройня. И если б не война и революция, кто знает, как сложилась бы их жизнь. Одни говорят, что большевики посадили Орехового с беременной женой и детьми в суденышко, вывели в море и утопили. Другие же будто бы даже видели, как все они успели скрыться в катакомбах под монастырем, известных со времен царя Митридата, да там и остались, а дети их, когда заваруха кончилась, стали потихоньку выходить наверх, устраивались в разных семьях и жили как все. Монастырь забросили, но церковка сохранилась, и туда приходили мужчины и женщины, чтобы тайно вымолить у Олимпиады и Орехового исцеления от женского и мужского равнодушия, бессилия и бесплодия...

— И помогало, если знали, какие слова говорить. — Старуха допивала водку и в сотый раз открывала Машеньке тайное прозвище Олимпиады, на которое та не обижалась: Опиздемида. — А чего обижаться, если — любовь? Если любишь, то и жопа розой станет.

У Машеньки была и сердечная причина стремиться в Крым. Однажды похожая на сморщенную обезьянку рентгенолог мадам Цитриняк, разглядывая снимок ее грудной клетки, с улыбкой заметила, что формой ее сердце точь-в-точь напоминает знаменитый полуостров. «Сейчас зима, раствор холодный, снимок мутноват, — добавила она. — Ты приходи как-нибудь летом — сделаем снимок почетче, порезче».

А весной, после похорон отца и смерти матери, профсоюз бумажной фабрики наградил сортировщицу Фурялину-Фляйсс путевкой в Крым. Вне очереди. «У нее другая очередь подошла, — сказал председатель профкома многозначительно. — Так вот и пускай хоть напоследок...» И все согласно закивали и проголосовали.

Провожать ее пришли чуть не всем городком, с грудными детьми и собаками. Мужчины вздыхали, глядя на ее полноватые красивые плечи, открытые летним платьем. Женщины вытирали глаза платочком, стараясь не смотреть на веревку, которой Машенька перевязала для надежности старенький чемодан: это была та самая веревка. Девушка стояла на подножке рядом с кондуктором, чуть ослепшая от волнения. Все было позади, все было впереди. Она ехала в Крым.

Кривая сучка с Семерки тихонько завыла, когда поезд тронулся, а Смушка осенила Машеньку честным крестом, правильно сложив персты, но по-прежнему стесняясь своих ногтей, из-под которых никакими ухищрениями не удавалось добыть остатки угольной пыли.

Купе занимали трое мужчин — рослые, широкоплечие, с крупными резкими чертами лица, они казались братьями. Они тотчас освободили для Машеньки нижнюю полку, убрали подальше свои чемоданищи и баулы, чтобы пристроить ее поклажу, и предложили чаю. Старший, Петр, поставил на столик бутылку без этикетки. «Коньяк, — сказал он. — Настоящий». Настоящий — значит, как понимала Машенька, крымский, и с радостью пригубила разящую сивухой и припахивающую луком жидкость. Мрачноватые братья с улыбкой переглянулись и залпом выпили коньяк из чайных стаканов.

И без вина веселая, Машенька, которая ощущала легкость тела и радость души, нараставшие с той минуты, как тронулся поезд, рассказала братьям о своей матушке, научившей ее садиться на стул так, чтобы платье

никогда не мялось: для этого нужно было представить, что садишься на ежа. С этим колючим зверьком под попой девочка прожила все детство, но выучилась носить платье так, что его даже после стирки было необязательно гладить. Открыла свой маленький секрет — о сердце, формой напоминавшем полуостров Крым. А под вечер, после очередной рюмки крымского напитка, поведала историю Опиздемыды, о которой, оказывается, братья были наслышаны, как и все остальные жители Крыма. Мужчины целовали ей руки, а Петр после каждой рюмки целовал в щеку ближе к губам — по крымскому обычаю. Он сидел рядом с ней и широко улыбался золотыми зубами, а когда братья вышли покурить, жадно поцеловал Машеньку сначала в плечо, а потом, решительно приспустив лябочку платья, в грудь, отчего Машенька, никогда не испытывавшая такого блаженства, едва не потеряла сознание и призналась, что безумно — безумно — любит златозубого Петра.

Глубокой ночью они вчетвером вышли на каком-то полустанке, где их ждали похожие на братьев двое мужчин с мотоциклами. Машеньку усадили в коляску.

— Мы уже приехали? — сквозь сон спросила она.

— Почти, — успокоил ее Петр. — Передохнем немного и дальше поедем.

Не прошло и получаса, как мотоциклы въехали в лесную деревушку. Петр на руках внес спящую девушку в дом, отпихнул ногой бесхвостую и безухую собаку и вполголоса приказал одноглазой женщине, неподвижно сидевшей за накрытым столом:

— Иди на сеновал.

Одноглазая молча встала, помогла разобрать постель и исчезла за занавеской. Петр бережно раздел Машеньку и лег рядом.

Рано утром она проснулась в объятиях огромного мужчины, пахнувшего перегаром и спелыми яблоками, поняла, что этой ночью стала женщиной, и с радостно бьющимся сердцем прижалась к его смушковой груди. Засыпая, вспомнила старуху с подбородком-кувалдой, увидела красивого курчавчатого Пушкина и кривую сучку с Семерки, вдруг разинувшую пасть и выдохнувшую гулкой огненный факел. Понятно: она ведь всю свою собачью жизнь прожила в кочегарке на бумажной фабрике...

Разбудили ее мужские голоса за занавеской, отделявшей спальню от кухни. Машенька смущенно скомкала простыню с алым пятнышком, сунула ее под подушку, наскоро оделась и весело закричала:

— Тук-тук-тук! Я проснулась.

Голоса за занавеской мгновенно умолкли.

За столом сидели пятеро мужчин во главе с Петром.

— Ты пока умойся во дворе, у колодца, — ласково попросил он, — а мы тут один разговор договорим, заодно и завтрак будет готов. Слышала?

Одноглазая баба, стоявшая у плиты со сложенными на высоком животе руками, кивнула.

Во дворе на Машеньку строго воззрилась бесхвостая и безухая собака. Умываясь из ведра ледяной водой, девушка постоянно чувствовала на себе взгляд зверя.

— А почему она такая? — спросила она у вышедшего на крыльцо Петра. — Ни хвоста, ни ушей...

— Чтоб злей была, — добродушно откликнулся мужчина. — Отбираем щенков покрепче, рубим им живую хвосты и уши, а по живой крови — крутым кипятком.

— Так ведь больно! — ахнула Машенька.

— Зато память на всю жизнь. Если с людьми так, то почему с собаками нельзя? — Он обернулся к братьям: — Перевезите его к Грише Крапиве. Пуля-то насквозь? Завтра на ногах будет.

После завтрака Петр с золотой улыбкой сказал Машеньке:

— Сегодня ночью у меня дела в отъезде, у него переночуешь. — Кивнул на брата. — Одна по деревне не ходи, от баб и собак держись подальше.

В доме Григория их встретила одноухая нестарая женщина, которая приняла чемодан, перевязанный веревкой, и молча скрылась в комнатке за печкой, занимавшей половину дома.

— Слушай, Гриша... — Машенька вдруг прыснула в кулачок. — Что это у вас жены все какие-то порченые, извини меня? И как ваша деревня называется?

Красавец Григорий с жаркой улыбкой за руку подвел Машеньку к зеркалу в рост и несколько мгновений любовался: ай да парочка! Пара и впрямь была хоть куда.

Одноухая из-за печки вынесла на подносе две большие рюмки, хлеб и яблки. Григорий и Машенька чокнулись и выпили, улыбаясь друг дружке. Он привлек ее к себе и поцеловал. Расстегнул платье.

Вечером Машенька съела целое блюдо спелых желтых слив и ночью вдруг почувствовала рези в животе. Григорий едва успел соскочить с кровати. Сгорая от смущения и боли, Машенька голышом выскочила во двор и тотчас присела под стеной.

Григорий вынес ей простыню и достал ведро воды из колодца.

Пока она мылась, он курил ароматную папиросу, пахнущую донником, и что-то мурлыкал.

— С постелью нехорошо получилось, — со смехом проговорила Машенька. — Но я сейчас...

— Баба уже сделала все. — Он бросил окурочек в траву и закутал Машеньку в полотенце. — Богиня!

Утром она завтракала одна — Григорий обещал скоро вернуться. Из-за занавески за нею наблюдала одноухая женщина. Когда Машенька взялась за чай, женщина сказала:

— Деревня никак не называется. Мы-то ее для себя Берлогой зовем, а по-настоящему — О-ЭМ триста семнадцать дробь восемь. Женская колония. Восьмерка. После ликвидации кто куда разбежался, а нам было некуда, вот мы и остались здесь, с этими. Мужики они ничего и на нас согласны. Иногда привезут какую-нибудь урлу вроде тебя, ну так что ж, на то и мужики. Не бойся, не обидят. Они щедрые.

— А урла — это что?

— На музыке — краденая вещь. Но Грише ты про это не говори: он музыки терпеть не может.

— Музыки?

— Блатного разговора. Насидишься в тюрьге — такому языку научишься, что держись. Они-то не сидели, они народ промышленный...

— Так они меня украли? — Машенька была в восторге. — Надо же!

— Они щедрые, — повторила женщина, по-прежнему скрывавшаяся за занавеской. — Напоследок мы тебя в баньке попарим — и езжай себе своей дорогой.

Машенька благоразумно промолчала: вдруг почему-то мамин ежик под попой зашевелился.

Было в последних словах одноухой насчет баньки что-то недоброе или показалось, Машенька не успела понять: вернулся Григорий. С ним был златозубый Петр и молодой белокурый гигант с родинкой на лбу. Все были весело возбуждены и голодны. За столом говорили о чем-то непонятном, но Машенька не переспрашивала, вспоминая разговор с безухой

хозяйкой. И только улыбнулась Петру, когда тот сказал, что эту ночь она проведет с белокурым братом.

После белокурого она ночевала у Сергея, потом у Ивана, у жены которого были узкие острые щучьи зубы и костыль с узкой подушечкой, чтобы не натирало подмышку. В шестой дом ее не повели: там обитала одинокая женщина Мария с малолетним сыном.

Машенька поняла, что эти пятеро мужчин живут воровством и грабежом на железной дороге, перепродажей и скупкой краденого. Дело было опасное — Ивану даже пуля от охранника склада досталась, — но прибыльное. «Как в „Тамани“ у Лермонтова, — думала Машенька. — Только у Лермонтова это и страшно, и красиво». А здесь было красиво, может быть, лишь в первый день, а так — страшновато и скучно.

Иван, последний из братьев, которые конечно же никакими братьями не были, отнес ее чемодан в дом одинокой Марии, а Машеньку проводил в баню, где ее уже ждали пятеро женщин.

Они помогли ей раздеться, уложили на полок и облили душистой водой.

— Эх и тело у тебя, девка! — печально пропела Иванова жена, даже в бане не расстававшаяся с костылем. — Богиня, и богов тебе рожать. Ну а покамест мы тебя на прощание попарим.

И, пошире расставив узловатые больные ноги, сильно ударила Машеньку костылем по заднице. Четверо дожидавшихся своей очереди баб разом набросились на распластанную на полке девушку.

Очнулась она в незнакомой избе, с ног до головы укутанная в махровые простыни. Тело ныло от побоев.

— По лицу не трогали. — Над нею склонилась Мария — узколицая и смуглая хозяйка-одиночка, мать малолетнего мальчика. — Особо-то не шевелись и не реви. А я тебя сейчас разотру.

Она освободила Машеньку от простыней — девушка увидела свое тело и зажмурилась — и стала втирать в ее бедра, спину и плечи остро пахнущую мазь. Сильными руками бережно перевернула на спину и растерла грудь и живот. Дала попить.

— Если хочешь, можешь поплакать. Но лучше поспи.

Машенька выпила чаю и уснула.

У Марии она прожила почти две недели, лишь иногда выходя ночью во двор. Пахло спелыми яблоками и корнем айра, развешанным хозяйкой на узкой веранде. Со стороны железной дороги слабо потягивало креозотом и жженым углем.

Мария была женщина незлая, относилась к девушке по-доброму: «Ты красивая — я бы тебя и бесплатно выходила». Машенька рассказывала ей о родителях, Смущке и поездке в Крым.

— Крым! — Мария что-то вязала не поднимая головы. — Крым у нормальных людей дома, никуда ездить не надо. Я вот со своим, с отцом Михасика, пожила в своем Крыму после лагеря полтора года — до сих пор вспоминаю. Тоже вор был, как и эти... братья! Божатся, что не они его, а охрана на станции, — не верю: волки. Тот же Петр, золотой красавец, однажды от злости своей Катьке палец откусил. — Подняла голову и посмотрела на Машеньку с усталой улыбкой. — Настроение у него такое было, неудачно дело обернулось, а тут Катька под руку — он ее схватил и откусил ей палец. И выплюнул собаке. А Катька утерлась. Меня не трогают, я у них вместо лекарки, но и то бывает... — И добавила, как добила: — А Крыма на самом деле нету, Машенька. Он только на географической карте существует. А приезжаешь туда — вонь, дома, собаки, очереди за пи-

рожками, грязная вода — и больше ничего. На настоящих, секретных картах это место так и называется — Ничего.

— А дети у них у кого-нибудь есть?

— У Петра. Он его подальше от Берлоги держит, у бабки какой-то, а потом, говорит, в интернат сдам. Моему ровесник.

Сын ее Михасик был тихий дурачок лет шести-семи. Он мог часами сидеть у Машенькиных ног, слушая сказки, которые она рассказывала ему по памяти.

Перед сном Михасик раздевался донага, растопыривал руки и закрывал глаза.

— Машенька, глянь, какой Михасик красивый! — говорила со слезами в голосе Мария. — Чудо!

— Чудо, — соглашалась Машенька. — А почему с закрытыми глазами, Михасик?

— С открытыми я некрасивый, — отвечал мальчик.

Иногда он ложился спать с Машенькой. Ему очень нравилось, когда девушка, пожелав ему спокойной ночи, целовала его в губы. После этого он мгновенно засыпал.

— Хотела бы себе такого? — спросила Мария. — Ну, не дурачка, конечно, а — такого. Маленького, сердечненького...

Машенька кивала. Да, маленького и сердечненького — хотела, хотя никогда раньше об этом не задумывалась.

В ночь перед отъездом наконец развязали веревку и открыли чемодан — Машенька ахнула: братья щедро расплатились с нею дорогой одеждой и пятью золотыми ложками.

— И мою возьми, — потребовал Михасик, протягивая Машеньке ярко блестящую серебряную ложечку.

Мария покивала — Машенька взяла, поблагодарив Михасика поцелуем. Мальчик разулыбался, а Мария, схватившись за лицо обеими руками, быстро вышла из дома.

Рано утром приехал на мотоцикле улыбающийся золотыми зубами Петр. Он должен был отвезти Машеньку к поезду.

— А хозяйка где?

Хозяйку нашли в рощице, спускавшейся к оврагу. Петр снял ее с дерева и отнес в дом.

— Видишь ты, — задумчиво проговорил он, — и твоя веревка сгодилась. Но это уже не твое дело.

— А что же с Михасиком будет? — спросила Машенька, стараясь не смотреть на тело Марии, кулем лежавшее в углу с веревкой на шее и высунутым языком. — Он же погибнет один.

— Может, и погибнет, — пробормотал Петр. — А может, и нет. Цыганам его сдать, что ли? Им всегда дети нужны, а тут настоящий дурачок — денежное дитя...

— А если я... — Машенька запнулась, но выдержала тяжелый взгляд Петра. — ...я его с собой возьму? Мы с Марией договорились: в случае чего я его себе возьму...

Петр усмехнулся:

— Врешь, конечно. Просто поймала она тебя. Давно хотела на себя руки наложить, да за мальчишку боялась. А ты на мальчишку клюнула. Ну да дело хозяйское. Садитесь в коляску оба. А я бабам по пути крикну, чтоб прибрали ее.

— Вережку верни.

— Чего? — Петр вдруг отвернулся. — Верну. Чужого имущества не надо.

Машенька вернулась домой ночным поездом. Встречала ее одна Смушка, по такому случаю вырядившаяся в яркое платье и даже прошедшая сапожной щеткой с черным гуталином по седым ресницам.

Она приняла чемодан и полусонного мальчика.

Поцеловались — со свиданьем.

— Мальчик-то чей?

— Мой.

— Вижу, что твой, — рассердилась Смушка. — Но — чей?

Маша с улыбкой пожалала плечами.

Смушка вздохнула, выдохнув облачко черной угольной пыли.

— Вот тебе и Крым.

Узнав про мальчика и не обнаружив у Машеньки знаменитого крымского загара, люди вслух засомневались, была ли девушка в раю. Тогда она при свидетелях пошла в рентгенкабинет, где обезьянка Цитриняк по всем правилам поставила ее где полагается и включила аппарат.

— Вот сердце, — ткнула пальцем в экран мадам Цитриняк. — Точь-в-точь Крым. Мыс Тарханкут. Сарыч. Чобан-Басты. И даже Такиль различим. — Палец врача замер на темной узловатой полосе, двинулся севернее. — А тут жила моя бабушка. — Она вздохнула и закурила папиросу, что строжайше было запрещено в больнице. — У нее был красивейший дом на склоне горы, а вокруг сады... Татары называли ее усадьбу «Карылгачлар дуасый» — «Молитва ласточек». Поэты... Но ласточек там гнездились и впрямь много.

Когда посторонние тихонько разошлись, мадам Цитриняк выпустила густой клуб дыма и задумчиво сказала Машеньке:

— Я не знаю, как называется этот новый горный хребет на карте Крыма, но у кардиологов это именуется инфарктом. Ты меня поняла, девочка?

Машенька кивнула: да.

— Клавдия Лейбовна, неужели души и в самом деле нету?

— Есть. Поэтому и не видать ее на рентгено снимках. На пленке только смертное запечатлевается, а душа бессмертна. Из-за этого она так и неудобна людям. Как твой ежик. Что-то ведь не позволяет людям в скотов превращаться. Не страх же — это было бы вовсе глупо. Ежик и мешает. Его на самом деле нет, а — мешает. Я тебе больше скажу: пока человек бессмертен, он и жив. — Она погасила папироску в чашке с холодным чаем. — Не бойся меня, девочка. Просто к старости все обезьяны сходят с ума. Мне уже не нужно ничего знать, потому что я все помню. Это и называется старостью.

Зимой Михасик сильно заболел. Родившийся и выросший на юге, он свалился в страшной горячке из-за сырых морозов, неважного питания и плохой одежды. Вдобавок нужны были лекарства, много лекарств.

Машенька сняла все деньги со сберегательной книжки, но этого оказалось мало. Тогда она отнесла в скупку «берложьи» ложки.

— Пять золотых, — определил скупщик, — но шестая-то — алюминиевая, миленькая. Красиво, конечно, изукрашена, но — алюминиевая.

Машенька вдруг обрадовалась:

— Вот и хорошо, что алюминиевая! А я-то, дура, думала, что серебряная!

И, схватив деньги, весело помчалась домой, где ее ждал мертвый Михасик, тело которого успело затвердеть, как глина на морозе.

С кладбища Машенька возвращалась об руку со Смушкой.

— Ты б только глупостей не наделала, — проворчала старуха. — А то у вас в семье чуть что — и в омут...

— Я ж кошка, — смиренно ответила Машенька. — А у кошки девять смертей. Я только две прожила — докрымскую и послекрымскую. Теперь надо третью начинать.

Смушка недоверчиво посмотрела на нее, но промолчала.

Вернувшись домой, Машенька повесила на стенку рядом с автографом Достоевского рентгено снимок своего сердца в рамочке, а ложечку спрятала в коробку, где хранился билет до станции Симферополь. Легла спать. Слезы уже были все выплаканы, одинокой она себя почему-то не чувствовала. Она долго лежала без сна, глядя в потолок, думая о Михасике, наконец с улыбкой закрыла глаза: с закрытыми глазами люди красивее. И сердце не так сильно болит. В раю боли нет. Впереди еще столько жизней и столько смертей. Карьлгачлар дуасый. Вечный ежик, согревшись, уснул. Спи, Машенька, — бессмертная, пока живая...

На ночь она привязывала себя за ногу к спинке кровати «висельной» веревкой: каждую ночь ей снилось, будто могучий порыв ветра ее спящую возносит на небо, в бездну то ли райскую, то ли адскую, — а она хотела остаться на земле.

ЧУЖАЯ КОСТЬ

После двух ожесточенных штурмов и прорыва танкистов к дорогам на Кёнигсберг поредевший полк майора Лавренова оставили в тылу, а его самого наскоро назначили комендантом взятого городка у слияния рек Прегель и Алле, — да какой городок — горы битого кирпича, над которыми еще не рассеялись клубы дыма после двухдневного артобстрела и массированного налета английских бомбардировщиков с Борнхольма.

Майор занял более или менее сохранившийся дом пастора, где дожила свой век полуслепая старуха-вдова, — массивное двухэтажное строение красного кирпича, с просторным кабинетом, уставленным книжными шкафами, и просторной же гостевой спальней наверху, обычно пустовавшей и служившей хранилищем для яблоч, сложенных в прорезные ящики. Старуха пообещала привести свою племянницу, которая приготовит спальню и будет прислуживать господину майору, если тому будет угодно.

— Три дня отдыха, — приказал Лавренов своему начштаба. — И готовься к приему пополнения. — Он остановился перед книжным шкафом, провел пальцем по тускло-золотому корешку.

«Historia calamitatum mearum» — «История моих бедствий» Пьера Абеляра. Рядом том Грегара «Lettres complète d'Abelard et d'Héloïse».

— Любопытно. Но холодно. Пусть затопят камин... или что тут... печки?

Он поднялся в комнату с незанавешенными окнами, в которые било яркое весеннее солнце, где головокружительно пахло яблоками, отодвинул ящики, снял шинель и сапоги и в одежде лег ничком на широкую деревянную кровать, уткнувшись лбом в резную высокую спинку, и мгновенно заснул.

Он спустился вниз под бой часов.

Из кухни пахло едой.

Рослая синеглазая девушка с широким лбом и бледным лицом, окаймленным чуть вьющимися каштановыми волосами, расставляла приборы на столе, накрытом чистой скатертью, и при виде майора сделала книксен.

— Надо перевести часы, — хмуро сказал майор. — Разница с Москвой — час сорок девять минут.

Девушка кивнула.

Пасторша больше мешала, чем помогала повару, который, вполголоса чертыхаясь и легонько отталкивая старуху локтем, быстро разложил еду по чистым тарелкам.

— Свободен. И дай им чего-нибудь... консервов, масла, сгущенки, хлеба... и мыла!

Он налил из своей фляжки в узкий хрустальный бокал, залпом выпил и, не обращая внимания на женщин, набросился на еду. Старуха и ее синеглазая племянница с интересом наблюдали за тем, как майор ловко управляет с ложкой, вилкой и ножом: наверное, они были убеждены, что варвары едят руками.

Солдаты принесли консервы и мыло.

Старуха, наконец сообразив, что все это ей и племяннице, принялась путано благодарить господина офицера, который после сытной еды и выпивки — он пил чистый спирт — сонно смотрел на ее испятнанное мелкими родинками лицо.

Девушка спустилась в столовую и с книксеном сообщила, что приготовила спальню для господина майора.

— Как вас зовут? — Он налил себе еще спирта и выпил, после чего наконец закурил папиросу.

— Элиза, — ответила пасторша. — Ее предки из старинной гугенотской семьи... — Старуха вдруг улыбнулась: — Настоящее ее имя — Элоиза.

— Вы замужем?

— Нет, господин офицер. Мой жених погиб на фронте. В Африке.

Он смотрел на нее тяжелым взглядом.

— Помойте ноги.

Девушка посмотрела на тетку, но та лишь пожала костлявым плечиком.

— Здесь, — уточнил майор, пыхнув папиросой. — Пожалуйста.

Девушка принесла в тазу теплую воду, чуть приподняв юбку, села на табурет и осторожно опустила узкие ступни в воду. Сжав юбку коленями, стала намыливать ноги.

Майор не шелохнувшись наблюдал за нею.

Наконец она вытерла ноги полотенцем, которое принесла из ванной старуха, надела туфли и посмотрела на офицера. Он выпил спирта и встал:

— Спасибо. Я пойду спать.

— Il s'est insensé¹, — прошептала старуха.

— Il est peu probable, — возразил майор, уже ступивший на лестницу. — Je suis le dernier des hommes... homme épuisé... seulement, mademoiselle Héloïse... Просто у вас очень красивые ноги. Très joli².

Широкая кровать с аккуратно — углом — откинутым одеялом слепила белизной белья. Чертыхнувшись, Лавренов разделся и лег под пуховик.

Пахло яблоками.

Майор заснул.

На следующий день за завтраком пасторша, не поднимая глаз на офицера, смущенно проговорила:

— Господину майору, вероятно, нужна женщина. Элиза...

— Не нужна. — Лавренов мотнул головой. — Ни вы, ни Элиза, ни черт, ни дьявол...

— У меня есть сестра, — донесся сверху голос Элизы, которая, убрав в комнате майора, вышла на галерею, опоясывавшую столовую на уровне второго этажа. — В отличие от меня она стройная, худенькая и...

Майор закурил и с интересом уставился на Элизу. Лицо ее было бесстрастно.

— Милые дамы, — наконец сказал майор. — Я трижды ранен и дважды тяжело контужен. Мне хочется спать, и мне не нужна женщина вооб-

¹ Он сумасшедший (франц.).

² Вряд ли. Я последний человек... исчерпанный человек... всего-то навсего, мадемуазель Элоиза... Очень красивые (франц.).

ще. Моя жена и дочь погибли в блокадном Ленинграде от голода. Соседка рассказала мне, что, когда девочка просила есть, жена слегка надрезала вену и давала ей попить теплой крови, а потом аккуратно заклеивала ранку. До следующего раза. Их похоронили в огромной братской могиле. — Он помолчал, задумчиво глядя на кончик дымящейся папиросы. — Я не думаю, что в этом виноваты вы или даже ваш африканский жених, фройляйн. Война... — Он встал. — Извините, но я ранен в голову и хочу спать. А продукты и мыло у вас будут и без этого... и у вашей сестры тоже... Извините.

Так и не сообразив, за что он только что извинился, майор поднялся наверх, старательно обогнув замершую на галерее девушку, и лег спать поверх покрывала.

— Полчаса, — шепотом скомандовал он себе. — Тридцать минут.

Весь день он провел на железнодорожной станции, куда прибывали наступающие части, пополнение и где танкисты развернули свою вторую ремонтную базу. Вместе с главным врачом дивизии решали, где лучше расположить госпитали.

— Один — в бывшем военном училище: на крыше башенка с птицей, узнаете, — распорядился Лавренов, — другой — за водонапорной башней у переезда, метров двести — двести пятьдесят по мощеной улице от тюрьмы. Третий — в ста метрах от собора, два целехоньких здания под такими крышами-колпаками... к ним надо только дорогу расчистить... Куравлев!

К нему подбежал офицер с капитанскими погонами.

— Пополнения нашего уже сколько?

— Две роты, товарищ комполка.

— К церкви на расчистку подъездных путей для дивизионного госпиталя! Привлеките местное население, Куравлев, и заплатите им за работу... ну, едой, конечно...

С начальником штаба на всякий случай проехал до магистрального шоссе, откуда полку было приказано в течение часа-полтора выйти на северо-восточную окраину Кёнигсберга.

— Час-полтора. — Лавренов покачал головой. — По таким дорогам можно. И сразу в ад, Николай Игнатьич.

— Как учили, Петр Иванович. На макете в штабе армии нам показывали всю эту механику — я доложу. Там никаким полкам или батальонам не развернуться, приказано сформировать штурмовые группы разной численности для действий против фортов и других укрепсооружений. Чем и занимаюсь.

— Что население?

— Женщины, дети, престарелые. Мужчин призывного возраста — ни одного. Город — сами видите... распахали мы его будь здоров...

— Вижу. Ну а через час-полтора кто нас встретит с шампанским?

— Хозяева те же, Петр Иванович: дивизия СС «Мертвая голова».

— Мистика, Николай Игнатьич, но ничего не попишешь: придется нам оторвать голову «Мертвой голове».

Он вышел из машины возле будущего госпиталя. Подъезды к зданию были почти расчищены, женщины — среди них он разглядел и пасторшу с Элоизой — подметали дорожки.

Огибая кучи битого камня, он вошел в собор. Стены здания в нескольких местах были пробиты снарядами, фрески на стенах сбиты пулями, крышу с башни сорвало взрывной волной.

— Этот храм построен в пятнадцатом веке, — услышал он голос пасторши за спиной. — Война... она не щадит искусство...

Он обернулся. Рядом с пасторшей была Элоиза в сером пальто и черном берете.

— Искусство опасно, потому что оно больше жизни. — Он вдруг усмехнулся. — Но собор мы разбабахали, конечно, вовсе не поэтому. Вы правы: война.

— Германские солдаты причинили горе многим русским, и вот вы здесь. Это возмездие. — Старуха посмотрела на исковерканный взрывами пол и стены. — Мой муж умер еще в сентябре прошлого года, он ничего этого не видел.

— Мы убиваем врагов. — Майору с трудом давался этот разговор. — Но хотелось бы не забывать, что мы воюем не на Луне, где можно ничего не жалеть... наверное... Некоторым кажется, что война — это не просто другая жизнь, это другой мир. Луна или Марс. И трудно помнить, что это тот же мир, в котором ты родился и будешь жить после войны. Если выживешь. Тот же. — Он только сейчас заметил коробку на земле. — Это что у вас?

— Русский офицер сказал, что это наша плата за работу: консервы и мыло, — наконец подала голос Элоиза.

Майор молча подхватил коробку и зашагал к пасторскому дому.

К ужину он спустился умытый, гладко выбритый и пахнувший одеколоном.

— Если у вас есть какой-нибудь компот, можно разбавить, — пробормотал он, наливая в фужеры спирт. — Или варенье.

Залпом проглотив спирт, принялся за еду.

После ужина потянуло в сон, но, глянув на часы, решил повременить.

— Как отсюда добраться до реки? С моста я видел шлюз, дамбу...

Женщины переглянулись.

— Я покажу, если можно. — Элоиза встала. — Только надену пальто.

Когда они пробрались через развалины и вышли на топкий луг, упирившийся в дамбу, майор с кривой улыбкой проговорил:

— Слушайте, что вы спотыкаетесь, как корова... Возьмите же меня под руку! Или вам нельзя?

Она молча взяла его под руку.

Они поднялись на дамбу.

Внизу быстро несла свои воды чешуйчатая Прегель, освещенная заходящим солнцем.

— Господин пастор говорил, что храмы строят люди, они же их и разрушают, и в этом нет ничего страшного, — сказала Элоиза. — Герострат разрушил храм Артемиды Эфесской, ну и что? Дело даже не в том, что им владела безумная идея, и не в том, что потом греки на месте разрушенного построили еще более красивый храм... — Она вдруг замолчала.

— А в чем?

— Я вдруг подумала, что для многих из тех, кто видел первый храм, но не смог увидеть второй, первый остался прежним чудом... прекрасным... Я даже думаю, что могли найтись люди, которые нарочно не пошли любоваться новым храмом, чтобы не разрушить образ, сохранившийся в памяти...

— Потому что образ прекраснее здания, которое можно потрогать руками, — сказал майор. — Материальная красота тленна. Иная — бессмертна. Но ведь люди смертны, Элиза. Правда, есть такая штука — память, — тотчас перебил он себя. — Мы до сих пор знаем о Герострате и о том, что сожженный им храм был одним из чудес света. Остальное довершает наше воображение... Тысячи образов прекрасного, может быть, даже не похожего на исчезнувший оригинал и тем более — друг на друга, но все эти образы и есть прекраснейший храм Артемиды, то есть образ красоты... Извините! — Он с трудом прикурил, повернувшись спиной к ветру. — После ранений в голову... мне дважды делали трепанацию черепа и хотели списать из армии к черту... но во второй раз хирург что-то придумал и заделал от-

верстие костной пластиной... чужой костью... — Он с усилием улыбнулся Элоизе. — Когда я его спросил, чья это кость, он довольно сухо ответил, что не интересовался ее происхождением — национальностью и прочим... его интересовали только краниометрические данные... Я математик, до войны был учителем математики, поэтому все эти термины запоминаю с ходу... Иногда бывают жуткие боли, особенно когда не выспишься, — спиртом лечусь, а до войны пил только шампанское... вино «Северное сияние»... ну, да вы не знаете...

— А третий раз? Вы говорили, что вы трижды ранены.

— Это не имеет отношения к голове. — Он взял ее под руку. — Что еще говорил ваш пастор? Он говорил, что фокус, который прошел с храмом в Эфесе, не проходит в случае с природой? Она сама себя делает... Разве что с людьми... но тут такие фокусы...

— Вы вспоминаете жену?

— Нет, дочку. Извините, не жену. Почему я перед вами извиняюсь? Черт возьми, только потому, что ваш жених погиб в Африке, а не под Ленинградом... наверное... Простите. Ваш жених тут ни при чем, конечно. Как и моя жена.

— Мы даже не целовались, — сказала Элоиза. — Вас зовут Петером?

— Петром. Петр — значит «камень». На котором зиждится здание Церкви Христовой. Петр. А вы Элоиза. Чушь, Господи! Завтра-послезавтра Пьер Лавренов отправится на свидание с братьями во Христе из дивизии СС «Мертвая голова» — и что останется? Что будет? Речка останется. Чешуя золотая. Кто-то увидит, вот вы видите и запомните, а я не вспомню, потому что убьют... Тьфу!

Он сердито погасил окурок носком сапога.

— Знаете, пойдете домой... то есть к старухе... Зря я вас потащил сюда... Женщины мне противопоказаны, как видите: начинаю нести чушь... Слава Богу, все скоро кончится, восстановите свой собор — прикроете срам, так сказать, вернетесь к книгам и картинам... Сказал же как-то ваш Ницше, что искусство существует для того, чтобы мы не умерли от правды. А мне предстоит как раз за нею и отправиться, за правдой, и со своей правдой меня встретят парни из «Мертвой головы»... Надо выпить. Отвернитесь!

Она послушно отвернулась. Он снял с пояса флягу и сделал несколько глотков. Закурил. Присел на корточки у стены собора.

— Сколько глупостей могут наговорить друг другу люди, встретившиеся всего-то на несколько часов... Чужая кость, наверное, дает о себе знать. Иногда я с нею разговариваю... не с костью, то есть, а с тем, кому она когда-то принадлежала... Опять глупости!

Она присела рядом.

— Но еще хуже, если люди эти глупости промолчат. — Улыбнулась. — Вся жизнь будут жалеть, что промолчали. Если хотите, я могу и сегодня помыть ноги с мылом. Вам понравилось?

Он проснулся от нового запаха — от нее пахло солдатским мылом и какой-то душистой травой. Он взял ее за руку — теплая.

— Спасибо, Элиза, но все-таки не надо этого делать... наверное... Дело не в жене и не в дочери, дело вообще не в женщинах и не в чужой кости, даже не в памяти...

— Я знаю, в чем дело, — сказала она. — Но я не знаю, почему я хочу помочь тебе. Я хочу, Петер. Очень. Положи мне руку на грудь...

— Элиза...

— Я боюсь, что завтра ты уедешь, а я ничего не успею... Я хочу быть больше жизни. Больше своей жизни. Больше твоей жизни. И я не хочу, чтобы ты умирал.

Он положил ладонь на ее лицо — оно было мокрое.

— Ты такая красивая, девочка... Мы ведь даже не успеем влюбиться... Да ведь ты уже и поняла, что я просто не могу...

Она осторожно провела рукой. Ладонь замерла.

— Третье ранение... У меня много времени. Сейчас я до разрыва сердца хочу быть с тобой. Чтобы потом думать о тебе, ждать тебя, чтобы опять... Разве это невозможно? Я не хочу, чтобы ты уничтожил себя. Вот так, пожалуйста... да, милый... да...

Она разбудила его до рассвета.

— Ты улыбался во сне. Господи, как райски пахнет яблоками! Мне уйти?

— Нет. Сколько будет, если четыре тысячи восемьсот двенадцать умножить...

— На тысячу девятьсот сорок пять! — Она показала ему язык. — И что, господин математик?

— Восемь миллионов девятьсот пятьдесят девять тысяч триста сорок. Я люблю тебя.

— Ты говоришь это на всякий случай?

— Нет. Теперь я не умру. Я это вдруг понял: теперь я никогда не умру. Значит, я люблю тебя.

За ужином, выпив спирта, он весело объявил, что ночью полк покидает городок.

Пасторша перевела взгляд с майора на Элоизу и тихонько выползла из-за стола.

— Я никогда не умру. Ты тоже.

Она сидела прямо и в упор смотрела на него своими синими глазами.

— Лиза!

Она встрепенулась:

— Я сейчас.

Она принесла из кухни таз с горячей водой, скинула туфли и стала мыть ноги. Он курил, глядя на ее колени.

— Я провожу тебя, — наконец сказал он, когда она, тщательно вытерев ноги, надела туфли и встала.

— Не надо. — Она достала из сумочки крошечный никелированный револьвер. — Видишь, я смогу постоять за себя.

— Вот глупости. — Он покачал головой. — Любой патруль расстреляет тебя на месте, если найдут в сумочке эту игрушку. Я провожу тебя. Болит голова. — Выпил чуть-чуть. — Какая луна, черт возьми.

Когда они вошли в тень собора, она взяла его под руку.

— О чем ты сейчас думаешь?

— О том, что я не умру от правды. Сними пальто, пожалуйста.

Они остановились в начале проулка, густо обсаженного деревьями, освещенные яркой луной. Не выпуская сумочку из рук, она сняла пальто и посмотрела на него. Высокая, синеглазая, пахнущая мылом и еще чем-то душистым.

— Яблоки, — сказал он. — От тебя пахнет яблоками.

Он выстрелил в нее дважды. Она без крика упала навзничь — сумочка с сухим стуком упала на плоский камень.

— Товарищ майор!

К нему бежали солдаты во главе с капитаном Куравлевым в распахнутой шинели.

Он убрал пистолет в кобуру.

— Товарищ майор... — Куравлев схватил Лавренова за плечи. — Что с вами, Петр Иваныч? Там немцы... что с вами?

Один из бойцов присел рядом с женщиной, расстегнул сумочку и показал револьвер.

— Тихоня-красавица, а?

Капитан вдруг напрягся.

— Любавин, выстрели из этой штучки в небо. Ну!

Боец встал и с усмешкой выстрелил из никелированного револьвера в луну. Раздался громкий хлопок.

— Это не обязательно, Куравлев, — хрипло сказал майор. — Надо вот что...

— А теперь бегом! — закричал капитан, хватая комполка за рукав. — Там немцы прорвались!

— Да погоди же! — Майор вырвался. — Надо же...

Но тут он наконец понял, что это не кровь грохочет в его голове — это были раскаты оружейной пальбы, грохот, приближавшийся к городку со стороны магистрального шоссе.

— Товарищ командир полка! — Куравлев взял под козырек. — Части дивизии СС «Мертвая голова» неожиданно перешли в контрнаступление. Автомобильный марш отменяется. Наши танкисты уже выдвигаются. Нам приказано... — Махнул рукой. — Покушение у нее не получилось. Вот ваша шинель, фуражка, машина за углом, бегом, товарищ майор! Бегом!

Снаряд попал внутрь собора — взрывом качнуло башню, обломки кирпича с шуршанием и свистом фонтаном ударили в кроны деревьев. Ветка липы, сорванная взрывом, накрыла тело женщины.

На улице, ведущей к госпиталю, горели два подбитых танка — «тридцатьчетверка» и «тигр». Из темноты, со стороны дамбы и моста, вываливалось месиво немецкой пехоты. Из-за собора и по улицам, ведущим к центральной площади, за танками густо шла русская пехота.

— Огнеметы! — закричал Лавренов. — Огнеметы туда, в развалины! — Выстрелил с колена в приближавшихся эсэсовцев. — Восемь миллионов девятьсот пятьдесят девять тысяч триста сорок! Огонь! В атаку! За мной! За мной!

— Поздно, братцы, — сказал начальник госпиталя, накрывая тело Лавренова простыней. — Как он раньше выживал, не знаю. Но сейчас — все.

— Кончился, значит, род Лавреновых! — крикнул капитан Куравлев, которому медсестра меняла повязку на голове. — Жена с дочкой в Питере погибли, никого у него не осталось, похоронку писать некому. — Вспомнил вдруг синеглазую женщину в проулке за собором — зажмурился. — Некому и некуда.

В своем трактате «Scito te ipsum» Пьер Абеляр писал: «Любовь чаще всего представляется нам силой невоплощенной, а то и иллюзорной, но поскольку творение Божие без нее неподвижно, она существует как сила, объединяющая плоть и дух в том вечном неостановимом движении, которое мы называем Богом. Она может быть материальной или иллюзорной, но она *всегда* — реальна». Мартин Хайдеггер в «Бытии и времени» утверждает: «Времяпроявление не означает „смены“ экстатических состояний. Будущее *не позднее* бывшего, а последнее не ранее настоящего». По существу, ему вторит Жан Гебзер: «Настоящее время — это не просто теперь, сегодня, в данный момент. Это не часть времени, а целостное свершение. Кто пытается истоки и настоящее время свести к целому в действии и действительности, тот преодолет начало и конец».

Майор Лавренов действительно любил Элоизу Прево. И убил ее, руководствуясь — быть может, впервые в жизни — безупречно чистой логикой

любви, которая бывает только любовью навсегда, то есть первой и последней, единственной, без начала и конца, и движимый, может быть, тем темным и сильным, что жило в нем против его воли и было сильнее его, сильнее жизни вообще, — как и живет в человеке неумирающая любовь, которая прежде и больше жизни и не умирает потому, что она-то и есть правда, пусть и иллюзорная, но реальная. Всегда. И не обязательно, чтобы это была наша реальность...

СВИНЦОВАЯ АННА

— Анна Ионовна является Фобосом и Деймосом нашей школы, — с боязливой улыбкой говорил учитель астрономии Марков, когда Свинцеровой не было поблизости. — Ей бы в мужья Марса помордатею да подрачливее. Но ведь если такая и выйдет замуж, то обязательно за соплю сопливую, тлю подкаблучную... Таков закон природы!

Но в природе пока не встречалось ни сопля сопливой, ни тли подкаблучной, которые поспешили бы предложить руку и сердце угрюмой школьной уборщице Анне Ионовне Свинцеровой, даме мрачной, носившей грубые мужские ботинки, темно-коричневые юбки до пят и черные кофты ручной вязки. Из-под надвинутого на лоб коричневого в клеточку платка она взирала на мир такими бесстрастными глазами, что мир с его людьми и машинами сворачивался до той главы в учебнике зоологии, где рассказывалось о бессмысленных насекомых.

Дети боялись черно-коричневой Анны Онны, которую за глаза звали Свинцовой Бабой или в лучшем случае Свинцовой Анной. С утра до вечера она подметала и мыла школьные коридоры, классы, туалеты, не пропуская даже крашенные стены, на которых ученики при помощи мела упражнялись в знании русского языка и анатомии женского тела. Стоило ей пройтись со шваброй по коридору, как звучал звонок, и сотни беспоконных созданий с криком вырывались на перемену, бездумно растаптывая только что надраенный до блеска порядок. Сцепив зубы и едва удерживаясь от стона, Анна Ионовна замирала где-нибудь в углу, но на виду, переживая каждый след на полу как оскорбление мирового порядка и совершенно не понимая, почему все эти создания так быстро передвигаются, вместо того чтобы, робко прижимаясь к стенам, тихонечко проследовать по нужде — в буфет или в туалет, — а остальным и вовсе не следовало бы покидать классы беспричинно. Нельзя же признать причиной желание десять минут угорело носиться по школьному двору, чтобы, испачкав обувь и ничего полезного так и не сделав, вернуться за парту. Когда недоумение ее достигало точки кипения, она хватала какого-нибудь особенно шустрого мальчишку за плечо и свинцовым своим голосом говорила: «Ну что ты носишься, будто жопу потерял!»

В благодарность за десятилетнюю безупречную службу ей в торжественной обстановке вручили почетную грамоту и огромную, размером с годовалую хулиганшу, куклу в ярком нейлоновом платье и с алым бантом в золотых волосах. Анна Ионовна смущенно приняла грамоту и неловко взяла куклу, которая вдруг закрыла стеклянные глаза и внятно выговорила по слогам: «Ма-ма». Свинцерева заплакала и ушла домой, смутив директоров и учителей.

— А ведь ей всего двадцать шесть, — задумчиво сказал учитель астрономии. — Ни мужа, ни детей, ни радости. Космос!

В безвоздушном пространстве, в котором Анна Ионовна путешествовала молча и с бесстрастным выражением лица, у нее был маленький домишко за кладбищем, где она жила с сумасшедшим братом, которого приходилось кормить с ложечки и который делал под себя. Как только наступали теплые дни, Свинцерева выносила брата в садик, где и оставляла на

весь день в деревянной клетке под замком. От дождя и птиц брата спасал кусок толя, приколоченный поверх решетчатого потолка. Дареную куклу она в тот же день заперла вместе с братом. Он тотчас обрадованно обнял подружку и задрал ей нейлоновое платье. Анна Ионовна передернулась, увидев перекошенное разочарованием лицо стареющего мужчины, и поспешила убраться в дом.

В доме не было ни собак, ни кошек, ни даже цветов на подоконниках. По возвращении со службы Свинцерева первым делом бралась за веник и тряпку, чтобы оживить успокоившийся было идеальный порядок, и лишь после этого — ужинала. Хлеб — чтоб не черствел — держала в холодильнике, а чай пила только остывший, неделями заливая одну и ту же заварку: ей было все равно — что свежий, что «женатый». Иногда она выбиралась в кино, но всякий раз зажмуривалась, а то и выбегала из зала, если на экране мужчины и женщины вдруг начинали прижиматься друг к дружке губами или, не дай Бог, принимались прилюдно — на глазах у зала на четыреста мест — заниматься тем, чем с таким же бесстыдством занимаются собаки, быки с коровами и кони с кобылами. Других примеров Свинцерева не знала. В общественную баню она не ходила — мылась дома. Не появлялась и на речных пляжах. И даже летом не снимала своего черно-коричневого облачения.

— Почему ты не выходишь замуж? — допытывалась Буяника. — В Бога ты не веришь, значит, непорочное зачатие не для тебя. Наказывать тебя Богу не за что, но ведь и награждать — тоже. Кто-нибудь из мужиков да нашелся бы. Даже для тебя.

— Насмотрелась, как отец с матерью жил, — сухо отвечала Анна Ионовна.

— А она с ним не жила, что ли?

— Она с ним не жила. Как-то он приревновал ее к соседу и посадил в клетку. Гольшом. Хорошо, еще лето было. Утром и вечером ссал на нее и приговаривал: «Пей, если не хочешь мокрой жить». И меня сажал на клетку сверху и заставлял писать. А мне было года три или четыре...

Брат наконец-то отмучился. Похоронили его за стеной, отделявшей двор Свинцеревых от кладбища. В клетке осталась одна кукла — она лежала на спине в замызганном платье, с алым бантом в растрепанных золотых волосах и с закрытыми стеклянными глазами. Убирать ее Анна Ионовна не решалась — а вдруг откроет страшные очи и промычит: «Ма-ма»?

Больше всего в жизни Анна Ионовна любила натирать паркетный пол в школьном актовом зале. Делала она это поздно вечером, когда в школе никого не было. С огромным куском белого парафина в руках она на четвереньках часа полтора-два ползала по залу, после чего разувалась и, надев на ноги щетки с прибитыми сверху жесткими кожаными тапками, принималась доводить паркет до зеркального блеска. Включив все люстры и бра, она с закрытыми глазами блаженно скользила по залу, который к полуночи уже полыхал, как гладкое озеро при полной луне. Иногда она напевала что-то вполголоса, но ни видеть, ни слышать ее никто не мог: Анна Ионовна запирала зал изнутри, а взломать черные дубовые двери старинной работы можно было разве что при помощи стенобитного снаряда. Зал находился на третьем этаже, но высокие стрельчатые окна Свинцерева на всякий случай закрывала плотными черными шторами, которые опускались обычно лишь раз в неделю, когда здесь бесплатно показывали кино — с балкончика, нависавшего внутри над входом, из просторной кинобудки, куда можно было проникнуть через отдельную дверь по железной винтовой лестнице.

Надраив пол до блеска и совершенно не ощущая усталости, Анна Ионовна скидывала тапки-щетки и с певучим «и-раз-два-триии!» разбега-

лась и прыгала, в полете делая шпагат и приземляясь на правую ногу и замирая на несколько мгновений с раскинутыми руками и вытянутой левой ногой, как это делала одна балерина в кино.

— Спину доской и смотреть выше носа! — услышала она голос сверху. — Ноги-руки не дрожат, а молча поют!

Она узнала голос учителя пения и танцев Михаила Любимовича Старцева и, не оборачиваясь и сжавшись, с жутким воем бросилась к дверям, возле которых аккуратно, носок к носку, ждали ее ботинки с тщательно разложенными шнурками.

Дома, заперев двери и окна, она забралась под суконное одеяло и всю ночь бессонно продрожала, сунув голову под подушку и лишь изредка в отчаянии выстаннывая: «Господи Боже мой!..»

Михаил Любимович Старцев утверждал, что предки его были бродячими артистами, а сам он выступал в столичных театрах оперы и балета и не умеет жить в городках вроде того, в который его каким-то бесом занесла судьба. Но поскольку слова его разили перегаром, а через прореху в неглаженной рубашке виднелось вислое брюшко, люди тотчас утратили к нему всякий интерес. Он снял комнату у Граммофонихи, по вечерам напивался в Красной столовой, где, впрочем, под гармошку Кольки Урблюда однажды с чувством исполнил арию Варяжского гостя и без аккомпанемента — песню про сатану, который правит бал, пока люди гибнут за металл. В конце концов ему дали место учителя пения в школе, где он заодно вел кружок танцев и руководил хором. Иногда по пьянке Михаил Любимович заглядывал к женщинам, имена которых в городке давно стали нарицательными.

Анна Ионовна всегда сторонилась Старцева, а после того случая в актовом зале, едва почуяв — нюхом — его приближение, пряталась в заброшенном склепе на кладбище, где завхоз хранил ведра, метлы и запасы мела. Она садилась на мешок с мелом в темном углу и тупо ждала, когда уляжется стыдное волнение и она сможет, заперев на висячий замок чугунные двери склепа, вернуться в школу.

Но бес не оставил ее в покое и на кладбище.

— Можешь не отвечать, но выслушай, — услышала она голос Старцева за чугунной дверью. — Я могу научить тебя танцевать, данные у тебя есть, хотя заниматься этим начинают лет в пять, а то и раньше. Только не в сорок. Сегодня суббота, вечером у меня хор. Если хочешь, приходи завтра вечером. Обещаю: пальцем не прикоснусь. А не хочешь — как хочешь. Только платье другое надень: в картофельных мешках не танцуют.

Ночь с субботы на воскресенье Анна Ионовна не спала. Она дрожала то от гнева («Сорок лет! Картофельный мешок!»), то непонятно от чего.

Еще не рассвело, когда она с бумажным свертком в руках проникла в школу, поднялась в актовый зал, заперлась изнутри и принялась надраивать пол. Несколько часов кряду она работала с таким неистовством, с таким остервенением, что выбилась из сил. Спрятавшись за плюшевой кулисой на сцене, подложила под голову бумажный сверток и уснула. Ей приснился Михаил Любимович, который с кряхтением снимает ботинки, пропотевшие носки и со стоном облегчения шевелит пальцами. От ужаса она проснулась и услышала голос с балкона:

— Анна свет Ионовна! Ну не буду же я вас искать, как рыцарь принцессу в заколдованном замке! А ну брысь пред мои светлы очи!

Свинцерева осторожно выглянула из-за кулисы: Старцев стоял на балконе и, судя по всему, был не очень пьян.

— Ага, вот вы где! — Он взмахнул рукой. — Итак, антре ан данс! — После паузы, разглядев новый наряд Свинцеровой, он сглотнул и со вздохом сказал: — Пусть так. Но ботинки придется снять.

По воскресеньям Старцев учил ее двигаться, прыгать через скакалку и доставать прямой ногой ухо. Пришлось ей обзавестись трико и тапочками, смахивающими на балетные. Раздвинув ноги ножницами, она на пуантах стремительно мчалась через паркетное озеро, пылавшее ярким голубым светом, то вскидывая руки (научилась подмышки брить), то резко разводя; прыгала, изгибалась, а иногда и больно падала, но не жаловалась.

— Зрителей у тебя нет и, наверное, никогда не будет, — хмуро говорил Михаил Любимович, обычно сидевший на сцене с длинной гибкой линейкой на коленях — ее он безжалостно пускал в ход, объясняя ученице грамматику хореографии. — Я не в счет. А у танцора только два способа понять, на что он годится: танцевать перед публикой — либо перед Богом. Павловой или Нижинскому то и другое удавалось, но это — чудеса. Тебе остается танцевать перед Богом. Вот и вообрази, что ты вызвана на Страшный суд и должна руками-ногами объяснить, кто ты такая.

Анна Ионовна слушала стиснув зубы. В Бога она не верила, да и какой там Страшный суд? Страшный суд будет, если кто-нибудь в школе и городке пронюхает о ее занятиях со Старцевым. И так уже люди начинали оглядываться, замечая, видимо, изменившуюся ее походку и осанку, хотя Анна Ионовна по-прежнему носила мужские ботинки, юбку до пят и кофту-самовязку.

Михаилу Любимовичу нравилось, как ей удаются прыжки, но стоило ей опуститься на пол, как он начинал ворчать:

— Заднюю ногу держи! Держи! Это не рыбий хвост, а нога! И что за манера всем весом бухаться на носок? Ты в полете думай, что приземляешься на тонкий лед. Или на взбитую пуховую подушку, на которой и следа не должно остаться! Это — искусство, а у тебя... Свинцовая баба! Имя у тебя больно тяжелое, а у танцора в полете нет имени. Полет! Я после спектакля приходил в гримборную и видел в зеркале не себя — черт знает кого и имени никакого. Ладно, давай чаевничать.

Умотанная до предела Свинцерева ставила чайник и раскладывала на сцене бутерброды. Она давно научилась пить чай только свежий и горячий донельзя, хотя потела от него, в чем и призналась учителю.

— Потей, покуда над тобою еще безоблачна лазурь! — со смехом отвечал он. — Играй с людьми, играй с судьбою... и что-то там еще буль-буль!

— Ты — жизнь, назначенная к бою, ты — сердце, жаждущее бурь... — без выражения поправляла его Анна Ионовна. — Красиво и страшно. Как будто перед тобой вдруг распахивают дверь и кричат: «А ну входи!» А куда и зачем — не говорят. Но хочется... и страшно!..

— Э, Аня, не задуривай себе голову! — Михаил Любимович прикладывался к бутылке, принесенной с собою, и запивал водку чаем. — Это сначала кажется: двери! Залы, аплодисменты, цветы, поклонники! А в конце концов остается одна дверь — в сортир с разбитым унитазом, дергаешь цепочку — и ухает твое лебенсгешихте в ржавую трубу с воем и бульканьем. Ведь такие танцоры, которые могут что метлу, что звезду станцевать, — раз в сто лет рождаются. А остальные... — Он быстро пьянел, но Анна Ионовна не обращала на это внимания: слушала молча и внимательно. — И меня в лауреаты выдвигали, да вот рылом не вышел... А я! — Он вскидывал руки, выпрямлялся на стуле и со строгим лицом поводил плечом. — Когда-то ведь и я не метлой — звездой был! Один-единственный во всем мировом балете исполнял хет-трик-па-де-трау с двойным тулупом впол-оборота! От двух бортов в лузу! — Он вперял грозный взгляд в бесстрастное лицо Свинцеревой. — Уланова на коленях умоляла... а я говорю: врешь, Галя, быть звездой — это тебе не жук чихнул! Налей еще чаю.

Анна Ионовна наливала чаю, пока Михаил Любимович приканчивал водку.

— Ты не бурбонься, Аня, ей-богу, не надо. Ноги у тебя сильные и красивые, фигура выставочная, руки — ласточкины крылья, это тебе не лебе-

диха какая-нибудь сраная... Только волосы тебе надо отпустить и распустить по плечам, чтобы лицо слишком узким, иконописным не казалось: в настоящей танцовщице мадонны и бляди должно быть поровну. По-ровну! — Он поднимал указательный палец. — Ибо мадонна не танцует, а блядь не летает. По-ровну! Тогда — топ-топ... и топ-топ... А главное, ты врать не умеешь. Балетное вранье — особое: оно танцора по рукам-ногам вяжет, я-то знаю...

Однажды он попытался ее облапить, но Свинцерева так свирепо двинула его локтем, что Михаил Любимович упал и разбил нос до крови. Анна Ионовна помогла ему подняться и даже проводила до дома.

— Извини, — сказал он на прощание. — Мне уже даже веника не станцевать, а тебе... Тебя я просто не понимаю: зачем тебе это? Извини: раньше надо было спросить...

— Вы предложили — я согласилась.

— Прыгаешь ты больно здорово, вот я и раздухарился... а так — все зря... Извини.

Перед сном или в садике перед клеткой, в которой по-прежнему валялась растрепанная кукла, Анна Ионовна и сама пыталась ответить на этот вопрос: зачем ей все это нужно? Все эти прыжки, повороты, скольжения... И без них с ведром да шваброй так за неделю наломаешься — только б до дома доползти. Но без воскресных занятий и даже без пьяных излияний Старцева уже не могла представить свою жизнь. Только и всего. Что выросло, то и выросло. Не ножом же отрезать.

Освободив комнату покойного брата от ветхой рухляди и дочиста ее отмыв, она выкладывала на середину взбитую пуховую подушку и прыгала на нее, но всякий раз, естественно, проминала ее до пола. Свинцовая баба, угрюмо думала она, взбивая подушку. И снова прыгала. И так до изнеможения.

Размышляя о человеческом организме, она пришла к неутешительному выводу: вся его тяжесть сосредоточена в душе. Засыпая, она настраивала себя на полет птицы, тополиного пуха или даже облака, но души от этого не прибывало, а свинца не убывало. «Я есть то, что у меня есть: тяжелая память об отце и матери, о брате, о серой жизни. Куда денешься от памяти? Или от имени? Это ведь только в танце память становится бестелесной. Значит, я есть свинец».

Как ни странно, о занятиях ее никто даже не догадывался — быть может, потому, что давным-давно Анна Ионовна ни у кого не вызывала никакого интереса, — тем сильнее была поражена вся школа, от директора до первоклашки-шмыгоноса, когда она пришла без коричневого платка, с длинными волосами до плеч. От удивления даже не сразу обратили внимание на скромненькое серое платье и дешевые туфли, заменившие старушечье тряпье и мужские ботинки.

— Словно помирать собралась, вы меня простите, — брякнул в учительской астроном Марков. — Ну не влюбилась же! Такие не влюбляются, а замуж выходят.

И никто не заметил, когда и куда исчезла из ее садика клетка с куклой.

Однако никаких других изменений в жизни Анны Ионовны не произошло. Она по-прежнему с утра до вечера мыла-драила школьные коридоры и классы, на детей и взрослых взирала бесстрастно, без улыбки — разве что не леденила больше взглядом шустрых мальчишек и не горбилась при виде мужчин, норовя поскорее прошмыгнуть мимо, — шла себе, словно не отличая мужика от вороны.

— У меня такое чувство, — задумчиво проговорил как-то в Красной столовой дед Муханов, — будто она где-то себе новую задницу купила. Или сиськи. И не по дешевке!

— Это бывает, — кивнула за стойкой Феня, вытирая тряпицей пивную кружку. — Когда женщина не только женщиной себя вдруг начинает чувствовать, но и человеком. — И со вздохом добавила: — Опасное это дело, новая жизнь: это как горбом обзавестись или ослепнуть.

— Хрең редьки не толще, — заключил Колька Урблюд, с трудом оторвав голову от стола. — Все ведь от руки зависит, от пальцев.

В тот день у железнодорожного переезда народу собралось много — кто с работы, кто на работу, — поэтому в свидетелях недостатка не было. Как только отгрохотал товарняк и поднялись шлагбаумы, из боковой улицы с ревом двинулись тяжело груженные лесовозы. Люди прижались к заборчику, в конце которого, у лужи, Анна Ионовна мыла свои туфли, — и вдруг кто-то закричал, и все увидели ребенка, норовившего на четвереньках уползти от надвигавшегося грузовика, и перекошенное лицо шофера, напрасно пытавшегося остановить свою тяжеленную машину, в которую сзади врезался такой же лесовоз. Поверх кабины со скрежетом двинулись бревна. Отшвырнув туфли, Анна в мгновение ока крутанулась на расставленных циркулем ногах, одним прыжком достигла переезда, вторым — уже с малышом на руках — взлетела над головами ошалевших зрителей и — поплыла в пахнущем цветущей липой воздухе над грузовиками, людьми и деревьями, — в наступившей внезапно тишине люди вдруг почувствовали, как ноги их отрываются от земли, и, онемев то ли от ужаса, то ли от восторга, поднялись в воздух — Буяниха с прижатой к груди кошелкой, полной яиц, дед Муханов, схватившийся обеими руками за карман с получкой, Колька Урблюд с зажмуренными глазами, с утра залитыми водкой, Машка Геббельс, буфетчица Феня, смешно перебиравшая красивыми толстыми ногами, Граммофониха с теленком на веревке, парикмахер По Имени Лев, кто-то еще в обнимку с кем-то... Длилось это, может, полминуты, а может, и меньше, но, когда люди опустили на лужайке возле боконогой Анны с младенцем на руках, никто не смог вымолвить ни полслова, хотя пульс у Буянихи был в норме — проверила по приземлении первым же делом.

Пьяненький Михаил Любимович Старцев сбежал за туфлями и помог Анне Ионовне обуться, после чего она, улыбнувшись на прощание свидетелям, отправилась домой — легкой походкой, с младенцем, тотчас уткнувшись ей в плечо и сонно засопевшим.

— Чей ребенок-то? — шепотом спросила Машка Геббельс. — Не с неба ж свалился.

Родителей ребенка, однако, не обнаружили ни в тот день, ни на следующий, ни через месяц.

А вечером к Анне Ионовне пришел трезвый Михаил Любимович Старцев.

— Вот и все, Аня. — Он сел на стул посреди комнаты, покосился на лежавшую на полу пуховую подушку. — Пора кончать наши занятия, а мне — уезжать отсюда. Не знаю даже почему, но — пора. — Он извлек из кармана пиджака конверт и протянул Анне. — Потом считаешь. Курить можно?

Ребенок спал в соседней комнате, поэтому Анна Ионовна разрешила гостю курить.

— Пора... Да, пора... Отоврал свое, больше мне тебе и наврать-то нечего — исчерпался, — пора... Да и чему я тебя научу еще? — Он строго посмотрел на кончик сигареты. — Никогда никаким артистом я не был, Аня. Служил в цирке, прыгал в кордебалете да спивался, пока не выгнали. Была жена — любил, правда. Всегда в пиджаке для нее письмо носил на

случай своей смерти. Одна страничка — и вся про любовь. И красивым почерком — «прощай навеки». Вот как любил. То есть глупо, конечно. Спился — она меня бросила. Были другие женщины, и для них тоже такие же письма с собой носил, а потом вынул всю пачку, расхохотался до слез — и сжег разом. Освободился. А сегодня, когда все это... сел да и написал тебе про все на прощанье. То есть можешь даже не читать, а сразу бросить в печку: уже рассказал. Про любовь там ни слова, клянусь. — Он встал, с недоумением уставившись на кепку, смятую в потной руке. — Хотя все, что было между нами... может, это-то как раз и было... может, в первый раз и в последний... да я сам себе давно привык не верить...

— Я знаю, что вы все врали, — сказала Анна Ионовна. — С самого начала знала. Просто молчала. Ну и что? Лжецы лгут да лгут и так залгутся, что иногда такую правду выговорят, что никакому правдолюбу не снилась. Так моя мама безумная говорила. А я ей всегда верила. — Она встала. — И зачем вам уезжать? Вы же главного-то так и не видели.

— Главного? — Михаил Любимович растерялся. — Все видели — и я видел...

Анна с улыбкой покачала головой.

Она отошла к двери, постояла несколько секунд с закрытыми глазами — и вдруг легко прыгнула и опустилась на пуховую подушку левой ногой. Замерла на несколько мгновений. Встала на правую, согнув левую в колене.

Михаил Любимович перевел взгляд с ноги на подушку, на которой не осталось даже намека на вмятину.

— Боже, — прошептал он. — Но это же не я...

— Вы, — сказала Анна. — Все — вы. Я — это уже вы, и только вы. Потому и я, что вы. Письмо я действительно сожгу и читать не буду. Не хочу. — Она взяла его за руку. — Пойдем чай пить, а то перекипит. И тихонько, Миша, не разбуди малыша: он спит. А на лбу у него мотылек спит. Крошечный, золотой... как звездочка... Куда ж тебе уезжать после всего этого? Некуда.

— Тупик, значит, — пробормотал Старцев, едва выдерживая взгляд улыбающейся Анны. — Мотылек...

— Нет, тут дверь — не споткнись о порог.

И еще раз посмотрев на подушку, светившуюся белизной на полу, он на цыпочках последовал за Анной в кухню, где уже вовсю бушевал чайник.

— А что у тебя за фокус с подушкой? — осторожно поинтересовался Старцев, пригубив чаю. — Ни в жизнь бы не поверил, если б сам не видел.

— Я есть то, что у меня есть: душа. — Анна покраснела от смущения. — Вы только не пугайтесь, пожалуйста, ведь я и сама не знаю, где она находится, душа эта. Честное слово.

Михаил Любимович внимательно посмотрел на нее и едва-едва удержался от улыбки: уж он-то с полувздоха мог отличить ложь от правды. Тем более — первую ложь в жизни Анны Ионовны Свинцеровой.

ШКОЛА РУССКОГО РАССКАЗА

В начале сентября Курзановы убирали картошку на дальнем огороде, на окраине городка, напротив старого парка, ярко желтевшего за железнодорожной линией.

Было воскресенье. На огород отправились ранним утром, взяв с собою еды. Ирина Николаевна и шестнадцатилетний Андрюша выбирали картошку из борозды за плугом, на рукояти которого мокрой седой грудью наваливался конюх Сашка, белобрысый широкоплечий мужчина. Сергей Иванович Курзанов водил лошадь за узду. Десятилетняя Оля сидела на плащ-палатке, расстеленной на траве рядом с участком, или бродила по

дороге, за которой тянулись такие же картофельные поля — на них копались мужчины, женщины и дети с лопатами и ведрами (копать «под лошадь» было неэкономно: плугом резалось много картошки).

Наконец Сашка распряг лошадь. Вместе с Сергеем Ивановичем они вскинули плуг на телегу, где уже громоздились мешки с картошкой. Андрюша развел костер из жухлой ботвы и веток, натасканных Олей из лесополосы по эту сторону железной дороги. На плащ-палатке разложили хлеб, огурцы, вареные яйца и жареное мясо. Оля ждала, когда прогорит костер, чтобы закатить в угли картошку. Сергей Иванович, болезненно сморщившись, откупорил бутылку водки и налил в граненые стаканчики. Выпив и закусив, Сашка уехал (пообещав по пути сбросить мешки во дворе Курзановых).

— Как пахнет! — Ирина Николаевна зажмурилась и вытянула ноги. — Как я люблю, когда палят ботву...

Сергей Иванович плеснул в стаканчик водки и протянул жене.

— Для цвету, как здесь выражаются, — сказал он с усмешкой.

— Ты так произносишь «здесь», словно приехал сюда неделю назад. — Она взяла стакан и глубоко вздохнула. — Осень, Господи... — Не поморщившись пригубила водку, вернула стакан мужу и закурила папиросу «Люкс». — Знаешь, Андрюша, мы ведь с папой познакомились осенью сорок второго. Он был курсантом, вот-вот выпуск — и на фронт, и мы решили не откладывать дело в долгий ящик и тотчас пожениться. — Попытав дымком, бросила папиросу в костер. — А на следующий день я испугалась и стала искать пути к ретираде. Но он явился ко мне блестящим офицером: фуражка, ремни, сапоги, Кировские наручные часы — как тут было устоять?..

Она рассмеялась и аккуратно вытерла губы бумажной салфеткой.

Сын слушал ее с напряженным выражением — он был глуховат. Отец вдруг встал и пошел по перепаханному полю, то и дело наклоняясь и вороша рукою кучки ботвы: искал оставленную картошку.

Андрюша отвернулся, чтобы не видеть задрожавшего лица матери. Ей было сорок пять, но никто не давал ей ее возраста: Ирина Николаевна сохранила прекрасную фигуру, у нее была высокая полноватая шея, при взгляде на которую, как выразился однажды доктор Шеберстов, рука сама тянется к бритве.

— Пора домой! — крикнул отец с поля. — Собирайтесь!

Оля выгребла палочкой из костра полусырую картошку и, обжигаясь, завернула в лопух.

Поздно вечером, когда домашние уgomонились, Ирина Николаевна взялась за проверку ученических тетрадей. Она была завучем единственной в городке средней школы и вела уроки русского языка и литературы в старших классах.

Андрюша, чуть приоткрыв дверь, любовался матерью, ее профилем, напоминавшим женские профили на древнегреческих геммах, ее длинными и тонкими твердыми пальцами с короткими ногтями, ее плечом, обтянутым тусклым шелком домашнего халата, ее четко вырезанным ухом с капелькой сережки на мочке... Он вдруг жарко покраснел, вспомнив, как летом в их сад явился доктор Шеберстов, рослый усатый бабник, ёра и умница, о котором в городке говорили, что единственной женщиной, не ответившей на его домогательства, была стюардесса с рекламы «Аэрофлота» на стене сберкассы. Андрюша сидел на корточках за кустом смородины и видел, как доктор взял из рук матери лейку — мать поливала грядки с укропом и морковью. Ирина Николаевна была в темном от пота ситцевом сарафане с глубоким вырезом, ее плечи покраснели и лупились. Шеберстов схватил ее за руку и поцеловал — она отклонилась, и поцелуй пришелся в ухо. «Ирина Николаевна, Господи Боже!» — воскликнул Шебер-

стов, обняв ее за талию, и тотчас понизил голос. «Да кто ж вам мешает? — с улыбкой оглядывая сад, нараспев ответила она. — Только не я». И вдруг прижалась к нему высокой грудью. Андрюша бросился лицом в траву. Он страстно, болезненно любил отца и мать, он тайком плакал, когда родители не разговаривали друг с другом и с детьми, вскидывался под одеялом от ночного стопа матери — она совершенно детским голосом громко выпевала за стеной: «Сережа, мальчик мой любимый!..» — и от этого ее стопа сердце его становилось нестерпимо горячим...

— Ты уже полчаса наблюдаешь за мной, — вдруг сказала мать не оборачиваясь и не поднимая головы. — И что высмотрел?

— Я читал. — Андрюша вошел в комнату и присел на подлокотник старенького низкого кресла. — Чехова. Странно, на этот раз мне понравились другие рассказы, которые в детстве я пропустил мимо ушей... мимо глаз...

— Мимо сердца. — Мать устало улыбнулась. — Ты повзрослел, но не приобрел ни твердости, ни... — Положив авторучку на подставку, она полуобернулась к сыну: — Меняешься — и не меняешься. И какой рассказ тебе понравился?

— «Студент». Очень странный и очень простой рассказ. Бедный семинарист возвращается огородами домой с охоты, греется у костра в компании вдовы и ее дочери, костер напоминает ему вдруг о той ночи, когда схватили Христа... Апостола Петра окликают люди, сидящие у костров. Тогда тоже была холодная ночь... русская ночь... И Петр предает Христа. Вдова и ее дочь взволнованы рассказом студента, плачут, а студент думает...

— Андрюша, — мягким голосом остановила она сына, — не надо пересказывать, я помню. Анализируй. Ты переживаешь — но это лишь первая стадия постижения искусства, вторая — анализ. И будь естественнее... вот у тебя и девочки нету, ты иссушаешь сердце книгами.

Очки в тонкой золоченой оправе придавали ее лицу суховатое выражение.

Сын слушал ее насупившись. Ирине Николаевне стало жалко его. Она сняла очки и села в кресло, обхватив сына рукой за талию.

— Ну, не дуйся!

— Ма, я разбирал наши фотографии и случайно увидел бумаги...

Андрей запнулся и покраснел.

— Ну, бумаги. И что? Ты узнал, что я была замужем до твоего папы? Да. Он погиб под Москвой осенью сорок первого.

— А за что папу посадили в тюрьму? Почему вы никогда не рассказывали мне об этом?

— Зачем? Это ведь наша боль, папино несчастье... Блестящий офицер, молод, красив, горяч — и вдруг тюрьма, крах карьеры... Что он сейчас? Мучение, а не человек. — Она спохватилась, почувствовав, как сын напругся. — Он сам о себе так говорит, Андрюша. А посадили... Как тогда сажали? Что-то не то и не так сказал — и пошел в лагеря по пятьдесят восьмой, десятой.

— Я не об этом, ма... — Андрей отвернулся. — Ты отказалась от папы, когда его посадили...

Ирина Николаевна со вздохом поднялась из кресла.

— Андрюшенька, милый, это была банальная процедура, сам папа мне и предложил это сделать. Все равно не помогло: меня выперли с работы. Пришлось уезжать сюда, здесь можно было устроиться по специальности. А после лагерей Сережа приехал ко мне. Тогда никто не придавал значения тому, что сегодня может показаться странным... необъяснимым... Боже, ты и вообразить не можешь, какое было время. — Она вернулась за письменный стол и надела очки. — У меня много работы, милый. Спокойной ночи.

В постели Андрей снова открыл Чехова — снова рассказ «Студент». В тексте таилась какая-то загадка.

«Теперь студент думал о Василисе, — читал Андрей о старухе, заплакавшей во время рассказа семинариста о предательстве Петра, — если она заплакала, то, значит, все, происходившее в ту страшную ночь с Петром, имеет к ней какое-то отношение...»

Он поднял глаза к потолку. Почему ночь — страшная? Хотя конечно... Но почему Петр отрекся от Иисуса? Ведь он мог бы и не ходить во двор первосвященника, мог бы и не отвечать на вопросы тех, кто сидел у костров...

«Студент опять подумал, что если Василиса заплакала, а ее дочь смутилась, то, очевидно, то, о чем он только что рассказывал, что происходило девятнадцать веков назад, имеет отношение к настоящему — к обеим женщинам и, вероятно, к этой пустынной деревне, к нему самому, ко всем людям. Если старуха заплакала, то не потому, что он умеет трогательно рассказывать, а потому, что Петр ей близок, и потому, что она всем своим существом заинтересована в том, что происходило в душе Петра».

Андрей снова отложил книгу. А что происходило в душе Петра? А вот он, Андрей, заплакал бы? Пожалуй, нет... Наверняка — нет.

«И радость вдруг заволновалась в его душе, и он даже остановился на минуту, чтобы перевести дух».

Что же это за радость, уже с раздражением думал Андрей, если речь шла о предательстве и гибели? И почему Чехов вообще об этом написал? И написал так, что эти девятнадцать веков вдруг словно разом во всем объеме обнаружались в нищей русской деревне 1894 года — холодом, огнем, душевной болью и загадочной радостью...

«А когда он переправлялся на пароме через реку и потом, поднимаясь на гору, глядел на свою родную деревню и на запад, где узкою полосой светила холодная багровая заря, то думал о том, что правда и красота, направлявшие человеческую жизнь там, в саду и во дворе первосвященника, продолжались непрерывно до сего дня и, по-видимому, всегда составляли главное в человеческой жизни и вообще на земле...»

Андрюша отшвырнул книгу — она глухо стукнулась о деревянный пол. Предательство и гибель — вот что было во дворе первосвященника. В чем же правда и красота? Ему вдруг снова вспомнились задрожавшее лицо матери и отец, внезапно вставший и пошагавший по картофельному полю, и снова мать — высокая, красивая, улыбающаяся, прижимающаяся грудью к Шеберстову — там, в саду, — и в полном отчаянии, со слезами на глазах, он уткнулся лицом в подушку...

Отец пил все сильнее. Родители беспрестанно ссорились. Оленька плакала по углам. Андрюша старался избегать и отца и матери, скрываясь от них в городской библиотеке, где у него был свой угол в читальном зале и где он запоем читал Гоголя, Чехова, Бунина, с горделивой и сладкой печалью думая о полном своем одиночестве и о том, что жизнь его измеряется прочитанными рассказами. Гаршин, Андреев, Горький...

Окончив школу с отличием, он подал заявление на филологический факультет Московского университета.

— Чего для? — проворчал отец. — Свой университет под боком, да и маме будет одиноко и скучно...

— Пожалел! — вскинулся сын. — Пьешь — не жалеешь! А когда ты в тюрьму сел и она от тебя отреклась — тоже жалел? И она тебя?

Отец дал ему пощечину.

— Дурак! — крикнул он, спрятав руку за спину. — Щенок и дурак поганый! Не твоего ума дело!

Наклонив голову и с трудом сдерживая слезы, Андрей убежал в свою комнату, с закрытыми глазами развернул книгу и замер. Ему хотелось проговорить что-нибудь свистящим злым шепотом, но как-то вдруг у него не нашлось слов для шепота и свиста, и он заплакал без голоса...

Он с блеском окончил университет и аспирантуру, вскоре в академической среде его оценили как интересного, подающего большие надежды специалиста по русской литературе. Когда его спрашивали, откуда он родом, Андрей без улыбки отвечал: «Из русского рассказа». Первая его книга была посвящена Чехову — ее благосклонно приняли коллеги, хотя некоторых слегка смущала необычная для научного труда «избыточная страстность и слишком личностная интонация».

Андрей не писал домой, но иногда звонил. Однако, едва услышав в трубке голос матери, он впадал в раздражение и то и дело перебивал ее: «Плохо слышно! Не слышу! Как там отец?» Ирина Николаевна всхлипывала: до семнадцати лет Андрюша называл Сергея Ивановича только папой, но когда она сказала об этом сыну, он грубо отрезал: «Был папа — стал отец».

На третьем курсе он женился на красивой деревенской девочке и летом поехал с нею навестить родителей. Он, конечно, ожидал, что они могут измениться за три года, но был поражен тем, что увидел. Мать безобразно расплылась и ходила вразвалку, лицо ее стало багровым, мучил растущий зуб. За столом, вяло жуя мясо и прихлебывая водку из чайного стакана в алюминиевом подстаканнике, она с одышкой жаловалась на свои боли. А на прощание попросила купить ей в Москве маточное кольцо номер три.

— Надо было раньше подшить матку, — равнодушно сказала она, — да все как-то было недосуг, а сейчас поздно.

— Что? — переспросил Андрей не поднимая головы. — Плохо слышно. Говори громче и отчетливей, пожалуйста.

— Да ничего, — спокойно сказал отец, который ел салат столовой ложкой. — Старость — только и всего. Теперь хорошо слышно?

Провожая молодых на вокзале, Ирина Николаевна вдруг неумело перекрестила их (Андрей передернулся: «И она в тот же цирк!») и, когда они уже поднялись в тамбур, прокричала:

— Номер три! Три! Не забудете?

— Ирина Николаевна в молодости, наверное, красивая была, — сказала жена, накрывая столик в купе вышитой салфеткой.

— Чем от тебя пахнет? Чесноком, что ли? — раздраженно спросил Андрей.

— Тем же, чем и от тебя! — Жена обиженно отвернулась.

Не прошло и года, как Андрей развелся с женой. Учась в аспирантуре, он познакомился с полькой Ядвигой, которую называл Ягодой, — вскоре они поженились, а через пять лет, после выхода книги о Чехове, уехали в Краков. Когда увидела свет его фундаментальная монография о русском рассказе (где была великолепная глава о роли детали в новелле), новые друзья помогли получить приглашение в США, где в Сент-Джеймском университете Андрей вскоре стал профессором русской литературы. Ему, однако, хотелось вернуться в Краков: он влюбился в Польшу.

Ягода наконец забеременела, расплнела («Скоро я стану настоящей польской коровищей!») и чудо как похорошела. Глядя на нее, Андрей вспоминал мать — в саду, статную, с покрасневшими от солнца плечами, улыбающуюся, в потном ситцевом сарафане...

Осенью позвонил отец: «Мать умирает — не сегодня-завтра конец. Если хочешь, приезжай. Если можешь...»

— Как же я тебя тут оставлю? — Андрей положил ладонь на большой живот жены. — Баркли сказал, что тебе осталось не больше двух недель... Я себя чувствую, знаешь... jak mucha w ukropie...

— Поезжай, пожалуйста! Я все понимаю, все помню, все-все, — но тебе необходимо ехать, Андрюша, обязательно! Жаннет и Лу побудут рядом, так что не беспокойся... Пожалуйста, ты же исказнишься, если не поедешь. — Она улыбнулась: — Я правильно сказала по-русски?

— Exactly. Если что тебя и выдает, так это только твердое «л». Вошадь. — Он усмехнулся: — Деталь. Школа русского рассказа.

Когда он добрался до городка, старухи уже заканчивали обряжать тело матери в морге.

При встрече с отцом — от него пахло свежевыпитой водкой — Андрей ограничился рукопожатием. Обнял и поцеловал сестру, которая сразу же начала рассказывать о своих семейных неурядицах и расспрашивать об Америке, но вдруг оборвала себя и заплакала.

Гроб с телом матери поставили в гостиной. Сестра завесила зеркало черными тряпками, сколов их булавками, и сняла со стены легкомысленную картинку из какого-то старого журнала: крылатый Амур с луком за плечами играл на лютне пышнотелой грудастой Психее, развалившейся на охапке цветов в лодке, которая плыла по черной плоской воде среди высоких камышей...

На полке над диваном в бывшей его комнате по-прежнему стоял многотомник Чехова. Андрей открыл «Студента» и прочел: «...и чувство молодости, здоровья, силы... и невыразимо сладкое ожидание счастья, неведомого, таинственного счастья овладевали им мало-помалу, и жизнь казалась ему восхитительной, чудесной и полной высокого смысла», — и вспомнил Ягоду с большим животом, ее зеленоватые глаза и полные руки — и ему стало хорошо и спокойно.

Он достал из дорожной сумки широкий блокнот в кожаной обложке и принялся торопливо — наверное, в тысячу первый раз — писать об этом магическом рассказе все, что ни приходило в голову. Таких записей у него скопилось на добрую книгу. «Я становлюсь профессиональным чехоедом, — посмеиваясь, говорил он Ягоде. — Книга об одном рассказе — каково? Многолетние путешествия души по просторам четырехстраничного текста». Он торопливо записывал: «У Кафки подтекст и есть текст, у Хемингуэя — background, ничего общего не имеющий с тем, что у Чехова можно назвать „текст плюс еще-один-текст“». Русский автор не может и не хочет уходить от православной мистической традиции: жизнь — это вера, быт — это вера и т. д. „Студент“ — пример двойного прорыва: обыденности — в историю, бытия — в быт. Это пример русского отрицания самого принципа линейности истории. В России история — всегда, без вчера и без завтра».

В соседней комнате вдруг громко, навзрыд заплакал пьяный отец. Андрей поморщился: «Жизнь — это плохая литература».

Ночью он все же вышел в слабо освещенную гостиную. Смерть и старухи, умело прибравшие тело и подобравшие лицо, отчасти вернули Ирине Николаевне былую красоту. Андрей вдруг жарко покраснел, вспомнив мать в саду и тотчас — Чехова: «И радость вдруг заволновалась в его душе, и он даже остановился на минуту, чтобы перевести дух», — но откуда же быть радости? Здесь и сейчас? «Чехов! Чехов! — чуть ли не со злостью подумал вдруг он. — Извращение... литературная зоология! Чехоложец, черт побери!»

Он посмотрел на отца, сидя спавшего на стуле у гроба, — его седые волосы неряшливо свисали какими-то перьями на лоб и виски, — и вдруг быстро и тихо вышел из дома и спустился в оголившийся осенний сад.

Где-то очень высоко в небе что-то вспыхнуло и тотчас погасло, и был этот свет так призрачен и мимолетен, что Андрею показалось, что никакой вспышки вовсе и не было — обман зрения, усталость, боль, однако все же хотелось думать, надеяться, что свет — был, и он даже произнес вслух: «Был». И заплакал, зажмурившись и некрасиво сморщившись всем лицом, боясь, что кто-нибудь услышит его...



МАРИЯ ВАТУТИНА

*

ОТ НАС ПОЙДЕТ ЧЕТВЕРТЫЙ РИМ

Крестная

Памяти В. И. Ложкиной.

Сегодня в ночь в Немецкой слободе,
В Елохове, в пятиэтажном доме
Не быть беде, не быть, не быть беде
И ничему не совершаться, кроме

Постукиванья ветки о стекло,
Свеченья ночника и дребезжанья
Посуды в горке. Крестной ремесло
Ревнивое, слепое обожанье

Четырехлетней крестницы. Родня
И рада сбегать девочку, покуда
Дежурства, и разводы, и грызня,
Тем более у девочки простуда —

Наверно, от нехватки теплоты...
О нежность нерастраченная, ты ли
Дрожишь в улыбке нянюшки! В могиле
Ее младенец, но из мерзлоты

Давно не ропщет Витенька. Стеная
О материнстве, прерванном войной,
Одна лишь Богородица стенная
Да крестная склонились надо мной.

Легка и горяча ее ладонь,
Которую и вечность не остудит.
Ребенок спит. Горит вдали огонь
Богоявленский. И беды не будет.

* *
*

Чувство жалости с чувством жажды не перепутать дважды.
Ребятенка своей породы узнают по повадкам.
Убывает запас материнства сообразно схваткам,
А отец, раз в год навещая, гордится: наш ты.

И лицом удался в нашу породу, и сердцем,
 Да характерец вышел — сам дьявол не разберется:
 То ли кровь замутила примесью инородца
 Наша бабушка, то ли растят тебя иноверцем.

И не то ужасно, что пишешь, опасно, что пашешь,
 Широка ладонь, и в кости появилась кряжесть.
 И не столь велика заслуга, сколь плуга тяжесть,
 Под которую, семя наше, и ты поляжешь.

Совершая свою посадку в капустной грядке,
 Все родные мы до последней макаки, покамест
 Родословную нам не отыщет печальный аист,
 Отнеся, словно трутень — взятку, на дно кровати.

На тридцатом году выясняя, что четверть крови
 Причисляет тебя к иным племенам, к библейским
 Временам, молись, как подскажет кровь, чудесам житейским
 В глинобитном крове, в заветном своем алькове.

Поколение

А у нас либералы справляют свое торжество
 Над директором школы. Но так ли уж действенен вынос?
 Я не помню России, в которой жила до того,
 Как душа очерствела и память моя обновилась.

Боль — такое явление, — в памяти нет этих луз
 Для хранения боли. Она растворяется в теле.
 Но, клешом прогрызаясь, названье «Советский Союз»
 Угрожает доселе моей кровеносной системе.

Звукоряд налагается точно на видеоряд.
 Это та же столица — и здания не заменили.
 Существует во мне — и херсонских полей аромат,
 И чимкентский хлопчатник, и Таллина хмурые шпили,

И гульба на Покровке с бумажным цветком на шесте.
 Интенсивность труда и досрочный итог пятилетки.
 И как будто насыщенность света сильнее, чем в те
 Времена, когда нас отпустили из сломанной клетки.

Как тебе объяснить, что такое тоска по тюрьме?..
 Если ты в ней родился и вырос, никем не обучен
 Жить на воле, забыть о расправах, не рыться в дерьме,
 Не трястись, осуждая того, кто давно уже ссучен.

Впрочем, кухонный стан не прошли мы по младости лет.
 Нам потом приходилось самим обвыкаться на воле.
 И в стокгольмском отеле рыдать, запершись в туалет,
 После встречи случайной с холеной старухой в холле.

Ну конечно же сытая благодать ее — ерунда,
 И загар, и ухоженность эта. Но если б спросили:
 «Матерям из России такими не быть никогда?» —
 Я б ответила горько, хоть я и не помню России.

Я не помню позора, собраний, запретов, речей,
Югославских сапог, гэдээровских тряпок заветных,
Анонимок в профком, и последующих параличей
Горемыки моей, и скитаний ее несусветных.

А мое поколение теперь все сидит по домам,
Занимаясь не самосожжением, а самовнушением.
Мы мутанты с тобой — да какими ж и вырасти нам,
Детям улиц снесенных, спартанцам, привыкшим к лишениям.

Мы и там побывали, и здесь составляем костяк,
Поколение разлада, живущее в век беспредела.
Передела не будет уже. Только что-то не так.
Только память бела. И душа у меня очерствела.

Родина

Плыву слегка по воздуху, по воле
Причин, опричь которым рождена.
Я знаю, это ты меня в подоле
Несешь домой, гуляющая страна.

Вот так ты возвращаешься — задами,
На душный запах липы и сосны.
А в твой подол вцепились, словно в знамя,
Твои полуголодные сыны.

История тебя не обуздает
И не прогонит, но взгляни назад:
Какой же царь-отец теперь признает
Нагулянных тобою чертенят?

А сколько нас таких ты рассовала
По уголкам земли, по чужакам.
Уж лучше бы ты вовсе не рожала,
Чем убивать детей и строить Храм,

Где свято место пусто на иконе.
...Но почему в обители любой
Мы узнаем друг друга по ладони —
По линии вины перед тобой?

Воскресенье

1

В «Спидоле» старой тренькает «Тич-ин».
А в комнате, где детский голосочек,
Так благодно, как будто Бог мужчин
Не создал вовсе. Только одиночек.

Праматерь-одиночка держит ряд
Кармический. И вот на этом круге
Воскресные мелодии звучат
В двух комнатах общественной лачуги.

Года семидесятые. Она
 Разведена. Завсекцией. Строптивая.
 И всем ломбардам в городе должна.
 И давится при слове «перспектива».

Дочь — вылитая копия отца:
 Как заполнение форм недостающих.
 И врезать не грешно, чтобы, овца,
 Не повторяла линий проклятуших.

К приходу ужин пусть готовит ей,
 Вершит уборку, делает покупки.
 А папочка пусть делает детей
 С другой несчастной где-нибудь в Алушке.

Не важно. В Сочи. Господи, в Керчи!
 А мы впитали с клетками плаценты,
 Как выдать чемодан, отнять ключи
 И речь закончить словом «алименты».

О, ренты унижайнейший сбор!
 Отделы кадров, слежки, исполкомы.
 Он восемнадцать годиков позор
 Поносит за один уход из дома.

А к дочери на пушечный — ни-ни.
 Ребенок снова станет непокорным.
 Пять дней продленки. В выходные дни
 Ретроспектива Чаплина в «Повторном».

О, воскресений солнечная сень!
 И музыка, похожая на город!
 Поль Мориа, Джеймс Ласт и Джо Дассен,
 И грека толстого дрожащий голос

Кружатся над Калининским. Она,
 В себе лелея сладость мгновенья,
 Вдруг задрожит от счастья, что одна
 И дочку мать взяла на воскресенье.

2

Ну что вам говорили: рецидив
 С определенным перечнем мутаций.
 Дочь взрослая. Все тот же лейтмотив
 Ей не дает от круга оторваться.

Двухтысячный люминесцентный год.
 Не в моде свадьбы. Не в чести разводы.
 Она — идеалист. Она живет
 С очередным разводчиком породы.

Но, впрочем, приходящим был отец,
 И — приходящ и подходящ разводчик.
 Ему за пятьдесят. Он чтец, и жнец,
 И на дуде... Он сам из одиночек,

Хоть и женат. Урывками она,
 Дитя, слагает домик мозаичный,
 И словно полноценная жена
 Готовит студень и пирог яичный

И в спальне стелит белое белье.
 И плачет. И заводит Джо Дассена.
 И шлет тысячелетие ее
 Проклятия во все ее колена.

Но музыка такая над страной,
 Что пол мужской почти что обесточен.
 ...По воскресеньям он живет с женой.
 И это всем подходит, между прочим.

* *
 *

Черная ночь — мышь
 на подоконнике.
 В черную ночь выш-
 ли любовники.

В небе нетающий град
 звездною россыпью.
 Ты не любовник — брат
 с тихую поступью.

Ты мне не в помощь дан,
 а в утешение.
 Кажется, жизнь — обман
 нашего зрения.

Мы эту песню крыш
 сами придумали.
 Черная ночь — мышь
 с черными думами.

* *
 *

Ну, до свиданья, милый мой, до свиданья.
 Завтра вернешься: будут другие зданья,
 Будет иным знаменам сгибаться в пояс
 Строеный-перестроеный мегаполис.
 Новые будут праздничные презенты
 Делать стране молодежавые президенты.

Шарик земной от солнца переметнулся.
 Ты не вернулся в прошлое, не вернулся.
 Поезд причалил, прикачиваясь, к порогу,
 Словно к нему наобум проторил дорогу.
 Переродились навыки осязанья:
 Страшно и вспомнить выдержки из Писанья.

Страшно подумать, по чьим я жила законам!
Не узнаю родного — в тебе знакомом:
Не узнаю в тебе своего мужчину.
Подозреваю бешенство, бесовщину
В каждом твоём движении, каждом слове,
В каждой слезе смертоносной твоей любви.

К сокурснице

Ты в этом городе как в омуте:
Уже и дно недалеко.
Не спишь в шелках, не ешь на золоте —
Волчица носит молоко.

С тобою сестры мы и сироты,
От нас пойдёт Четвёртый Рим.
И созидать, и править в силах ты
Одним лишь именем своим.

Над величавыми руинами
Былых серебряных веков
Мы выросли непобедимыми
На попечении волков.

И в каждом городе, что горбится
Над каждой гривenkой своей,
Уже лепечут наши горлицы,
И наши горницы светлей,

И наши голоса торопятся
Познать родительскую речь.
И печи варварские топятся,
Где наши книги будут жечь.



ВЛАДИМИР ТУЧКОВ

*

РУССКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

Автор данного произведения, которое в завуалированной форме рассматривает вопрос о бессмысленности деяний любого человека в момент неисполнения им своей общественной функции, долгие годы выполнял эту функцию на ниве газетного дела. По долгу службы, а иногда и по велению циничного журналистского сердца ему приходилось общаться с множеством людей самых разнообразных профессий, мировоззрений (коих в природе существует ровно пять), возрастов, темпераментов и иных социобиологических параметров.

Из всего этого множества людей, позволивших автору за долгую карьеру заработать и безвозвратно потратить немалую сумму гонораров, необходимо выделить чрезвычайно самобытную категорию граждан, которую следует обозначить термином «русские коллекционеры». Ибо русский коллекционер существенно отличается от коллекционера любой другой национальности абсолютной бессмысленностью своего увлечения.

Что бы он ни собирал, его действия не приносят ни ему самому, ни близким ему людям, ни человечеству никакой пользы: ни материальной, ни духовной. Казалось бы, деятельность, которую иностранцы называют толкиенообразным словом «хобби», именно таковой и должна быть. Однако иностранное хобби хотя бы позволяет человеку снимать нервные стрессы. Русское же хобби не только не способствует укреплению психического здоровья, но подчас, как мы увидим ниже, подрывает его.

Какие стороны отечественного менталитета тому виной в первую очередь? По-видимому, презрение русского человека к материальному воплощению какой бы то ни было обуревающей его идеи. Исходя из этого в России идея полезности не только никогда не приводила к каким-либо полезным для общества результатам, но и зачастую способствовала социально-экономическому упадку с последующим ожесточением всех слоев населения, которое склонно во всех бедах винить ошибочность идеи, предложенной народу правящей верхушкой.

Учитывая очевидную бесполезность занятий описанных в данном произведении персонажей, автор по мере возможности постарался придать и самому произведению как можно более бесполезную форму. Ибо горе тому автору, который посягнет на неразрывность формы и содержания.

Автор.

* * *

Алексей до 1992 года имел самую большую в Москве (и конечно же во всем Советском Союзе) коллекцию пустых пачек из-под импортных сигарет. И не болгарских или кубинских, которые тогда ввозились в страну в огромных количествах, а самых что ни на есть заграничных, как тогда вы-

Тучков Владимир Яковлевич родился в Москве в 1949 году. Окончил Московский лесотехнический институт. Публиковался в периодических изданиях России, Германии, Израиля, США и Франции. Лауреат премии журнала «Новый мир».

E-mail: tuchkov@rinet.ru

ражались — западных. Не владея английским языком в должной степени, приведу марки тех пачек по памяти в русской транскрипции: «Мальборо», «Винстон», «Кэмел», «Лаки Страйк», «ЛМ», «Честерфилд», «Бонд», «Житан», «Галуаз», «Филип Моррис», «Салем», «Лорд», «Пэлл Мэлл», «Кент», «Голливуд», «Море», «Монте-Карло», «Магна», «Вест», «Астор», «Президент», «Три пятерки», «Данхилл», «ШБ», «Вог», «Собрание», «Блэнд»...

Навряд ли я перечислил и десятую часть коллекции, поскольку квартира Алексея была заполнена не одной сотней пачек самых разнообразных расцветок и даже форм.

Удивительно, но Алексей собрал все это великолепиие, все эти чудеса западного цивилизованного общества не будучи ни фарцовщиком, ни сыном дипломата.

На коллекцию приходили смотреть столь часто, столь многие и с таким вожделением, что владелец экспозиции начал брать с посетителей деньги за просмотр. Не много, по пятьдесят копеек с человека, но и этого ему вполне хватало на вполне безбедное существование.

Многие пытались купить у Алексея его, как тогда казалось абсолютно всем, в том числе и очень умным и глубоким людям, несметные сокровища. Некий Гоги из Тбилиси, начав торг с одной черной «Волги», к концу безрезультатных переговоров довел цену до трех самых лучших и самых дорогих на то время отечественных автомобилей. Но Алексей не мог расстаться с коллекцией не только потому, что она неплохо кормила и поила его, но и потому, что прикипел к ней душой. Она возносила своего хозяина над толпой, заставляя простых смертных смотреть на него с обожанием, а порой и с вожделением — если принимать во внимание лучшую половину человечества. А не принимать ее было нельзя в силу того, что Алексей был сравнительно молодым человеком, хоть и невзрачным как внешне, так и внутренне.

Судьба Алексея резко изменилась в 1992 году, когда коллекция начала терять свою стоимость с такой же сокрушительной скоростью, что и отечественная валюта. В страну в массовых количествах начали ввозить самые разнообразные западные сигареты. И собрание Алексея вскоре полностью обесценилось. Бывшие друзья и знакомые потеряли к нему всякий интерес. Не был исключением и я.

Однако года три назад по Москве прошел кратковременный слух о том, что Алешка-Мальборо то ли повесился на почве алкоголизма, то ли женился и тут же зарубил жену топором. Но никто из бывших завсегдатаев его арбатской коммуналки эту весть особенно близко к сердцу не принял.

* * *

Андрей самозабвенно собирал самые разнообразные крепежные детали: болты, гайки, винты как с обычной головкой, так и с потайной, которую профессионалы называют «потай», простые шайбы и шайбы гройверные, препятствующие ослаблению затяжки при вибрациях, шурупы и заклепки. И было у него этого добра превеликое множество — от крохотных винтиков, которые используются в часовых механизмах, до громадных гаек, применяемых в судостроении. Блестящие никелированные или же анодированные с прозеленью детали, не боящиеся коррозии, хозяин хранил в специальных коробочках, в часы досуга протирая их бархоткой и рассматривая в лупу. Простые стальные спасались от разрушительного воздействия атмосферной влаги в банках с машинным маслом.

Показывая свои драгоценности кому-либо, в чьей деликатности он был абсолютно уверен — не рассмеется некстати, не начнет задавать поверхностных вопросов, — Андрей то и дело говорил об уникальности каждого крепежного элемента. «Как не может быть двух абсолютно одинако-

вых людей, так невозможно встретить две полностью идентичные гайки МЗ. Какой бы высокоточный автомат их ни изготавливал, но и в его работе постоянно происходят микроскопические девиации. Счастье коллекционера заключается в обнаружении различий между двумя деталями одного и того же типоразмера». Произнеся свою коронную фразу, Андрей надолго погружался в созерцание, на поверхностный взгляд, случайно выбранного винтика или шурупчика. И чуткая, но скорее всего прекрасно вышколенная жена знаками дает знать гостям, что пора и честь знать, что отвлекать мужа от занятий в минуты максимальной сосредоточенности было бы кощунством по отношению к двадцати восьми годам их совместной жизни и двум выращенным детям — дочери и сыну, которые уже обзавелись своими семьями и живут в районах массовой застройки, куда пока еще не протянули линию метро.

* * *

Сергей коллекционировал женские трусики. Хотя были в его собрании и такие, к которым навряд ли применим уменьшительный суффикс. Однако трусов без суффикса было подавляющее меньшинство, поскольку Сергей родился после полета Гагарина, а периода половой зрелости достиг к тому моменту, когда москвички уже начали отдавать предпочтение импортному нижнему белью.

В свои тридцать с лишним лет коллекционер не был женат. Потому что ни одна женщина мира не согласилась бы постоянно находиться под одной крышей со столь своеобразным собранием чужого дамского белья. Ведь Сергей был настолько бесхитростен и простодушен, что сверх всякой меры гордился перед каждым гостем, а паче того — гостьей, своей экстравагантной экспозицией. И словно экскурсовод подробно объяснял, когда и при каких обстоятельствах попало к нему то или иное чудо, сотканное из света и пены морской, как звали бывшую владелицу, как она выглядела и чем проявила себя в постели. Конечно, память Сергея не могла вместить в себя столь внушительный объем довольно разнообразной информации. Поэтому к каждому трусику, прищепленным к бельевой веревке, была приколоты бумажка с кратким разъяснительным текстом.

Объем этой коллекции впечатлял: в нее входило около семисот экспонатов. Сергей выделил для нее отдельную комнату в своей трехкомнатной квартире. Трудно сказать, все ли предметы попали в коллекцию, так сказать, естественным образом, то есть как подношения после ночи бурных ласк, горячей страсти, а то и быстротечной любви. Слишком уж Сергей старался произвести на зрителей количественный эффект. Поэтому от него можно было ожидать и некоторых подтасовок. Может быть, какие-то экспонаты утром были им отняты или украдены у не желавших с ними расставаться беззащитных девушек. Может быть, что-то он просто купил за деньги без установления должных отношений с владелицами. Ведь мужская сила не безгранична, частые и хаотичные половые контакты способствуют развитию полового бессилия. А если судить по количеству экспонатов, Сергей уже должен был находиться на пороге импотенции.

Кроме неподдельной, почти детской радости обладания коллекция приносила владельцу и некоторые неудобства обонятельного характера. Потому что многие из нижних предметов нижнего женского белья попали к Сергею далеко не в идеальном состоянии. Собранные в больших количествах, они издавали явственный запах, отнюдь не благоуханный. Поэтому Сергей был вынужден держать дома множество флаконов с освежителем воздуха и часто опрыскивать две жилые комнаты крепким одеколоном. Выстирать же коллекцию он считал кощунством, сравнимым по цинизму с заворачиванием селедки в листья, варварски вырванные из журнала «Плейбой».

* * *

Николай собирал воздух в пол-литровые стеклянные банки с герметично закрывающимися крышками. На каждой банке была наклеена бумажка, где указывались самые разнообразные сведения о содержимом. Например: «27.09.85. 19 час. 25 мин. Тверская у телеграфа. 14°. 743 мм рт. ст. Облачно, морозящий дождь. Загазованность норм. Возвращался от Кормашова».

На декабрь 1998 года в коллекции Николая хранились 563 образца воздуха, учет он вел строго. Чего тут только не было: городской воздух и сельский, лесной, степной, болотный, зимний, летний, весенний, осенний, высокогорный, воздух из шахт и подземных пещер, из кабины пилота авиалайнера и из ходовой рубки сейнера, из стеклодувного цеха и с полей аэрации, воздух с пожара в гостинице «Россия» и воздух из горящего в результате артобстрела «Белого дома», воздух с кондитерской фабрики «Большевичка» и из гальванического цеха завода «Динамо»...

Особую гордость коллекционера вызывали законсервированные образцы воздуха пилотируемой космической станции «Мир», родильной палаты городской клинической больницы № 5, камеры смертников Владимирской тюрьмы, Мавзолея Ленина, рабочего кабинета шестнадцатого президента США, затонувшей атомной подводной лодки «Комсомолец» и библиотеки Ивана Грозного.

Но жемчужиной его собрания был маленький пузырек, в котором Николай хранил последний выдох своего отца.

* * *

Игорь Николаевич был еще не старым, но уже изрядно выжившим из ума человеком. Лучшие свои годы он провел в кресле начальника первого отдела крупного оборонного предприятия. Поэтому Игорь Николаевич собирал пишущие машинки.

Именно собирал, доведя до абсолюта требования инструкции советских времен, согласно которой всю принадлежащую учреждению копирувальную технику на период праздников надлежало сдавать в первый отдел с обязательным опечатыванием помещения.

Коллекция Игоря Петровича, в которую входили машинки марок «Ят-рань», «Москва», «Ленинград», «Идеал», «Любава», «Листвица», «Оптима», «Эрика», «Мерседес», «Ундервуд», «Роботрон», хранилась в отдельной комнате, постоянно опечатанной при помощи аккуратного оттиска латунной печатки на специальной пластичной пасте, заполняющей так называемую «чашечку», внутри которой проходила воощенная веревочка. Данное незамысловатое приспособление полностью исключало возможность несанкционированного проникновения в помещение посторонних людей.

Дверь вскрывалась лишь в случае приобретения новой модели, с которой коллекционер тут же снимал отпечатки литер. Происходило это следующим образом. Игорь Степанович заправлял в машинку два чистых листа бумаги с проложенной между ними копиркой и отпечатывал сверху ее название, модель и заводской номер. Затем три раза переводил каретку и отпечатывал следующий текст:

йцукенгшщзхъфывапроджэячсмитьбюё
ЙЦУКЕНГШЩЗХЪФЫВАПРОЛДЖЭЯЧСМИТЬБЮЁ
0123456789-=
!№%:?)+,."§

После этого Игорь Александрович, одной рукой придерживая с нажимом боковую ручку каретки, другой рукой аккуратно извлекал листы из

машинки и разборчиво проставлял на них дату и подпись. Листы с образцами шрифтов хранились в специальной папке, пронумерованной, прошитой и скрепленной печатью. Использованная копирка тут же уничтожалась.

Свою деятельность Игорь Сергеевич называл «контролем за утечкой информации». А к коллекции относился как к джинну, запечатанному в бутылке.

* * *

Аркадий никогда не ходил по городу бесцельно. Точнее, помимо основной задачи попасть из пункта А в пункт Б он всегда имел и сверхзадачу. Внимательно глядя под ноги, он то и дело поднимал и тщательно осматривал всевозможные камешки, камни и булыжники. Со временем в нем до такой степени развилась интуиция, что он наклонялся лишь за тем экземпляром, который был способен украсить его коллекцию *необычных* камней.

Аркадий собирал камни, таящие загадку. Был в его коллекции, например, окаменевший миллионы лет назад ком глины, в которую наполовину врос металлический гвоздь. Не современный, а доисторический — *дочеловеческий* гвоздь. Был образец камня, сохранивший отчетливые следы высокоточного сверления. И даже была видна смазка, покрывающая характерные спиралеобразные канавки, смазка, затвердевшая десятки миллионов лет назад! Был камень, к которому время намертво «припаяло» небольшую шайбу. Правда, не гройверную, а обычную. И совсем уж уникальная находка Аркадия — окаменевший трансформатор с двумя обмотками — входной и выходной!..

Чьими руками все это было сделано, если согласно официальной теории происхождения чело́века в ту пору ничего разумного на земле не было и быть не могло? Версию о внеземном происхождении сих феноменов Аркадий отвергал с возмущением, поскольку был человеком естественнонаучного склада ума, а значит, завзятым антропоцентристом.

В его собрание камней входили вещи и не столь уникальные. Тут были также и окаменевшие соты древних пчел, заполненные медом, и отпечатки лап динозавров, и фрагмент мышцы мамонта с жировой прослойкой, и яйцо динозавра, также окаменевшее, какие-то зубы невероятных размеров, чешуя, способная защитить от проливного дождя семью из трех человек, когти, с которыми можно смело идти на гражданскую войну, если, конечно, привязать такой коготь к удобной рукояти...

У Аркадия было врачебное прошлое. Поэтому к своей коллекции он относился хоть и с уважением, но вполне спокойно и уравновешенно: палеонтологические реликвии, загадки бытия. То есть не приносил в свои занятия никакой иррациональности и мистики. Если же к нему приходили люди экзальтированные, нервные, остро осязающие проявление чужой энергетики, исходящей от таинственных камней, то порой случались безобразные сцены с царапанием собственных лиц, срыванием одежды, истерическими рыданиями. С некоторыми случались даже эпилептические припадки. Однако благодаря большому врачебному опыту Аркадия все всегда заканчивалось относительно благополучно.

* * *

Виктор уже много лет собирал газетные вырезки, в которых в каком-либо качестве — автора, интервьюируемого или героя публикации — фигурировал человек по фамилии Петров. Потому что Виктор был тоже Петровым. Корреспондентов с такой распространенной фамилией в его коллекции, как ни странно, было очень мало — где-то около полутора десятков.

Известных людей: эстрадных певцов, министров, депутатов, банкиров, деятелей культуры и искусства, крупных ученых, — на первый взгляд, было гораздо больше. Однако на поверку оказывалось, что и их было не много, просто одни и те же лица фигурировали в различных публикациях самых разнообразных газет и журналов.

Основную массу Петровых в коллекции Виктора составляли люди простые, имевшие обычные земные профессии: милиционеры, врачи, учителя, столяры, дворники, менеджеры, слесари, инженеры, продавцы, полеводы, лесники, сталевары, таможенники, повара, военнослужащие, официанты, печатники, кассиры, домоуправы, фрезеровщики, шоферы, фермеры, брокеры, пилоты, начальники цехов и производственных участков, токари, егеря, кладовщики, горноспасатели, дилеры, программисты, парикмахеры, рекламные агенты, кочегары, такелажники, военные и гражданские моряки, каменщики, ткачи, автомеханики, стропальщики, конструкторы, плотники, крупье, охранники, портные, часовщики, подсобные рабочие, зоотехники, налоговые инспекторы, лесорубы, шахтеры, сапожники, администраторы, помощники депутатов, мелкие бизнесмены, гальваники, печники, связисты, конюхи, кровельщики, экскаваторщики, пожарники, технологи, концертмейстеры, комбайнеры, дантисты, массажисты, кондитеры...

В результате столь избирательного коллекционирования в сознании Виктора самым естественным образом сформировалась довольно странная идея о том, что на Петровых земля держится. И что без Петровых народ не полный.

* * *

Леонид имел очень высокое общественное положение и был не стеснен в средствах. Поэтому он коллекционировал автомобили, которые являлись для него не только символом могущества любой власти — демократической, тоталитарной, бесхребетной или даже преступной по отношению к собственному народу, — но и заключали в себе достаточно наглядную материализацию магической фразы: «И какой же русский не любит быстрой езды!» Леонид быструю езду любил до самозабвения. Поэтому его коллекция носила более инженерно-технический характер, нежели культурно-исторический.

Он, извиняюсь за каламбур, не гонялся за автомобилями, принадлежащими тем или иным выдающимся людям. Поэтому в его коллекции не было лимузинов, на которых в свое время ездили Чаплин, Шоу, Дисней, Ататюрк, Эйнштейн, Рузвельт, Черчилль, Броз Тито, Мао Цзедун, Франко, де Голль, Чемберлен, Кеннеди, Монро, Синатра, Престли... К тому же в период «холодной войны» с Западом участие Леонида пусть и через доверенных лиц в каком-либо аукционе с целью приобретения уникальной автомашины было невозможно, так как выставляло бы его в глазах мировой общественности в ложном свете.

Однако он не включал в свою коллекцию и вполне доступные, с организационной точки зрения, лимузины, например, Ленина, Дзержинского, Лемешева, Немировича-Данченко, Чкалова или Стаханова. Понятно, что сесть за руль, который когда-то держали Сталин, Берия или Троцкий, Леонид по вполне понятным причинам не мог. Но что ему мешало изредка проноситься по хорошо охраняемому шоссе, скажем, в машине Сергея Александровича Есенина? Нелюбовь к русской поэзии?

Навряд ли. Просто Леонид был типичным продуктом своего времени, когда наибольшую ценность представляли не предметы, имеющие яркие индивидуальные свойства, а обезличенный дефицитный товар. Ну а что тогда было дефицитней серийных моделей «Мерседес-Бенц», «форд», «вольво», «БМВ», «рено», «хонда», «ситроен», «ниссан» и иже с ними? Ничего.

Именно поэтому, будучи еще крепким и здоровым, выпив стакан дефицитного джина «Бифиттер», Леонид как оглашенный носился по специально проложенной для него кольцевой трассе, вдоль которой с малыми промежутками стояли охранники с автоматами, врачи с носилками и медикаментами, пожарники с огнетушителями, механики с гаечными ключами, автозаправщики с бидонами бензина, тренеры с секундомерами, повара с яствами, официанты с напитками, дети из окрестных сел с букетами полевых цветов, артистки народного жанра в сарафанах и кокошниках...

Всех этих людей, строго говоря, следовало бы тоже причислить к коллекции Леонида. Однако никто из них с такой формулировкой не то чтобы не согласился, но каждый гневно плюнул бы в очи подлецу, решившему произнести ее вслух!

* * *

С переходом московского городского транспорта на проездные билеты и пробивные талоны жизнь Валентина существенно усложнилась. Ибо он собирал автобусные билетки. Поэтому ему приходилось по выходным дням ехать на электричке куда-нибудь километров за пятьдесят от Москвы и целый день кататься на сельских автобусах, поскольку на них в полной первозданности сохранились кондукторши с катушками разноцветных билетиков. А в будни он добирался до работы и возвращался домой исключительно на «автолайновских» микроавтобусах, где пассажиров также обилечивали.

Это была очень странная коллекция, потому что она была отнюдь не бесцельной. Валентин, который был мистиком-дилетантом, при помощи одному ему ведомой логики сформулировал цель своего собирательства. Цель была такова: когда у него на руках окажутся пять пар билетов с одинаковыми номерами, то в его жизни должны произойти чрезвычайно значительные события. Конкретная их суть Валентину была пока еще не ясна, но он твердо был убежден в том, что они окажутся благоприятными.

При этом Валентин ни в грош не ставил теорию вероятности (с которой был знаком в достаточной мере), согласно которой повторное выпадение шестизначного числа крайне маловероятно. Вероятность же получения пяти пар одинаковых чисел при помощи бессистемных поездок на автобусах ничтожно мала.

Но самое фантастическое во всей этой истории заключается в том, что на момент моего знакомства с Валентином у него в особой папочке с кармашками хранились уже три пары билетов с одинаковыми номерами. Поэтому, когда я с калькулятором в руках попытался доказать, что оставшиеся две пары он получит через 158 739 лет, он невежливо рассмеялся мне в лицо.

* * *

Александр как родился робким, застенчивым и легкоранимым, так точно таким же и умер. После смерти родителей жил один, загибаясь по вечерам от тоски одиночества, которая с годами только усиливалась.

Озлобленности в нем не было. Поэтому, как скупой рыцарь, записывал в общую 96-листовую тетрадь все улыбки, которыми его кто-либо одаривал: сослуживцы в конторе, прохожие на улице, продавцы в магазине, пассажиры в транспорте. Ставил дату, время и место, где это случилось. Описывал внешность улыбнувшейся или улыбнувшегося, приблизительный возраст. По вполне понятным причинам составленные Александром характеристики людей существенно отличались от реальных в лучшую сторону. Все ему казались моложе, красивее, добрее и умнее. Однако последнюю подаренную ему улыбку он зафиксировать не смог. В общем-то, че-

ловец, убивший Александра из садистских побуждений, и не улыбнулся даже, а осклабился. Коллекция Александра завершилась на сто тридцать первой записи и заняла чуть больше половины тетради.

* * *

Владислав был литературным критиком. Но вопреки этому прискорбному биографическому обстоятельству по уровню доходов его можно было отнести к среднему классу. Поскольку в свободное от служения литературе время он подвизался в качестве главного редактора, как теперь принято выражаться, глянцевого журнала. То есть журнала для состоятельных мужчин, не обремененных ни излишней нравственной щепетильностью, ни избыточным интеллектом.

Кто-нибудь другой на месте Владислава, имея в кармане достаточно средств для вольготного и легкомысленного житья, постепенно предал бы забвению свое высокое предназначение и с головой окунулся в мир раритетного автомобилизма, эксклюзивной ресторанной кухни, игорного бизнеса и изощренной продажной любви. Нельзя сказать, что Владислав за пределами журнального офиса жил аскетически. Отнюдь. Он не чурался современных форм досуга. Но основные его жизненные устремления были направлены на исследование и осмысление современного литературного процесса.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что несколько лет назад он обратился к одному из ведущих русских прозаиков А. Б-ву с довольно странным, с коммерческой точки зрения, предложением, с которым прозаик тут же ошалело согласился. Владислав купил у А. Б-ва его старенький компьютер за такие деньги, на которые можно было купить три новых. При этом стороны оговорили условия контракта. Прозаик передавал компьютер со всеми хранящимися в нем текстами: законченными произведениями, черновиками и частной перепиской. Критик взял на себя обязательство ни при каких обстоятельствах данные тексты не публиковать ни полностью, ни фрагментарно.

Получив, как ему вначале показалось, бесценный дар, Владислав начал исследовать содержимое памяти компьютера при помощи структуралистских и постструктуралистских методов. То есть при помощи директивы «Найти» начал подсчитывать количество использованных писателем ключевых слов, характеризующих мировоззрение автора. Таких, как «жизнь» и «смерть», «война» и «мир», «день» и «ночь», «болезнь» и «здоровье», «зима» и «лето», «свобода» и «рабство», «любовь» и «ненависть», «вера» и «безверие», «земля» и «небо», «душа» и «тело», «добро» и «зло», «лень» и «трудолюбие», «гений» и «злодейство»...

Однако совсем скоро Владислав в своей затее разочаровался. Частотный словарь прозаика красноречиво свидетельствовал о том, что его внутренний мир не имел никаких ориентиров — ни нравственных, ни духовных, ни интеллектуальных. Слова-антонимы практически полностью уравновешивали друг друга, и, следовательно, писатель не видел между ними какой бы то ни было разницы. Так, например, «добро» было упомянуто им 312 раз, а «зло» — 310 раз, «свобода» — 285 раз, а «рабство» — 288 раз. Так Владислав понял, что в эпоху постмодернизма автор, согласно утверждению Ролана Барта, действительно не имеет ни лица, ни души, ни тела. Автор, метафизически выражаясь, абсолютно мертв. Мертвей не бывает! Он представляет собой этакую неживую аморфную материю, неструктурированную, пребывающую в состоянии полной энтропии.

На всякий случай точно таким же образом Владислав испытал содержание компьютера Г. С-ра. И тут тоже он получил точно такие же результаты. Поэту было абсолютно безразлично, как, о чем и зачем писать.

Имея два совершенно бесполезных, с научной точки зрения, компьютера, Владислав решил, что если и не удалось извлечь из них практическую пользу, то их можно положить в основу коллекции. Хоть и бессмысленной для его литературоведческой карьеры, но приятной в эмоциональном отношении. Ибо ничто так не радует человека, как прибавление к уже имеющимся бесполезным предметам все новых и новых. И Владислав стал скупать компьютеры известных поэтов, прозаиков, драматургов, эссеистов, критиков, литературоведов, переводчиков.

На момент моего знакомства с этой странной коллекцией в ней находилось уже более пятидесяти моделей самых разнообразных фирм, конфигураций и производительностей. С особой гордостью Владислав показывал неказистую машину 286-й серии, на которой некогда творил поэт и художник, основатель барачной школы Е. Л. К-ий.

* * *

Петр был светским репортером старой формации, целомудренно, без фанасов вечерних туалетов и подробностей меню долгие годы описывавший всевозможные мероприятия в области советской культуры: встречи интеллигенции с руководителями партии и правительства, благотворительные концерты на подшефных предприятиях, открытия памятников и монументов, посещения министром культуры выставок народных художников союзных республик...

В круг его обязанностей входило и освящение траурных церемоний прощания народа, понесшего тяжелую утрату, с выдающимися деятелями литературы и искусства, скончавшимися либо после тяжелой, продолжительной болезни, либо скоропостижно и безвозвратно. Петр добросовестно полностью записывал вначале на портативный катушечный магнитофон, а впоследствии на кассетный диктофон все речи, произносимые над гробом того или иного выдающегося деятеля культуры теми или иными выдающимися деятелями культуры, соратниками и коллегами почившего. А затем вставлял наиболее эффектные фрагменты в свои траурные публикации: «Безвременно покинувший нас... отдавший всего себя без остатка делу служения народу и отечеству... оставивший глубокий след в мировой культуре... невосполнимая утрата... скорбь переполняет сердца... ученики достойно понесут по жизни выпавшую из рук гения кисть (дирижерскую палочку, перо, смычок, Одиллиу), чтобы прославить в веках...»

Довольно скоро Петр смекнул, что звукозаписи скорбных речей представляют определенный исторический интерес и должны быть сохранены для потомков. И начал бережно архивировать исписанные с двух сторон магнитные ленты, сопровождая каждую из них пояснительным листом, где указывалось, кто, когда и над чьим гробом говорит на данной кассете. Завел картотеку.

В конце восьмидесятых годов вдруг выяснилось, что его скорбный архив никто не намерен ни купить, ни опубликовать. Ни за деньги, ни бесплатно. Петр пережил несколько тяжелых недель, которые подвергли суровому испытанию его веру в существование высшей справедливости. Однако они не сломили его, а способствовали переосмыслению значимости его звукового архива. Если он ничего не значит для окружающих глупцов, то тем хуже для них! Петр решил во что бы то ни стало продолжить свое собирательство. Но уже совершенно бескорыстно, лишь для себя и для нескольких ближайших друзей. Так архив поменял свой статус: он стал коллекцией, то есть делом жизни, а не коммерции.

Конечно, коллекция Петра довольно однообразна по содержанию. И он сам это прекрасно понимает. Каждая речь содержит примерно одинаковые слова и обороты речи. Однако весь их смысл заключен в интонациях говорящего. И тут коллекция имеет бездну неповторимых вариаций!

Как по-разному, словно на разных языках, заслуженные деятели культуры произносят, скажем, фразу: «Горе переполняет меня!» Разные тембры голосов, разная громкость, разные паузы, разные усиления и понижения, даже разные ударения в одних и тех же словах. И тут тон, несомненно, задают актеры классической школы Станиславского...

Коллекция Петра хранит голоса не только живых людей, но и уже умерших. Более того, в ней прослеживаются сюжетные линии в пяти действиях: Б. говорил над гробом А. и впоследствии умер, В. говорил над гробом Б. и впоследствии умер, Г. говорил над гробом В. и впоследствии умер, Д. говорил над гробом Г. и впоследствии умер, Е. говорил над гробом Д. и впоследствии умер.

Петр, еще не очень старый человек, благодаря своему увлечению часто думает о собственной кончине. Но ничуть не страшится ее. Он сосредоточен исключительно на эстетическом аспекте своих похорон. И даже готовится к ним. Для надгробной речи Петр выбрал пленку с голосом Иннокентия Смоктуновского, при помощи монтажа изъяв из нее имя и бытовые реалии того покойника, по которому много лет назад скорбел Иннокентий Михайлович. И при помощи опытного звукорежиссера вложил в уста покойного народного артиста СССР проникновенные слова о себе, пока еще живом.

* * *

Илья был хакером. Он коллекционировал пароли взломанных серверов, Веб-сайтов и персональных страниц. Пароли записывал в специальный файл, сопровождая каждый из них описанием своих субъективных ощущений, которые испытывал в момент взлома. В банки и виртуальные магазины не совался. Был трусоват.

* * *

Михаил до срока закончил карьеру лыжника-гонщика. Хоть карьерой его беготню по заснеженной местности с палками в руках можно было признать с большой натяжкой, поскольку он выступал за команду «Локомотив» Московской области. Однако после ампутации правой ноги Михаил оказался непригоден даже для сборной города Звенигорода, где двадцать восемь лет прожил с двумя ногами.

Став инвалидом, он переосмыслил свое прошлое с точки зрения безрадостного будущего: ни профессии, ни образования, ни накоплений, ни здоровья. Да, у Михаила не было здоровья, такого, которым в свое время обладал летчик Маресьев, что позволило ему даже без двух ног стать полноценным членом общества. Организм Михаила, свалив тяжкое бремя изнурительных тренировок и бесчеловечных гонок, начал мстить своему хозяину-тирану целым букетом гадостей. Вначале появился артрит, быстро переросший в полиартрит. Потом стала барахлить печень. И в заключение к тридцати трем годам развилась жестокая гипертония.

Другой на его месте возненавидел бы не только лыжный спорт, но и все сопутствующие аксессуары вплоть до снега и зимы. Однако Михаил самым парадоксальным образом увлекся коллекционированием лыжных мазей и парафинов.

В его коллекции царил строгая ценностная иерархия, основанная на обратном отсчете времени. Все последние достижения спортивно-химической индустрии, которыми он совсем недавно пользовался сам, Михаил в грош не ставил. Однако, чтобы соблюсти научности объективности или объективную научность (как правильно, коллекционер-неофит затруднялся сказать), всем этим поганым чудесам, позволяющим развивать бешеную скорость при любой погоде и любом состоянии снега вплоть до практи-

чески полного его отсутствия, всем этим ядовитым мерзостям, высосавшим из него здоровье, он все-таки выделил две полочки в самом дальнем углу квартиры.

Некоторую приязнь он испытывал лишь к мазиям конца семидесятых — начала восьмидесятых годов, когда на спортивном рынке появилась итальянская «Роде», в комплект которой входили баночки желтого, фиолетового, красного, голубого, темно-зеленого, светло-зеленого и черного цветов и тюбики с жидким красным, голубым и зеленым клейстерами.

Еще более он ценил «деревянный период», о котором знал лишь понаслышке, когда весь мир бегал на деревянных лыжах финской фирмы «Ярвинен». То есть когда ненавистного пластика и неестественного конькового хода не было и в помине, а трассы для гонок прокладывали не снегоходами «Буран», а ротой солдат. Два взвода топтали по целине основную лыжню, а два других проходили по бокам с тем, чтобы утрамбовать снег для отталкивания палками. Михаил с немалыми трудностями в конце концов собрал коллекцию мазей тех времен: разноцветные баночки и тюбики фирм «Свикс», «Рекс», «Хоменколлен», «Токо», «Роде». Достал даже редчайшую разновидность «Рекса» — жидкую серебрянку, которая хорошо шла по мартовскому снегу, пропитанному водой. Сделать это было не просто, поскольку мало кто из ветеранов хранил дома старые мази. Во-первых, они сильно проигрывали новым по всем показателям, а во-вторых, уже давно испортились от безжалостного воздействия времени. У всякой вещи есть свой срок хранения, который, впрочем, не имеет никакого значения для истинного коллекционера. Ведь коллекционер имеет дело не с материальными предметами, а скорее с идеями этих предметов. Или даже с их цифрами, при помощи которых эти предметы подсчитываются. А что может быть абстрактней цифр?

К тем же самым шестидесятым — семидесятым годам относились и отечественные марки «Темп», «Висти», «Виру». Тут были как традиционные расфасовки в виде цилиндриков и тюбиков, так и своеобразно-советские пластинки, обернутые в серебристую фольгу, по форме напоминающие полоски детского пластилина. А жидкие мази «Виру» выпускались в круглых банках, в которых теперь продают масляную краску.

С огромными трудностями Михаил столкнулся, когда начал искать мазь послевоенного периода. Вскоре выяснилось, что ничего импортного в те времена не было, поскольку «железный занавес» был непроницаем не только для предметов материального мира, но не пропускал даже звуковые колебания, которые люди используют при разговоре. Все наши великие чемпионы мира и олимпийских игр — Федор Терентьев, Павел Колчин, Николай Аникин, Владимир Кузин, Любовь Козырева, Валентина Царева, Маргарита Масленникова, Алевтина Колчина, — все они бегали на отечественных мазиях, которые не могли соперничать с продукцией развитой западной спортивно-химической индустрии. И побеждали зарубежных соперников не только за счет невероятного здоровья, но прежде всего благодаря нечеловеческой воле, которая, будучи прерогативой советского человека, была способна творить чудеса. Все наши великие чемпионы бегали на так называемой «самоварке»: ее на основании личного опыта и интуиции собственноручно варили тренеры из самых разнообразных компонентов, среди которых важнейшее место занимала смола деревьев хвойных пород, и прежде всего — сибирского кедра.

Михаил мучительно долго пытался отыскать хотя бы одну разновидность этой самой самоварки. Хотя на один температурный диапазон — скажем, от минус трех до минус семи. Нынешние тренеры о таком, конечно, что-то слышали, но в глаза не выдвали.

Долго Михаил читал подшивки газет полувековой давности, ходил по советам ветеранов, ездил по разным городам. И наконец-то счастье ему улыбнулось. В деревне Зуевка Читинской области он нашел восьмидеся-

тилетнего деда, варившего в свое время мазь, на которой бегала легендарная послевоенная сборная страны. Звали его Алексеем Петровичем Стукаловым.

Дед долго ворчал насчет нелепой причуды Михаила занять кусочек некогда гремевшей на всю страну «стукаловки». Немного смягчился лишь тогда, когда незванный гость вытащил из рюкзака две бутылки водки. Долго рылся в сенцах и, кряхтя то ли от радикулита, то ли от предвкушения выпивки, принес крохотный обмазок чего-то темно-серого и дурно пахнущего. Это было все, что у него сохранилось.

Михаил спросил: помнит ли Петрович рецепт и мог ли бы сварить ему за ящик водки весь набор мазей на разные температуры? Петрович конечно же помнил. И велел приходиться за заказом через три дня.

Через три дня дед протянул Михаилу завернутый в районную газету кусок вещества, по форме и цвету напоминавший советское хозяйственное мыло ГОСТ 60790-63. Протянул со словами: «На подъеме как на гвоздях держит, а со спуска несет как в преисподнюю!» — «Я же просил на все погоды», — сказал в недоумении Михаил. «Так оно и есть, эта штука на все погоды и есть: от минус тридцати до минус сорока», — невозмутимо ответил Алексей Петрович. «Как это?» — обалдел Михаил. «А так это! Раньше в стране погода была лютая. Зимой меньше тридцати градусов не было. И люди были соответственные, железные были люди. Если приказывали, то на лыжню не то что без одной — без двух ног выходили!»

* * *

Федор до поры до времени чуть ли не боготворил все, что было связано с курением. Однако коллекционировал только пепельницы. Хотя мог бы собирать еще и зажигалки, и спички, и трубки, и мундштуки, и портсигары. Но он решил ограничиться именно пепельницами. Хотя что значит — решил? Все наши решения диктуются нам откуда-то свыше или ниже, сбоку или исподтишка, нашептываются подсознанием или насильственно вдалбливаются средствами массовой информации. И вся эта совокупность «полезных советов» именуется нами не иначе как Рок или Судьба. Именно с большой буквы и с огромными последствиями.

Итак, Федор собирал пепельницы. К тому моменту, когда врачи поставили ему окончательный, не подлежащий обжалованию диагноз, в коллекции Федора было уже более трехсот самых разнообразных приспособлений для стряхивания сигаретного, папиросного, сигарного и трубочного пепла. Если бы это были предметы естественного, природного происхождения, то для них можно было бы подобрать какую-нибудь единую классификацию. Однако для рукотворных предметов стройная систематизация, опирающаяся на изящную логику, невозможна. Ибо человек куда изощренней природы.

Его пепельницы можно было бы сгруппировать по материалам, из которых они были сделаны. Тут были и стекло, и чугун, и цветные металлы, и дерево, и камень, и пластмасса, и керамика, и раковины морских и речных моллюсков, и кость, в том числе и человеческая, и даже пропитанная особым составом бумага. Но можно было классифицировать их и по странам-производительницам. По форме и габаритам. По стоимости. По дизайну. Даже по заложенным в них побочным функциям. У Федора были музыкальные пепельницы, пепельницы-часы, пепельницы-калькуляторы, пепельницы-телевизоры, пепельницы-зажигалки, пепельницы-кастеты, порнопепельницы... Была даже пепельница, содержащая полный текст Евангелия, набранный крохотными латинскими буквами. Или пепельница, в недрах которой находилась небольшая бомба с часовым механизмом, вполне работоспособная.

В коллекции Федора конечно же был представлен и классический сюжет — натуральный человеческий череп со спиленной макушкой.

Понятное дело, все это разнообразие, а порой и роскошь, инкрустированная драгоценными камнями, по прямому назначению не использовалась, а предназначалась исключительно для восхищения и обожания. Сам Федор пользовался сооружением внушительных размеров (поскольку курил беспрерывно), по форме напоминавшим урну. Но не такую, в которую на улице кидают бумажки, пустые сигаретные пачки и зажигалки и прочитанные газеты. «Рабочая» пепельница Федора напоминала совсем иную урну. После его смерти близкие пришли к мысли, что долгие годы Судьба то ли предупреждала Федора, то ли изощренно над ним издевалась.

* * *

Николай долгие годы жил на побережье Северного Ледовитого океана, где в условиях непрерывной борьбы за физическое существование, отнимавшей все духовные силы, в больших количествах собирал зубы малых заполярных народов: эвенов, эвенков, чукчей, коми, ненцев, энцев, якутов, ламутов, кульчуков, ханты, манси, вепсов, селькупов, наганасан, эскимосов, ительменов, орочей. В связи с чем на громадной территории, площадь которой равнялась производству длины северной границы России на сто километров, он получил вполне объективное прозвище Коля Железный Клещ. Хоть и не имел при этом никакого медицинского образования. Кто-то произносил его имя с уважением, кто-то с ненавистью, кто-то с ужасом.

Затем, перебравшись в Москву, он занялся изучением и систематизацией своей коллекции, к сожалению на крайне низком, дилетантском уровне. Поэтому вскоре Николай окончательно запутался в своих несметных, с точки зрения ЦНИИстоматологии, сокровищах. К тому же, переняв у северян склонность к отчаянному пьянству, он перепутал все зубы, которые прежде были разложены по отдельным мешкам. Отдельные мешки предназначались не только для зубов каждой народности, вывороченных с корнями и приросшим к ним мясом, но и для каждого пола, возраста и типа: коренных, резцов, клыков, молочных и зубов мудрости. Поэтому никакой науки, которая могла бы послужить базисом нового ризма, не получилось.

Однако Николай не отчаялся, а поступил так, как на его месте поступил бы любой россиянин, дорожащий короткими промежутками времени между приступами белой горячки. Он решил сделать из своей квартиры невероятных размеров челюсти, которые отпугивали бы вконец обнаглевших чертей, вламывавшихся в любое время дня и ночи без звонка и угощения. Намазал пол толстым слоем эпоксидной смолы и без промежутков натыкал в смолу половину своих зубных запасов. Затем то же самое проделал и с потолком. Получилось не только очень страшно для себя, но и вполне убедительно для хвостатых.

* * *

Константин каждые выходные пропадал на пригородных свалках, где в огромных кучах отходов бессмысленной человеческой жизнедеятельности отыскивал флаконы и пузырьки из-под духов и одеколонов. Приносил их домой, тщательно отмывал и наполнял слабыми растворами различных естественных красителей: марганцовки, бриллиантовой жидкости, свеклольного и лукового отвара, йода, купороса и различных гуашей. Получалось визуально красиво. «Главное, — любил повторять Константин, — не жизнь, а видимость жизни, которая наполняет бессмысленность жизни хоть каким-то смыслом».

* * *

Эдуарда все знали в Киеве как городского дурачка. Вполне безобидного, если не вступать с ним в чреватые головной болью беседы. Это всеобщее обывательское мнение ничуть не переменялось даже после того, как Фонд Сороса дал Эдуарду стипендию по разделу «Поддержка наивного искусства».

Эдуард маниакально — ежедневно, с наслаждением — засыпал свою однокомнатную квартирку всякой дрянью, поясняя своим немногочисленным знакомым, что таким образом воссоздает у себя дома XXI век, когда вместо экологии будет антиэкология и человек будет жить как бешеный в самим собой созданных нечеловеческих условиях. Пол в его квартире — в комнате, в коридоре, в совмещенном санузле — был покрыт «культурным слоем» метровой толщины, который Эдуард насыпал, как и положено «слепому историческому процессу», без какой бы то ни было избирательности: ходил по улицам Матери Городов Русских и поднимал все подряд — гвозди, камни, деревяшки, подметки, обрывки газет, окурки, консервные банки, пустые бутылки... И все это ежедневно высыпал в своем жилище, перемешивая с плодородной землей. Какие невидимые жизненные процессы кипели в этом «культурном слое»? Бог весть...

Когда я познакомился с Эдуардом, для человека в его квартире оставалось лишь полтора метра в высоту. Поэтому приходилось стоять и ходить пригнувшись. Однако «культурный слой» был не единственным неудобством, спонсируемым господином Соросом. В квартире существовала еще так называемая «техногенная сфера», которая представляла собой расставленные с небольшими промежутками вертикальные конструкции из труб и досок. Некоторые из них приводились в нелепое с точки зрения традиционного кинетизма движение при помощи всевозможных веревок и обрывков проводов. Такие конструкции автор называл «роботами».

С тех пор прошло уже более пяти лет. По логике вещей, в квартире Эдуарда уже нет ни одного промежутка: пол соединился с потолком. Остается неясным лишь единственный момент: чем заполнил последнюю пустоту Эдуард? Всякой подножной дрянью с Владимирского взвоза или с Крещатика? Или же своим телом, которое оказалось слишком хрупким для могучего духа, устремленного в будущее, где прагматизм будет полностью вытеснен поэзией?

* * *

Григорий коллекционировал чужие тайны. Технически это осуществлялось следующим образом. Брал в библиотеке книгу, внимательно прочитывал ее, а потом аккуратно, бритвочкой, чтобы комар носу не подточил, вырезал страницу, на которой, по его мнению, содержался ключ к сюжету произведения. Изъятые страницы подписывал (название библиотеки, название книги, автор, издательство, год выпуска, дата изъятия) и бережно хранил в добротных папках из кожзаменителя.

Эта собирательская деятельность привносила в скупую на эмоции жизнь Григория не только будоражащий нервы элемент интриганства, но и давала ощущение если не властелина информации, то уж, во всяком случае, мудреца из мудрецов. Ибо лишь он один из десятков, а может быть, и сотен тысяч читателей публичных библиотек знал:

кто такого сказал граф матери невесты, после чего акции сталелитейного концерна резко обесценились;

какие сведения пытался выведать в постели секретный агент, за что и поплатился жизнью;

кто именно был предателем, вместо которого три десятка доблестных разведчиков понесли незаслуженное наказание;

какие ингредиенты следует добавлять в тесто, чтобы пирог удался на славу;

какие вопросы пытался поднять на партийном собрании коммунист Сергиенко и чем это обернулось для станочников 3-го цеха;

куда убийца столь ловко спрятал тело, что его не смогли отыскать на всех последующих страницах;

каким именно катализатором необходимо пользоваться для успешного протекания химической реакции в промышленных масштабах;

двумя или тремя перстами пытался остановить дьявола Архип, найденный наутро бездыханным;

что сказал тренер центрфорварду перед игрой, отчего тот в начале первого тайма бросился с кулаками на судью;

как у безродной и посредственной Лидочки в руках оказались столь несметные сокровища, смертельно перессорившие всех холостых мужчин уездного города N;

каким образом прекрасный принц оказался в добровольном плену у злой волшебницы;

сколько казенных денег было у поручика перед тем, как он сел за ломберный стол, и куда он впоследствии бесследно исчез;

Рауль или Родригес сделал первенца донне Хуаните и почему ее взял в жены Альбертино;

кому на Руси жить хорошо;

о чем шла речь на совете в Филях;

как распорядился Николай крупным лотерейным выигрышем;

откуда взялась вещь в себе;

каким образом североамериканские индейцы очутились в резервациях;

почему Андрей и Вера стали избегать друг друга;

откуда взялся Анри и куда делся Поль и один ли и тот же это человек;

что исчезло со стола начальника погранзаставы, после чего его поразил инсульт;

кто продал Юсупу отравленные плоды, была ли это женщина или мужчина;

сверлом какого диаметра следует просверлить отверстие, в которое затем надлежит вставить эксцентрик;

чем занимался Юрий Гагарин в промежуток времени между окончанием летного училища и поступлением в отряд космонавтов;

через сколько секунд взрывается граната РГД после выдерживания чеки...

Григорий прячет от человечества тысячи тайн лишь до поры до времени. Он уже составил духовное завещание, согласно которому все эти тайны должны быть опубликованы сразу же после его смерти.

* * *

Федор пил пиво. Пустые бутылки сдавал в обмен на полные. А пробки складывал в картонные коробки из-под овощных консервов. Потому что они были красивые: яркие и нарядные.

Выпьет бутылку «Жигулевского» и положит пробку в коробку.

Выпьет бутылку «Клинского» и положит пробку в коробку.

Выпьет бутылку «Балтики» и положит пробку в коробку.

Выпьет бутылку «Тульского» и положит пробку в коробку.

Выпьет бутылку «Тверского» и положит пробку в коробку.

Выпьет бутылку «Очаковского» и положит пробку в коробку.

Выпьет бутылку «Сталинградского» и положит пробку в коробку.

Выпьет бутылку «Казанского» и положит пробку в коробку.

Выпьет бутылку «Невского» и положит пробку в коробку.

Выпьет бутылку «Бородина» и положит пробку в коробку.

Выпьет бутылку «Афанасия» и положит пробку в коробку.
Выпьет бутылку «Столичного» и положит пробку в коробку.
Выпьет бутылку «Волжанина» и положит пробку в коробку.
Выпьет бутылку «Юбилейного» и положит пробку в коробку.
Выпьет бутылку «Ахтубы» и положит пробку в коробку.
Выпьет бутылку «Петергофа» и положит пробку в коробку.
Выпьет бутылку «Ячменного колоса» и положит пробку в коробку.
Выпьет бутылку «Хамовников» и положит пробку в коробку.
Выпьет бутылку «Золотого кольца» и положит пробку в коробку.
Выпьет бутылку «Старого ямского» и положит пробку в коробку.
Выпьет бутылку «Оболони» и положит пробку в коробку.
Выпьет бутылку «Викинга» и положит пробку в коробку.
Выпьет бутылку «Берга» и положит пробку в коробку.
Выпьет бутылку «Пикура» и положит пробку в коробку.
Выпьет бутылку «Короля хмеля» и положит пробку в коробку.
Выпьет бутылку «Петровского» и положит пробку в коробку.
Выпьет бутылку «Радонежского» и положит пробку в коробку.
Выпьет бутылку «Степана Разина» и положит пробку в коробку.
Выпьет бутылку «Адмиралтейского» и положит пробку в коробку.
Выпьет бутылку «Останкинского» и положит пробку в коробку.
Выпьет бутылку «Московского» и положит пробку в коробку.
Выпьет бутылку «Москворецкого» и положит пробку в коробку.
Выпьет бутылку «Трехгорного» и положит пробку в коробку.
Выпьет бутылку «Посадского» и положит пробку в коробку.
Выпьет бутылку «Старого замка» и положит пробку в коробку.
Выпьет бутылку «Довганя» и положит пробку в коробку.
Выпьет бутылку «Николая» и положит пробку в коробку.
Выпьет бутылку «Ярпива» и положит пробку в коробку.
Выпьет бутылку «Лидского» и положит пробку в коробку.
Выпьет бутылку «Самарского» и положит пробку в коробку.
Выпьет бутылку «Витязя» и положит пробку в коробку.
Выпьет бутылку «Красного востока» и положит пробку в коробку.
Выпьет бутылку «Русского черного» и положит пробку в коробку.
Выпьет бутылку «Калинкина» и положит пробку в коробку.
Выпьет бутылку «Беловежского» и положит пробку в коробку.
Выпьет бутылку «Норд-веста» и положит пробку в коробку.
Выпьет бутылку «Бочкарева» и положит пробку в коробку.
Выпьет бутылку «Доброго» и положит пробку в коробку.
Выпьет бутылку «Таопина» и положит пробку в коробку.
Выпьет бутылку «Арсенального» и положит пробку в коробку.

По мере наполнения коробок пробками благосостояние Федора неуклонно возрастало. И спустя время, необходимое для наполнения пробками шести картонных коробок из-под овощных консервов, Федор перешел на импортные сорта пива.

Выпьет бутылку «Миллера» и положит пробку в коробку.
Выпьет бутылку «Белого медведя» и положит пробку в коробку.
Выпьет бутылку «Баварии» и положит пробку в коробку.
Выпьет бутылку «Пльзеньского» и положит пробку в коробку.
Выпьет бутылку «Старопромена» и положит пробку в коробку.
Выпьет бутылку «Хайникена» и положит пробку в коробку.
Выпьет бутылку «Гёссера» и положит пробку в коробку.
Выпьет бутылку «Хольстена» и положит пробку в коробку.
Выпьет бутылку «Гиннеса» и положит пробку в коробку.
Выпьет бутылку «Факса» и положит пробку в коробку.
Выпьет бутылку «Монарха» и положит пробку в коробку.
Выпьет бутылку «Амстердама» и положит пробку в коробку.
Выпьет бутылку «Скола» и положит пробку в коробку.

Выпьет бутылку «Карлсберга» и положит пробку в коробку.
 Выпьет бутылку «Короны» и положит пробку в коробку.
 Выпьет бутылку «Ван пура» и положит пробку в коробку.
 Выпьет бутылку «Туборга» и положит пробку в коробку.
 Выпьет бутылку «Будвайзера» и положит пробку в коробку.
 Выпьет бутылку «Каленберга» и положит пробку в коробку.
 Выпьет бутылку «ЭКЮ» и положит пробку в коробку.
 Выпьет бутылку «Топвара» и положит пробку в коробку.
 Выпьет бутылку «Оствара» и положит пробку в коробку.
 Выпьет бутылку «Золотого фазана» и положит пробку в коробку.
 Выпьет бутылку «Кайзера» и положит пробку в коробку.
 Выпьет бутылку «Бекса» и положит пробку в коробку.
 Выпьет бутылку «Проздроя» и положит пробку в коробку.
 Выпьет бутылку «Велкоповолицкого козела» и положит пробку в ко-
 робку.

Выпьет бутылку «Синебрюхова» и положит пробку в коробку.
 Выпьет бутылку «Коффа» и положит пробку в коробку.
 Выпьет бутылку «Припса» и положит пробку в коробку.
 Выпьет бутылку «Спендрупса» и положит пробку в коробку.
 Выпьет бутылку «Килкени» и положит пробку в коробку.
 Выпьет бутылку «Харба» и положит пробку в коробку.
 Выпьет бутылку «Джона Буля» и положит пробку в коробку.
 Выпьет бутылку «Мерфи» и положит пробку в коробку.
 Выпьет бутылку «Теннетса» и положит пробку в коробку.
 Выпьет бутылку «Амстеля» и положит пробку в коробку.
 Выпьет бутылку «Стеллы Артуа» и положит пробку в коробку.
 Выпьет бутылку «Лёвенброя» и положит пробку в коробку.
 Выпьет бутылку «Кульмбахера» и положит пробку в коробку.
 Выпьет бутылку «Херренхойзера» и положит пробку в коробку.
 Выпьет бутылку «Гамбринуса» и положит пробку в коробку.
 Выпьет бутылку «Старобрно» и положит пробку в коробку.
 Выпьет бутылку «Фердинанда» и положит пробку в коробку.
 Выпьет бутылку «Платана» и положит пробку в коробку.
 Выпьет бутылку «Самсона» и положит пробку в коробку.
 Выпьет бутылку «Крушовицкого» и положит пробку в коробку.
 Выпьет бутылку «Пуркнихтера» и положит пробку в коробку.
 Выпьет бутылку «Вельвета» и положит пробку в коробку.
 Выпьет бутылку «Приматора» и положит пробку в коробку.
 Выпьет бутылку «Голдстара» и положит пробку в коробку.
 Выпьет бутылку «Маккаби» и положит пробку в коробку.
 Выпьет бутылку «Загорки» и положит пробку в коробку.
 Выпьет бутылку «Каменицы» и положит пробку в коробку.
 Выпьет бутылку «Дос Экоса» и положит пробку в коробку.
 Выпьет бутылку «Текаты» и положит пробку в коробку.
 Выпьет бутылку «Бада» и положит пробку в коробку.
 Выпьет бутылку «Красного быка» и положит пробку в коробку.
 Выпьет бутылку «Фостерса» и положит пробку в коробку.
 Выпьет бутылку «Фельдшлэсхена» и положит пробку в коробку.

Когда Федор заполнил пробками двенадцатую коробку, то я посовето-
 вал ему приостановить свою бурную пивную деятельность. Мол, уже со-
 брана солидная коллекция и дальнейшее наращивание количества пробок
 может привести к потере логической стройности собрания, к хаосу и пого-
 не не за качеством, а за количеством, ибо после двенадцатой коробки на-
 чинает действовать закон перехода количества в глупость и стяжательство.
 Помимо этого я сообщил Федору медицинский факт, согласно которому
 чрезмерное потребление пива может привести к ожирению печени и оску-
 дению интеллекта.

Мои, в общем-то, вполне здравые слова совершенно неожиданно привели Федора в состояние чрезвычайной нервозности, которая вскоре переросла в истерический приступ. Покраснев и покрывшись потом, он ни с того ни с сего начал дико выкрикивать в мой адрес чудовищные и нелепые оскорбления. Единственное, с которым я с определенной натяжкой и за должную материальную компенсацию смог бы публично согласиться, звучало следующим образом: «Ах ты трупоед бумажный, что ты суешь свой вонючий нос в дела порядочных людей!»

Вдоволь насмотревшись на беснование этого ограниченного человека, возмнившего о себе невесть что, я в нем разочаровался. То есть не только в нем как в истеричном индивидууме, но и как в собирателе и коллекционере.

Не спавши ночь, которая должна была бы успокоить мои расхоронившиеся нервы и остудить воспалившуюся мизантропию, к утру при помощи нехитрых логических умозаключений я распространил это свое разочарование на всех остальных так называемых коллекционеров. И принял окончательное и бесповоротное решение никогда больше не встречаться ни с одним из них. Пусть даже кто-либо из их брата посулил бы мне за публикацию о его «уникальных сокровищах» золотые горы, кругосветные круизы, раритетные автомобили и табуны крутобедрых восточных красавиц, я бы от своего принципа не отступился.

Лучше иметь дело с курильщиками опиума, чем с садовниками собственного чванства, готового вонзить когти в шею любому человеку, доверчиво повернувшемуся спиной к хищнику спрятанных на дне души необузданных демонов натурального ряда чисел, рядящихся в шкуру материальной воплощенности.



ВЛАДИМИР САЛИМОН

*

НЕБО В АЛМАЗАХ

* *
*

Мы видели небо в алмазах.
И в друзьях, и в стразах.
Была впереди у нас целая ночь,
чтоб в крошку брильянты смогли истолочь.

Чтоб звездную ночь на рассвете стряхнуть,
легко с небосклона стереть Млечный Путь.
Отныне не станет у Господа Бога
пути ни запасного, ни запасного.

Подъезда парадного.
Черного хода.
Лазейкой одной для простого народа
остаться могло слуховое окно,
но наглухо нами забито оно.

* *
*

Сезон дождей столь характерный
для климата муссонного, подчас
оборотясь, как лев пещерный,
через плечо рычит на нас.

Его всклокоченная грива
на удивление красива,
когда, пылая на ветру,
дотла сгорает поутру.

Так осыпается чуть свет
букет
буквально — под руками
безжизненными лепестками.

Салимон Владимир Иванович родился в Москве в 1952 году. По образованию — педагог. Первые стихотворные публикации — в конце 70-х годов. Редактор журнала «Золотой век». Лауреат поэтической премии Романской Академии в Риме. Автор восьми поэтических книг.

* *
*

Одно мгновенье вспышка длилась,
и я, покуда гром не грянул,
поспешно от окна отпрянул.

Гроза внезапно разразилась.
Но прежде долго выжидала,
во мраке мышцами играла.

Натренированное тело
ее стонало и гудело,
от напряженья содрогаясь.

Огнем небесным извергаясь,
разверзлись хляби перед нами
с раздвоенными языками.

* *
*

На битву русских с кабардинцами,
кавалеристов с пехотинцами.
Похоже, что итог сражения
воздушных масс передвижения
решат:

лиловые и синие,
столкнутся белые и красные,
схлестнутся летние и зимние,
в бою с погожими —
ненастные.

* *
*

Лес превращается в гербарий.
Лишь щебетанью божьих тварей
вольно нарушить в нем покой,
покуда он еще живой.

Пожухлая листва.
Поблекшая трава.
А между тем — по горке
грибов у каждого в ведерке.

Чернушки и волнушки —
свинячьи ушки.
Телячьи языки —
маслята и моховики.

* *
*

На миг дыханье затаил,
не захлебнуться чтобы
от накатившей злобы.

Лес точно в омут угодил.
Водоворотом унесенный,
багряным стал, а был зеленый.

От мухомора до груздя
сработан без единого гвоздя.
Доныне сильный и могучий,
бесславно тонет лес дремучий.

* *
*

Мелколесье.
Как же в нем укроюсь весь я
с головы до пят?

Мне осинник мелковат.
Березняк не вышел ростом,
он ютится по погостам.
Я же чаще стороной
обхожу их в час ночной.

Чтобы, глядя на березки,
не пролить случайно слезки,
изучая отчий край,
не свихнуться невзначай.

* *
*

Цвета едины, неделимы.
Они почти неотличимы.
И я приглядываюсь долго.

Уже нашлась в стогу иголка.
Уже искомое зерно
от плевел мной отделено.

Для претворенья в жизнь пейзажа —
необходима сажа.
По меньшей мере уголек —
коль хмурый выдастся денек.

* *
*

По первопутку, напрямки —
не погнушавшись просторечья,
которым мог бы пренебречь я, —
вниз во течению реки
пустился с ней вперегонки.

Когда беглянку я догнал,
когда на цыпочки привстал,

взглянув туда, где течь река
должна была наверняка:

едва заметный ручеек
во тьме мерцал настолько тускло,
что даже высохшее русло
я разглядеть насилу смог.

* *
*

В нас что-то есть холопье,
недаром снега хлопья
потехи ради нам
знай хлещут по щекам.

Порывы ветра клонят.
Раскаты грома гонят.
Все глубже всякий раз
в асфальт вгоняют нас.

* *
*

Чуть свет,
иначе говоря —
чуть только без поводья
ты обходиться станешь понемножку,
сейчас тебе подставят ножку,
а ты — в отместку — локоток.

Сквозь нас пройдет электроток.
И страшной судорогой лица
навек могут исказиться.

* *
*

Язык не повернется
в излишнем рвенье обвинить первопроходца,
в своекорысти упрекнуть
того, кто выбрал крестный путь,
кремнистую дорогу.

Уже смеркалось понемногу.
Вдали был слышен лай собак,
уключин скрип и стук подводы.

Как только расступились воды,
он незаметно подал знак.
И, устремившись вслед за ним,
я вышел из воды сухим.

* *
*

Нет явственных отличий.
Все тот же гомон птичий
журчащий, как ручей
в отсутствии грачей.

Иль это — грач хрипатый,
иль это — лось сохатый
топочет тяжело,
ложится на крыло?

Меня смертельно ранить,
мне ребра протаранить,
когда бы привелось,
любой из них готов насквозь.

* *
*

До головокруженья
рисковы их движенья,
прыжки
и кувырки.

Как будто акробаты,
пернаты и крылаты

снежинки могут иногда
напоминать кристаллы льда.

Рисунки на металле
и разноцветные эмали.
И здесь, и там наверняка —
везде видна одна рука.

* *
*

Нас оправдают по Суду.
А как же может быть иначе,
уж коли черная в пруду
вода стоит — тем паче.

Пруд торфяной.
Я с головой больной
в него ныряю,
как будто наспех примеряю.

Кто между нами виноват,
что пруд немного узковат,
что короток немножко,
что, если посмотреть в окошко,
что, если выглянуть за дверь,
не досчитаешься теперь
с порога:
звезды — на небе,
в сердце — Бога?



МАРИНА ПАЛЕЙ

*

LONG DISTANCE,
ИЛИ
СЛАВЯНСКИЙ АКЦЕНТ

Сценарные имитации

Фильм пятый

ТАНЕЦ

F. Z.

CAST:

О н.

О н а.

Сцена 1

Небо.

Под небом плоскость.

Меж ними — ровная, как по линейке, черта горизонта.

Простота совершенства: первые дни творения. Безупречное воплощение чертежа. Глаз, насытившись синевой и простором, ждет появления новых созданий.

И они возникают. Точнее сказать, врываются. Это исполинский букет белых цветов, взламывающий линию горизонта, перекрывающий весь видимый охват неба, — и гигантская рука, букет, словно пылающий факел, держащая. Вслед за рукой из-за горизонта восходит лицо юной женщины. Но еще до его появления мы успеваем понять истинное соотношение размеров: это вовсе не равнина земли расстилается на экране, а плоскость крыши, присыпанной мелким раскаленным на солнце щебнем.

Беспокойно оглядываясь, та, что держит цветы, выныривает целиком — громкий хруст под ее ногами, — и вот она у противоположного края. Низкое, не доходящее до пояса бетонное ограждение. Она пытается заставить себя сесть на него боком. Страдальческое, как от зубной боли, выражение. Не заставить. Садится перед ограждением на корточки. Сосредоточенно шуршит бумагой... Затем, не вставая, вслепую, свешивает через край руки...

Сцена 2

Обратный, еще более стремительный бег: крыша — пожарная лестница — балкон — лестничная площадка — лестница внутри дома — дверь лифта (пролетая мимо, она бахает кулаком в кнопку) — мелькают ступе-

ни — быстрее — мелькают слитые воедино отрезки лестничных маршей — она летит без остановок, словно стихийно подхваченная вихревым водоворотом лестницы, — и наконец исчезает в ее глубинах.

Сцена 3

Мы видим ее уже выбегающей из подъезда. Она задирает голову, разворачивается — и так, неотрывно глядя куда-то вверх, отбегает на пару шагов. Теперь она стоит перед зданием, из которого выбежала.

На вид это молодежное общежитие (dormitory): скучная громоздкая многоэтажка из белого кирпича. Найдя глазами то, что искала, она в досаде сжимает кулаки, по-русски бросает: «Низко, дьявол!» — и это все, что мы от нее слышим перед тем, как она стремглав несется назад.

Сцена 4

Снова крыша.

Какие-то манипуляции возле ограждения. В ее руках мелькает катушка белых ниток.

Сцена 5

Снова перед зданием. Снова задранная вверх голова. Grimаса отчаянья, слезы в глазах, фраза: «Дьявол, высоко!»

Сцена 6

Обратный бег.

Сколько раз так — туда и обратно?

Она не считала.

Сцена 7

За рулем светло-вишневого «крайслера» — потомок сынов Северо-Западной Европы, чьи беспокойные головы, три столетия назад, катапультировали своих владельцев, чуть ли не телешом, из продавленных постелей их прадедов к далеким от финнадзора берегам Нового Света. Может быть, они, сраженные туповатой, но превосходно отравленной стрелой какого-нибудь несговорчивого Native American (индейца) и медленно истекающие кровью или их более цивилизованные представители, успевшие уже разориться и как раз замышляющие самостоятельно продырявить себе лоб усовершенствованным огнестрельным оружием, в те свои последние земные минуты думали именно о таком — отдаленном мерцаньем мечты — наследнике.

...У него длинные спортивные ноги, которыми он, пронесясь возле отмеченных в путеводителе tourist attractions, совершил паломническую пробежку по наиболее «релевантным» столицам мира. В каждой из них (еще на заре жизни конечно же исключив из своего рациона кофе) он успешно заказывал себе «tea, no sugar». На завтрак он съедает синюю таблетку мультивитаминов и запивает ее полстаканом дистиллированной воды с растворенным в ней профилактическим аспирином. Кстати: отправляясь в свою комфортабельную одиссею к берегам стран, известных обилием рахитичных детей и полезных ископаемых, он, разумеется, глотает авансом три пригоршни разноцветных пилюль и получает две дюжины прививок, предохраняющих, по его мнению, от всего на свете, — а потому бывает полностью обескуражен, натерев ноги новыми кроссовками. Вообще привычку к прямохождению (то есть на практике к перемещению организма в про-

странстве кустарным, немеханизированным способом) он считает златорным атавизмом, а дома у него, для поддержания правильной формы ног, конечно, имеется автоматическая дорожка, на которой он, к концу упражнения тяжело дыша, регулярно одолевает свою нормированную Via Dolorosa, по ходу полезно загружая глаза чтением сокращенной (до размеров коробка с зубочистками) книжки с заглавием: «The Comprehensive Treasure of the Classical World Literature». (Это может быть, впрочем, и Cliff's Notes: World Literature Digest.) Во время же своих вынужденных ножных пробежек, уже относительно естественных, то есть совершаемых, скажем, между автомобилем и супермаркетом, — пробежек, которые справедливей было бы назвать перебежками, так как в основе своей они носят для него характер, близкий к военным маневрам, сопряженный с тяготами и опасностями фронтовой жизни, — во время этих перебежек, от прикрытия к прикрытию, он непременно сжимает в руке главное снаряжение своего жизнеобеспечения, пластиковую бутылочку. В бутылочке содержится жидкость — обеззараженная, отфильтрованная, дополнительно очищенная двойной дистилляцией, интенсивно насыщенная необходимым количеством микроэлементов и снабженная искусственно введенной (рассчитанной по шкале Вебера) дозой морского йода, — жидкость, которая во времена Эдемского сада звалась, кажется, водой. Гидропонное растение, всеми рецепторами чувствуя рискованную выброшенность во внешнюю, жестокую и чужеродную среду, через каждые пять шагов судорожно припадает ротовым отверстием к бутылочке с жидкостью, целенаправленно прилагая усилия своих мышц к тому, чтобы как можно скорее вернуться под надежный металлический кожух «крайслера». Свой день этот элой (см. «Машину времени» Г. Уэллса) завершает модернизированным религиозным ритуалом, куда входит комплект строго приписанных культом сакральных предметов, как-то: электрическая зубная щетка, «самая новая» и «улучшенная» зубная паста, мобильное кресло, полотенце с надписью «I choose vegetarianism!» и зафиксированное в стене зеркало. Можно поклясться, что даже если бы ангелы вострубили, возвещая Конец Света, это не заставило бы фанатика-неофита отвлечься от своих культовых отправлений — то есть, конкретно говоря, от электрической зубной щетки с ее поставленной на автомат четырехминутной программой. Ну а минут через десять, если гибель мира будет в очередной раз отложена и томная герлфренд, лежа в постели, предложит ему, скажем, разделить с ней дольку какого-нибудь тропического фрукта, то можно смело ставить на кон и кошелек, и жизнь, ни за что, ни при каких обстоятельствах он не осквернит свою уже приуроченную на ночь ротовую полость этой кощунственной и злокозненной долькой — и не то что «за маму, за папу», но даже и заради спасения всего человечества. Что же до спасения собственного, то он беззаветно и неукоснительно верует во всемогущество гуманной химии, входящей в таинство глательных антидепрессантных пилуль, кои он послушно и скорбно заглатывает — если, скажем, не удалось получить нужную оценку на экзамене, ученую степень, заем в банке, грант, женщину, дискаунт, а то и вовсе без повода, в случае «экзистенциального страдания» (термин, вызывающий судорогу отвращения у поневоле жизнестойких восточноевропейских собратьев), — так что регулярно получаемый им по подписке Рекламный Каталог Новейшей Продукции Антидепрессантов верой и правдой служит ему в качестве Нового Завета.

Сейчас, повторяем, он сидит в своем «крайслере», проезжая череду многоэтажных студенческих общежитий, что спонтанно озвучивает из приемника Leonard Cohen:

You tell him to come in sit down
 But something makes you turn around.
 The door is open you can't close your shelter
 You try the handle of the road

It opens do not be afraid
 It's you my love, you who are the stranger
 It is you my love, you who are the stranger.

Правая рука привычно переключает канал. Теперь это Kurt Cobain:

Sit and drink pennyroyal tea-ea-ea...
 I am anaemic royalty-y-y...

Ну, это немного ближе.

И что мы, вообще говоря, прицепились к парню? Ест не так, пьет не так, зубы, видите ли, он чистит не так. Все это от нашего далеко не весеннего возраста, природного занудства, камней в желчных путях и смехотворных доходов. Да и потом: кого интересует наше мнение? Мы ведь даже не ассистенты режиссера. Мы ведь даже за кофе и сигаретами для него не бегаем, потому что вряд ли бы нам и такое доверили. Так что стоим себе невдалеке, руки в карманы, наблюдаем, как оператор ругается с режиссером по свету, а звукоинженер, будучи женщиной, распаковывает коробку и поздравляет героине свои купленные утром синие итальянские туфли.

Сцена 8

Возле студенческого общежития.

Он (*вылезая из машины*). Хай! Как поживаешь? Невероятно! Что ты делаешь тут?

Он а. Все о'кей. Я приходила к подружке...

Он н. К какой подружке? Она тоже тут живет? Ты не говорила мне...

Он а. Я забыла просто... Ты ее не знаешь. Она живет в другом крыле.

Он н. Ну и что? Я всех тут знаю. Она тоже русская?

К остановке подъезжает студенческий shuttle-bus.

Он а. Извини! Я побежала! Тороплюсь! (*Уже из автобусного окна*.) Увидимся!

Дверь автобуса закрывается.

Он (*растерянно*). Жалко!.. Я думал, ты чашечку чая со мной выпьешь!..

Он а (*отчаянно долбя кнопку*). Пожалуйста, откройте! откройте! пожалуйста!.. (*Спрыгивая с подножки*.) Ну, чашечку чая, пожалуй что, выпью... Почему бы и нет?

Сцена 9

В номере.

Он (*входя*). Боже, как я устал! Даже не имел сегодня мой ланч!

Он а (*входя следом*). Почему?

Он н. А!.. Заскочил утром на кафедру к этому идиоту, к Джасперу, ну, я тебе вчера про него говорил...

Он а. Ага...

Он н. ...ну вот. Сок будешь? (*Направляясь к холодильнику*.) Ну вот, заскакиваю я, значит, к нему на кафедру, а там у них... Господи, что это?! (*Оторопело тычет в окно*.) Что там такое?!

Он а (*невозмутимо*). НЛО.

Он н (*напряженно всматриваясь*.) Что-что?..

Он а. В смысле — УФО.

Он н. Твои, что ли, дела?!

Она (*возмущенно*). Почему мои?!

Он (*не очень уверенно*). А чьи же еще?.. (*Распахнув половинку окна, пытается поймать неопознанный объект рукой.*)

Она. Кончай это делать, вывалишься!!

Он хватает длинный зонт и, высунув его в окно загнутой ручкой вперед, делает быстрые загибающие движения (какими, скажем, вылавливают из пруда шляпу). Наконец ему удается подцепить нитку, и... неопознанный предмет у него в руках. Это завернутый в тонкую белую бумагу небольшой пакет. С осторожностью, видимо, ему очень свойственной, сдержанно и аккуратно он снимает бумагу.

В его ладонях оказывается букетик сияющих белоснежных гордений.

Он. Ты что? Ты... зачем?

Она (*с напускной невинностью*). Это не я!..

Он (*допуская, впрочем, варианты*). Ну да, не ты!.. Что это? (*Обращает внимание на то, чем обернуты стебли.*) Это что еще?! Ты с ума сошла?!

Не веря себе, внимательно разглядывает, потом еще более осторожно разворачивает.

Нет, ты чокнутая! Это ты, кто же еще! Можешь мне не рассказывать! Господи! (*Сложная комбинация радости и раздражения.*) Нет, ты на сто процентов чокнутая, как все русские! Где ты умудрилась купить эти билеты?!

Он а. Какая разница? Повезло. Они выступают сегодня единственный вечер.

Он (*все еще ошарашенный*). Откуда ты знаешь, что это моя любимая группа?! Я ведь не говорил!

Она. Говорил.

Он. Когда?

Она. Вечером двадцать четвертого, во вторник. Мы еще стояли тогда возле киоска. Ты показал мне их фотографию в музыкальном журнале. А потом оказалось, что ты забыл в универе свой серый свитер.

Он (*растерянно*). Да?.. Точно... Точно... (*Возвращаясь к реальности.*) Но ведь они, наверное, ужасно дорогие! Подожди-ка... (*Сверяется с ценой на билете.*) Holy shit!.. Holy shit!.. Так. (*Решиительно лезет в карман.*) За свой билет я тебе отдам.

Она (*бросается к нему и как может «блокирует» его руки*). Не вздумай! Не вздумай!

Затяжная и довольно комичная в своем неравенстве схватка. Реплики: «Тогда я вообще туда не пойду!» и «А я уйду отсюда вообще!» чередуются с контррепликами:

«Ну и не ходи!..», «Ну и уходи, пожалуйста!..» и т. п.

Наконец оба устают: борьба происходит не только в неравной весовой категории, но и при некой трогательной, почти цирковой разнице размеров (она едва доходит ему до подмышки).

Он. Ладно, но чтобы это было в последний раз. Я тебя не понимаю: виза твоя закончилась, работы у тебя нет, жить тебе негде, денег нет совсем, а ты покупаешь шестидесятидолларовые билеты! Скажи, разве это нормально?

Молчание.

Нет, ты скажи, я ведь тебя спрашиваю!

Она (*устало*). Думай как хочешь.

Он. Я же о тебе беспокоюсь!

Она (*довольно ехидно*). Ну, коне-е-ечно!..

Он. Значит, не беспокоюсь? А что ты завтра будешь есть? На что ты рассчитываешь? Точнее, на кого? На меня? Может, на моих родителей?

Она. Перестань!!!

Он (*обмякнув, как после пощечины*). Ну ладно... Я ведь просто спросил... Уж и спросить нельзя... Сок хочешь?

Собирается открыть холодильник, но тут вдруг, словно внове, видит цветы. По-прежнему держа букет в руке, он наконец переключает внимание на него.

И вот цветы эти! Они ведь тоже денег стоят! Сколько они стоят?

Молчание.

Отвечай, я ведь тебя спрашиваю!

Напряженное молчание.

Вы, русские, вообще все такие! В гости только с цветами, или с тортом, или с подарком! Почему, зачем? Я этого не понимаю. Джаспер говорил, к ним аспирантка приезжала из Москвы, так она...

Она (*тихо*). Перестань, мне неинтересно.

Он. Что?..

Она. Мне это неинтересно. Давай переменяем тему.

Он (*с тихой яростью*). Ты забыла сказать «пожалуйста»...

Она. Пожалуйста.

Пауза.

Он. Нет, я все-таки считаю нужным закончить. Чтобы больше к этому не возвращаться. Вы, русские, тратите свои деньги на цветы, а потом вы удивляетесь, что у вас денег нет! Их никогда и не будет! У тебя ведь даже медицинской страховки нет! И тебя это не волнует!

Она. Меня это волнует.

Он. Нет, тебя это не волнует! Потому что, если бы ты не покупала цветы... А ведь они дорогие! Сколько они, кстати, стоят? Я знаю, цветы всегда дорогие! Эти (*оглядывает*) долларов десять... Или восемь... Нет, думаю, десять... (*С удвоенной решимостью лезет в карман.*) Ну, уж за цветы-то я тебе определенно отдам.

В мгновение ока она оказывается у двери. Щелчок замка — она уже в коридоре... Он настигает ее лишь возле самого лифта.

Сцена 10

Возле дверей лифта.

Она. Не надо. Ничего не надо. Пожалуйста.

Он (*хватая ее за плечи*). Что случилось?! Почему?! Я не понимаю!..

Она (*пытаясь вырваться*). И не надо!..

Он. Почему ты не хочешь мне объяснить? Это нечестно!

Подходит лифт. Двери открываются.

Она (*отчаянно вырываясь, в слезах*). Смысла нет! Нет никакого смысла!

Он (*пытаясь ее удержать*). Почему? В чем нет смысла? Почему ты не хочешь со мной разговаривать? Чем я тебя обидел? Господи!..

Она (*найдя «ключ», спокойно*). Пожалуйста, убери руки. Ты не имеешь права меня удерживать.

Он как по команде почти рефлекторно разжимает руки. В этот же момент двери лифта закрываются. Слышно, как лифт уезжает.

Черт!..

Он. Если я что-то сделал не так, то объясни мне, пожалуйста. Объяснить можно все. Обо всем можно договориться.

Она. Не думаю.

Он. У меня почти нет опыта. Я не знаю, как обращаться с девочками...

Она (*по-русски*). Рассказывай! Так я и поверила!

Он. Что?.. Что ты сказала?.. У меня была только одна герл-френд... Я тебе говорил... И она была американка!.. Остальное не в счет... one night stands...

Слышно приближение лифта.

Она (*снова по-русски*). А мне плевать, понимаешь?! Мне на это наплевать!!

Он (*хватая ее за плечи*). Тише!.. Остынь!.. Не надо устраивать здесь скандал, пожалуйста...

Двери лифта открываются, оттуда выходит группа студентов. Ритуальное испускание позитивных звуко сигналов: «Hi!» — «Hi!» — «How are you?» — «Fine! How are you?» — «Fine!»

(*Пытаясь придать теме отвлеченно-лингвистический оттенок.*) Что это — «Mneпа etana ple-vat»?

Она. Отпусти, слышишь?

Двери лифта закрываются.

У, дьявол!

Колотит по кнопке. Удаляющееся гудение.

Ну, дьявол! Все равно уйду...

Направляется к лестнице.

Он. Подожди. (*Берет ее за руку.*) Сейчас уедешь. Вот, смотри. (*Нажимает на кнопку.*) Ты мне только скажи: ты на дискотеку со мной сегодня пойдешь? Я бы хотел, чтобы ты послушала мою любимую группу... Конечно, ты можешь не ходить... Делай как хочешь... Это твое право...

Неожиданно быстро подходит лифт. Двери открываются. Она входит в кабину. Поворачивается к нему лицом.

Она. Не знаю. Я позвоню. Если нет — найдешь себе кого-нибудь.

Смотрят друг на друга в упор. Пауза. За это время успевает измениться выражение их глаз. И тут двери закрываются. Проходит еще пара секунд. Слышно, что лифт стоит на месте. Так и стоит. Не уезжает.

Затем за дверями раздается глуховатый небрежный стук.

Он (*в щель*). Нажми на зеленую кнопку!! Слышишь?! На зеленую!!

Двери открываются. Как пишут беллетристы, — «стараясь сохранять невозмутимость», — она выходит из кабины.

Она. Я забыла выпить мой сок.

Сцена 11

В коридоре. На пути в номер.

О н а. Я хотела бы перед дискотекой заехать в свою хибару. Переодеться.

О н. О'кей.

О н а. Я хочу надеть такое маленькое черное платье...

О н. О'кей.

О н а. И черные ажурные чулки.

О н. О'кей.

О н а. И сделать макияж.

О н. Не надо. Пожалуйста!..

О н а. Я хочу.

О н. Не делай...

О н а. Не буду... Короче, смотри: до меня на машине минут сорок, да у меня час, а от меня до Long Beach, думаю, часа два. Нам надо выехать отсюда часа за четыре до начала.

О н. Почему?

О н а. Я же сказала. Там начало в девять, а сейчас, кажется, половина четвертого... Значит, у нас еще часа полтора в запасе...

Останавливаются перед дверью.

О н. Подожди... Так ты что же, хочешь ехать туда на машине?

О н а. А что? Почему нет?

О н (*с нарастающим раздражением*). Так я что же, по-твоему, должен вместо отдыха три часа провести за рулем? В свой уик-энд?

О н а. Я думала...

О н (*перебивая*). Имею я право расслабиться?

Входят в номер.

О н а. Я думала, бензин дешевле, чем билет на автобус...

О н. Дело не в этом! Должен же я отдохнуть? Туда три часа, назад три часа... Думай, бэби! А если я там немного пива позволю себе выпить?

О н а (*подлизывается: разыгрывает «практичность»*). Ну, я просто думала, что двадцать восемь долларов — это многовато...

О н. Какие двадцать восемь долларов?

О н а. Ну, за билет в Long Beach...

О н. Почему? Два билета по двенадцать будет двадцать четыре...

О н а. Я имею в виду туда и обратно.

О н. Я и говорю: туда и обратно я езжу за двенадцать долларов.

Пауза.

(*Начиная прозревать*.) Подожди-ка... Так ты, когда ездила туда и обратно, платила четырнадцать долларов за билет? По пять пятьдесят отдельно за поезд и по полтора за автобус в одну сторону? Я... угадал?.. (*Молчание*.) Да? Да? О, Джизус! Ты что же, не покупаешь package?!

О н а. Что это — package?

О н. Package? Ты не знаешь, что такое package? Are you kidding?

О н а (*виновато*). Нет.

О н (*холодно, оскорбленно*). Package — это полный комплект, когда ты сразу берешь на поезд и на автобус туда, а также на автобус и поезд обратно. Сразу. Единоновременно. Это понятно? Экономить два доллара.

О н а. Я не знала.

О н. Чего ты не знала?! Ты уже месяц живешь в стране!!

О н а. Но мне никто не сказал...

Он. Кто тебе должен говорить?! Неужели Susan тебе не сказала?

Она. Нет...

Он. А Fanny? А Carol? А эта твоя Linda Flaim?

Она. Нет! нет! нет!..

Он. А почему Таня с Игорем не сказали?

Она. Но ведь и ты не сказал!

Он. Я не знал, что ты не знаешь! Разве я мог это знать? Я был уверен, что ты знаешь! Как можно такое не знать?!

Она. О, перестань... прошу тебя... у меня голова начинает болеть...

Он (*саркастически*). Голова-а-а? Ах, у тебя, оказывается, есть голова-а-а?.. Нет у тебя головы!!! Потому и денег у тебя нет!! И не будет!! (*Из последних сил, демократично.*) Ну, это твое дело... Это действительно твое глубоко частное дело... (*Все-таки не выдержав.*) Дискаунтной карточки даже нет, а цветы покупаешь!!

Она. Опять?! (*Рыдая.*) Опять?! Ты опять!! Опять!!

Хватает с холодильника букетик гордений (они и лежали так, без воды) и вышвыривает его в окно. Затем начинает лихорадочно хватать с полки какие-то мелкие предметы — очевидно, с той же истребительской целью... Весь этот процесс занимает чуть больше секунды, потому что хозяин этих предметов уже мертвой хваткой держит ее за плечи.

Он. Как ты смеешь?! Как ты смеешь?! Это мое!! Раз ты мне подарила, это теперь мое!! Это моя память!.. Ты не имеешь права!.. (*Рыдая.*) Зачем ты это сделала?.. Зачем ты выбросила цветы?.. Боже мой!.. Это были мои цветы!..

Она (*в его живот*). Успокойся... Ну, пожалуйста, успокойся...

Он (*громко всхлипывая*). Я никогда не был счастлив!.. Никогда!..

Она. Ну, успокойся... Ну, не надо... Не надо, моя ластонька...

Он (*с детским интересом*). Что это — «laston'ka»?

Она. Это ты и есть... Это ты... Это тебя так зовут, мой хороший!..

Он (*настороженно*). В позитивном смысле? Да? Или нет?

Она. В позитивном... Моя ты ластонька бедная...

Он. «Vednaja»?.. (*Вытирая глаза.*) Что это значит?

Она. Это значит, что я дура. Это значит, что у меня нет терпения. Это значит: я буду очень стараться!..

Он (*с сомнением*). Все в одном слове?.. (*Мрачная констатация факта.*) Русский язык!..

Пауза, на протяжении которой оба, словно настраивая носы, грубно и довольно диссонантно сморкаются.

Знаешь, давай действительно поедem машиной. Я думаю, это лучше. Ведь последний ночной автобус оттуда, по-моему, в половине двенадцатого. А если мы захотим остаться еще? Дискотека-то до пяти! А пива я могу и не пить. Я его и не особо люблю. Так, стаканчик вначале. А можно без него обойтись вообще...

С неожиданной игривостью вперяет глаза в ее грудь. Затем осторожно скругляет ладони и как бы надевает их на ее довольно щедрые возвышения. Так и продолжает в явном смущении сохранять эту позу, словно тайком осязает мячи в магазине игрушек, заранее зная, что почему-то их не попросит.

Большие груди, ммм? Какие большие!.. О, красиво!.. Ведь красиво, да? (*С важным видом.*) Это перед периодом, да? Я угадал? Я угадал, да? (*Внезапно.*) Sorry!.. (*Отходит к холодильнику.*) Сок хочешь?.. Боже мой, я еще не имел сегодня мой ланч!

Сцена 12

В машине.

Она (*на русском, исключительно себе, то есть молча*). Разве это не кино? Каждый ребенок с ума сходит, мечтая войти в картинку на стене или в книжке, а мне, вполне, так сказать, пожившей девушке, удалось попасть ажно в картину. Художественную, цветную, широкоформатную. Полнометражную, я надеюсь. Американского производства. Разумеется, со мной в главной роли. Про что? Про любовь. Разумеется. Про любовь. Проту, стопроцентную, высшего кинематографического качества, где у главных героев всегда такие великолепные зубы и волосы, — да, про такую вот, никогда прежде со мной не бывшую, открыточно-глянцевую любовь.

А на другую не было б нынче моего согласия. Зачем? Других мне и так выпало под завязку, — не счесть даже принципы, кои можно было бы положить в основу бессчетных и, благодарение Богу, не скучных классификаций. И все-таки сам кинотеатр, где на рваной простыне пьяненький кинемеханик более-менее регулярно дарил мне эти наркотические видения, — сам, так сказать, театр действий — был удручающе, ужасающе, удушашающе неизменным, — и нет у меня ни тени сомнения, что и пребудет он точно таким же, абсолютно таким же, к добру или к худу, в провинции ли, в мегаполисе (а в последней его нутряной антураж только четче проступает сквозь валтасарову вонь и разнузданное бесстыдство блядско-светских банкетов) — пребудет он точно таким же ныне, присно и во веки веков; по бессрочной сути своей, как ни крути, это всегда захолустный ДК — с дощатым полом, густо заплеванным, как зажгут свет, серой шелухой, — с обязательной горсткой местных интеллигентов, кичливо теснящихся у выхода в темень и хлад коридора (и, как всегда, подслеповато зашибших какого-то и без того хронически уязвленного собрата), — знакомый до воя захолустный ДК со стайкой подружек бухгалтерско-семейного образца, возбужденно обсуждающих, «кто с кем остался», — со старухой (в мохеровой, дырками, шапочке), ухнувшей на билет половину пенсии, — и конечно же с неотменимым, как возмездие, храпевшим на весь зал бедолагой, после включения света всякий раз оказывающимся изгвазданным и тщедушным бомжом, с запрокинутой, как у зарезанного, головой, с синюшным кадыком на горбатом горле, с огромной разверстой дырой черного рта, — снаружи это существо выглядит как-то особенно заброшенным в пустом зале, а внутри себя самого оно, будучи ребенком, наивно блаженствует под летними соснами своего детства, снова обманутое жестоким правдоподобием сна, — пока визгливая, с обвислым задом, билетерша не восстановит наконец ход времени, выпихнув несчастного под ледяной дождь.

В таких вот несменяемых декорациях мне всю мою жизнь крутили кино про мою райскую, невозможную, фантастическую любовь. И она действительно была таковой, во всех этих ипостасях, несмотря на то, что и герои-то, прямо сказать, пленяли не... ох, не в голливудских традициях пленяли меня герои, да и существовали ли они, Господи помилуй, еще где-нибудь помимо моего беспокойного воображения, — я имею в виду, снаружи моего мозга, — наверное, то была у меня *любовь без героя*, — так себе, подставки, режиссерские находки, чтобы актрисе легче войти в уготованную ей роль, и главной подставкой была, конечно, моя весна, так сказать, примавера, а в данный сезон, как известно, даже пни обольстительны, — жаль, при взгляде назад, с моей нынешней дистанции, они друг от друга почти неотличимы. И все-таки каковы же были эти пни, то бишь мои амурные партнеры, в моих же бывших, отечественного производства, фильмах про любовь? То есть каковы они были под профессионально-бесстрастным взором, скажем, чиновника из департамента социальной стати-

стики? Формула «*Кто в двадцать лет был фронт или хват, а в тридцать выгодно женат*» к моим бывшим героям на корню неприменима по смыслу, — зато в некоторой степени прилаживается стилистически, поскольку в двадцать лет они, как спяну в кювет, уже женаты (и вовсе не от нестерпимого патриархального зуда, а просто потому, что на необъятных просторах моей бывшей родины индивидуальная свобода в чести не была никогда), в двадцать пять они, будучи алкоголиками и неплательщиками алиментов, женаты вторично, — ну а в тридцать — это уже законченные импотенты, состоящие теперь уже энный раз в так называемом «гражданском браке» и окруженные бессчетными толпами озверелых, снедаемых матримониальным голодом любовниц, отчасти сражающихся друг с другом (за право бегать босиком для миленька по водку), отчасти действующих вполне кооперативно...

Он (*внезапно перебивая*). Look! Look to the left! It is the grocery store where they sell the cheapest oranges around here. The very nice store! You see? A dollar cheaper than anywhere else. Please keep it on mind, baby¹.

Она (*снова на русском, то есть себе, молча*). Ну и что? Действительно недорогая цена. Я имею в виду, что регулярно глотать это их мелочное, до рвоты паскудное скупердяйство, их тараканью сосредоточенность на белиберде, их систему приоритетов, где именно белиберда-то и стоит на самом первом, зачастую единственном плане, — это все-таки не такая уж зверская и в целом посильная дань за право жить там, где не стреляют. И главное, никогда не будут. То есть не раньше уж, чем Земля соскочит со своей оси. Ну а до тех пор... Нет, это еще очень даже гуманная, действительно недорогая цена! Особенно если учесть, что в моих бывших пенатах именно потому и стреляют, что мыслят исключительно в миллиардах и парсеках, а на белиберду, то есть, по сути, на атомы, составляющие ткань жизни, как-то традиционно плюют... Почему отдельно взятые люди могут с о м е щ а т ь в себе такие качества, как, скажем, широта взглядов — и при этом ответственность, и при этом элементарные навыки гигиены, и при этом полное отсутствие навязчивых интенций по части вломить ближнему своему промеж глаз, — почему некоторые люди это все-таки могут, а страны — никогда? Там тебе либо — стерильный нужник, — этакий, что хоть полостные хирургические операции в унитаза делай, — но уж зато такая обструганность мозгов, до такой то есть гладкости, что и папа Карло бы изумился; либо такие разливы разлитые чувств, такая необъятность помыслов, полный беспредел, куда там дрессированным европейцам с их куцей линеечкой, — но зато уж и в сортир не входи, окочуришься, ну а стогны града, ясно дело, кровавой юшкой все позахезаны. К чему, Господи, такие крайности? И почему только два варианта, Господи, Ты сотворил?! Неужли по лени?! Ох, ежели так... И грустно, и, главным образом, убийственно скучно, и некому слово сказать. Разве что: вас тут, женщина, не стояло! — в одном варианте, и: 3 HALEN, 2 BETALEN!² — в другом.

Но... Да взлелеем в себе наивность и вернемся к фильму, где я играю. Поскольку в нем не мочат и не пускают в распыл — ни из берданок, ни из обрезов, ни даже из АКМов, — то и герой-любовник у меня соответствующий. И его портрет я сейчас дам со своей точки зрения, то есть с точки зрения героини, а сценарист пусть остается при особом мнении, которое может не совпадать с мнением актеров.

Ох, ребята, какой же у меня нынче герой-любовник! Он такой красавец, каких вы, сколько ни пьетесь, не обнаружите и в 328 серии вашей «Санта-Барбары», потому что даже в 823-й, я здесь уже посмотрела, тако-

¹ Посмотри! Посмотри налево! Это овощной магазин, где продают самые дешевые апельсины в этом районе. Очень хороший магазин! Понимаешь? На доллар дешевле, чем обычно. Пожалуйста, запомни его, беби (*англ.*).

² 3 получаешь, за 2 платишь! (*нидерланд.*) — слоган нидерландской торговой рекламы.

го нет. И так: он красив, наивен, респектабелен и, главное, одинок (в смысле: доступен), — сочетание для демографически неблагополучных путей из варяг в греки практически непредставимое. А вдобавок к тому он двухметроворост, обалденно сложен, длинно- и густоволос, ослепительно-зуб, спортивен, чист (во всех аспектах этого эджиктива); нежен и вежлив, что уже само по себе щекочуще-экзотично, точней, поджаривающе эротично для неизбалованных восточноевропейских цирцей, — учтив (когда не капризничает) прямо-таки по-офицерски, — ох, а движается он так, что к нему должны, по-моему, вождельть даже бетонные заграждения дороги, и при том он выглядит дьявольски мужественно, чем не всякий даже голливудский легионер похвастаться может. И при том... И при том еще он стихийный пацифист, а еще, хоть это и не сюда, он вечный парень (a guy), а не зашморганный дядя, который трубадур только до двадцати, а потом как-то неизбежно оттрубадуриет, отпрыгается, обсемянится, осеменит, похерит дерзания, начнет занудствовать в адрес арлекинов и коломбин, прогоркнет, заплесневет, — нет, мой не таков: это состоящий из мотоциклетных мускулов и весеннего ветра юноша — с непреходяще-свежим загаром свободы, пластикой вольного, привычно богатого путешественника, прелестной избалованностью здорового, давно цивилизованного существа, не обремененного в конце второго тысячелетия от Р. Х., на манер жителей нижегородской Ойкумены, добыванием искры с помощью сохлого мха и каменного кресала.

...Вообще-то я вижу его сквозь такую, по отношению к прежним ландшафтам, антиностагическую призму, коя более четко обрисовывает индивида не через то, что он делать способен, а через то, чего он, слава Богу, никогда не. Это как в загадке: что не тонет, не горит, а имеет клевый вид? Правильно, дети это... (возможны варианты). Так вот, мой нынешний американский возлюбленный принадлежит к такому типу киногероев, какие никогда не поступают, скажем, так, чтобы сначала сделать ребенка, а потом мучительно думать, стоило ли это делать, — они, как ни странно, думают сначала, а делают потом (несмотря на явное нарушение технологического процесса дети все-таки получаются), — стечение таких фатальных для восточноевропейского собрата обстоятельств, как водка, лодка и молодка, для моего героя вовсе не является неукоснительным сигналом к соитию, — он не вынуждает свою герл-френд регулярно метаться ни между спальней и моленной, ни между абортарием и венерологическим отделением, — он не заражает ее, Господи Боже мой, даже невинной лобковой вошью, — он не тарашит глаза, произноса в кафе громким голосом: «Я пощусь!», а когда он молится в своей скромной протестантской кирхе, по его виду вовсе не скажешь, что он прозревает дьявола во всем, что не есть он сам, — не скажешь там по его виду также и того, что он охотно проломил бы тебе череп, да вот десница занята крестным знаменем, — он никогда не знавал и не познает искусства продажи бюстгальтеров между станцией метро и мусорной свалкой непосредственно после (или вместо) соответствующей ему по диплому разгонки античастиц, он никогда бы этого не принял, — он никогда не заканчивает дружескую пирушку декламацией монолога Хлопуши из положения лежа в собственной блевоте, — он никогда не блял на кухне под гитару про костры и закаты и про таких же, как он сам, ужасно романтических кухонных инсургентов (держа фигу в кармане и зная, что утром пойдет на службу), — он никогда, сложно переживая момент страха и откровения, не обламывал под простышкой свои и без того близорукие глаза о прогрессивные ксерокопии, второпях припадая к запретным плодам «общечеловеческих ценностей», вроде той, что перед едой руки желательно мыть, хорошо бы горячей водой, а лучше и мылом (сентенция, за которую с убийственной регулярностью шли на плаху лучшие умы моей родины), — никогда он не читал такого, потому что

если бы, скажем, он узнал, что грядущей ночью ему суждена такая отчаянная фрonda, такая подпростынная агитация, то еще утром тех же суток его здоровый, взлелеянный веками либерализма организм просто не выдержал бы и, делая ему честь, самораспался. Его сроду не заставишь бегать на короткой дистанции, по кругу, скажем, от Божьего храма к Музею атеизма, и обратно, и снова туда и обратно, от забора и до обеда, и над ним никогда не будут уркаганить неандертальствующие банды, ибо он всосал с молоком своей матери, что любые питекантропы в креслах правительства не «подбрасываются» ему, исконному, отродясь светозарному, ныне и присно невинному, аки библейский агнец, и не засылаются, суки они, волки позорные, десантом на его голову откуда-то чуть ли не с Сатурна, а являются плотью от плоти того же единого организма, к которому он всеми соками принадлежит сам.

Кстати, он сроду не слышал про слезу ребенка, про красоту, которая спасет небо в алмазах, про то, что будем трудиться, а вся земля наш сад. Его голова, на манер разошедшегося сундука, не забита хламом этих фамильных драгоценностей, жалких в своей неизбежной уценке, — кичливой бижутерией, которую в суровые времена невозможно обменять и на стакан молока для ребенка (что затоплен своими слезами), — именно потому и не обменять, что все эти сокровища, в силу своей извечной роковой отвлеченности, утратили блеск и твердость бриллиантов, доживая век пластмассовыми побрякушками.

Так что, если бы моему герою сказали что-нибудь про то, что, дескать, *будем трудиться*, он бы цитаты не оценил, а взял бы лопату и пошел. И в силу этого резона, то есть в силу своей устойчивой резистентности к красотам языка, он, конечно, ничего не читает, but then again (но зато) ему живая березка милее убитой, обреченной отдать свое тело на страницу с графоманским описанием умилительных красот леса. И по той же причине любой клочок целлюлозы, будь то даже чек из супермаркета размером в три почтовых марки, — любой клочок целлюлозы, попав в его руки, не сгинет потом в канализационной канаве, имея в соседях, как в сказке Андерсена, яичную скорлупу и сапожную дратву, — клочок из рук моего героя неукоснительно попадет в специальную корзину к своим же фольклорным собратьям, чтобы затем быть переработанным в горниле recycling, — разве это не сказочно?

Я имею в виду: герой, который не читает, не пишет, не умеет оценить тонкую литературную шутку, а имеет в своем откровенно роботизированном устройстве некие незыблемые файлы-программы, как-то милей нашей матери-природе, чем мы, суетливые словоблуды, потому что она безошибочно чувствует, что ежели кто ее и спасет на этом свете, то это только лишь он. Сам погибнет под бременем бездуховности, а ее пусть и ценой механизации своей бедной души, но спасет. И, думаю, на свете будет тогда особенно красиво. *Природа без героя. Что может быть лучше?*

И вот в моем возлюбленном работают таинственные программы, которые такое время всеми силами приближают. Например, представим, что у вас в домашней аптечке завалился анальгин времен царя Гороха. Что вы с ним делаете? Ответ первый: не замечаете. Ответ второй: не замечая просрочки, глотаете. Ответ третий: заметив просрочку, выбрасываете в мусорное ведро. (Ответ четвертый — заметив просрочку, глотаете все равно — опускаем как неактуальный.)

А вот как поступает мой герой. Он берет этот просроченный анальгин и на экологически безопасном велосипеде отвозит его в аптеку. В аптеке он его сдает, а там уже знают, как этот анальгин экологически безопасно утилизировать. Но драма заключается в том, что как раз в это самое время героиня, у которой оказалась, скажем, незапланированно сломана нога, безуспешно ждет своего Ромео в травматологическом отделении — с визи-

том тепла и сочувствия, — а он этот визит как раз нанести и не может, потому что еще месяц назад запланировал на данный час экологический визит в аптеку для сдачи просроченного анальгетика. Вот если бы подруга заранее предупредила его, что сломает ногу, тогда другое дело.

Или вот, скажем, батарейки. Обыкновенные батарейки для плеера, уокмена, фотокамеры или чего еще. Вы-то их, как они сядут, — в мусор или вообще первобытным таким жестом естественного очищения — швырк — в любом направлении, а они идут в тело матери-Земли и его изъязвляют. А мой герой, хоть ты его разрежь на куски, когда пойдет за продуктами в супермаркет, — там, единственно там, выбросит эти батарейки в специальные для них емкости. И откуда это у него? Нет, я понимаю, что заяц, если его выдрессировать, может вполне даже на барабанах играть. Кстати, все зайцы после дрессировки такое могут. Поскольку они принадлежат к одному роду. А вот герой западный и герой восточноевропейский... Тут насчет родовой общности иллюзорность одна, ибо их видовые различия столь велики, что порой усомнишься в применимости к этим особям единой классификации.

Взять хотя бы те же батарейки. Мой новый герой озабочен телом Земли, его здоровьем и сохранностью. Но, когда ты волею судеб оказываешься в его доме, не дай Бог, в час ужина, на который ты не был специально приглашен, он вполне может положить ужин только себе, нимало не заботясь о твоём брэнном теле. Ну, во-первых, потому что ситуация с ужином на двоих запланирована не была. Так? А во-вторых, потому что у него просто нет такого рефлекса (файла), чтобы замечать твоё тело в незапланированной для твоего тела ситуации. А в-третьих, *мы живём в свободной стране*, это Ваше приватное тело, оно принадлежит только Вам, понимаете? Ваше тело — Ваше дело, где и когда его подпитывать, никто не имеет права нарушать этот суверенитет. Вот такая история с батарейками.

А вообще мне фантастически повезло. В том числе с моим героем. Пусть сценарист там брызжит на его счет сколько угодно, а я даже до сих пор не могу поверить, что мне удалось вырваться, мне удалось. Что я могу вот так, на корню, переиграть жизнь. Это именно для меня этот молодой мотоциклетный ветер, огни рампы и реклам, прелестные парки и пабы, ночи любви и латиноамериканских танцев, а потом, в течение суток, рассвет в Майами-Бич, штат Флорида, а закат в Сиэтле, штат Вашингтон, — то есть брекфаст на Атлантическом океане, а динер на Тихом, — полет над всем североамериканским континентом...

Как подумаешь, что было мне уготовано на этом свете... Страна, где женщины в основном уже доживают свою жизнь после рождения первого же ребенка, то есть с двадцати лет. О, тяжкое наследие Востока!.. Или, скажем, другая прелесть азиатчины мне была уготована: бухгалтерия с толстозадными бабами, с толстозадными мордами, с толстозадными их разговорами...

Жалко березки рубить, пуская их тела на бумагу, — ибо тогда никаких березовых рощ не хватит, так и планету обезлесить можно, — если даже в самом сжатом постмодернистском списке дать этот их, толстозадых баб, повседневный бред. А потому, *to make a long story short*, — вот, на выбор, лишь один краткий эпизод, где как в капле воды... и т. д.

Была у нас в бухгалтерии одна женщина. И Бог наградила ее двойней. То есть именно наградила, ибо последствия это как раз и выявили. Сначала вроде не так-то ладно все шло. Дети начали бороться за корм, то есть отнимать его друг у друга, еще в утробе своей матери.

А потому родились слегка дефективными. Один ходил, но не говорил. А другой говорил, но не ходил, а ходил под себя, то есть страдал энурезом. И поэтому женщина эта работала в бухгалтерии на полставки: не пять дней, а три, а те два дня она отдавала детям: одного водила к логопеду, а к другому водила детского невропатолога. И бабы ей страшно завидовали.

Шутка ли: ходить на работу не пять дней, а три. И хоть денег она тоже получала не за пять, а за три, все-таки какие там деньги, их нет и не будет, а зато дней не пять, а три.

Ну ладно. А тут, значит, по разнарядке, к праздникам, спускают на коллектив бухгалтерии белый ситцевый пододеяльник. В количестве один (прописью). Конечно, можно спать и без пододеяльника. И вообще какие-то пододеяльники у всех так или иначе были. В каждой семье. Но не новые. А в магазинах их уж лет сто не давали. Поэтому, конечно, именно бухгалтерши, то есть специалисты в области учета, вмиг оценили, что раз дают, надо брать. (Тогда такие товары шли только по разнарядке на коллектив.) Но как его брать, если он один, а баб пятнадцать?

Ясное дело: решили тащить жребий. Для этой цели заведующая бухгалтерией, чтоб все по справедливости, взяла у курящей пятнадцать спичек, зажала их в жменю, а там четырнадцать нормальных спичек, а одна, в смысле счастливая, короче других. Я от этого дела, конечно, смылась, сказав, будто у меня горит квартальный отчет (что, впрочем, не было такой уж беспочвенной ложью).

Сию я, значит, в другом, кладовочном, помещении и слышу за стеной такую жуткую тишину. Нервы просто не выдерживают. Ну, думаю, перед взрывом. Как это: четырнадцать баб, и чтобы такое белое безмолвие. Так не бывает. И точно. Раздается дикий, дичайший взвизг, переходящий в длинный такой, сверлом в уши, визг. Визжит заведующая, а ей подвизгивают по очереди те, у кого хорошо с легкими. Если вы бывали на концертах Пола Рэйлсбека, там такой же эффект используется. Но там это красиво.

И вдруг визг вырубается, снова жуткая тишина, такие вот звуковые эффекты, и в этой тишине начинает разрастаться и крепнуть речитатив заведующей: «Она не имеет права! Она этого не заслужила! Она не имеет права! Она этого не заслужила!» — а ей подпевают те, у которых хорошо с легкими: «Она этого не заслужила! Она работает на полставки! Она этого не заслужила! Она работает на полставки!» Такой, в общем, хор.

И тут я начинаю понимать, что спичку-то с пододеяльником вытащила как раз бедная Таня, для которой все жребии были равны. Потому что хоть Господь и наградил ее сначала возможностью работать на полставки, а потом еще таким ценным подарком, она как-то заранее знала, что ничего хорошего из этого не выйдет, и оказалась права. Я помню, что потом дети у нее в целом поправились, то есть тот, кто пился и не вставал, писаться перестал и пошел, но в спецшколе для дефективных как-то сильно увлекся токсикоманией, в результате чего проломил до мозгов голову другому дефективному. А его брат-близнец почти выправил свою речь, поступил в нормальное, хорошее ПТУ, выучился на повара, женился, но потом пропал, и его не нашли. А кому достался пододеяльник, я так и не помню. Я помню только, что мне надоело сидеть в кладовке, я вышла и предложила разрезать этот пододеяльник на пятнадцать кусочков, как это сделали поклонники с носовым платком Мика Джеггера, — так меня чуть не убили.

А нынче я еду на дискотеку. В Long Beach. На «крайслере» цвета апрельского рассвета во Флориде. У меня молодой и самый красивый бойфренд на обоих побережьях. Полагаю, даже в обоих полушариях... Ну разве это не кино?

Сцена 13

Светло-вишневый «крайслер» подкатывает к зданию дискотеки, довольно долго ищет место для парковки; находит. Из здания, выполненного в корбюзьеанском стиле, доносится громкий, канонадой и взрывами, гул.

Обе двери машины синхронно открываются. Из них выходят (съемка сзади и слегка сверху) мужчина и женщина. Фигура каждого из них настолько точно соответствует принадлежности к своему полу, что эта принадлежность выглядит даже демонстративной. (Точней: старомодной?..) Две фигуры, настолько обратные друг другу, настолько обреченные друг на друга, словно являющие собой просто символы мужчины и женщины как таковых, — привычные символы мира, так остроумно замешенного на войне и единстве полярных начал. То есть мы видим большой треугольник мужчины, основанием кверху, а рядом маленький, словно перевернутый, треугольник его подруги. Большой треугольник великодушно протягивает маленькому свой мизинец. Маленький цепляется за мизинец двумя своими руками, и так они входят в здание дискотеки.

Сцена 14

Дискотека.

О н а. Господи!!

О н. Что?!

О н а. Господи!!

О н (*наклоняясь к ней*). Что?

О н а (*ему в ухо*). Шум!..

О н (*так же*). Давай я возьму тебе «Ear Classic»!..

О н а (*держась за его шею*). Что это?

О н (*ей в ухо*). Это такие пробки, уши затыкать!.. Вон, смотри, продают!..

О н а. Какой смысл?

О н. Что-что?..

О н а. Я говорю: какой тогда смысл?..

О н. Шит! Во всем ты смысл ищешь! Рилэкс, бэби!

О н а (*кричит ему в ухо*). Но у меня сердце вошло в резонанс!! Господи!! Сейчас лопнет!!

О н (*кричит*). Потерпи!!

О н а. Господи!! По кишкам молотит!! Бухает!! Ой, не могу, ужас!! Ой!! Мозги сейчас взорвутся!! И вылетят!!

О н (*освобождаясь от ее рук*). Тихо, бэби!! Сейчас будет моя любимая песня!!

О н а. Господи!.. но это же Хиросима!.. Мегатонны тротила!..

Он, к ее удивлению, открывает рот и, судя по движениям губ, подпевает.

И у этой бомбардировки есть слова?!

Грохот обрывается, топот, вой, свист. Музыканты подготавливаются к следующей части.

Перерыв.

О н. Тебе понравилось?

О н а. Мне надо привыкнуть...

О н. У вас есть похожие группы?

О н а. Наверное... Я не знаю...

О н (*внезапно*). Что ты на него так смотришь?! Не показывай, что ты иностранка, пожалуйста! Не видела, что ли, таких причесок?

О н а. Я не смотрю... Видела...

О н. Хочешь чего-нибудь выпить?

О н а. Можно...

О н. Пошли в фойе.

Выходят.

Сцена 15

В фойе.

Он. Ну вот, теперь растянут перерыв на полчаса... Знаю я их манеру... Сока хочешь?

Он а. Давай...

Он. Какого?

Он а. Orange... *(Явно подлизываясь.)* Знаешь, эти децибелы страшно вредны для здоровья! Я читала!..

Он. Я же тебе предлагал «Ear Classic»...

Он а. Да не для ушей, я имею в виду! Для всего сразу! Для, скажем, селезенки... мозга, конечно... печени... перикарда...

Он. Перикард — что это?

Он а. Оболочка сердца...

Он. Сердце имеет оболочку? Это хорошо... А другие органы имеют?

Он а. Не все, я думаю.

Он. Это плохо. Хорошо, если бы все имели... А где ты вычитала, что это вредно?

Он а. В одном медицинском журнале...

Он. Я думаю, что в таких дозах это еще допустимо... А то Министерство здравоохранения обязательно делало бы свои предупреждения. Как ты думаешь?

Он а. Тебе виднее...

Он. Конечно, делало бы! В противном случае министр пошел бы под суд!

Маленькая пауза.

Слушай... Раз уж ты коснулась такой темы...

Он а. Какой?

Он. Ну, про селезенку... и все такое... Можно я тебя кое о чем спрошу?

Он а. Конечно. Спрашивай.

Он. Сок вкусный?

Он а. Вкусный. Спасибо. А как тебе кола?

Он. О'кей.

Он а. Ты про сок хотел спросить.

Он. Нет.

Он а. А про что?

Он. А ты не будешь смеяться?

Он а. Конечно, не буду.

Он. Дай честное слово.

Он а. Ты же знаешь.

Он. Ну, о'кей. Слушай... Вот. Например, этот period... ну, который у девочек и у женщин... я имею в виду... в смысле — месячные, когда кровь... Это что — именно по ночам бывает?

Он а. Нет.

Он. А как?

Он а. Раз в месяц.

Он. А-а-а.

Пауза.

Понятно. *(С детской важностью.)* Я теперь знаю, почему девочки иногда так много времени проводят в туалете!

Он а. Ну да. Они там макияж делают. А мальчики почему иногда так много времени проводят в туалете?

Он (*слегка ее обнимая*). У тебя красивая грудь... Большая...

Она. Не видел такой никогда?

Он. Не видел.

Она. Осмелюсь спросить, сэр: за сколько же это лет?

Он. За тридцать один год с момента рождения... (*Внезапно, словно опомнясь.*) Но из этого ничего не вытекает! Ты не можешь делать обо мне какие-либо выводы!

Она. Ну, один-то вывод я уже сделала.

Он (*отстраняясь*). Какой? Впрочем, мне это неинтересно.

Пауза.

Ну, если что-то хорошее, то можешь сказать. Это хорошее?

Она. Я не знаю.

Он. Перестань! Конечно, ты знаешь.

Пауза.

Ну?

Она (*угрюмо и нежно*). Обожаю тебя. Обожаю. Вот и все.

Он. Это твой вывод?

Она. Это мой вывод.

Он (*заметно приободрившись*). Не такой уж плохой вывод. Еще соку? Нет?..

Из зала раздается взрыв воплей и свист вперемешку с громом отдельных, пока еще диссонансных аккордов электрогитары.

Сейчас начнут! Шит!.. Как назло, мне надо пописать!.. ты не хочешь, нет? Подожди меня, ладно? (*Исчезает в дверях мужского туалета.*)

Сцена 16

В мужском туалете.

Заходит в кабину, запирает дверь, спускает джинсы, плавки, садится на унитаз. Отстегивает от ремня джинсов мобильный телефон. Набирает номер. Гудки. Щелчок. Музыкачка из кинофильма «Мужчина и женщина».

Голос компьютерной женщины. Хэлло! Меня зовут Жаклин! А тебя?.. Oh, nice! Wonderful! Как ты хочешь это делать? Ты не против, если мы пойдем в кухню? Oh, это большой инджоймент делать любовь в кухне, в то время, когда я готовлю для тебя апельсиновый сок. У меня большая грудь. О, какой ты нетерпеливый, my darling! Oh!.. У меня густые белокурые волосы. Голубые глаза. Аппетитная попка. Мне девятнадцать лет. Oh!.. Какой ты сильный!.. Oh!.. подожди!.. У тебя длинный и толстый, очень твердый prick. У меня горячее и нежное влагилище. Оно узкое и влажное, как у варшавской гимназисточки. Oh, мой любимый!.. Oh!.. Нам хорошо вместе, isn't it? Oh, you drive me wild!.. Oh, yes, yes!.. yes... this is nice, isn't it?.. og... yeah... yeah... please, not so fast, sweetheart... Oh, I beg you... don't come...

Голос компьютерного мужчины. К сведению наших клиентов: следующие три минуты идут по двойному тарифу.

Голос компьютерной женщины (*страстно*). Deeper, my darling!.. Oh, deeper!.. Stronger! Oh! Oh! Oh! А это мой бой-френд. Его зовут Paul. Он сейчас заглянул к нам в кухню. Он хочет делать любовь вторым. Do you mind? Oh, that's very sweet!.. Paul входит в меня сзади. Oh, Paul, возьми вазелин!.. Не хочешь?! Как ты жесток! Oh!.. Бастард! Ненасытный бастард!! Paul... (*хрипы*) I love you!! And I love that guy... who is fucking my

pussy now!.. Обожаю! Обожаю его толстенький бодливый бананчик!.. To tell you the truth... oh... я люблю также и твой prick, Paul! I love you both!.. Oh, that's true love!.. Yeah!.. yeah... yeah!!!

Типовой оргиастический звукояд: рычание мужчины, визг женщины, мычание мужчины, совместные затихающие стоны (слышны досадные помехи звукового носителя).

Paul, my God, ты кончил... Теперь твоя очередь, my darling... теперь твоя очередь... I want you to come! I want you to come now! Come! Oh, come, my darling!.. My pussy is... my pussy... oh, I'm coming again!.. let's come together!.. oh... oh... tear me to pieces... tear me to pieces... oh... oh... oh... yeaaaaaaah!!

Маленькая пауза.

Шум воды в унитазе. Плеск струи водопроводного крана. Гудение электронного осушителя.

Тишина.

Сцена 17

В фойе.

Она. Скорей, там уже давно начали! С тобой все в порядке?

Он *(с неподдельной убагатворенностью)*. Более чем.

Сцена 18

Дискотека.

Он. Будешь танцевать?

Она. Я не умею под такую музыку. А ты будешь?

Он. Пожалуй. Немного. Почему нет?

Она. Давай! У тебя должно здорово получаться.

Он. Почему?

Она. У тебя очень красивая фигура... Ты вообще красивый...

Он. Перестань! Перестань! Сколько я тебе говорил!

Она. Но если это правда?

Он. Shut up! Это твое дело так думать! А меня это не касается!

Она. Ну, все, все... не буду больше, не буду...

Он. Подержи лучше мою куртку. *(Снимает ветровку и подает ей.)*

Она. Давай. *(Прижимает куртку к груди, как ребенка.)*

Он направляется в центр зала, где уже разобщенно топчется несколько человек. Музыки еще нет. Он входит внутрь этого скудного скопления разрозненных тел. И сразу выделяется там, словно бы отдельно снятый крупным планом.

Это, конечно, эффект его роста и телосложения. Синие джинсы, черная футболка — все это габарита XXL. Данный размер относится, безусловно, и к голове — к ее черепной, а также лицевой части мужественного, стопроцентного, высокооплачиваемого голливудского любовника — с хорошо развитой нижней челюстью, мощной фронтальной костью, сильным рельефом скул и надбровных дуг, четкой линией безжалостных и нежных губ... Голова еще дополнительно увеличена за счет темно-русой, чуть вьющейся, перепутанной гривы, небрежно спадающей к перекладине двадцатипятидюймовых плеч.

Она *(себе, по-русски)*. Господи, это взаправду? Такая красота? *(С силой щиплет свою кисть.)* И он сейчас будет еще танцевать? Боже мой!.. Боже!..

Взрыв ударных.

Взвизг толпы — гром и скрежет — нарастающий визг — грохот, обвал, канонада.

Крупный план: ее глаза. То, что отражается там, тонет в глубине бессловесно, беззвучно, вытесняя своей громадой равные объемы слез. Образ, принятый в глубину глаз, растворенный в слезах, светит со дна драгоценной звездой, но различить эту звезду может лишь тот, кто, не утратив способности к боли, находится вне скорби земных озер, кто, может быть, не умеет плакать слезами, — единственно тот, кто умеет читать на дистанции, — со слуха, как с книги, — переводя морзянку разболтанных нервов в разряд типографских значков.

И он читает:

Никогда Наташа уж не встанет в восемь утра, и никогда не решит заранее, что на ней и Соне будут белые дымковые платья на розовых шелковых чехлах, с розанами в корсаже, а волосы будут причесаны à la grecque, и никогда не случится тому, чтоб ноги, руки, шея, уши были особенно старательно, по-бальному вымыты, надушены и напудрены, и никогда не будут обуты шелковые ажурные чулки и белые атласные башмачки с бантиками, и никогда Соня, уже одетая, не будет стоять посреди комнаты и, нажимая до боли маленьким пальцем, прикалывать последнюю визжавшую под булавкой ленту, и «Воля твоя, — с отчаяньем в голосе больше не вскрикнет Соня, оглядев платье Наташи, — воля твоя, опять длинно!», и фрейлина старого двора, Перонская, уже не будет никогда готова к четверти одиннадцатого, и не будет надушено, вымыто, напудрено ее старое, некрасивое тело, и не будет так же старательно промыто у нее за ушами, и, в желтом платье с шифром, уж не выйдет она в гостиную, а Наташа, на своем первом взрослом балу, стараясь только скрыть волнение, уже ввек не примет той самой манеры, которая более всего шла к ней, а зеркала на лестнице уже больше не отразят дам в белых, голубых, розовых платьях, с бриллиантами и жемчугами на открытых руках и шеях, и адъютант-распорядитель, мастер своего дела, не пустится с Элен глиссадом, и потом, через каждые три такта на повороте не будет как бы вспыхивать, развеваясь, бархатное платье его дамы, и Пьер никогда не подойдет к князю Андрею, и не схватит его за руку, и не скажет: «Тут есть моя protégée, Ростова молодая, пригласите ее», и ножки Наташи в белых атласных башмачках легко и независимо от нее уж не будут делать свое дело, а лицо ее не будет сиять восторгом счастья, и на Элен не будет как будто лак от тысяч взглядов, скользивших по ее телу, и князь Андрей не будет любоваться на радостный блеск Наташиных глаз и улыбки, относившейся не к говоренным речам, а к ее внутреннему счастью, и не будет он больше никогда любоваться на ее робкую грацию, и Наташа в середине котильона, еще тяжело дыша, не будет подходить к своему месту, и никогда, глядя на нее и совершенно неожиданно, не скажет себе князь Андрей: «Если она подойдет прежде к своей кухне, а потом к другой даме, то она будет моей женой», — и никогда уж Наташа не подойдет прежде к кухне.

Никто не пригласит Кити на кадрили, не будет больше никогда ни кадрили, ни Кити в ее сложном тюлевом платье на розовом чехле, и не будет она больше никогда вступать на бал свободно и просто, как будто она родилась в этом тюле, кружевах, с этою высокою прической, с розой и двумя листками наверху нее, потому что не будет больше такого бала, и не будет больше никогда того ее платья, что не теснит нигде, и не будет тех розеток, что не смялись и не оторвались, и не будет тех розовых туфель на выгнутых каблуках, что не жмут, а веселят ножку, и не будет густых бандо белокурых волос, что, как свои, держатся на белокурой головке, и не будет трех пуговиц, что не порвались, а, наоборот, так ладно и легко застегнулись на высокой перчатке, которая обвивает руку, не изменив ее формы, и

не будет уже никогда черная бархотка медальона особенно нежно окружать шею, и перед зеркалом не возникнет никогда уж то чувство, что во всем остальном еще может быть сомненье, но бархотка точно прелесть, и не почувствует никогда более Кити в своих обнаженных плечах и руках холодную мраморность, чувство, которое она особенно любила, и не войдет она в залу, и не дойдет до тюлево-ленто-кружевной-цветной толпы дам, и не пригласит ее мгновенно на вальс лучший и главный кавалер по бальной иерархии, знаменитый дирижер балов, церемониймейстер, женатый, красивый и статный мужчина Егорушка Корсунский, и этот Корсунский не завальсирует уж никогда, умеряя шаг, прямо на толпу в левом углу залы, приговаривая: «Pardon, mesdames, pardon, pardon, mesdames», и никогда уже, век, отродясь, не станет он лавировать между морем кружев, тюля и лент (не зацепив ни за перышко), и не повернет он уж круто свою даму, и не откроются ее тонкие ножки в ажурных чулках, и не разнесет ей шлейф опахалом, и не закроет им колени Кривину.

И Анна уже никогда больше не будет в черном, низко срезанном бархатном платье, и оно не будет открывать ее точеные, как старой слоновой кости, полные плечи и грудь и округлые руки с тонкой крошечной кистью, и это платье, хоть плачь, уже никогда не будет обшито венецианским гипюром, и не будет ее черных волос, своих, без примеси, и не будет больше никогда в них маленькой гирлянды анютиных глазок (и такой же на черной ленте пояса между белыми кружевами), а главное, не будет этих своеобразных колечек курчавых волос, всегда выбивавшихся на затылке и висках, не будет ни точеной крепкой шеи, ни нитки жемчугу на ней.

И Кити никогда больше не будет, с замиранием сердца, ожидать мазурки (потому что в мазурке *все должно будет решиться*), и не увидит она в Анне столь знакомую ей самой черту возбуждения от успеха, и она уже отродясь не увидит, что Анна пьяна вином возбуждаемого ей восхищения.

А другая Анна, та, что на шее, во веки веков не будет делать из старого платья новое, мыть в бензине перчатки, брать на прокат *bijoux* и так же, как мать, щурить глаза, картавить, принимать красивые позы, приходиться, когда нужно, в восторг, глядеть печально и загадочно, а в дворянском собрании не будет подъезда со швейцаром, не будет передней с вешалками, шубами, снующими лакеями, и до отчаянья грустно, что не будет уже нигде (помимо диссертаций гарвардских славистов) декольтированных дам, закрывающихся веерами от сквозного ветра, и не будет в передней дворянского собрания пахнуть светильным газом и солдатами, и Аня не пойдет вверх по лестнице под руку с мужем, не услышит музыку, не увидит в громадном зеркале всю себя, освещенную множеством огней, и веки в душе ее не проснется радость и то самое предчувствие счастья, какое испытала она в лунный вечер на полустанке, и не доведется ей уже никогда танцевать ни вальс, ни польку, ни кадрили, страстно, с увлечением, переходя с рук на руки, угорая от музыки и шума, мешая русский язык с французским, картавя, смеясь, и не будет она уж ни в жизнь судорожно тискать в руках веер и хотеть пить, не будет также порхать в мазурке около громадного офицера, дразня его своей красотой, своей открытой шеей, а он не поддастся ее очарованию, не войдет в азарт, не станет двигаться легко, молодо, и она не будет поводить плечами и глядеть лукаво, точно она королева, а он раб, и ей уже никогда не покажется, что на них смотрит вся зала, что все эти люди млеют и завидуют им.

И никто не вспомнит вальса звук прелестный весенней ночью в поздний час, — все будет раз и навсегда упразднено — вальс, прелесть его звуков и прелесть весенней ночи, а поздний час, в соответствии с макулатурой декретов, да и просто так, произволом, перейдет в ведомство кирзовых сапог и прикладов, и жизнь истончится, как стертая кожа, и время, как кровь, под насильем иссякнет.

Но даже и другого, посмертного, скудного, тоже не будет, и в нэпманском ресторане, на фоне розового поросенка с хреном и бумажной хризантемой в зубах, последний романтический герой, в немыслимом своем шарфе и штиблетах, не будет уж больше отплясывать под граммофон ни шимми, ни тустеп — с грудастой, страстной, в момент ответственного объятья обильно вспотевшей вдовой.

И на дачах НКВД, на открытых верандах, посреди клумб, крокетных площадок и каменных балюстрад, избобильные дамы с тяжелыми корзинами кос никогда уж не будут, утомленные солнцем, плавиться воском в руках солидных, откормленных свежатинкой партнеров, одетых по случаю выходного в белые полотняные костюмы.

И никто больше не станет накручивать деревянную ручку патефона, сладко, до головокруженья вдыхая запах его бархатного диска — цвета граната, а то малахита, и рио-рита больше уже никогда не свяжет партнеров в нежном и плотном объятье, не запустит мелькать их беспечные, вскоре истлевшие в братских могилах ножки, а новые пластинки с красивой наклейкой цвета берлинской (тоже трофейной) бирюзы уже никогда не взбудоражат слуха вражьим и одновременно очень эротическим «ихь либе дихь», и скромненький синий платочек, заглушая чужую речь, не заставит уж более девятнадцатилетних медсестер портить плойкой свои чудесные белокурые волосы и подкладывать под пиджаки, перелицованные из немецких мундиров, огромные — дополнением к своим маленьким — ватинные плечи, чтобы вечером застенчиво положить руки на плечи чудом уцелевших лейтенантов.

И вслед за картавым, по-петербургски влажным мурлыканьем Вертинского, только что вынырнувшего из Леты и вновь туда возвращенного, в нее повалятся и утесовские вальсы-танго-фокстротики, и лещенковские блины, и все его Дуни, Насти-Настеньки, мои-Маши и мои-Марусечки, а их всех заглушит, задавит, сотрет в порошок и тоже сгинет в могиле этого тысячелетия роскошный баритон Теннесси Эрни Форда, все его мужские, бомбардирующие, рвущие душу шестнадцать тонн, под мощные удары которых, под этот с ума сводящий ритм нездешних улыбок, слез и объятий, — всей правотой новомодных подошв проламывая потолки нижних соседей, — вкусят свою краткую юность бесстрашные мотыльки в брюках-дудочках и плашиках-болоньях, и не будет их больше никогда, и сгинут они без следа, и не ринуться им уже во веки веков на огонь любовной лихорадки, на все эти сладким электричеством бьющие («Never know how much I love you...») песенки американской сирены Пегги Ли, потому что ни Пегги, ни любовной лихорадки больше не будет, и сколь не произноси слово «страсть», в груди жарче не станет, да и как мотыльки те выкаблучивались под всю эту чертовщину, разве кто помнит?

Кончена жизнь, как сказал классик. Златые дни удалились в реку времен, то бишь в сточную канаву царей, рабов, страстей, беспамятства, и не будет больше безоблачного Фрэнка Синатры, жившего там, где, казалось, нет смерти, где «everybody loves someboby sometimes», где любовный поцелуй не омрачен регламентированным страданием, где возбуждающе пахнет бензином, цветами, шампанским, где в бархате мягкой, дышащей океаном ночи шины белых «кадиллаков» так нежно шуршат по гравию ярко освещенных вилл, — где «saturday night is the longest night in the week», а потому все уже приготовлено для мягкого, наивного, безмятежного счастья, — остается только идти cheek-to-cheek, наслаждаясь тонкой талией женщины, широким плечом мужчины, замирать, блаженствуя и пьянея от запаха плоти, звериной точности и согласия всех движений, тайной слиянности желания, — так вот, ничего этого больше не будет, не будет никогда, — и золотое солнце Калифорнии кратко, запоздало, напрасно озарит топь восточноевропейских болот, а будоражащее вино французских мелодий все

равно прокиснет и никогда не соблазнит больше ни Жана, ни Ваню нацепить для танцулек отцовский галстук, и не искусит их подружек под риском скандала густо обвести губы, сварганить «бабетту» и стащить у старших сестер туфли на шпильках (и все для того, чтоб наконец-то легализовать вожделенье касаний узаконенными объятиями танцевальных па), и не понятно, для чего так старался Ив Монтан, для чего ж улыбался он с таким неподражаемым шармом, восторженно и счастливо глядя на беловолоосу, белозубую, в сине-белой матроске, сияющую Симону Синьоре, для чего очаровывал всех подряд своим «A Paris», для чего завлекал мягкой, солнечной, прозрачной насквозь легкостью знаменитого «C'est si bon», для чего тогда вообще был сочинен «Mon pot' le gitan», если ничего этого больше не будет, и только четверка ливерпульских богов сумеет на некоторое время оттянуть развязку, но даже и эта отсрочка не отменит того, что никогда уж больше не будет ни вспотевших ладошек, ни кашля от крепких, взятяг, демонстративно американских сигарет, ни напряженной спины, ни нарочито небрежных английских реплик (мучительно тренируемых и все равно зловредно хранящих варварский акцент), ни кровной гордости подростка, фрондерского волосяного покрова, сантиметров на двадцать длинней казарменно-нормативного, проще говоря, хайра, из-за которого ежедневно, на пороге школы, его уже поджидает директорша, гоня в парикмахерскую и за родителями, а дома поджидают родители, гоня в милицию, а в милиции грозят военкоматом и сулят исправительные блага армии, и не будет также почти настоящих, польского производства, джинсов, добытых у знакомых фарцовщиков на бабки, сэкономленные в отказе от школьных обедов, и, наконец, не будет больше никогда этого новогоднего вечера в актовом зале, украшенном надувными шарами и еловыми лапами, где бас-гитарист из школьного ВИА наконец-то объявляет белый танец, и большеглазая одноклассница в мини-юбочке, глядя в другую сторону, небрежно подходит к патлатому страстотерпцу, искусно изображая рассеянность и занятость чем-то другим, — не будет этого ныне и присно и во веки веков, — и никому не суждено уж больше увидеть, как этот мученик в самодельной рубашке без воротника, под Леннона, хоть косолопо, но все-таки обнимает свою маленькую женщину, и что, несмотря на состояние, близкое к обмороку, даже наклон его головы, даже само очертание его затылка выражают эту старомодную, самозабвенную мужскую страстность, — нет, все это навеки осталось там, в yesterday.

Не будет даже вот этой, сразу напротив двери, ржавой батареи центрального отопления, сплошь увешанной постиранными, со следами частой чинки, лифчиками каких-нибудь лимитчиц, крановщиц и бетонщиц, или швей-мотористок, или студенток какого-нибудь химтехникума, или библиотечного института, или педа, меда, какая разница, — выходит, не будет больше никогда этих молодых баб, живущих впятером в конуре общежития, — молодых баб, страстно, с ветхозаветной маниакальностью ждущих субботы, точнее, субботнего вечера, — тех самых, что умеют в ожидании своих военных курсантов — или солдат срочной службы, или не совсем уже желторотых сокурсничков, или не старых еще прорабов — всех, от кого испепеляюще разит шипром, водкой, потом, страстью, вообще сокрушающей силой самцов, — не будет больше тех баб, что умеют в этом невыносимо долгом ожидании уютно спать на каменных бигуди (во сне видя при том фату и «Волгу» с пупсом на капоте), а затем, наяву, нестись под ледяным дождем в СМУ, с квадратной от этих бигуди, под платком, головой, — и не будут они после, в подсобке, еще подкручивать посеченные концы своих лохм на раскаленный добела гвоздь, и зубной щеткой гуталинить ресницы, и загибать их горячей вилкой, и безропотно делать аборт, — не отягчая совесть представителей государственной медицины, а так, неомраченно и бодро, между стиркой чулочек-лифчиков и мытьем до-

щатого, в трещинах, пола, — и не будет предвкушения вожделенной субботы — точней, вожделенной секунды, когда в общежитской комнате, пропахшей пролитым спьяну портвейном, остатками мясного салата, «Опалом» и «Примой», а также горячим еще утюгом, духами «Красный мак» и пудрой «Рашель», погаснет свет, и там, возле ржавой батареи, где уютней всего топтаться как бы в такт музыке, жадные мужские руки наконец-то примутся всласть гулять по горячему и податливому, очень понятливому женскому телу под стоны Далиды и шепот Джо Дассена.

Nevermore.

Никогда.

Не будет этого больше никогда.

Спрашивается: какого же Апокалипсиса еще надо, каких таких пиротехнических эффектов? Неужели не ясно, что жизнь иссякает необратимо, что она аннигилируется, обращаясь в ничто, и нет у нее никакой регенерации? Это только кажется, что она умеет зализывать и беззастенчиво заживлять свои раны, любые пробоины своего вещества, но на деле ей нечем восполнить себя, это просто тришкин кафтан. Просто ветхие заплатки беспамятства на дыры, сквозь кои, все равно выпадая, теряется память. Старческое вещество жизни, лишенное памяти, не может более возрождать свои частицы. Похоже, именно сейчас, на нас, время решило поставить the full stop. Ведь возрождение жизни предполагает магически слаженное соединение мужчины с женщиной, но сокровенная точка этого таинства разрушена, а жизни нигде более восстанавливать свою ткань. Мужское и женское начало человека все реже имеют возможность слияния, дистанция разрыва все нарастает. Какого же еще Апокалипсиса — с дымом, трубами и другими эстрадно-цирковыми эффектами — нам, идиотам, осталось бояться?

А может быть, это происходит так. Есть узор. Точней говоря, был задуман некий гармоничный узор, обладающий красотой рая, цельностью неба, прочностью кристаллов алмаза и единственностью того, что задумано быть абсолютным. Но этот узор так и не состоялся. Пока не состоялся. Потому что в каждой своей узловой (ключевой) точке, в кристаллизующей, жизневозрождающей точке взаимодействия между мужчиной и женщиной, он отчего-то чуть-чуть сдвинут, ровно чуть-чуть, — относительно точек идеального чертежа. Вот почему между этими жизнеродными частицами нет сладу и цепная реакция любви заблокирована в зародыше. А может, и наоборот: первично нет сладу именно между частицами, а потому и узора нет. И если это действительно так, если что-то и от наших усилий зависит, то надежда на спасение еще остается. Потому что тогда дело за малым. Просто надо, чтобы одна пара, одна-единственная пара, полагающая, что она пара любовная, приложила героические, титанические — может быть, действительно нечеловеческие по силе — и единственно человеческие по сути своей — усилия и восстановила частицу узора в своей одной, отдельно взятой точке. Пусть эта легендарная пара даже погибла бы от перегрузки в такой сверхзадаче, но узор ценой жизни в своей-то уж точке восстановила. И тогда, по закону неотвратимости согласия, в тот же миг, одномоментно, узор будет неукоснительно восстановлен во всех остальных точках.

Но это все так, мечты и звуки. Есть реальность, ее не в силах отменить даже сценарист. Несмотря на тысячу диаметралных на эту реальность взглядов, несмотря на бездну возможностей оператора, тот, кто танцует сейчас на дискотеке в Long Beach, никогда не будет выглядеть, скажем, как бравый гусар Денисов на московском балу у Иогеля, то есть не полетит он в мазурке, прищелкивая шпорами, падая на колена и бережно обводя вокруг себя свою нежную даму, — ну, этого и не ждет от него никто, но ужас-то в том, что ему неведомы даже и те, общепонятные, казалось,

интенции, что заставляли, к примеру, любого доисторического (жившего еще десять лет назад) юношу, сопя и потея, топтаться в темном углу под шлягер, идущий в разряде «медленный танец», тиская и целуя врасос застенчивую свою подружку.

Нет, нет и нет. Отцвели и эти, последние, хризантемы. Напрасно Она смотрит на Него в надежде, что он правильно употребит свои длинные ноги, стройную спину, вообще гибкость и музыкальность всего своего молодого, притягательно-сильного тела. Куда там. Танец как ритуальное проявление пола, эротической мощи, лукавой любовной игры — умер от полной нежизнеспособности особей, кои не в силах более составить ни пар, ни компаний, ни даже квели топчущихся групп. А есть деградирующая, численно возрастающая генерация отдельных, отстраненных от всех прочих и самих себя индивидов, существующих с большой дистанцией ко всему живому, рьяно охраняющих свое «privacu», свой «внутренний мир», оказывающийся на поверку пустой пыльной коробочкой со сломанной ржавой пружинкой и незатейливым страхом смерти на дне. Но и у них есть свои ритуальные телодвижения.

И вот мы видим финальный танец
 навсегда изолированного
 одиноко онанирующего существа
 он проделывает свои конвульсивные па
 в безнадежно разрозненной
 противоестественной среде
 таких же отдельных
 как
 он

это пляска скорбного безверия в апогее своего сатанизма
 того ли мы ждали от вас красивых свободных
 ты стоишь один на голой равнине
 мой возлюбленный
 мой голливудский герой
 по обе стороны горизонта
 в твоём прошлом и будущем
 расстилаются
 две
 идеальные
 пустоты
 куда же тебе бежать
 куда же бежать от тебя

Сцена 19

Ночь.

Бег одиноких ног. Асфальт, фонари, витрины. Скамейки. Грубая дребедень курортных киосков.

Бег. Мелькание ног в черных ажурных чулках. Длинные тени от кленов. Запустение спящего парка.

Снова витрины. Манекен, изображающий человека на лоне природы. Он вскидывает ружье и пристально целится.

Сцена 20

Ночь.

Остановка автобуса.

Еж, мелко перебирая лапками, минует освещенную часть асфальта и пропадает в кустах.

Прислонясь к столбу с расписанием, одиноко застыла женщина.

Тишина.

Только в отдалении слышен намек на гул океана. По спине женщины видно, что она, не нарушая беззвучия, плачет.

Пустынное место. Бензоколонка «ТЕХАСО», рекламный щит страховой компании, дорожный указатель.

Резко прорвав тишину, к остановке подлетает группа горластых подростков.

А вот и автобус. Он пуст, а потому словно с особой нарядностью освещен изнутри.

В бархате ночи он ярко-прозрачен, как янтарная брошь.

Двери открываются. Подростки с гиканьем бросаются внутрь.

Водитель, повернув лицо к женщине, делает приглашающий жест.

Женщина сквозь слезы рассеянно улыбается, вытирает ладонью глаза.

И, не нарушая своего раздумья, медленно качает головой.

Последний автобус уходит.

Сцена 21

Ночь.

Океан.

Женщина на его берегу.

Береговая черта, как по линейке, абсолютно прямая. Она уходит влево и вправо, теряясь в обеих бесконечностях.

Безлюдно.

Прямо перед женщиной разлеглось дышащее Вещество Океана. Сейчас, даже в штиль, его плоскость ощущается вздыбленной — всей ужасающей своей мерой — поперек небесного свода. Трудно заставить себя долго смотреть туда, в этот плотный колтун сгущенного тьмой пространства, где дыбится в титаническом своем могуществе грозный горб Океана, являясь (страшно сказать себе это) планетарным изгибом Земли. Всякая жизнь вне Океанского Вещества, — жизнь, не защищенная тяжелой и толстой его плазмой, оголенная, напрямую подставленная на его берегах выдохам зрелой Земли и распахнутой пустоте заатмосферных просторов, — всякая жизнь, от ракушки до человека, с особой ясностью сознает в этот час черно-прозрачного неба, что она вышла в открытый космос.

Женщина хочет войти в его ровно дышащее Вещество. Она делает несколько шагов вперед... Одновременно плоский язык волны, быстро лизнув песок, устремляется ей навстречу. Женщина отшатывается. Неожиданно для себя ей не хватает смелости даже смочить ноги... Молнией сковав ее тело, ужас резко всаживает ей в мозг новое, голое, добела освещенное знание.

Перед ней расстилается не Вещество, но живое Существо Океана. Это некое Тело и одновременно Глаз. Тело Океана есть Глаз. И этот Глаз сейчас смотрит на нее.

Только на нее. На нее одну.

Выходит, этот планетарный исполин ждал ее долго и терпеливо. И он дождался. Может быть, вся ее прежняя жизнь была только преддверьем этой грозной, неотменимой встречи. Да, именно так. Потому что Существо океана есть также и Голос. Он слышен сейчас свободно и ясно, не нарушая беззвучия ночи. И звучит этот Голос конечно же вне узких законов человеческой речи.

Он входит единым аккордом в сердце и мозг стоящей на берегу женщины.

И женщина отвечает.

Она откликается так же, без слов, посылая Глазу и Голосу самую сущность своих мыслей, — первобытно-голых, очищенных от оболочек трусливого, всегда лгущего себе человеческого сознания, — мыслей, достигающих Океан со скоростью мысли: мгновенно.

Ты Меня Слышишь
я тебя слышу
Я Это Ты
знаю
Знание Это Я
знаю
Знание Это Ты
знаю
Не Бойся Себя
я не буду
Люби Себя
люблю и буду любить
Верь В Себя
верю и буду верить
Все В Тебе
все во мне
Мы Сильны
мы непобедимы это так ясно
Я Люблю Тебя
я тебя люблю
Войди В Меня Я Войду В Тебя

Женщина сбрасывает одежду. Ствол ее тела строен и светел.

С нежной задумчивостью она подступает к воде.

Уже не отшатывается от нежных, лижущих песок волн.

Некоторое время стоит, позволяя их языкам ласкать свои стопы.

Затем, высоко подняв руки, скручивает волосы в жесткий, тяжелящий затылок жгут.

И входит в Океан.

Сцена 22

Ночь.

Уличный телефон-автомат.

Женщина достает из сумки телефонную карточку.

Набирает номер.

Слышен голос: «Але! Але?..»

Женщина молчит. Для большей надежности зажимает низ трубки ладонью.

И собственный рот.

В трубке слышен шум дискотеки.

Его голос: «Это ты?! Ты?! Это ты?! Где ты?.. Откликнись!.. Это ты?..»

Спина женщины.

Слишком напряженная для человека, решившего не плакать.

Бег знакомых уже ног.

Так летят на пожар. Когда в комнате с готовой вот-вот обвалиться балкой заперт твой годовалый ребенок.

Сцена 23

Ночь. Улица.

Женщина спотыкается, падает, сбрасывает туфли, вскакивает, несетя.

Бег босиком в рваных чулках.

Обратный порядок улиц и зданий.

Путь сюда дольше, чем путь отсюда.

Несравнимо дольше.

Как будто это совсем иной путь.

И вот наступает утро, но все еще длится ночь.

...Автостоянка перед зданием дискотеки уже пуста.

Не гася скорости, женщина влетает на автостоянку за углом.

Там тоже пусто.

Если не считать светло-вишневого «крайслера».

Сцена 24

Внутри дискотеки.

Женщина, опрокидывая какие-то ящики, отбрасывая на ходу чернокожих уборщиков, пронесется через фойе, влетает в промежуточный коридор, дергает дверь дансинг-холла, она заперта, снова дергает изо всей силы, упираясь босыми ногами в стену, что-то кричат сзади уборщики, — она на лету возвращается в фойе, пулей мчится в сторону лестницы, взвивается вверх, стремительно пронесится по галерее и, попав наконец в дансинг-холл — через верхний ярус этого зала, — подлетает к перилам.

Внизу, на пустой танцевальной площадке, загаженной привычной отрыжкой истекшего возбуждения, — банками из-под пива, одноразовыми стаканами, пластиковыми мешками, кляксами иссосанной жвачки, пакетиками от кондомов «The Loving Heart» и «The Seventh Sky» — одиноко стоит человек с поднятым вверх лицом. Посреди этого сора, служащего единственным доказательством прошедшего праздника, а может, уходящей жизни как таковой, человек кажется особенно подневольным, словно бы обреченным единственно на изготовление, использование и снова изготовление всех этих бумажных фантиков и оберток.

Сейчас он стоит, молча глядя в глаза той, что свалилась откуда-то с потолка. Точнее сказать, она ринулась было бежать по лестнице, но в середине ее на лету перемахнула через перила и, спрыгнув на пол, застыла на некоторой дистанции от глядящего на нее человека. Какое-то время он и она так и стоят, не меняя позы. Их лиц мы не видим. Мы видим лишь — и сейчас это особенно ясно: босиком, без туфель, она сделалась совсем маленькой — пронзительно маленькой, даже по сравнению с той, что была.

Она делает шаг вперед, навстречу к нему, но вдруг останавливается, поворачивается и бежит прочь.

Исчезает за дверями другого, смежного зала.

Тишина.

Он, не сделав ни шага ей вслед, вмиг увядает, покорно и скорбно, всем своим большим, напряженным, детским лицом. И вмиг, автоматически, восстанавливает внешнюю свою бесстрастность. С почти натуральным спокойствием надевает куртку. Наглухо застегивает молнию. Вскидывает на спину кожаный рюкзачок.

Теперь он бодр, хладнокровен, укомплектован, готов.

К чему?..

Грохот из смежного зала. Звук обвала и треск.

В проеме дверей возникает она. Вид у нее сосредоточенный и решительный. В ее руках — ящик из-под пива «Life».

Она уверенно и энергично подходит к герою. Деловито устанавливает ящик возле его стоп. Встает на ящик обеими своими босыми ногами. Дополнительно встает на цыпочки. И крепко обнимает героя за шею.

Теперь она даже немножечко выше его. Голова его спрятана у ней на груди. Своею ладонью она, умело и нежно, прикрывает ему затылок и темя. Может быть, они оба наконец вернулись к своей изначальной, жадной, долгожданной природе — вечная мать, вечный сын. Кажется, он надежно теперь защищен всем существом этой маленькой женщины от страшной изнанки жизни — от, возможно, еще более страшного ее лицевого оската.

И если теперь взглядеться в эту скульптурную композицию, то станет очевидно, что две эти фигуры, как фигуры севрского фарфора, слившись в одну, застыв в нерасторжимом объятии, — изяшно-замедленно вращаются вокруг общей своей оси — в самом центре пустого зала. Может быть, в центре мира.

А если взглядеться и дольше — благо они так красивы, что это будет лишь в радость, — скорее всего, убедишься: нет, это мир вращается вокруг них.

Кто ведет в этом вальсе? Она. Так получилось. Какая разница? Белый танец.

Вот только со временем есть маленькая зацепка. Оно-то не безгранично. Оно в равной мере беспощадно и к ней — молодой, переполненной светом. И поэтому очень важно успеть сказать что-то, может быть, главное, — и не там, в занебесной целестии, а именно здесь, на земле, пока длится этот Богом благословенный танец:

Я знаю, ты бьешься там, в одиночку, впотьмах, в четырех стенах своего пожизненного заточения, как жук, втиснутый в железный глухой короб, твои ноги и крылья совсем бесполезны, они лишь отнимают твои силы, голова служит тебе исключительно для того, чтобы не думать, но ты мечешься, ты продолжаешь колотиться с привычным, скорее механическим упорством, и тебя ровно, регулярно, механически отбрасывает назад, — тебя отторгают, отталкивают все шесть плоскостей твоего бессрочного, вполне закупоренного герметического узилища, внутрь коего ты запаян навек слепой анонимною силой, ты отчаянно ищешь шелку, прореху, хоть дырочку, ты беззвучно воешь по пригоршне воздуха, драгоценному, единственному, хотя бы краденому глотку, и ты смертельно боишься его, потому что неведомая данность снаружи твоей отсеченной от всего сущего каталажки вполне может оказаться еще кошмарней, еще глуше, чем, в общем-то, уже обжитой кошмар единоутробной твоей темницы, — но внутри ее тебя все равно душит страх, — и ты колотишься, ты продолжаешь бросаться на стены твоей — по большому счету гуманной — камеры, дальновидно обшитой чем-то мягким, звукоизолирующим, стерильным, и сердце твое, безо всякого смысла, кроме смысла предвечного страха, колотится как сумасшедшее внутри твоей телесной ловушки, и кровь, запертая внутри сердца, колотится о глухие его уступы и стенки сосудистых коридоров, ты мечешься как подстреленный, приличненько улыбаясь, тишком истекая кровью, послушно погибая в пристойности общепринятых рамок, истаявая, иссякая, кончаясь без жалоб и слез, бессловесно, беззвучно, в бессмыслице скорбного безверия, ты снова и снова меришь шагами свое вакуумное пространство, где пространства, в общем-то, нет, но ты продолжаешь мерить этот скупой, жестко лимитированный предел, вмиг обегая по кругу, за кругом круг, пол, стену, потолок, стену, пол, стену, потолок, стену, пол, за кругом круг, сбиваясь со счета, теряя счет этим кругам, шагам, единицам времени, и восемь углов твоей глухой кубической клетки сливаются в безостановочную, нещадную круговерть сокрушающего разум вращения, и смертная тошнота, заполняя тебя до предела, удушает напором мозг твой и душу, и я знаю, что ты никогда не позволил бы мне войти в твой пожизненный бункер, в твою мертвую кап-

сулу, даже если бы мне, снаружи, ценой собственной жизни, удалось пробить для тебя спасительный выход, и, значит, мне позволено только стоять, по ту сторону стены, стоять так всю жизнь, до конца, глядя и осязая стену, но, пока у нас еще есть с тобой нечто неотменимо-общее, неотъемлемо-кровное, то есть краткое наше земное время, мне надо успеть сказать тебе, чтобы ты знал: не бойся, не надо бояться, я не слабее этой стены, и я горжусь моим назначением, моим личным шансом ей противостоять, — противостоять, несмотря ни на что, — и, полностью сознавая обреченность на поражение, все равно стоять не на смерть, а на жизнь, — конечно, стена дана нам в устрашение, в назидание, в наказание, может быть, на вечную муку, но я люблю тебя, я не брошу тебя никогда.

(Конец фильма.)



ДМИТРИЙ БЫКОВ

*

РЫЦАРЬ ОТКАЗА

* *
*

Сирень проклятая, черемуха чумная,
Щепоть каштанная, рассада на окне,
Шин шелест, лепет уст, гроза в начале мая
Опять меня дурят, прицел сбивая мне,
Надеясь превратить привычного к безлюдью,
Бесцветью, холоду, отмене всех щедрот —
В того же, прежнего, с распахнутою грудью,
Хватающего ртом, зависящего от,
Хотящего всего, на что хватает глаза,
Идущего домой от девки поутру;
Из неучастника, из рыцаря отказа
Пытаясь сотворить вступившего в игру.
Вся эта шушера с утра до полшестого —
Прикрытья, ширмочки, соцветья, сватовство —
Пытает на разрыв меня, полуживого,
И там не нужного, и здесь не своего.

* *
*

Под бременем всякой утраты,
Под тяжестью вечной вины
Мне видятся южные штаты —
Еще до Гражданской войны.

Люблю нерушимость порядка,
Чепцы и шкатулки старух,
Молитвенник, пахнувший сладко,
Вечерние чтения вслух.

Мне нравятся эти южанки,
Кумиры друзей и врагов,
Пожизненные каторжанки
Старинных своих очагов,

Все эти О'Хары из Тары, —
И кажется, бунту сродни
Покорность, с которой удары
Судьбы принимают они.

Мне введена эта повадка —
 Терпение, честь, прямота —
 И эта ехидная складка
 Решительно сжатого рта.

Я тоже из этой породы,
 Мне дороги утварь и снедь,
 Я тоже не знаю свободы
 Помимо свободы терпеть.

Когда твоя рать полукружьем
 Мне застила весь окоем,
 Я только твоим же оружием
 Сражался на поле твоём.

И буду стареть понемногу,
 И может быть, скоро пойму,
 Что только в покорности Богу
 И кроется вызов Ему.

Вариации

1

Говоря в упор, мне уже пора закрывать сезон.
 Запереть на ключ, завязать на бантик,
 Хлопнуть дверью, топнуть, терпеньем лопнуть и выйти вон,
 Как давно бы сделал поэт-романтик.
 Но, пройдя сквозь век роковых смещений, подземных нор,
 Костяной тоски и кровавой скуки,
 Я вобрал в себя всех рабов терпенья, всех войск напор,
 И со мной не проходят такие штуки.

Я отвык бояться палящих в грудь и носящих плеть
 Молодцов погромных в проулках темных.
 Я умею ждать, вымогать, грозить, подкупать, терпеть,
 Я могу часами сидеть в приемных,
 Я хитрец, я пуганый ясный финист, спутник-шпион,
 Хладнокожий гад из породы змеев,
 Бесконечно длинный, ползуче-гибкий гиперпеон,
 Что открыл в тюрьме Даниил Андреев.

О, как ты хотел, чтобы я был прежний, как испокон, —
 Ратоборец, рыцарь, первопроходец!
 Сам готов на все, не беря в закон никакой закон, —
 О, как ты хотел навязать мне кодекс!
 Но теперь не то. Я и сам не знаю, какой ценой,
 Об одном забывши, в другом изверясь, —
 Перенял твое, передумал двигаться по прямой:
 Я ползу кругами. Мой путь извилист.
 Слишком дорог груз, чтоб швыряться жизнью, такой, сякой,
 Чтобы верить лучшим, «Умри!» кричащим.
 Оттого, где прежде твердел кристалл под твоей рукой, —

Нынче я вода, что течет кратчайшим.
 Я вода, вода. Я меняю форму, но суть — отнюдь,
 Берегу себя, подбираю крохи, —
 Я текуч, как ртуть, но живуч, как Русь, и упрям, как Жмуды:
 Непростой продукт несвоей эпохи.

Я Орфей — две тыщи, пятно, бельмо на любом глазу,
 Я клеймен презрением и позором,
 Я прорвусь, пробьюсь, пережду в укрытии, проползу,
 Прогрызу зубами, возьму измором,
 Я хранитель тайны, но сам не тайна: предлог, предзвук,
 Подземельный голос, звучащий глухо,
 Неусыпный сторож, змея-убийца, Седой Клобук
 У сокровищниц мирового духа.

2

Александр Мелихову.

Степей свалывшаяся шкура,
 Пейзаж нечесаного пса.
 Выходишь ради перекура,
 Пока автобус полчаса
 Стоит в каком-нибудь Безводске,
 И смотришь, как висят вдали
 Крутые облачные клеточки,
 Недвижные, как у Дали,
 Да клочья травки по курганам
 За жизнь воюют со средой
 Меж раскаленным Джекказганом
 И выжженной Карагандой.

Вот так и жить, как эта щетка —
 Сухая, жесткая трава,
 Колючей проволоки тетка.
 Она жива и тем права.
 Мне этот пафос выживанья,
 Приспособленья и труда —
 Как безвоздушные названья:
 Темрюк, Кенгир, Караганда.
 Где выжиданьем, где напором,
 Где — замиреньями с врагом,
 Но выжить в климате, в котором
 Все манит сдохнуть; где кругом —
 Сайгаки, юрты, каракурты,
 Чуреки, чуньки, чубуки,
 Солончаки, чингиз-манкурты,
 Бондарчуки, корнейчуки,
 Покрышки, мусорные кучи,
 Избыток слов на че- и чу-,
 Все добродетели ползучи
 И все не так, как я хочу.

И жизнь свелась к одноколейке
 И пересохла, как Арал,
 Как если б кто-то по копейке
 Твои надежды отбирал
 И сокращал словарь по слогу,
 Зудя назойливо в мозгу:

— А этак можешь? — Слава Богу...
 — А если так? — И так могу... —
 И вот ты жив, жестоковыйный,
 Прошедший сечу и полон,
 Огрызок Божий, брат ковыльный,
 Истоптан, выжжен, пропылен,
 Сухой остаток, кость баранья,
 Что тащит через толщу лет
 Один инстинкт неумиранья!
 И что б тебе вернуть билет,
 Когда пожизненная пытка —
 Равнина, пустошь, суховой —
 Еще не тронула избытка
 Блаженной влажности твоей?

Изгнанники небесных родин,
 Заложники чужой вины!
 Любой наш выбор не свободен,
 А значит, все пути равны,
 И уж не знаю, как в Коране,
 А на Иисусовом Суде
 Равно — что выжить в Джекказгане,
 Что умереть в Караганде.

* *
 *

Мне не жалко двадцатого века. Пусть кончается, будь он неладен, пусть хмелеет, вокзальный калека, от свинцовых своих виноградин. То ли лагерная дискотека, то ли просто бетономешалка — уж какого бы прочего века, но двадцатого точно не жалко. Жалко прошлого. Он, невзирая на обилие выходов пошлых, нам казался синонимом рая — и уходит в разряд позапрошлых. Я, сосед и почти современник, словно съехал от старого предка, что не шлет мне по бедности денег, да и пишет стеснительно-редко — а ведь прежде была переписка, всех роднила одна подоплека... Все мы жили сравнительно близко, а теперь разлетелись далёко.

Вот и губы кусаю, как отпрыск, уходя из-под ветхого крова. Вслед мне парой буравчиков острых — глазки серые графа Толстого: сдвинув брови, осунувшись даже, с той тоскою, которой не стою, он стоит в среднерусском пейзаже и под ручку с графиней Толстою, и кричит нам в погибельной муке всею силой прощального взгляда: ничему вас не выучил, суки, и учил не тому, чему надо! Как студент, что, в Москву переехав, покидает родные надгробья, так и вижу — Тургенев и Чехов, Фет и Гоголь глядят исподлобья, с Щедриным, с Достоевским в обнимку, все раздоры забыв, разногласья, отступившие в серую дымку и сокрытые там в одночасье, словно буквы на старой могиле или знаки на древнем кинжале: мы любили вас, все же любили, хоть от худшего не удержали — да и в силах ли были? Такие бури, смерчи и медные трубы после нас погуляли в России... Хоть, по крайности, чистите зубы, мойте руки! И, медленно пятясь, все машу, — но никак не отпустит этот кроткий учительный пафос бесполезных последних напутствий — словно родственник провинциальный в сотый, в тысячный раз повторяет свой завет, а потомок нахальный все равно кошелек теряет. А за ними, теряясь, сливаясь с кое-как прорисованным фоном и навеки уже оставаясь в безнадежном ряду неучтенном, — машут Вельтманы, Павловы, Гречи, персонажи контекста и свиты, обреченные данники речи, что и в нашем-то веке забыты... И найдется ли в

новом столетье, где варить из развесистой клюквы будут суп, и второе, и третье, — кто-то, истово верящий в буквы? Лыдина тает, финал уже явен, край неровный волною обгрызен. Только слышно, как стонет Державин да кряхтит паралитик Фонвизин, будто стиснуты новой плитою и скончались второю кончиной, — отделенный оградой литою, их не слышит потомок кичливый.

А другой, не кичливый потомок, словно житель Казани, Сморгони или Кинешмы, с парой котомок едет, едет в плацкартном вагоне, вспоминает прощальные взгляды, и стыдится отцовской одежды, и домашние ест мари-нады, и при этом питает надежды на какую-то новую, что ли, жизнь сто-личную, в шуме и блеске, но в припадке мучительной боли вдруг в окно, отводя занавески, уставляется: тот же пейзажик, градом битый, ветрами продутый, но уже не сулящий поблажек и чужеющий с каждой мину-той, — и рыдает на полочке узкой над кульками с домашней закуской, средь чужих безнадежный чужак, закусивший зубами пиджак.

* *
*

Старики от нас ушли,
Ничего не зная.

Н. Слепакова.

Покойник так от жизни отстаёт,
Что тысяча реалий в час полночный
Меж вами недвусмысленно встаёт
И затрудняет диалог заочный.

Ему не ясно, кто кого родил,
А тех, кто умер, — новая проблема, —
Он тоже не встречал, когда бродил
В пустынных куцах своего Эдема.

Он словно переспрашивает: как?
Как ты сказал? И новых сто понятий
Ты должен разъяснить ему, дурак,
Как будто нет у вас других занятий,

Как будто не пора, махнув рукой
На новостей немытую посуду,
Сквозь слезы прошептать ему, какой
Ужасный мир нас окружает всюду

И как несчастен мертвый, что теперь,
Когда навек задернулась завеса,
Здесь беззащитен был бы, словно зверь,
Забредший в город из ночного леса.

И кроткое незнание мертвеца —
Кто с кем, какая власть — мне так же жалко,
Как старческие немощи отца:
Дрожанье губ, очки, щетина, палка.

Я только тем утешиться могу,
Что дремлющей душе, лишенной тела,
В ее саду, в листве или в снегу
До новостей нет никакого дела,

Что памяти о мире дух лишен
И что моя ему досадна точность,
И разве что из вежливости он
О чем-то спросит — и забудет тотчас;

Что там, где наша вечная грызня
Бессмысленна и не грозна разруха, —
Бредет он вдаль, не глядя на меня,
Мои рыданья слушая вполуха.

* *
*

О, какая страшная, черная, грозовая
Расползается, уподобленная блину,
Надвигается, буро-желтую разевая,
Поглотив закат, растянувшись во всю длину.

О, как стихло все, как дрожит, как лицо корежит,
И какой ледяной кирпич внутри живота!
Вот теперь-то мы и увидим, кто чего может,
И чего кто стоит, и кто из нас вшивота.

Наконец-то мы все узнаем, и мир поделен —
Не на тех, кто лев или прав, не на нет и да,
Но на тех, кто спасется в тени своих богаделен,
И на тех, кто уже не денется никуда.

Шелестит порывами. Тень ползет по газонам.
Гром куражится, как захватчик, входя в село.
Пахнет пылью, бензином, кровью, дерьмом, озоном,
Все равно — озоном, озоном сильней всего.



МИХАИЛ АРДОВ (протоиерей)

*

ВОКРУГ ОРДЫНКИ

Портреты. Новые главы

I

Среди тех немногих людей, с которыми мой отец дружил в течение всей своей жизни, необходимо назвать имя актера Игоря Ильинского. О том, как состоялось их знакомство, Ардов в свое время писал:

«...В суровом 19-м году существовала в Москве полудикая организация под названием „Студенческий клуб“. <...> При „клубе“ стихийно возник драматический кружок, в котором с восторгом подвизалось человек двадцать молодежи. <...>

Однажды на репетицию нашего кружка один из участников привел своего приятеля и отрекомендовал его нам следующими словами:

— Начинаящий артист Игорь Ильинский. Очень способный. Уже играл у Комиссаржевского в театре — и с большим успехом... <...>

Я не был занят в репетиции нашего кружка, которую посетил Ильинский. И оказалось, что в почти пустом зрительном зале мы с ним сидим рядом. Признаться, я — по принципу „мы пахали“ — гордился шибко психологическим этюдом, который разыгрывали на сцене мои сотоварищи по кружку. А Ильинский очень скоро после начала репетиции наклонился ко мне во тьме зала и заговорил сдержанно, но крайне определенно:

— Что ж это? Подражание Художественному театру?.. А зачем? Надо искать свою дорогу...

Для меня эти слова были просто откровением. <...>

Добавлю тут же: когда (через два года после описанного случая) Ильинский попал во МХАТ, он сумел там прослужить всего две недели. И подал заявление об уходе. Факт неслыханный для этого театра».

В своих мемуарах мой отец не указал причины, которая побудила Ильинского покинуть прославленную труппу. Но моя собственная память сохранила подробности той давней истории.

В те времена в Художественном служил приятель Ильинского — Аким Тамиров. А когда Игорь Владимирович поступил в этот театр, там должна была осуществляться постановка «Ревизора». Так вот Тамиров сказал ему:

— Мы с тобой оба небольшого роста, полноватые... Давай будем ходить вместе, разговаривать, жестикулировать: нас заметят и нам могут дать роли Бобчинского и Добчинского...

От этого предложения Ильинский пришел в ярость и немедленно покинул труппу, не желая находиться в стенах заведения, где актеры должны добиваться ролей такими унижительными способами...

Ардов Михаил Викторович родился в 1937 году в Москве. Окончил факультет журналистики МГУ, работал на радио. В 1980 году принял священный сан в Ярославской епархии. В 1993 году ушел из Московской Патриархии в другую юрисдикцию. Ныне — настоятель храма во имя Царя Мученика Николая II, что на Головинском кладбище в Москве. Автор нескольких книг. В «Новом мире» публиковалась его мемуарная проза «Легендарная Ордынка» (1994, № 4 — 5), «Возвращение на Ордынку» (1998, № 1), «Вокруг Ордынки» (1999, № 5 — 6).

Этот эпизод свидетельствует не только о том, что Игорь Владимирович обладал чувством собственного достоинства (а это качество, как правило, в актерах отсутствует), но и о том, что характер у него был своенравный. В день похорон нашего отца Ильинский сказал моему младшему брату Борису:

— Виктор был очень хорошим, очень добрым человеком. Мы с ним дружили более пятидесяти лет и ни разу не поссорились. Это же поразительно — за полвека ни разу со мной не поссориться...

Я полагаю, что Ильинский и Ардов сблизились в то время, когда Игорь Владимирович блистал на подмостках у Мейерхольда, а мой отец работал в этом театре в качестве администратора. Тут уместно вспомнить еще один весьма забавный и характерный эпизод, о котором Ардов упоминает в своих мемуарах:

«...И. В. Ильинский рассказал мне, что однажды во время ссор Мейерхольда с Таировым он, Ильинский, шел вместе с Мастером по Садовой в Москве. Они беседовали. И вдруг раздался выстрел: скорее всего лопнула шина у проезжавшего автомобиля. Мейерхольд немедленно юркнул в арку ворот, затащив туда же Ильинского, и, только оказавшись в укрытии, со значительностью поднял палец. Затем Мастер огляделся (не наблюдает ли кто за ними?..) и шепотом сообщил Ильинскому свое предположение:

— Таиров!.. Он нанял Ардова убить меня...»

В молодости Игорь Владимирович некоторое время жил в московском переулке, который назывался Ильинским. Отец вспоминал, как иногда, усевшись в пролетку лихача, кто-нибудь из приятелей артиста произносил:

— Извозчик, к Ильинскому!

И экипаж отправлялся по нужному адресу.

Ардов пронес восхищение актерским дарованием своего друга через долгие десятилетия. В шестидесятых и семидесятых годах мой отец охладел к театральному искусству, но на Ильинского это ни в коей мере не распространялось — Ардов неизменно ходил на все его премьеры... Такое постоянство моего родителя объяснялось не только годами дружбы, но и тем, что Ильинский не был типичным актером — отличался умом и безукоризненным вкусом. Достаточно вспомнить имена авторов, произведения которых Игорь Владимирович читал с эстрады: Гоголь, Лев Толстой, Чехов, Зощенко...

Телевидение сохранило довольно много выступлений Ильинского, и теперь, после смерти замечательного артиста, мы имеем возможность наслаждаться его искусством. На мой взгляд, среди этих записей есть одна особенная — та, где Игорь Владимирович читает «Старосветских помещиков».

Я не стану утомлять читателя рассуждениями о мастерстве Ильинского, а вспомню еще одно свидетельство своего отца: Игорь Владимирович признался ему в том, что он не мог читать «Старосветских помещиков» с того времени, как внезапно скончалась его первая жена — Т. И. Ильинская.

Ильинского всегда отличало сугубое внимание к тем текстам, что он выбирал для публичного исполнения. Помнится, я слушал, как он читает «Сказку о золотом петушке», и обратил внимание на такую пушкинскую строку — ее произносит царь в споре с «мудрецом»:

И зачем тебе девица?

Так вот Ильинский делал ударение на слове «тебе» и сопровождал это жестом в сторону предполагаемого собеседника:

И зачем ТЕБЕ девица?

Тем самым артист напоминал о немаловажном обстоятельстве, которое Пушкин сообщает читателям. В начале сказки о царе Дадоне говорится:

Вот он с просьбой о помощи
Обратился к мудрецу,
Звездочету и скопцу.

И далее:

Всех приветствует Дадон...
Вдруг в толпе увидел он,
В сарачинской шапке белой,
Весь как лебедь поседелый,
Старый друг его, скопец.

У Ильинского и моего отца был общий приятель — Валерий Трескин. По образованию этот человек был юристом, но всю жизнь прожил не в ладах с законом. Его арестовывали несколько раз, и уже на моей памяти — в семидесятых годах — он очередной раз угодил в тюрьму.

Ардов иногда вспоминал характерную историю, которая произошла в послевоенные годы. Трескин пригласил Ильинского и его жену на обед. Вечером того дня Игорь Владимирович должен был выступить на концерте, и он решил, что поедет туда прямо от Трескиных.

Обед благополучно завершился, началась непринужденная беседа, которая была прервана звонком в дверь. Супруга Трескина пошла открывать и вернулась в ужасном волнении.

— Валя, — сказала она мужу, — это из МГБ... Они сказали, что ждут...

Трескин побледнел и принялся успокаивать жену:

— Я уверен, это — недоразумение... Какая-то ошибка... Все разъяснится... Не волнуйся, пожалуйста, не волнуйся...

И он стал собираться на Лубянку — уложил в портфель мыло, зубную щетку, бритвенный прибор...

Потом он обнял жену, попрощался с гостями и покинул свою квартиру...

Можно себе представить, что в этой ситуации чувствовали Ильинский и его жена. Немедленно уйти — неудобно, продолжать разговор с хозяйкой — затруднительно... В такой неловкости прошло несколько минут...

И тут в комнату ворвался хозяин.

— Игорь! — кричал он. — Будь ты проклят! Что же ты не сказал, что у тебя концерт в клубе МГБ?! Это за тобой они прислали машину!.. Тебя они там ждут, а не меня!

И еще одну историю об Ильинском я запомнил со слов отца. Как известно, подлинно всенародная слава пришла к артисту после того, как на экраны вышел фильм Григория Александрова «Волга-Волга». Там Игорь Владимирович очень смешно сыграл роль провинциального начальника по фамилии Бывалов.

Однажды (дело было еще до войны) Ильинского пригласили выступить на приеме в Кремле. После концерта Сталин заговорил с тогдашним начальником кинематографа, высказывал ему какие-то пожелания. Игорь Владимирович стоял неподалеку и позволил себе реплику:

— Это очень интересно, что вы говорите, Иосиф Виссарионович...

Сталин взглянул на артиста с явным неудовольствием — он решил, что в разговор вмешивается какой-то мелкий чиновник киношного ведомства. Но тут он узнал Ильинского, разулыбался, протянул руку и сказал:

— А-а... Товарищ Бывалов!.. Рад с вами познакомиться. Вы — бюрократ, и я — бюрократ...

II

Среди бумаг, которые хранятся в моем архиве, есть много старых писем, и некоторыми из них я особенно дорожу. Например, теми, что написаны рукою Б. Э. Хайкина — он был дальним родственником и ближайшим приятелем моего отца. В свое время Борис Эммануилович был весьма известным дирижером: с 1936 года возглавлял оркестр Малого оперного театра в Ленинграде, с 1944-го — на этой же должности в Мариинском театре, а с 1954-го по 1978-й работал в Москве — в Большом.

Наша с ним переписка возникла в год смерти моего родителя — в 1976-м, Хайкин глубоко переживал потерю старого друга. Он мне писал:

«Большое тебе спасибо за письма и за заботы обо мне. Я каждый день вспоминаю папу, как он обо мне заботился. Это был единственный человек, с которым я мог посоветоваться. Папа меня всегда опекал, и, когда я впервые поехал в 1927 году в Ленинград, он поехал вместе со мной — это были мои первые выступления в Ленинградской филармонии».

Письма Хайкина — трогательные, живые, в них воспоминания о замечательных людях. В одном из своих ответов я рекомендовал ему взяться за мемуары, найдя себе в помощники, как я тогда выразился, «бойкого жиденка с музыкальным образованием». 9 февраля 1977 года Борис Эммануилович мне писал:

«Насчет книги: еще в 1973 году я заключил договор с издательством „Советский композитор“ на книгу в 20 печ. листов из серии „Мастера о себе“».

Но я писал не воспоминания и не о себе. Я назвал ее так: „Беседы о дирижерском ремесле“.

Кроме тебя очень многие настаивали, чтоб я написал нечто подобное (папа в том числе). И вот я написал 229 стр. на машинке. Это меньше 20-ти печатных листов, однако же немало.

В качестве „бойкого жиденка“ обозначилась Елена Андреевна Гошева — она редактор всей этой серии. Но она не жиденок и еще меньше того бойкая.

И вот моя рукопись лежит у нее с 1975 года. Она сама подрядилась написать много книг, и ей некогда заняться моей, тем более, что читать гораздо труднее, чем писать.

Гошева мне сказала, что раньше 1980 года это света не увидит, на что я ответил, что мне все равно — 1980-й или 1990-й, так как я света не увижу и того раньше».

Мрачное пророчество Бориса Эммануиловича оправдалось — он скончался 10 мая 1978 года. Увы! И Гошева сдержала свое слово — «Беседы о дирижерском ремесле» вышли из печати не ранее восьмидесятого года, а точнее — в 1984-м.

Я полагаю, люди, причастные к музыкальному искусству, по достоинству оценили труд Хайкина, ибо даже я, человек от их мира далекий, читал эту книгу с захватывающим интересом. Правда, мне помогала память.

Борис Эммануилович пишет:

«...однажды, после очень интересного органного вечера А. Ф. Гедике, случилось так, что я из зала вышел вместе с Константином Николаевичем Игумновым. И вот что я от него услышал: „Иногда я ловлю себя на том, что сочинения Баха, исполненные на фортепиано в транскрипции Листа или Бузони, производят на меня большее впечатление, чем в оригинале на органе“».

И я сейчас же вспомнил устный рассказ Хайкина, который учился у Александра Федоровича Гедике. Как известно, в России прекратили производство водки в 1914 году, и возобновилось оно лишь в 1924-м. А поскольку в те времена пост Председателя Совета Народных Комиссаров занимал А. И. Рыков, то в народе водку сразу же стали называть «рыковкой». Так вот Хайкин рассказывал, что Александр Федорович иногда приглашал его к себе в гости и угощал настойкой, которую делал сам на основе покупной водки. И напиток этот назывался «Рыков — Гедике» — по аналогии с «Бах — Бузони».

В книге написано:

«В 1963 году я ставил „Хованщину“ в флорентийском „Театро Комунале“. Основными солистами были артисты Большого театра... Хор, оркестр, исполнители вторых партий — итальянцы. Ну как итальянцу объяснить, что такое „мягкий знак“, что такое „ю“, что такое „я“? Простое слово „князь“ превращалось в „книази“. Фразу „Грудь раздвоили камнем вострым...“ один пел „груд“, другой — „груды“. Получалась какая-то чепуха».

А я прекрасно помню, как Хайкин вернулся из Италии и как он рассказывал о своем визите в советское посольство для беседы с тамошним «атташе по культуре»:

— Этот тип мне сразу же объявил: «Дворник в американском посольстве получает денег вдвое больше, чем я». А потом предложил мне записать их адрес в Риме: «У нас тут индекс ихнее „эр“... Ну, это как наше „я“ — только

перевернуть...» И он левой рукой мне показал, как надо перевернуть наше «я», чтобы получилось «ихнее „эр“»...

Хайкин — дирижер оперный, и для него важно, чтобы тексты, которые приходится артистам петь, были удобочитаемыми. В книге эта тема возникает множество раз.

«Переводы... опер делались лет сто тому назад и более. Они делались тщательно с точки зрения соответствия каждого слова в отдельности, но литературные достоинства фразы в целом никого не заботили. Вспоминается фраза Проспера Мериме: „Перевод как женщина: если он красив, он неверен, если он верен, он некрасив“ (по-французски „перевод“ тоже женского рода)».

Другой предмет заботы Хайкина — соответствие исполнения замыслу композитора. Он пишет:

«Я очень уважаю профессора М. И. Чулаки как первоклассного мастера и широкообразованного музыканта. Но я выражаю резкое несогласие с тем, что он позволяет себе прилагать руку к партитурам Чайковского, Римского-Корсакова, Прокофьева».

Как я понимаю, помянутый профессор мог себе это позволять, поскольку с 1963-го по 1970 год был директором и художественным руководителем Большого театра. Но я тут же вспоминаю и менее деликатный отзыв Хайкина об этом человеке — Борис Эммануилович цитировал какого-то артиста, который в те времена любил повторять:

— А мне — что Чулаки, что портянки...

И еще на ту же тему:

«Вот случай, который знаю со слов В. И. Сука. Идет репетиция „Майской ночи“. Лёвко поет Дм. Смирнов. Первую песнь он поет так импровизационно, с такими странными отклонениями и ферматами, что совершенно невозможно понять логику его музыкального мышления. На замечание дирижера он отвечает, что так намерен петь и дальше и что вообще он „сам себе господин“. Скандал. Сенсация. Далее В. И. Сук цитирует свое письмо в редакцию „Русского слова“ (которое было помещено): „Когда г. Смирнов сказал мне, что он „сам себе господин“, я ему ответил, что я этого не отрицаю, однако он ни в коем случае не господин мне и тем более не господин Римскому-Корсакову“».

Имя замечательного дирижера Вячеслава Ивановича Сука встречается на страницах книги Хайкина великое множество раз. Борис Эммануилович считал себя его учеником и очень часто о нем рассказывал. Я запомнил такие истории.

В Большом театре один сезон пел тенор Викторов, обладатель сильного голоса, но человек не вполне музыкальный и никакой артист. Его уволили. При обсуждении состава труппы на следующую сезон кто-то заметил:

— Придется все-таки взять Викторова. Мы не можем обойтись без «героического тенора».

Сук сказал:

— К этому «героическому тенору» возьмите себе героического дирижера, а я с ним работать не буду.

В двадцатых годах в Москве появился Театр музыкальной драмы, и В. И. Сука спросили, что он думает по этому поводу. Ответ был такой:

— Когда расходится муж с женой, то это — семейная драма. А когда расходится оркестр с хором — то «музыкальная драма».

Хайкин в течение десятилетий был дружен с Николаем Семеновичем Головановым, который, как известно, работал в Большом и в то же время руководил Симфоническим оркестром на радио. Со слов Бориса Эммануиловича я запомнил вот что.

Во время войны на радио не хватало музыкантов, которые играют на духовых. Голованов обратился к военным, и ему прислали несколько оркестрантов в погонах. Играли они вполне профессионально, но громко отбивали такт своими сапожищами. Это вполне нормально на параде, но совершенно невозможно во время звукозаписи. И Голованов нашел выход из положения — он

приказал концертмейстеру раздобыть несколько пар валенок. Военных музыкантов переобули, и их топот стал неслышным.

Но возвращаясь к книге Хайкина — в ней описано множество занятных происшествий.

«...незадолго до войны в Театре им. К. С. Станиславского шла генеральная репетиция оперы „Станционный смотритель” В. Н. Крюкова. После репетиции В. И. Немирович-Данченко сказал молодым режиссерам: „Константин Сергеевич перед смертью не просил вас выпускать лошадей на сцену”. Кто-то наивно спросил: „А почему, Владимир Иванович?” Последовал ответ: „Надо же что-нибудь оставить и для цирка”».

Борис Эммануилович презабавно изложил историю создания одной из современных опер:

«Наиболее тесно я был связан с Ю. А. Шапориним в период постановки „Декабристов” в Театре им. С. М. Кирова. Постановка „Декабристов” осуществлялась одновременно в двух театрах — в Москве в Большом и в Ленинграде у нас (1953 год).

Я всячески доказывал, что не следует новую оперу ставить в двух театрах одновременно. Композитор должен создать свой окончательный вариант, работая с одной постановочной группой и с одним коллективом. А потом этот вариант станет обязательным для всех последующих постановок. Но меня не послушали. Пришлось работать параллельно с Москвой. Шапорин в ту пору жил уже в Москве, в Ленинград он только приезжал, правда довольно часто. В опере многое трансформировалось, пока она ставилась, а иной раз и „превращалось в собственную противоположность”. Время было тревожное — только что отгремели бури по поводу „Великой дружбы” Мурадели и „От всего сердца” Жуковского. С „Декабристами” было несколько спокойнее — тема не современная, а историческая, но все же кто его знает? Обжегшись на молоке, дули на воду. Из Москвы все время поступал новый и новый материал. Поначалу у Шапорина в опере не участвовал Пестель. Пестель, как известно, руководил южным обществом, а опера была о петербургском восстании. Но как же „Декабристы” без Пестеля? И вот в готовую уже оперу вошел Пестель. (Замечу в скобках, что Ю. А. Шапорин это очень искусно сделал; Пестеля прекрасно пели А. С. Пирогов, А. Ф. Кривченя, в Ленинграде отличный бас И. П. Яшугин.) Но Пестелем не ограничилось.

Ставил спектакль в Москве Н. П. Охлопков. Это изумительный режиссер, главное же то, что он обладал безграничной фантазией, и, почувствовав, что всякие присочинения к опере поощряются, он дал себе волю!

Прекрасное либретто „Декабристов” было сочинено Алексеем Николаевичем Толстым и Всеволодом Александровичем Рождественским. В. А. Рождественский, на мое счастье, жил в Ленинграде и держал меня в курсе всех трансформаций. Но этот выдающийся поэт и в высшей степени обаятельный человек просто хватался за голову от обилия директив и советов. Уже готовые драматургические узлы приходилось развязывать и связывать заново. У Шапорина слово „кошмар” не сходило с уст. Когда один из артистов к нему подошел с просьбой добавить в арии еще одну ноту, композитор ответил вполне в „шапоринском” стиле: „Слушайте, вас тут три тысячи человек. Каждому еще по одной ноте, это я должен еще три тысячи нот сочинить?!” Мое положение было не из легких, но благодаря дружбе с Мелик-Пашаевым (он дирижировал в Большом. — М. А.) я все сведения получал от него непосредственно. Он тоже изрядно страдал от этого „стихийного творчества”, которое так противоречило его натуре.

Незадолго до премьеры обнаружилось, что в опере нет Пушкина, который был с декабристами близок. Пушкин появляется на сцене. Какое-то время он мелькает то у Рылеева, то на придворном балу. Но Пушкин статист, это не годится, надо ему что-то спеть. Нельзя ли сочинить для него какой-нибудь романс, на его же собственные слова? Но тут уже лезет на стенку Шапорин.

Пушкин исчезает со сцены так же незаметно, как он появился. Разочарован статист, разочарован художник-гример, положивший на „Пушкина” немало сил. Имена персонажей то и дело менялись. Анненков, впоследствии ставший Щепиным-Ростовским, спрашивает у Пестеля: „Пестель! Но как вы здесь?” А А. Ф. Кривчяня, выдающийся актер, простодушно отвечает: „Да я и сам не знаю, как я здесь”. (Это было на репетиции.)»

Когда я это читаю, мне становится очень жалко, что Хайкин не внял совету моего отца и моему собственному и не написал книгу воспоминаний. Впрочем, в «Беседах о ремесле» есть и чисто мемуарные отрывки. Пожалуй, наиболее ценным из них является тот, где Борис Эммануилович повествует о Шостаковиче:

«...1941 год, октябрь. Мы встречаемся в столице, в гостинице „Москва”. Частые воздушные тревоги заставляют спускаться в подвал под громадное по тем временам здание гостиницы. Там мы встречаемся — Шостакович вместе с Ниной Васильевной и с двумя маленькими детьми. Сыро. Холодно. Сколько продлится тревога — абсолютно неизвестно. Шостакович ходит по подвалу беспокойными шагами и повторяет ни к кому не обращаясь: „Братья Райт, братья Райт, что вы наделали, что вы наделали!”

...Как-то еще перед войной Дмитрий Дмитриевич рассказал: „Вы знаете, Л. Т. Атовмян мне порекомендовал очень полезную утреннюю гимнастику: рассыпать коробку спичек, а затем нагибаться за каждой спичкой, пока все их не соберешь. Попробуйте, это очень трудно, у меня не получается”. — „Почему?” — „Понимаете, в первый день я все сделал в точности, как мне сказал Атовмян. На второй день оказалось, что у меня очень мало времени, пришлось присесть на корточки и собрать все спички сразу. А на третий день я только успел рассыпать спички, как по телефону сообщили, что мне надо ехать по срочному делу. Я быстро оделся и, уходя, сказал няне: „Я там рассыпал спички, соберите, пожалуйста”.

...1946 год. Мы встретились на даче, на Карельском перешейке. Вечером я должен был развезти гостей по домам. На Карельском перешейке дороги еще не были реконструированы. Крутые спуски чередовались со столь же крутыми подъемами. Машина у меня была старая, довоенная, малоповоротливая. Рядом со мной села Галина Сергеевна Уланова, сзади — Д. Д. Шостакович и писатель А. Б. Мариенгоф. На одном особенно крутом спуске Мариенгоф наклоняется ко мне и шепчет: „Вы чувствуете, кого вы везете? Вы понимаете, как сейчас могут кончиться две биографии?” (Нас было четверо. Но Мариенгоф говорил только о двух биографиях! Значит, мою и свою он совершенно правильно вывел за скобки.)

...С. С. Прокофьев рассказывал в 1948 году. После премьеры балета „Золушка” в одной из центральных газет появилась рецензия, написанная Д. Д. Шостаковичем. Прокофьев звонит Шостаковичу и благодарит за теплый отзыв. Шостакович отвечает: „Сергей Сергеевич, вы напрасно благодарите. Я не только хвалил. Я кое о чем отозвался неодобрительно, но редакция почему-то не поместила”.

И еще одна, на этот раз уж последняя цитата из книги «Беседы о дирижерском ремесле»:

«Я вспоминаю совершенно невероятный случай. Выход Графини с приживалками в „Пиковой даме”. Одна из приживалок, очень старательная, пела „благодетельница наша”, пожирая глазами Графиню, пятясь и мало заботясь о том, что у нее за спиной. Бац! И она оказалась в осветительской будке. В зале шум. Но меня поразило другое: с трудом выкарабкиваясь из осветительской будки, она все время продолжала петь! Я не уверен, что она пропустила хоть одну ноту в момент падения. С тех пор я не удивляюсь, когда вижу, что артисты хора в трудных, порой совершенно неожиданных положениях продолжают петь — не формально, а как артисты-художники».

В этом абзаце отразились уважение и приязнь, которые Борис Эммануилович испытывал по отношению к своим товарищам по многотрудному теат-

ральному делу — к хористам, оркестрантам, статистам, костюмерам, гримерам — к тем из них, кто отдавал всего себя избранной профессии. И я могу засвидетельствовать, что они отвечали Хайкину взаимностью. Это в полной мере проявилось в день его похорон: почти все присутствующие на траурной церемонии единодушно оплакивали утрату, которую понес Большой театр.

Во время поминок ко мне подошел один из музыкантов и сказал:

— Нет, таких людей, как Борис Эммануилович, больше у нас не будет. Мы ведь все, когда за границу едем, возем туда жратву, чтобы деньги сэкономить... Назад тащим барахло... А ведь он всегда ездил с одним чемоданчиком-дипломатом, а в нем несколько бутылок водки... И обратно он с этим же дипломатом, ничего с собой не везет...

Самое последнее письмо я получил от Хайкина в апреле 1977 года. Он писал: «Поздравляю Тебя и Твою жену с Пасхой. Приходите к нам, пожалуйста, оба.

Когда я работал в Мариинке, Пасха была запрещена, и только шепотом при встрече друг с другом говорили: „Ха-Вэ!“ — „Вэ-Вэ!“ Но очень многие пели в Никольском соборе, который находился поблизости, и за это уже попадало мне. Я, конечно, говорил, что ничего не знаю. У них (у певцов и певиц) был пароль: „На макаронную фабрику пойдешь?“ Почему так, не знаю. Кстати, они сами к церковной службе относились неуважительно, видя в этом только возможность левого заработка, так что я получал упреки и с другой стороны — от настоятеля Никольского собора, с которым был в наилучших отношениях: „Артисты порой забывают, что находятся в храме Божиим“».

Борис Эммануилович с пониманием и полным сочувствием воспринимал мою религиозность и воцерковленность. В письмах своих он делится со мною мыслями о церковном пении, вспоминает забытые имена когда-то знаменитых регентов:

«А слышал ли ты о Николае Михайловиче Данилине, изумительном мастере хорового пения? Он много лет возглавлял Московское синодальное училище. Я с ним был в наилучших отношениях. Среди его учеников и Н. С. Голованов, и А. В. Александров (генерал, отец Бориса), и многие другие. Синодальный хор — это было нечто замечательное. <...>

Забыл еще одного своего наилучшего товарища — Георгия Александровича Дмитриевского. Мы с ним вместе учились, а затем он много лет возглавлял Ленинградскую капеллу. Он родом из Троице-Сергиева, и в анкете у него в этом отношении было не все благополучно. Было время — он приуныл, я его подбадривал. А потом настало другое время, и мы поменялись ролями».

В последней фразе речь идет о начале пятидесятых, когда по причине еврейского происхождения Хайкин потерял должность главного дирижера Мариинского театра и принужден был переехать в Москву. Впоследствии несколько раз предпринимались усилия, дабы вернуть его на руководящую должность, но из этого так ничего и не вышло. В ЦК партии всякий раз решительно противились его выдвижению — дело портил все тот же пятый пункт в анкете. После очередной такой истории Борис Эммануилович объяснял своим приятелям:

— Им там в ЦК не подходит моя фамилия — Хайкин. Вот если бы вместо буквы «А» у меня была бы буква «У», они бы меня сразу утвердили.

III

Насколько я могу судить, дружба моего отца с Утесовым началась в 1927 году в Ленинграде, где Леонид Осипович в те времена жил постоянно и куда Ардов на несколько месяцев переехал из Москвы. С тех самых пор их приятельство никогда и ничем не омрачалось: оба принадлежали к артистической среде, оба были наделены чувством юмора и доброжелательством.

Утесов редко бывал на Ордынке, но они с отцом общались постоянно — на эстрадных премьерах, на различных совещаниях, в ВТО, в Доме работников искусств...

Сейчас невозможно себе представить, как знаменит и популярен был Утесов начиная с тридцатых годов и вплоть до шестидесятых. Голос его то и дело звучал по радио, по стране расходились многие тысячи его пластинок, фильм «Веселые ребята» был одним из любимейших народом. По советским понятиям он был очень богат и щедро помогал нуждающимся, в первую очередь многочисленным родственникам, как своим собственным, так и со стороны жены — Елены Осиповны. Утесов всегда был окружен просителями, и это дало повод для забавной шутки. Кто-то из приятелей Леонида Осиповича заметил:

— Бывают разные коллекции. Лидия Русланова собирает картины, Николай Смирнов-Сокольский — книги, Владимир Хенкин — золотые часы... А Леонид Утесов коллекционирует евреев.

В застольных беседах на Ордынке имя Утесова мелькало частенько. Ардов рассказывал о таком, например, эпизоде. В письме, адресованном постановщику фильма «Веселые ребята» Григорию Александрову, Леонид Осипович позволил себе шутку: «Передайте привет половому мистикау Эйзенштейну». Ответ сего последнего не заставил себя ждать, великий режиссер написал: «Посылаю привет местечковому половому Утесову».

И еще одна новелла. Утесов был на гастролях в Сочи. Ему потребовалось получить денежный перевод, но свой паспорт он оставил в гостинице. И конечно же заведующая почтовым отделением выдать ему деньги отказалась. Артист попытался спасти положение:

— Я же Леонид Утесов, неужели вы меня не знаете?

— Гражданин, сказано вам: давайте паспорт...

И тут артист вспомнил известную историю, которая когда-то произошла с Энрико Карузо. Великий тенор пришел в один из банков в Америке тоже без документов. И поскольку его не узнали, он спел какую-то арию, что привело в восторг всех служащих и посетителей. После чего певцу беспрепятственно выдали деньги.

— Вы не верите, что я Леонид Утесов, тогда слушайте, — сказал артист и запел: — «Раскинулось море широко...»

— Гражданин, — перебила его заведующая, — если вы будете хулиганничать, я милицию позову.

Но больше всего мой отец любил такой рассказ Утесова. Леонид Осипович ехал в одесском трамвае, было довольно много народа. И вдруг раздался ужасный крик:

— Ой, ограбили! Ой, убили! Ой, обокрали!

Это заголосила какая-то еврейка, у которой карманник вытащил кошелек.

— Ой, чтоб он подох, этот ворюга!.. Чтоб он провалился!.. Ой, обокрали! Ой, убили!.. Вот здесь он был — кошелек! И там целых три рубля! Ой, ограбили! Ой, обокрали!..

Утесов надоело это слушать, он подошел к кричавшей женщине и сказал:

— Вот вам три рубля, только, пожалуйста, замолчите.

Она взяла деньги и тут же перестала кричать. Трамвай продолжал свой путь, но через две остановки одесситка сама приблизилась к артисту и тихонько сказала:

— А почему вы мне не отдадите и кошелек тоже?

Повторю: эту новеллу я слышал от своего отца. Но вот еще одна одесская история, которую я слышал из уст самого Леонида Осиповича. Он рассказывал:

— Я еще был совсем молодой, начинающий артист. И меня взяли в труппу в самой Одессе. Это был крошечный летний театр, но там играла будущая знаменитость — Владимир Хенкин. Мне дали маленькую роль, я играл лакея в какой-то немыслимой пьесе. Там надо было выйти на сцену, убирать со стола тарелки и при этом произносить текст. И вот первый спектакль, я стою за кулисами и страшно волнуюсь... В это время ко мне подходит Володька Хенкин и что-то мне нарочно говорит... А сам незаметно расстегивает мне ширинку на штанах и вытаскивает наружу нижнюю часть рубашки. И вот я в таком виде

выхожу на сцену, начинаю собирать тарелки и говорить свой текст. В зале смех. Я продолжаю, очень доволен... А зрители смеются все сильнее... И тут уже я начинаю понимать: не по игре смех... Смотрю на себя и вижу, что из штанов торчит рубашка. Тогда я подхожу к краю сцены, привожу себя в порядок, застегиваю штаны и при этом говорю прямо в зал: «Хорошо, что здесь нет женщин». И тут — аплодисменты. Вот тогда старые одесситы сказали про меня: «С него таки будет толк».

Я могу засвидетельствовать: Утесов был необычайным рассказчиком — живым, веселым, талантливым... Помнится, в конце семидесятых годов я по какой-то надобности приехал в Дом творчества писателей в Переделкине. В это время там жил Леонид Осипович. Была весна, пригревало солнце... Старый артист сидел на балюстраде, его окружали несколько писателей, большинство из которых ему в дети годились. И Леонид Осипович, что называется, держал площадку — они все глядели ему в рот.

А еще я вспоминаю лето шестьдесят первого года. Я работал на радио, и меня послали взять у Утесова интервью — он тогда был на своей даче во Внукове. С делом мы быстро покончили, я убрал диктофон, и у нас с Леонидом Осиповичем началась непринужденная беседа.

В те годы был весьма популярен эстонский певец Георг Отс, и я между прочим сообщил Утесову только что придуманную кем-то шутку: «Объявление в газете: „Георг Отс меняет имя на Юрий Уй»”.

Это привело моего собеседника в восторг, он хохотал и звал свою жену:

— Лена! Ты слышишь? Лена! Георг Отс меняет имя на Юрий Уй!

А теперь несколько слов о даче, где происходила наша встреча. В Москве рассказывали: когда дом только возводился, кто-то прикрепил к калитке дощечку с надписью, это была строчка знаменитейшего утесовского шлягера: «Нам песня строить и жить помогает».

В своем жанре Утесов был как бы вне конкуренции, но в Москве существовали и другие джаз-оркестры. Впрочем, в те времена слово «джаз» было крамольным, и эти музыкальные коллективы именовались «эстрадными». Одним из них руководил известный трубач Рознер, и с этим именем связана блистательная шутка Утесова. Некто задает ему вопрос:

— Леонид Осипович, а правду говорят, что Эдди Рознер — вторая труба мира?

— Рознер? Вторая труба? — переспрашивает артист. — Да, безусловно...

Он — вторая труба.

— Ну а кто же — первая труба?

— Первая труба? — говорит Утесов. — Ну, их — миллион...

IV

Валентин Петрович Катаев в послевоенные годы у нас на Ордынке не бывал. Но я могу с определенностью утверждать, что он приходил к моим родителям в 1937 году, когда я только что родился и наша семья жила еще в Лаврушинском переулке, в том же доме, где имел квартиру Катаев. Я с самых первых дней был смуглым и черноволосым, и, как рассказывали, Валентин Петрович, увидев меня, новорожденного, дал мне прозвище «кофейное зерно».

Мой отец и моя мать очень высоко ценили талант Катаева, я и сам всегда восхищался его прозой. По моему глубокому убеждению, лишь один советский писатель превосходил Валентина Петровича в литературном мастерстве — я имею в виду Михаила Зощенко.

Ардов в близких отношениях с Катаевым никогда не был, но они оба принадлежали к одному и тому же кругу литераторов, куда входили Михаил Булгаков, Михаил Зощенко, Валентин Стенин, Лев Никулин, Юрий Олеша, Михаил Кольцов, Илья Ильф, Евгений Петров... Последний, как известно, был младшим братом Катаева и взял себе псевдоним, дабы читатели их не путали. Вот с Евгением Петровичем Ардов был очень дружен.

Я помню, отец рассказывал о женитьбе Петрова. Году эдак в двадцатом Катаев и Олеша прибыли из Одессы в Москву и вместе поселились на какой-то квартире. С ними по соседству жила прелестная совсем юная девушка по имени Валечка Грюнзайт. И вот Катаев тогда решил, что с ней надо познакомить его младшего брата Евгения. Тот вскоре также перебрался из Одессы в Москву и в конце концов стал мужем Валентины Леонтьевны Грюнзайт.

В тридцатые годы и Катаев, и Олеша стали очень известными писателями. Как-то вечером Валентин Петрович и Юрий Карлович шли по улице Горького. Прямо на панели они познакомились с какими-то двумя девицами и ради развлечения пригласили их в ресторан «Арагви». В этом заведении обоих литераторов хорошо знали и предоставили им отдельный кабинет. Они заказали шампанского и ананасов. Катаев вылил две бутылки шипучего в хрустальную вазу и стал резать туда ананасы...

Одна из барышень сделала ему замечание:

— Что же это вы хулиганничаете? Что же это вы кабачки в вино крошите?..

Тогда же, в тридцатых годах, пути Катаева и Олеша разошлись. Валентин Петрович стал усердно служить большевицкому режиму, а Юрию Карловичу такая роль, по-видимому, претила. Он почти ничего не сочинял и к тому же пить стал не в меру.

Мои собственные немногие встречи с Олешей происходили в пятидесятых годах, когда от его бывшей близости с Катаевым не осталось и следа. Более того, к этому времени у Юрия Карловича появилось нечто, что можно было бы назвать «комплексом Катаева». Так, один молодой литератор говорил мне, что Олеша, надписывая ему свою книгу, вопрошал:

— Скажите, ведь я пишу не хуже, чем Катаев?

Незадолго до своей смерти Юрий Карлович получил путевку в Дом творчества в Переделкине, а там неподалеку жил на своей даче его бывший друг. Однажды за завтраком кто-то из литераторов рассказал, что прошлой ночью на улице писательского поселка неизвестные преступники ограбили какого-то человека и скрылись. Выслушав такое, Юрий Карлович сказал:

— Это сделали дети Катаева.

А теперь несколько слов о том самом загородном доме, где Валентин Петрович прожил долгие годы. До войны, когда только появился в Переделкине писательский поселок, Катаеву там дача не досталась. А среди тех, кто получил от Литфонда загородные дома, был И. Г. Эренбург. Он, как помним, подолгу жил во Франции, и Катаев, воспользовавшись отсутствием Ильи Григорьевича, вселился в его дачу. Тут надобно отдать должное Эренбургу — человек очень умный и осторожный, он не стал поднимать скандала, а на собственные деньги построил себе загородный дом подальше от Переделкина — в Новом Иерусалиме.

В двадцатых годах близким приятелем Катаева был Лев Никулин, но потом они поссорились и, хотя оба жили в Лаврушинском переулке, не только не общались, но даже и не здоровались друг с другом. Я бы об этом не стал упоминать, кабы моя память не сохранила забавного двустишия, которое сочинил Лев Вениаминович. Это была эпитафия Катаеву:

Здесь лежит на Новодевичьем
Помесь Бунина с Юшкевичем.

(Юшкевич Семен Соломонович (1868 — 1927) в начале века — известный писатель, «певец Одессы».)

В середине тридцатых Михаил Кольцов возглавлял целое объединение периодических изданий — «Жургаз». Там устраивались званые вечера, куда приглашались знаменитости. Никаких кулис не было, все гости — в зрительном зале. И вот ведущий объявляет:

— Дорогие друзья! Среди нас присутствует замечательный пианист Эмиль Гилельс. Попросим его сыграть...

Раздаются аплодисменты, Гилельс встает со своего места, поднимается на эстраду и садится за рояль.

Затем ведущий говорит:

— Среди нас присутствует Иван Семенович Козловский. Попросим его спеть...

И так далее...

И вот во время какой-то паузы с места вскочил пьяный Валентин Катаев и громко провозгласил:

— Дорогие друзья! Среди нас присутствует начальник Главреперткома товарищ Волин. Попросим его что-нибудь запретить...

Надобно сказать, что в те годы Главрепертком (Главный репертуарный комитет) осуществлял цензорские функции в театрах. Реплика Катаева вызвала громкий смех и аплодисменты, а обидчивый цензор демонстративно покинул зал.

Еще я вспоминаю рассказ Александра Фадеева, он говорил это моему отцу в начале пятидесятых:

— Катаев зашел ко мне на дачу, мы с ним крепко выпили, но нам спиртного не хватило. И хотя была глубокая ночь, мы стали ходить по соседним дачам и просить водку взаймы. И нам ее всюду давали, потому что хозяева очень боялись, что мы у них останемся...

В начале хрущевской оттепели был снят негласный запрет на сочинения Ильфа и Петрова. Мой отец был организатором одного из первых вечеров, посвященных этим писателям. И я помню, как он сетовал, говоря о Катаеве:

— Как это можно не прийти на вечер памяти твоего родного брата?

В 1958 году Валентин Петрович вступил в коммунистическую партию. В литературной среде бытует такое мнение: он сделал это, дабы спасти от репрессий свое детище — журнал «Юность». Ардов объяснял этот шаг по-своему:

— Катаеву уже за шестьдесят: врачи запретили пить, по дамской части он уже не ходок... Значит, теперь «аморалку не пришьют», а поощрения будут, и немалые...

В те времена в Москве были популярны рассказы о парикмахере Моисее Моргулисе, он работал в Доме литераторов. Одну из этих новелл имеет смысл привести, но для современного читателя тут надлежит сделать некоторое разъяснение: за границу тогда почти никто не ездил, и каждый человек, побывавший в иностранном государстве, вызывал интерес окружающих.

Так вот Моргулис стрижет Валентина Катаева, который только что вернулся из-за границы. Клиент вовсе не расположен разговаривать с парикмахером, а потому отвечает односложно.

— Вы были за границей?

— Да, был.

— Ну и где вы были?

— В Италии.

— И были в Риме?

— Был.

— И видели Римского Папу?

— Видел.

— А правда говорят, что когда приходишь к Римскому Папе, то надо целовать ему туфлю?

— Да, правда.

— И вы целовали?

— Целовал.

— Ну и что вам сказал Римский Папа?

— А вот когда я наклонился, чтобы поцеловать ему туфлю, он спросил: «Какой засранец подстригал твой затылок?»

В начале семидесятых годов, когда в стране началась разнузданная травля Солженицына, Катаев принял в этом участие. Кое-кто из наивных людей был шокирован таким обстоятельством. Помнится, один из моих тогдашних приятелей говорил:

— Как Валентин Петрович мог подписать подобное письмо?

А я ему отвечал:

— Если кто-нибудь из советских писателей может совершенно искренне ненавидеть Солженицына, то это именно Валентин Катаев. Он всегда исповедовал совершенно ясные принципы: писать надо очень хорошо, с властями надо дружить, а жить надо со всей возможной роскошью и удобствами. И все это Катаев блистательно воплотил: пишет он как никто, эдакий «социалистический Набоков», у него гигантские тиражи и очень высокие гонорары; у него огромная квартира в Москве, и она обставлена антикварной мебелью; он живет в прекрасном загородном доме; у него есть автомобиль и собственный шофер... Наконец, ему позволяют бывать за границей и даже зарабатывать там какие-то деньги... И вдруг появляется писатель, жизнь которого шла вопреки всем принципам Катаева: он по глупейшей неосторожности попадает в тюрьму, потом в ссылку, работает школьным учителем, нищенствует... Да и пишет-то он, с точки зрения Катаева, плоховато... А вот поди ж ты — именно этому человеку достается Нобелевская премия, у него огромные гонорары в твердой валюте, не говоря уже об оглушительной всемирной славе. И в сравнении с этим все благополучие и вся известность Катаева не стоят и гроша...

Справедливость моих слов о Солженицыне и Катаеве подтвердилась много позже, уже в девяностых, когда были опубликованы дневники Корнея Чуковского. 24 ноября 1962 года он писал:

«Сейчас вышел на улицу платить (колоссальные) деньги за дачу — и встретил Катаева. Он возмущен повестью „Один день...“, которая напечатана в „Новом мире“. К моему изумлению, он сказал: повесть фальшивая: в ней не показан протест. — Какой протест? — Протест крестьянина, сидящего в лагере. — Но ведь в этом же вся *правда* повести: палачи создали такие условия, что люди утратили малейшее понятие справедливости и под угрозой смерти не смеют и думать о том, что на свете есть совесть, честь, человечность. Человек соглашается считать себя шпионом, чтобы следователи не били его. В этом вся суть замечательной повести — а Катаев говорит: как он смел не протестовать хотя бы под одеялом. А много ли протестовал сам Катаев во время сталинского режима? Он слогал рабы гимны, как и все».

Эта запись свидетельствует о том, что умный и проницательный Валентин Петрович сразу же почувствовал опасность — появление в печати «Ивана Денисовича» означало, что дни «социалистического реализма» сочтены. По существу говоря, это был первый гласный приговор той самой «советской литературе», в которой Катаев и первенствовал, и процветал.

Закончить эту главку мне бы хотелось одним занятным эпизодом, о нем рассказывал мой старый приятель Александр Александрович Авдеенко. В начале шестидесятых годов в переделкинской детской библиотеке, которую Корней Чуковский построил возле своей дачи, состоялось какое-то торжество. Прибыла группа с телевидения, присутствовали писатели — Павел Нилин, Валентин Берестов... Ну а детей, как назло, почти не было... И вдруг туда пришла маленькая девочка — хорошенькая, нарядная, с бантом в волосах. Телевизионщики тут же наставили на нее объектив своей камеры и стали задавать вопросы:

— Тебе нравятся книжки Корнея Ивановича Чуковского?

— Нет, — отвечало дитя, — они мне не нравятся.

— Как? Почему?

— Потому что он — плохой писатель.

Рассудительная крошка явилась с соседней дачи, это была внучка Валентина Петровича Катаева.

V

Я вспоминаю, году эдак в пятьдесят седьмом у нас на Ордынке принимали важного гостя — академика Виктора Владимировича Виноградова: он со своей женою иногда приходил к Ахматовой. Памятен мне и краткий разговор, которым знаменитый филолог удостоил меня — двадцатилетнего. Он спросил:

— Молодой человек, где вы учитесь?

— В университете, — отвечал я, — на факультете журналистики.

— Да-да, — отозвался академик, — есть такой факультет... Только к университету, к науке никакого отношения не имеет. Ну и кто же у вас там преподает?

И тут я на несколько секунд замешкался. Виноградов был прав — преподавательский состав нашего факультета был ниже всякой критики. Но одно из имен показалось мне спасительной соломинкой, и я произнес:

— Ну, например, профессор Александр Васильевич Западов...

— Западов? — переспросил мой собеседник. — Ну да... Он свой восемнадцатый век знает...

Александр Васильевич стал регулярно бывать у нас на Ордынке с пятьдесят четвертого года, именно тогда он перешел в Московский университет из Ленинградского. А я был принят на факультет журналистики в пятьдесят пятом и могу засвидетельствовать, что среди студентов Западов был очень популярен. Причин тому было две: он великолепно читал свои лекции, а на экзаменах не ставил отметки ниже «хорошо».

Бывало, он оглядывает аудиторию, где собрались студенты со своими зачетками, и произносит:

— Вы, пожалуйста, не волнуйтесь... Старик Западов еще никогда и никому не поставил неудовлетворительной оценки. Самое худшее из того, что с вами может произойти, — я подумаю про себя: «Какую чушь он несет!»

Одному из моих приятелей пришлось рассказывать Западову о «Тилемахиде» Третьяковского.

— Вы сами «Тилемахиду» читали? — спросил экзаменатор.

— Пролистывал, — дипломатично ответил студент.

— Так все двадцать четыре песни и пролистывали? — осведомился профессор.

В шестидесятых и семидесятых годах Западов выпустил в свет довольно много книг. Этому в большой мере способствовало то обстоятельство, что Александр Васильевич со студенческих лет был дружен с Николаем Лесючевским. Сей последний был фигурой прямо-таки зловещей, про него говорили, будто в тридцатых годах по его доносам сажали людей. А в те времена, о которых тут идет речь, этот человек возглавлял издательство «Советский писатель».

Однажды был я у Западова в гостях и стал свидетелем столкновения, которое произошло у Лесючевского с хозяином дома. Оба они крепко выпили, и гость стал вспоминать о войне и о собственных «боевых заслугах» — он работал во фронтовой печати.

Западов, который был настоящим боевым офицером, прервал бахвальство друга таким замечанием:

— Туда, где я воевал, ваши газеты не попадали. Нам приходилось вытирать задницу листами с деревьев.

Лесючевский обиделся ужасно, но к концу вечера они кое-как помирились.

Честно говоря, и сам Александр Васильевич был человеком со всячинкой. В 1942 году он вступил в коммунистическую партию, и это накладывало на него известные обязательства по отношению к большевицкому режиму. Западов превосходно сознавал, что некоторые его поступки, мягко выражаясь, не безупречны, и он в какой-то мере бравировал этим. Мог, например, такое о себе сказать:

— Я — Федор Павлович Карамазов.

А на фронте Западов действительно отличился, получил чин подполковника и множество боевых наград. Я вспоминаю диалог, который был у нас с ним в мои студенческие годы. Я тогда высказал мнение:

— Служба в армии во время войны и во время мира — две совершенно разные профессии. С началом боевых действий начальники, которые командовали ранее, теряют свои посты, и на их места приходят совсем другие люди. Это, как правило, представители мирных профессий, зачастую не подозревающие о том, что обладают способностью воевать.

— Молодец, мальчик, — сказал мне на это Александр Васильевич и шутиливо добавил: — Ты далеко пойдешь...

В 1972 году Западов выпустил в свет книгу «В глубине строки», и мне особенно запомнилась одна из глав — «Чудо „Пиковой дамы“». Там есть место, где речь идет о похоронах старой графини:

«„Церковь была полна. Никто не плакал. Молодой архиерей — покойница была важным лицом — произнес надгробное слово”. Пушкин иронически передает его содержание:

„В простых и трогательных выражениях представил он мирное успение праведницы, которой долгие годы были тихим, умирительным приготовлением к христианской кончине. „Ангел смерти обрел ее, — сказал оратор, — бодрствующую в помышлениях благих и в ожидании жениха полунощного”. Служба совершилась с печальным приличием”.

Речь отдает церковной риторикой, она пестрит инверсиями. Из числа слушателей только Германн и Лизавета Ивановна могли оценить нечаянную кощунственность архиерейских слов о благих помышлениях графини и полунощном женихе... Но им было не до церковных текстов».

Последний абзац у Западова несколько невнятен. Мне представляется, что недоговоренность — дань автора советской цензуре, которая в те годы была бдительна до идиотизма. Попробуем внести ясность.

Кощунственность в пушкинском тексте бесспорно наличествует, поскольку «Полунощным Женихом» в богослужебных текстах называется Господь Иисус Христос — такое наименование Он получил из-за Своей притчи о «десяти девах» (Евангелие от Матфея, гл. 25). И в другом Западов прав: в словах литературного персонажа — молодого архиерея — «упоминание всеу» происходит нечаянно, он не ведет о том, как умерла графиня. А вот сам автор «Пиковой дамы» не может быть оправдан незнанием: Пушкин тут как бы подмигивает читателю, напоминает о подлинных обстоятельствах смерти старухи: в полночь к ней явился отнюдь не благодный Господь и не Его Ангел, а алчный Германн с пистолетом в руке.

Самой привлекательной чертой Западова была его неподдельная любовь к русской литературе, и это чувство в полной мере распространялось на Ахматову. Я помню, в пятидесятых годах Александр Васильевич от руки переписал «Поэму без героя» и уговорил Анну Андреевну начертать автограф на этом своем манускрипте.

А еще я запомнил забавный рассказ Ахматовой, но это следует предварить пояснением. В те времена выпускники школ, которые получили золотые медали, принимались в институты без экзаменов — они должны были проходить лишь так называемые собеседования. Факультет журналистики, где преподавал Александр Васильевич, был одним из самых популярных в стране, и среди тех, кто стремился туда попасть, бывало множество медалистов.

Так вот Анна Андреевна говорила:

— У меня был Западов и сказал, что сегодня он проваливал медалистов, поступающих в университет. Я спросила его, трудно ли проваливать медалистов. Он ответил, что очень просто. Достаточно сказать: просклоняйте мне числительное «сорок». И как только он начнет говорить: «Сорокью, сорокью, сорокью...», его уже можно прогонять.

VI

Олега Стукалова я помню с первых послевоенных лет. Тогда, как, впрочем, и в более поздние годы, он был известен как Олег Погодин. Путаница происходила потому, что он был сыном знаменитейшего советского драматурга Николая Погодина, подлинная фамилия которого была именно Стукалов. И вот когда сын выступил на том же поприще, что и отец, он отверг псевдоним и воспользовался родной, настоящей фамилией.

После войны я был еще мальчишкой, учеником начальных классов, а Олег — взрослым юношей, приятелем моего старшего брата — Алексея Баталова. В те времена имя младшего Погодина было окружено романтическим ореолом. У него был роман с молодой и красивой замужней женщиной, женою какого-то генерала с Лубянки. Рассказывали, что она вышла замуж без любви, дабы вызвать из Гулага своего осужденного отца. А финал у этой истории был весьма печальный: дама покончила с собою и в предсмертном письме призвала к тому же своего возлюбленного. И у Олега действительно была попытка самоубийства — он стрелялся. Но, по счастью, пуля не попала в сердце, а повредила селезенку, и врачам пришлось этот орган удалить.

(По прошествии многих лет над последним обстоятельством мы даже подтрунивали. Говорили, что Олег Стукалов имел больше, нежели Антон Чехов, оснований подписывать свои опусы псевдонимом «Человек без селезенки».)

В те времена, когда Олег приходил на Ордынку к моему старшему брату, он был художав, несколько сутул, застенчив, близорук, слегка заикался, но при всем том в нем чувствовались и ум и обаяние.

Моя собственная дружба со Стукаловым началась в 1962 году. Мы с братом Алексеем приехали в Коктебель, где в это время жил Олег — он был женат на Ольге Сергеевне Северцовой — воспитаннице Александра Георгиевича Габричевского и его жены Натальи Алексеевны Северцовой.

В начале сентября в Коктебель пришла телеграмма из Москвы, в которой сообщалось, что Николай Федорович Погодин находится при смерти. Когда депешу принесли, Олег отсутствовал — куда-то уехал на своей машине. И у Габричевских решали, кому надлежит сообщить Стукалову подобную весть. Сделать это вызвался Александр Александрович Румнев.

Я помню, как открылись ворота и Олег въехал на машине во двор. В этот момент к нему приблизился Румнев. Они уселись на скамейку, Александр Александрович сказал Стукалову несколько слов и подал ему телеграмму. Олег взглянул на нее, помрачнел, молча вынул сигарету и закурил... Тягостная пауза длилась минуты две, после чего он поднялся со скамейки и произнес:

— Допился старый х...

А потом начались хлопоты, необходимо было достать для Олега билет на самолет, чтобы лететь в Москву, а это в те времена было совсем непросто. Но тут кому-то пришла в голову светлая идея: привлечь к этому делу Юрия Борисовича Левитана — эта знаменитость в те дни находилась в Доме творчества Литфонда.

И вот писатели под руки ввели легендарного диктора на коктебельскую почту. Мне в тот момент вспомнился Гоголь, то место, где нечистая сила среди ночи приводит в церковь Вяя... Казалось, что сейчас Левитан скажет «подземным голосом»: «Разомкните мне губы!»

Между тем телефонистка набрала номер начальника аэропорта в Симферополе... Диктор взял трубку, и все мы услышали тот самый голос, который когда-то вещал: «Приказ Верховного Главнокомандующего...» Он сказал:

— Говорит Левитан... Вы меня узнаете?..

Дело было улажено в две минуты, и Олег улетел к умирающему отцу.

Стукалов был одаренным литератором. К сожалению, пьесы его теперь забылись, но каждую отличал мастерски написанный диалог. У Олега было очень чуткое ухо, он умел уловить в той шелухе, которую представляет собою обыденная речь, истинные перлы. Я до сих пор помню, как он повторял реплику какой-то бабы, которая говорила про беззаботную жизнь своих соседей:

— Нажрутса курей — и «ха-ха-ха-ха!».

В доме Габричевских иногда появлялся летчик-испытатель Г-е, у него тоже была дача в Коктебеле. Я вспоминаю, что Олег записал два высказывания этого человека.

— Не понимаю, — говорил Г-е, — как это можно — прочесть книжку и потом об ней думать. Чего тут думать? Мне, например, надо завтра и ехать в Феодосию, и подвязывать виноград. Вот я и думаю: что мне делать сначала, а что — потом...

И еще:

— Не понимаю, когда говорят: красивое море, красивые горы... Что тут красивого?.. Вот когда едешь по шоссеиной дороге, а фонари стоят ровно-ровно, в линию... Вот это — красиво!

Сближение и дружба со Стукаловым не прошли для меня даром, я тогда подпал под его влияние. Мне тоже нравилось играть словами, а потому я решил, что смогу, как и он, сочинять пьесы для театра. И я действительно написал целых две. (Слава Тебе, Господи, сцены они не увидели.)

Мои, как и стукаловские, пьесы были написаны в рутинном мхатовском ключе, были донельзя реалистичны. И это заметил Александр Георгиевич Габричевский, он-то понимал, что подобная драматургия давным-давно вышла из моды. Я помню, как после прочтения одного из моих тогдашних опусов он сказал:

— Непонятно, что делать с вашими пьесами...

— Что значит с «вашими»? — спросил я.

— Ну, с твоими и с Олега Николаевича... Непонятно.

После этого разговора пьес я больше не писал.

Стукалов был человеком сердечным. Но по причине его застенчивости и некоторой невнятности речи не все это могли понять. Наталья Алексеевна Северцова, в чьей семье он прожил лет двадцать, это чувствовала. Она мне говорила:

— В Олеге есть нежность.

Он очень любил выпить. Но это была не просто страсть к алкоголю, он почему-то всегда стремился пить тайком, скрытно. Даже если было общее застолье, с большим количеством спиртного, Олег норовил отвести тебя в сторону и выпить сепаратно.

Весной шестьдесят шестого года в коктебельском доме мы жили втроем — Наталья Алексеевна, Стукалов и я. Хозяйка наша была отнюдь не врагом бутылки, но Олег опять-таки предпочитал пить втайне от нее.

Я вспоминаю такую сцену. Наталья Алексеевна собирается куда-то уходить, а у нас уже есть в запасе поллитровка. Вот скрипнула калитка — хозяйка удалилась. Олег появляется на пороге своей комнаты, озабоченно смотрит ей вслед, и я слышу его команду:

— Стибри-ка луку!

Честно говоря, он произнес другой глагол, созвучный не реке Тибру, а городу Пизе.

VII

Среди тех людей, с которыми меня когда-то познакомила Ахматова, был очаровательный человек — исследовательница ее творчества Аманда Хейт. Уже после смерти Анны Андреевны, в конце шестидесятых и в начале семидесятых, она довольно часто приезжала в Москву, работала переводчицей на выставках, которые тогда устраивались в Сокольническом парке.

В числе прочих московских друзей Аманды я регулярно посещал британский павильон и подружился с одним из ее сотрудников, которого звали Майк Туми. Он был высокого роста, седоволосый, с обаятельной улыбкой на мужественном лице. Про него было известно, что он прошел войну и даже был в легендарном Дюнкерке. По происхождению Майк был ирландцем и, как те-

перь говорят, практикующим католиком, что в большой степени способствовало нашей дружбе. Его привлекало православное богослужение, он стал приходить в Скорбященский храм на Ордынке, я познакомил его с тамошними священниками и представил архиепископу Киприану.

Майк пригласил Владыку посетить их выставку. И вот я помню, как архиепископ в сопровождении двух священников прибыл в Сокольники. Когда мы уселись за стол, Майк осведомился: что высокий гость будет пить?

Владыка сказал:

— Как священнослужитель и монах я должен сказать: только воду. Но как гость я говорю: то, что мне предложит хозяин.

Мистер Туми отвечал:

— Но ведь был уже такой случай, когда вода превратилась в вино.

— Да, был, — подтвердил архиепископ, — но до этого было уже много выпито.

(Они имели в виду известное чудо на «браке в Кане Галилейской» — Евангелие от Иоанна, гл. 2.)

Иногда вместе с Майком в Москву приезжала его жена Айлин, дама весьма симпатичная. О своей семейной жизни мистер Туми говорил:

— У нас в доме такой порядок: все важные вопросы решаю я, а все незначительные — жена. Но поскольку важные вопросы никогда не возникают, все решает Айлин.

И еще Майк рассказывал:

— Не так давно мы купили новую мебель для нашей спальни. Когда ее привезли, жены не было дома. Я расставил все предметы по собственному разумению и отметил карандашом те места на полу, где мебель стояла. После этого я сдвинул все на середину комнаты и стал ждать жену. Айлин явилась, и я ей сказал: «Ну, расставляй все, как ты хочешь». В результате мы несколько часов передвигали мебель с места на место... И наконец она сказала: «Пускай будет вот так». Тогда я ей показал свои метки на полу — все стояло там же, что и у меня...

Теперь, задним числом, я понимаю, что мистер Туми не был простым служащим в английском павильоне: похоже, он был как-то связан с Intelligence Service. Моя догадка косвенно подтверждается таким его рассказом.

— Когда наша выставка была в Польше, — говорил Майк, — я заметил, что один из наших служащих вдруг помрачнел и стал проявлять признаки беспокойства. Я с ним поговорил, и он признался мне, что познакомился с местной девицей и несколько раз приводил ее к себе в гостиницу... А потом к нему явились сотрудники польской разведки, показали фотоснимки, где он изображен в голом виде с этой особой. И вот они требуют, чтобы он стал на них работать... Иначе, дескать, они эти фотографии опубликуют... Ну, я его успокоил: «Ты держись храбрее и скажи им вот что: дайте-ка мне эти снимки, я их покажу моей жене и теще, а то они всем говорят, что я — импотент». Он так и поступил, и поляки тут же от него отвязались.

Году эдак в семьдесят втором, в начале лета мы с Майком зашли позавтракать в кафе «Арабат» — было такое на Неглинной улице. Мой гость захотел выпить кофию с коньяком. Но тут возникла непредвиденная трудность — тогда существовал очередной идиотский запрет: спиртные напитки можно было продавать не ранее одиннадцати часов утра. Меня в этом кафе знали, коньяк нам принесли, но для конспирации он был налит в кофейные чашечки. Это Майка очень удивило, и мне пришлось объяснять ему, в чем дело...

В ответ он стал сетовать на неудобства советской жизни:

— Мы занимаем номера в огромной первоклассной гостинице... И тут вдруг на несколько дней отключают горячую воду. И это сейчас, в жаркую погоду, когда несколько раз в день необходимо принять душ...

На это я ему отвечал:

— Разумеется, у нас очень неустроенный быт... Но в нашей жизни есть такие преимущества, каких у вас в Англии быть не может.

— Какие, например? — спросил мой приятель.

— Вот какие, — сказал я. — Моя жена уже вторую неделю находится на Черноморском побережье, купается, загорает... А на ее работе об этом никто даже не подозревает, и она за все эти дни получит заработную плату...

— Да, — признал тот, — у нас это невозможно...

Майк Туми был истинным патриотом Соединенного Королевства и защищал его с оружием в руках. Но он родился в Ирландии, и к этой стране у него было особое отношение. Он любил рассказывать ирландские анекдоты:

— В один из баров Дублина входит посетитель. Бармен ему говорит: «Мой бар еще закрыт. Мы начнем работать через полчаса. Но если вы намерены ждать открытия, может быть, хотите что-нибудь выпить?»

И еще:

— Два пожилых ирландца стоят на дублинской улице против дверей публичного дома. И вот они видят, что из этого заведения выходит раввин. Один из приятелей говорит другому: «В глубокой древности они заблудились в пустыне и до сих пор блуждают». Через некоторое время из той же двери выходит протестантский пастор. Второй ирландец говорит первому: «Видишь, отступление от истинного вероучения ведет к прямому нарушению заповедей Божиих». Но вот на пороге публичного дома появляется католический паптер. Долгая пауза, и тогда один из приятелей произносит: «Наверное, какая-то из здешних девочек смертельно больна...»

Но это все анекдоты. А вот какую реальную историю рассказал мне Майк Туми:

— В Ирландии в одной из бедных приморских деревень строился завод. Работали там немцы, которые были много богаче местного населения. Как-то вечером, когда рабочие из Германии кутили в тамошней пивной, с ними заговорил старый рыбак. Он сказал: «Мы признаём, что вы, немцы, умнее нас, удачливее... А все же у нас, у ирландцев, есть нечто такое, чего у немцев нет и никогда не будет». — «О чем ты говоришь? — спросили его те. — Что же такое есть у вас, у ирландцев?» Старик взглянул на них и произнес: «Мы побии англичан».

VIII

Мой покойный друг протоиерей Борис Гузьяков родился в 1932 году в одном из тех сел, что теперь вошли в черту Москвы. Отец его, Кузьма Алексеевич, был родом из Белоруссии, а в Подмосковье оказался после Первой мировой войны — он был солдатом и был ранен на фронте. Жену его (мать отца Бориса) звали Екатерина Ерофеевна, я их обоих знал и могу засвидетельствовать, что это были люди превосходные.

Как известно, зима 1979 года стояла очень холодная. В Москве были сорокаградусные морозы, а в городских квартирах батареи отопления почти не грели. Кузьме Алексеевичу Гузьякову в ту пору было 86 лет, и он уже не вставал с постели.

— Катерина, — сказал он жене, — я этих морозов не переживу... Я ведь, наверно, помру...

— Ты что — погубить нас хочешь? — возразила ему она. — Ведь тебя хоронить придут дети, внуки... В такую-то стужу — на кладбище! Ты всех нас заморозишь! И не вздумай помирать!

— Да, — произнес он, — я об этом не подумал... Ну, тогда давай мне вина, давай есть...

И Кузьма Алексеевич выпил домашнего вина, хорошенько поел, после чего прожил еще месяца полтора. Страшная стужа миновала, и он тихо, похристиански отошел ко Господу.

Гузьяковы с довоенных времен были прихожанами Троицкой церкви в селе Наташине. И вот летом 1944 года там появился новый священник — отец Михаил Зернов. Таким образом двенадцатилетний Борис Гузьяков познако-

мился с человеком, под чьим покровительством он находился вплоть до 5 апреля 1987 года. Именно в этот день окончил свой земной путь Михаил Викентьевич Зернов — в монастыре архиепископ Киприан.

Мое собственное знакомство с Гузьяковым произошло Великим постом 1967 года. Именно в те дни я стал сознательным прихожанином Скорбященского храма на Большой Ордынке, и Владыка Киприан поручил отцу Борису следить за моим воцерковлением. Мы с этим батюшкой тогда же и подружались: я обнаружил, что он умен, не чужд светской культуре, да к тому же обладает изрядным чувством юмора — черта в моих глазах немаловажная.

Отец Борис был очень добрым и отзывчивым человеком, я знаю многих людей, которым он помогал. И с его именем связано возрождение знаменитой Марфо-Мариинской обители милосердия.

Свою церковную карьеру Гузьяков начал еще подростком, когда прислуживал в алтаре наташинского храма. Отец Борис досконально знал все, что касается среды духовенства, — обычаи, нравы, занимательные истории, даже анекдоты. И он стал моим Вергилием в этих кругах, в значительной мере благодаря ему я сумел написать свои «Мелочи архи... прото... и просто иерейской жизни».

У нас с Гузьяковым было еще одно общее увлечение — хорошая кухня, они с женой Верой Константиновной умели принимать и угощать гостей. А еще мы оба любили пиво, но в Москве шестидесятых и семидесятых годов пристойных пивных практически не существовало. Пожалуй, лучшее из подобных заведений было в помещении профессионального клуба — в Доме журналистов на Никитском бульваре.

Мне как «члену творческого союза» доступ туда был открыт, и мы с отцом Борисом нет-нет да и заглядывали в тамошнюю пивную. Он, разумеется, являлся в такие места не в рясе, а в гражданском костюме.

Как-то раз, помнится, он служил на Ордынке литургию, я ему прислуживал, и мы освободились довольно рано. Прямо из церкви отправились в Дом журналистов и оказались первыми посетителями пивной. Едва мы уселись со своими кружками за столик, как появились еще два человека. Увидевши нас, один из них сказал своему приятелю:

— Видишь? Настоящие газетчики уже здесь!

Эта реплика нас с отцом Борисом очень развеселила. Он сказал:

— Кто же из нас с вами «настоящий газетчик»? Наверное, все-таки я. Поскольку я хотя бы читаю газеты, а вы, насколько мне известно, их даже в руки не берете...

В пятидесятых годах Гузьякову довелось служить в соборе возле Преображенской площади — эта церковь при Хрущеве была снесена. Там против храма располагался ресторан «Звезда». Так вот у клириков того собора в ходу была поговорка: «Пост до Звезды», поскольку в этом ресторане их по-соседски привечали. (Для несведущих надлежит сделать разъяснение. В Православной Церкви сочельник, день накануне Рождества Христова, связан со строжайшим постом. Верующие даже воды не пьют до той поры, пока на небе не появится первая звезда. Именно этот древний обычай именуется — «пост до звезды».)

Церковь у Преображенской площади была кафедральным храмом митрополита Крутицкого и Коломенского Николая (Ярушевича). Отец Борис рассказывал мне, что всякий год в Прощеное Воскресение митрополит приглашал все соборное духовенство в один из кабинетов ресторана при гостинице «Ленинградская» (высотный дом на Каланчевке). Происходило это за два часа до вечернего богослужения. Стол был довольно обильный, но без спиртного — блины, рыба, икра, чай, пирожные, конфеты... И каждый раз во время этого застолья Владыка Николай говорил со своими клириками на одну и ту же тему:

— Завтра начинается первая седмица Поста. В это время враг (сатана) особенно лютует, и его нападению прежде всего подвергнутся женщины... Так

что я вас всех призываю быть внимательными к ним и снисходительными, чтобы и вам не искушиться, не впасть в гнев и раздражительность...

И по свидетельству отца Бориса предупреждение это не бывало лишним. С началом Поста даже алтарницы — старые монахини — из смиренных и покорных становились фуриями...

Ну и чтобы покончить с ресторанной тематикой, еще один эпизод. В 1987 году, после смерти архиепископа Киприана, протоиерей Гузьяков был назначен настоятелем Скорбященского храма на Большой Ордынке. И вот в этом качестве его впервые пригласили на торжественный прием, который устраивала Московская Патриархия. Позвонил референт Святейшего и сообщил, что ему надлежит прибыть в ресторан при гостинице «Россия». Отец Борис ему сказал:

— Вы знаете, я сейчас на очень строгой диете. Можно мне не приходиться?

Референт ответил так:

— Не прийти вы, конечно, можете... Но тогда ваши дети и внуки тоже окажутся на очень строгой диете.

Свое священническое служение отец Борис начинал на Кубани, в Краснодарской епархии. Он часто рассказывал о тамошней жизни и нравах. Например, местные жители не могли на слух уловить разницу между именами «Георгий» и «Григорий». Спрашивают какого-нибудь казака:

— Тебя как зовут?

— Гыргорий.

— А именины у тебя когда?

— В мае, на Гыргория Победоносца.

— Его зовут Г-е-о-р-гий Победоносец.

— Ну, я ж и говорю: Гыргорий!

И еще отец Борис говорил об одном тамошнем суеверии. Когда в Пасхальную ночь из храма на улицу выходил крестный ход, на церковные двери вешался замок, а по возвращении процессии этот запор снимали. Так вот местные воры верили: кто из них первый после крестного хода прикоснется к церковному замку, тот не будет уличен в кражах целый год — до следующей Пасхи. Можно себе представить, какого рода конкуренция происходила у дверей этого храма в Святую Ночь.

Но это было не самое странное суеверие, с которым Гузьякову пришлось столкнуться на Кубани. В первые же недели своей службы на станичном приходе он совершил множество «заочных отпеваний», то есть таких погребальных служб, когда гроб в церкви отсутствует. И почти все покойники были мужчины. Документов там никаких не спрашивали, оформляли требу просто, и отец Борис отпевал себе и отпевал.

Но вот однажды он обратился к женщине, которая заказала «заочное отпевание», с вопросом:

— А давно он у вас умер?

— Как умер? — удивилась та. — Он — живой...

— Как живой? — опешил батюшка.

— Так — живой, живехонький... Ничего ему, подлецу, не делается...

И тут выяснилось, что в тех местах существовало суеверие: если заочно отпеть неверного мужа, он вернется к семье. Словом, отец Борис, сам того не ведая, за несколько недель отпел всех распутных мужиков целой округи.

Разумеется, в дальнейшем он неукоснительно требовал, чтобы предъявлялись документы о смерти...

Надо сказать, что Гузьяков всегда с удовольствием вспоминал годы, прожитые им на Кубани. Теплый климат, «благорастворение воздуха», «изобилие плодов земных»...

— Заходит, например, — рассказывал отец Борис, — ко мне сосед. Местный врач, зовет к себе. Выносит он домашнее вино. Сидим на воздухе, неторопливо попиваем, беседуем... А я смотрю на него и про себя думаю: «А ведь я тебя уже раза три отпел...»

IX

На Головинском кладбище в Москве, неподалеку от храма, где я теперь служу, стоит небольшой памятник из белого мрамора. На нем изображение креста и надпись:

Протоиерей Владимир Рожков
1934 — 1997

Я этого человека знал, хотя в последние годы его жизни мы с ним не общались. Был отец Владимир личностью весьма колоритной, и в особенности он выделялся на том сером фоне, который составляло большинство его патриархальных коллег.

Карьеру свою Рожков начал под покровительством знаменитого в свое время митрополита Крутицкого Николая (Ярушевича), он был у этого иерарха старшим иподиаконом. А поскольку митрополит долгие годы возглавлял Иностранный отдел Патриархии, отец Владимир преуспел и на поприще церковной дипломатии. Судя по всему, он пользовался большим доверием не только «священноначалия», но и тех «компетентных органов», которые за Церковью надзирали. Иначе невозможно объяснить важный этап в биографии Рожкова — он был командирован в Италию и окончил курс в ватиканском «Руссикуме».

В Риме он близко сошелся со столь же жизнелюбивыми, как и он сам, католическими патерами. К этому периоду жизни отца Владимира относится презабавный эпизод, о котором он сам мне повествовал. Тут для несведущих надлежит сделать некое разъяснение: в Православной, как и в Католической, Церкви для таинства евхаристии используется натуральное виноградное вино.

Рожков рассказывал:

— Помню, надо было мне очередной раз возвращаться из Москвы в Рим. Я упаковал пять литров водки и пять коньяку. С нашей таможней у меня проблем не было, ребята из Иностранного отдела позвонили в аэропорт, и меня пропустили... Ну а в Риме итальянский таможенник спрашивает: «Что у вас здесь?» — «Пять литров водки», — говорю. «А здесь?» — «Пять литров коньяку». Он говорит: «Зачем вам столько?» А я отвечаю: «Для богослужения. Мы, православные, так служим...» — «В таком случае, — говорит, — пожалуйста, проходите...» Ну, я прошел... А после всех формальностей я вернулся и подарил этому таможеннику бутылку водки и бутылку коньяку...

Я уже упомянул о жизнелюбии отца Владимира. Надобно заметить, что оно у него было, так сказать, всеобъемлющим: он был завсегдатаем лучших московских ресторанов и — увы! — даже ходоком по дамской части.

Пик карьеры Рожкова пришелся, если не ошибаюсь, на конец шестидесятых годов. Он ведал отношениями с Ватиканом в Иностранном отделе Патриархии, был доцентом в Московской Духовной Академии и настоятелем одного из столичных храмов. Симпатию к латинянам отец Владимир сохранил на всю жизнь. В восьмидесятых годах, когда происходило мое с ним общение, он уже не преподавал в академии и не работал в Иностранном отделе, но его комната в московской квартире была увешана фотографиями римских понтификов и кардиналов.

У Рожкова был отменный художественный вкус. Он был тонким ценителем старинной церковной утвари и облачений, антикварные вещи были у него и в квартире, и на даче. Наш с ним общий приятель протоиерей Борис Гузьяков свидетельствовал, что эстетизм был свойствен отцу Владимиру с юности. В начале пятидесятых годов, когда он еще был иподиаконом, во время одной из Божественных литургий Рожков шепнул отцу Борису:

— Ты чувствуешь, как запах этого ладана подходит к мелодии этой Херувимской?

В 1977 году я переехал на улицу Черняховского, и мы с Рожковым стали близкими соседями — он жил на Часовой улице. Между нашими домами расположен известный в Москве Ленинградский рынок, на каковом торжище мы

с ним по временам и встречались. Накануне одной из таких встреч я узнал, что Рожкову исполнилось пятьдесят лет, а потому я его спросил:

— Батюшка, чем же вас наградили к юбилею?

— Отверстием, — отвечал он.

(Будучи митрофорным протоиереем, Рожков получил право служения литургии с «отверстием Царских врат».)

Дом № 19/8 по Часовой улице принадлежит жилищному кооперативу «Соккол». Среди тамошних пайщиков кроме протоиерея Рожкова были еще два священнослужителя — ныне здравствующий Константин Владимирович Нечаев (в монашестве митрополит Питирим) и покойный Сергей Михайлович Извеков (в монашестве митрополит, впоследствии Патриарх Пимен).

В свое время на меня произвел впечатление такой рассказ отца Владимира:

— Это было в апреле семидесятого года. Как-то утром мне звонят из Патриархии и говорят: «Пожалуйста, пойдите и разбудите Владыку митрополита Пимена. Мы никак не можем к нему дозвониться». Я им отвечаю: «Я архиерея будить не пойду». Они мне: «Ну, мы вас очень просим... Вы ведь живете с ним в одном доме...» Отвечаю: «Я таких поручений исполнять не буду». — «Ну, хорошо, — говорят, — мы вам откроем секрет. Сегодня ночью скончался Патриарх Алексей. Владыка Пимен, как старейший по хиротонии из постоянных членов Синода, становится Местоблюстителем Патриаршего Престола. Пойдите и сообщите ему это». — «Ну что же, — говорю, — пожалуй, с такой вестью я пойти согласен». Иду в другой подъезд, начинаю звонить к нему в квартиру, стучать в дверь — все бесполезно. Тут на стук выходит его сосед и говорит: «По-моему, он дома — я слышал, как половицы скрипели...» Но я так ничего и не добился, не удалось мне сообщить эту важную новость...

Данный рассказ косвенно подтверждается еще одним свидетельством. В том самом семидесятом году, когда это происходило, архиепископ Киприан (Зернов) передавал мне слова митрополита Никодима (Ротова), который тогда сам рассчитывал занять первосвятительскую кафедру. Так вот он говорил о Пимене:

— Местоблюститель называется! Мы его три дня найти не могли, чтобы сообщить о его местоблюстительстве!

Х

Я очень не люблю летать на самолетах. Для нас, рожденных ползать, в этом есть нечто противоестественное, даже что-то жульническое: пространство как будто бы сжимается, а время скрадывается...

26 февраля 1994 года я впервые совершил длинейший перелет — через океан, в Америку. К Нью-Йорку мы подлетали вечером, было уже совсем темно. Самолет благополучно приземлился, я довольно скоро получил багаж и сразу же увидел высокую фигуру протоиерея Владимира Шишкова, который и устроил мою поездку за океан. Мы уселись в его автомобиль и двинулись в сторону Нью-Йорка.

Сияющий умопомрачительными огнями Манхэттен, взнесенный над темной водою мост Джорджа Вашингтона, и вот мы уже мчимся по скоростной трассе... Поворот, другой, третий — въезжаем в местечко Элмвуд-Парк...

Машина останавливается на полутемной улице, мы входим в дом... В просторной комнате со старинной мебелью и картинами в массивных золоченых рамках сидит невысокий седобородый человек в черном подряснике. Он поднимается мне навстречу, я делаю земной поклон, принимаю у него благословение и говорю:

— Теперь я у цели своего путешествия.

Так я впервые увидел Его Преосвященство епископа Григория (в миру Его Святельство графа Юрия Павловича Граббе).

Теперь даже трудно себе представить, как в семидесятые годы жили мы, сознательные православные христиане. Все «нормальные», то есть «советские»,

люди смотрели на нас как на сумасшедших. А те, кто были образованнее и умнее, взирали на нас с полупрезрительной жалостью, а то и с издевкой, ибо тогдашнее наше «священноначалие», то бишь Московская Патриархия, было придатком Советской власти, послушным орудием в кровавых большевических лапах.

И отнюдь не каждому возможно было объяснить, что трусливая и угодливая московская иерархия — это отнюдь не вся Церковь, что в самой Патриархии есть великое множество достойных клириков и мирян, что в стране существуют «катакомбники» и что, в конце концов, в мире есть Русская Зарубежная Церковь — строго Православная и совершенно бескомпромиссная по отношению к большевизму.

И тогда же, еще в семидесятые годы, сквозь «железный занавес» среди прочего тамиздата стали доходить до нас из Америки статьи и брошюры за подписью «протопресвитер Георгий Граббе». Они разительно отличались не только от чудовищного в те времена «Журнала Московской Патриархии», но и от тоже нелегально доставляемого нам парижского «Вестника РСХД» с его либеральным «богословским» лепетом. Нет, из-за океана до нас доносился голос чистого, незамутненного Православия.

Постепенно мы узнавали кое-что и о личности самого отца протопресвитера. Родился он в 1902 году, его отец, граф Павел Михайлович Граббе, был полковником царской армии и видным членом Поместного собора 1917 — 1918 годов. В конце Гражданской войны семейство Граббе покинуло Россию. Будучи в Югославии, граф Юрий Павлович сблизился с митрополитом Антонием (Храповицким) — первым возглавителем Русской Зарубежной Церкви, который в 1931 году назначил его, еще мирянина, Управляющим Делами Зарубежного Синода. В какой-то должности он состоял почти 55 лет, вплоть до 1985 года. В сан священника Ю. П. Граббе был рукоположен в июне 1944 года, а в 1979 году отец Георгий был пострижен в монашество с именем Григорий и возведен в епископский сан. Немаловажным казалось нам и то обстоятельство, что он является правнуком замечательного поэта и духовного писателя А. С. Хомякова.

Но вот настали восьмидесятые годы, «перестройка», «гласность», помпезно отпразднованный Патриархией тысячелетний юбилей Христианства на Руси... А там уже и развал «нерушимого Союза» и долгожданная свобода для Церкви...

До чего же наивные мы были люди! Нам казалось, коли мертвая большевистская хватка исчезнет, в Московской Патриархии незамедлительно начнется процесс покаяния и очищения. Мы думали, тотчас же созовут подлинный, представительный Поместный Собор, такой, о каком мечтали новомученики и исповедники страшного советского лихолетия... Но — увы! — всем этим упованиям так и не суждено было осуществиться. Болезнь зашла слишком далеко, слишком глубоко проникла порча...

Однако же объявленная новыми правителями России «свобода вероисповедания» позволила некоторым общинам и клирикам — как «катакомбным», так и принадлежавшим к Патриархии — перейти в юрисдикцию Зарубежной Церкви. Каюсь, я не сразу последовал их примеру. У меня, грешника, еще сохранялись какие-то иллюзии, в частности, я возлагал большие надежды на тогда только что избранного Патриарха Алексия II... И лишь в начале лета 1993 года я прибыл в древний, живописнейший Суздаль, чтобы присоединиться к подлинному Православию.

Там, в Суздале, на съезде духовенства, монашествующих и мирян, я и познакомился с отцом Владимиром Шишковым, о котором был уже много слышан. В частности, я знал, что он — зять епископа Григория (Граббе) и что Владыка после своего ухода на покой живет в его доме, в городке Элмвуд-Парк, штат Нью-Джерси.

Итак, в конце февраля 1994 года я прилетел в Америку и тоже стал жить в гостеприимном, истинно русском доме Шишковых. 28 февраля было Прощеное Воскресение, а затем настала первая седмица Великого поста. Начались

ежедневные продолжительные богослужения в Казанском храме города Нью-Арка, где отец Владимир настоятельствует более четверти века. Владыка Григорий, которому было за девяносто, не пропускал ни одной службы. На каждой литургии он приобщался Святых Христовых Тайн и иногда проповедовал.

Будучи давним читателем и почитателем епископа Григория, я мог предполагать, что это — необыкновенно умный и цельный человек. Но то, что мне открылось тогда, при близком общении с ним, превзошло все ожидания. Могу засвидетельствовать, что человека с таким ясным, пронизательным умом, твердыми, неизменными убеждениями, с такой беззаветной приверженностью к Истине я не встречал в течение всей моей уже довольно долгой жизни. (Не так давно мне довелось прочесть дневник будущего епископа, который он начал вести пятнадцатилетним юношей в Кисловодске, в страшном 1917 году. Меня поразили не только удивительная зрелость рассуждений и точность наблюдений, обыкновенно вовсе не свойственные подросткам, но и то замечательное обстоятельство, что автор этого дневника за прошедшие семь с лишним десятилетий ни умственно, ни нравственно не переменялся.)

В тот мой первый приезд в Америку мы много общались с Владыкой Григорием. Я часто сопровождал его в его ежедневных пеших прогулках. И именно тогда родилась у меня мысль записать некоторые его воспоминания, поскольку сам он этим никогда не занимался — его литературное наследие составляют лишь публицистические и богословские работы.

И — благодарение Богу! — намерение мое осуществилось. Следующей зимой я снова прибыл в Америку, опять поселился у Шишковых и всякий день записывал на диктофон свои беседы с маститым иерархом.

Теперь уже пленки расшифрованы, мне достаточно протянуть руку, чтобы взять со стола небольшую папку, куда сложено несколько десятков машинописных листов — это все прямая речь Владыки Григория...

«Первая церковь, которая мне вспоминается, — храм Кавалергардского полка в Петербурге. В этом полку служил мой отец. Потом — деревенская церковь в имении бабушки, это в Полтавской губернии. А потом уже храм в Караулове, в Звенигородском уезде, под Москвою. Там был пруд, а по ту сторону церковь. Хорошо помню Саввин монастырь неподалеку от нашего имения. У них там был огромный колокол. До монастыря от нас было четыре или пять верст. Мы туда пешком ходили. Надо было перейти через лес, а там — Дюдьково. Это такое дачное поселение, там обрыв... Очень красивая была местность...

У нас жил огромный пес — сенбернар, светлый, желтоватого цвета. Очень был умный. Иногда он провожал наших гостей до железнодорожной станции, бежал рядом с повозкой. А это было пятнадцать верст. Потом он самостоятельно возвращался домой. И вот один раз он почему-то зашел в какую-то деревню. А там жители его приняли за льва и с перепугу дали знать в полицию. Так что потом в нашей округе искали льва...»

Я поражался памяти моего собеседника, тому, как свободно льется его речь, всегдашней трезвости мнений и оценок и юмору, юмору, которым он обладал в высочайшей степени...

Вот, я смотрю, Владыка немного утомился. Беседа у нас шла о давних строениях в церковном Зарубежье и о личности митрополита Евлогия (Георгиевского). Речь моего собеседника звучит тише, он говорит медленнее... Но это продолжается считанные мгновения... Вот опять сверкнули умные, пронизательные глаза, губы тронула саркастическая улыбка, и я слышу:

— У Евлогия был один существенный недостаток — для него было очень трудным говорить правду...

И после паузы Владыка добавляет:

— Все время брехал...

Епископу Григорию было за девяносто, он был «пресыщен днями». Но у него была мечта, сильнейшее желание — непременно побывать в России. Сказать, что он был русским патриотом, — ничего не сказать. Ему было пятнадцать лет, а его старшему брату Михаилу — семнадцать, когда они еще до эмиграции на Кавказе создали молодежную монархическую организацию. В двадцатых годах в Белграде будущий Владыка был редактором и издателем газеты «Голос Верноподданного». Весьма многие из его сочинений — а они составляют четыре пространных тома — посвящены судьбам России и ее истории.

Надо сказать, что в девяносто лет он перенес серьезнейшую операцию, и врачи категорически возражали против длительного перелета и самого путешествия. Но Владыка Григорий был человеком непреклонной воли, и поездка состоялась.

Мне вспоминается ясный, теплый день 16 мая 1995 года, аэропорт Шереметьево. Архиепископ Суздальский и Владимирский Валентин и клирики Православной Российской Церкви, в числе которых автор этих строк, все мы ждем прибытия Владыки Григория.

И вот наконец в толпе людей мы видим фигуру отца Владимира Шишкова, он катит перед собою инвалидную коляску, в которой сидит улыбающийся, счастливый Владыка... Воистину — плоть немощна, но дух бодр!

Гости и все мы, встречающие, тотчас же отправились в древний Суздаль, где Владыка пробыл целую неделю. Он присутствовал на богослужениях, причащался, проповедовал, был участником архиерейского совещания, беседовал с клириками и верующими... Особенно радостным для него было знакомство и общение с теми монашествующими и клириками, которые пришли в нашу Церковь из так называемой «катакомбной». За плечами этих людей десятилетия жесточайших гонений, тюрьмы и лагеря...

После Суздаля наш гость провел два дня в Москве. Мы привезли его на Новодевичье кладбище, отыскиали там могилу прадеда Владыки — А. С. Хомякова и его жены, которая была родной сестрой Н. М. Языкова. Прах этого поэта покоится здесь же. Мы там служили панихиду, и этих молитвенных минут я никогда в жизни не забуду.

По возвращении своем в Элмвуд-Парк Владыка Григорий не сразу вошел в привычную колею. Но довольно скоро он возобновил свои занятия, как всегда, много читал, отвечал на бесчисленные письма, живо интересовался событиями в мире и в особенности тем, что происходит в России... И все же с каждым днем он слабел. Смерти он, разумеется, нисколько не боялся и был давно к ней готов. В начале осени ему стало хуже, его даже поместили в больницу, но существенного улучшения это не принесло. 7 октября 1995 года он тихо и мирно отошел ко Господу.

Я благодарю Бога, что Он даровал мне возможность узнать этого необыкновенного человека и даже сблизиться с ним. Я очень много думал о нем, и вот мне кажется, что Владыка Григорий отнюдь не случайно именовался сначала «Сиятельством», а затем и «Пресвященством». Его редчайшие врожденные качества — трезвый ум, твердая воля, неизменность принципов — выделялись на фоне всечеловеческих пороков и слабостей, а приверженность Истине и стойкость в православной вере — на фоне всеобщей апостасии.

В истории Российской Церкви есть лишь один деятель, с которым можно было бы сравнить епископа Григория. Я имею в виду приснопамятного Константина Петровича Победоносцева. И я убежден, что разница между ними состоит отнюдь не в масштабах личностей, а в размерах поприща. Если обер-прокурору Святейшего Синода пришлось быть администратором в самой обширной и многолюдной на всей земле Российской Православной Церкви, то Владыке Григорию довелось исполнять те же функции в небольшой по числу пасомых Церкви изгнанников.

Сходство епископа Григория с К. П. Победоносцевым наглядно подтверждается и еще одним немаловажным обстоятельством. Я имею в виду патологию

ческую ненависть, которую испытывали и продолжают испытывать к покойному Владыке «церковные» и «околоцерковные» либералы. Рассказни о «страшном Граббе», в течение десятилетий распространявшиеся по зарубежью, теперь — увы! — проникают и в Россию.

Но подобно своему великому предшественнику, обер-прокурору Синода, Владыка Григорий всегда относился к своим злопыхателям стоически и, можно утверждать, с истинно христианским незлобием. В 1963 году он писал одному из своих многочисленных корреспондентов — протоиерею Александру Трубникову:

«Спасибо Вам за письмо и добрые слова. Я не первый раз делаюсь объектом интриг и нападок. Сейчас они немного притихли, но одно время были очень активны и, конечно, не исчерпаны и сейчас. При всяком удобном случае меня будут грызть. Утешением служит то, что это исходит не столько от личных врагов, а от тех, кто хочет ослабить наш центр и расколоть Церковь».

И вот я вспоминаю, как во время одной из наших неспешных прогулок по улицам Элмвуд-Парка епископ Григорий вдруг сказал мне:

— Я хочу, чтобы после моей смерти вы бы молились о моем упокоении.

Я отвечал ему:

— Владыка, я много лет молюсь о вашем здравии и хотел бы продолжать именно это. Но если вы, не дай Бог, умрете, я буду молиться о вашем упокоении до самой своей смерти.

Больше мы к этой теме никогда не возвращались.

И теперь я всякий день молюсь: да упокоит Господь душу благого и верного раба Своего — епископа Григория в нестареющем блаженстве Своем!

XI

Этот день — 4 апреля 1994-го — был поистине одним из счастливейших в моей жизни. А жил я тогда в Америке, в городке Элмвуд-Парк, в гостеприимном доме моего друга протоиерея Владимира Шишкова и его жены Марии Георгиевны. В то утро после завтрака хозяйка сняла трубку с телефонного аппарата, набрала номер и произнесла:

— Могу я поговорить с Ее Высочеством?

Затем мы с Марией Георгиевной уселись в ее автомобиль и двинулись в направлении Спринг-Валей — местечка, где располагается известная в среде русской эмиграции Толстовская ферма. Несколько десятилетий назад там действительно было нечто вроде фермы в американском понимании этого слова, теперь же это заведение превратилось в приют для пожилых людей русского происхождения.

Мария Георгиевна везла меня для встречи с личностью легендарной — Княжной Верой, дочерью Великого князя Константина Константиновича, президента Академии наук и весьма известного в свое время поэта — псевдоним «К. Р.».

Те тридцать минут, что заняла дорога, я вспоминал все, что мне было в ту пору известно о Ее Высочестве. Она — правнучка Императора Николая I и троюродная сестра Царя Мученика Николая II. Родилась Вера Константиновна в 1906 году. Ее отец был хозяином Мраморного дворца в Петербурге, там и прошло ее детство. В те годы Княжна общалась с царскими детьми — в дневнике К. Р. есть запись: «Наши маленькие были позваны на чай к государевым детям. <...> Девочки ласкали нашу Веру, таскали ее на руках» (26 ноября 1908 года).

Один из братьев княжны, Олег, погиб в начале Первой мировой войны, а еще три брата — Иоанн, Игорь и Константин — были зверски убиты большевиками в Алапаевске и теперь прославлены в лике святых...

Вот наш автомобиль въехал в ворота Толстовской фермы, и я увидел небольшую церковь во имя Преподобного Сергия Радонежского. Мы с Марией Георгиевной подошли к одному из стоящих возле храма одноэтажных до-

миков, поднялись на высокое крыльцо и оказались в скромной квартире, которую занимает Княжна. По причине недомогания Вера Константиновна принимала нас лежа, но притом она была приветлива, весела, оживлена... Невозможно было поверить, что нашей собеседнице в ту пору исполнилось во семьдесят восемь лет.

Мы привезли с собою диктофон и получили разрешение включить его, так что давняя беседа, которая продолжалась почти два часа, существует в записи. И теперь я решаюсь опубликовать фрагменты из столь памятного мне разговора. Собственные реплики и слова Марии Георгиевны я опускаю, тут будет лишь прямая речь княжны Веры Константиновны.

— Мне было три месяца, когда меня крестили. Крестил батюшка, очень старенький, который всех нас крестил — и братьев, и сестру. И он уронил меня в купель... То ли руки у него были слабые, то ли я сильно брыкалась... Потом к моей матери пришла Императрица Мария Федоровна и сказала: «Это было ужасно, ее чуть не утопили!» Так что я начала свою жизнь с приключения, и приключения со мной происходили всегда. Всю жизнь.

— Когда мне было года четыре, я ехала в одиночке с моей няней в окрестностях Павловска. Это было весной. И около переезда через железную дорогу мы встретили Наследника, он тоже ехал со своим матросом в одиночке. И тут Наследник сел в мой экипаж, а я поместилась в его. (Он был старше меня на два года.) И так мы поехали... На пути оказалась большая лужа, и Наследник мне скомандовал: «Вера, туда!» И я, как была, в белой шубке прыгнула в лужу — брызги во все стороны! До сих пор вспоминаю это с наслаждением!.. И еще я помню выражение ужаса на лице моей няни.

— Моя сестра Татьяна была много старше меня, а все наши братья были военные. И я с раннего детства тоже играла в солдаты. Один день я была — «рядовой Иванов», другой день — «рядовой Петров»... Потом Папа сам мне присвоил звание — «рядовой Иван Веркин».

— Я была курносая, и братья смеялись надо мной, говорили, что мне надо поступить в Павловский полк. Туда специально набирали курносых солдат. Сам Император Павел был курносый... Я его очень люблю. Если бы он жил дольше, он бы освободил крестьян. Он к этому шел.

— Мои братья были среднего роста и высокого. Самые высокие были Гавриил и Георгий. Папа был очень высокого роста. Это видно и по фотографиям, где мы все вместе... У меня была книга брата Гавриила «В Мраморном дворце», но она куда-то пропала.. Может быть, ее стащили. У меня довольно много растащили. Бог с ними! Ведь я все равно с собой на тот свет ничего не возьму.

— Брата Олега я очень любила, он был единственный, кто меня не дразнил... У брата Иоанна был свой хор. И этот хор у нас пел во время постановки пьесы отца «Царь Иудейский». Иоанн был очень религиозный и очень музыкальный. Когда Папа болел, по просьбе Иоанна к нам доставили мантию Преподобного Серафима Саровского и этой мантией Папа накрывали.

— Брат Игорь был очень веселый, все время со мною шутил. А брат Константин был очень уютный. Он был мой крестный. А крестная была Императрица Александра Федоровна. И вот брат Константин на каждый праздник давал мне приданое — серебряные ложки, ножи и так далее. Последнее, что он мне подарил, — самовар. Но в семнадцатом году все это пропало. Это хранилось в байке и пропало...

— Моя мать поехала к своей сестре Луизе в Германию, у этой сестры скончался маленький ребенок. И мать взяла с собою нашего дворецкого, фамилия его была Селезнев. Он немецкого языка не знал, но тоже хотел выразить соболезнование моей тетке. Тогда он сказал: «Принцесс, капут!» — и наклонил голову. Между прочим, этот Селезнев когда-то служил в Преображенском полку. А Государь Николай Александрович в бытность свою Наследником командовал Первым батальоном этого полка... И вот однажды Государь пришел к нам в Мраморный дворец и увидел Селезнева. А у Царя была исключительная память на лица, он сейчас же его узнал и говорит: «Вот видишь, Селезнев, ты большим человеком стал. А я как был полковник, так им и остался». Государь отказывался присвоить себе генеральское звание... Между прочим, какое-то время Преображенским полком командовал мой отец. Только я не помню, в какие годы... Но у нас в Мраморном дворце стояло знамя Преображенского полка, это я помню.

— Мы жили в Павловске, мне было лет десять, и я каждый день ездила верхом в течение часа. И вот 23 апреля, на день Святого Георгия, я вернулась домой и уже хотела слезть с лошади. Но не тут-то было. Лакей подает мне письмо отца — поздравление Императрице Александре Федоровне. Это был день ее именин. Надо отвезти конверт в Царское Село. Ну, наш старший наездник Клим и я поскакали. Это от Павловска очень близко, пять верст. Приехали туда, сдали письмо. Я ерзала в седле, боялась что-нибудь перепутать... Но все обошлось. И мы поехали обратно... И вот я опоздала к обеду. И из-за этой поездки мне разрешили, не переодеваясь, как я была — в брюках и в сапогах, — обедать. Это уже было удовольствие... Я никогда не ездила по-дамски — «амазонкой». Это — очень опасно, я совершенно не понимаю, как это возможно. Я всегда ездила по-мужски, к ужасу Императрицы Марии Федоровны.

— Великую Княгиню Елизавету Федоровну я видела один раз. Она пришла к моей матери. По-видимому, это было, когда она приехала в Петербург, чтобы говорить с Императрицей об удалении Распутина. Во всяком случае, она и моя мать во время своего разговора были очень серьезными. Я смотрела, как она от нас уходит, и я даже испугалась... Вид строгий, это монашеское одеяние... Между прочим, когда большевики ее сбросили в шахту, она там оказалась рядом с моим братом Иоанном. А у него была рана на голове... И она сняла свой апостольник и обвязала ему голову.

— Михаила Александровича, брата Государя, я тоже видела всего один раз. И моментально в него влюбилась. Он был удивительно симпатичный, очень высокого роста. Он пришел к моей матери поздравлять ее с именинами.

— Я хорошо помню, как умер мой отец. Я зашла к нему в кабинет и вижу, что он не может дышать, задыхается... А там была такая дверь, между кабинетом отца и будуаром матери... Там еще было зеркало, а внизу какая-то зелень — цветы. Дверь там была ужасно тяжелая, я ее открывала плечом. Иначе было не открыть. И я вбежала к матери и сказала: «Папа не может дышать!» И потом я побежала к дежурному лакею, его фамилия была Аракчеев: «Зови скорей врача!» А тот перепугался, стоит на месте и топчется... Я кричу: «Зови скорей доктора, Папа плохо!» И в это время наступил конец... Так доктор потом сказал...

— В семнадцатом году я шла со своей воспитательницей по Марсову полю. Мы шли в церковь, в Инженерный замок. А навстречу шел матрос, такая рожа у него была, прямо ужас. А на груди — Георгиевский крест. Он, конечно, был храбрый. Но эта комбинация — революционная рожа и Георгиевский крест. На меня это такое впечатление произвело, что я на всю жизнь запомнила...

— Как-то уже здесь, в Нью-Йорке, я была в нашем Зарубежном Синоде. И туда приехал какой-то диакон из Сан-Франциско. Вообще-то в Америку он прибыл с Дальнего Востока, из Китая. Ему тогда надо было попасть на автобус, а уже было темно. И он английского языка не знал. И вот меня попросили отвезти его. Между прочим, этот дядя вскоре перешел в советскую церковь, там он стал священником и пошел вверх... И вот мы с ним сели в такси, едем. По дороге я его расспрашивала про Дальний Восток, но ему, как видно, скучно было все это рассказывать... Вдруг он меня спрашивает: «А как ваша фамилия?» Я ему говорю: «Романова». Он говорит: «Романова? Это что-то знакомое...» Я потом так смеялась, чуть не лопнула.

— Среди Романовых религиозностью отличались Императорская семья и наша. А все остальные — кто как...

Два часа промелькнули незаметно, пришло время прощаться. Напоследок Вера Константиновна произнесла:

- Так хочется добра России...
- Молитесь за Россию, — сказал я.
- Очень трудно молиться, — отозвалась Княжна.
- Не молиться — еще труднее, — заметил я.
- Этого я не знаю, — призналась Ее Высочество.



ВЛАДИМИР МАУ

*

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ, ИСТОРИЯ И РЕВОЛЮЦИЯ

Очерки жизни современной России

Стоит русский богатырь на распутье и читает известную надпись. Стоит, думает. И слышит голос сверху: «Думай скорее, а то здесь прямо на голову кирпич свалится».

Современный анекдот.

Иа рубеже веков Россия опять стоит на распутье. Куда идти? На Запад пойдешь — идентичность потеряешь, американцем станешь. На Восток пойдешь — голову потеряешь. Трудно быть скифами и постоянно держать щит меж двух враждебных рас. Недаром скифы отошли в вечность, став принадлежностью истории, и только истории. И какво быть скифами, которые одновременно и щит держать должны, и рефлексировать хотят: хорошо ли этот щит блестит на солнце, тот ли на нем рисунок?!

А может быть, и нет никакого перепутья? Может быть, страна просто развивается в предначертанном ей направлении и нам надо только уловить это направление, а затем расслабиться и получать удовольствие? Или надо оказать сопротивление? Где мы: на развилке или в тупике, в начале большого пути или в его конце?

В этих заметках мне хотелось бы поговорить о характере и направлении нашего развития. Конечно, каждой социальной гипотезе, подтверждаемой некоторыми фактами и историческими тенденциями, можно противопоставить другую, не менее логичную и убедительную. Согласие с той или иной гипотезой является результатом определенного идеологического предпочтения, результатом определенного методологического выбора. Людям свойственно помещать известные им факты в теоретическую рамку, которая упорядочивала бы мозаику, объясняя события и помогая прогнозировать их дальнейшее развитие. Таких рамок может быть множество, и их выбор в значительной мере предопределяется той системой ценностей, которая изначально заложена в каждом думающем индивидуе¹. История детерминирована, но не предопределена, и перспективы нашего развития зависят не только от исторического тренда, но и от миллионов индивидуальных предпочтений, влияющих на этот тренд.

Мау Владимир Александрович родился в 1959 году. Окончил Московский институт народного хозяйства им. Г. В. Плеханова. Доктор экономических наук, профессор. Руководитель Рабочего центра экономических реформ при Правительстве РФ, профессор Высшей школы экономики. Автор восьми книг и трехсот научных и научно-популярных статей. В «Новом мире» печатается впервые.

¹ В определении идеологии я разделяю подход Дугласа Норта, согласно которому идеология — это ответ человека на неопределенность, позволяющий формулировать гипотезы и обосновывать теории. «Нельзя теоретизировать в условиях неопределенности, когда вы абсолютно не представляете себе, что может произойти... Но на практике люди постоянно действуют в условиях неопределенности. Мы принимаем решения в условиях неопределенности, основываясь на наших религиозных, ценностных и идеологических представлениях» (North D. C. Understanding the Process of Economic Change. London, IEA, 1999, p. 13 — 14).

Очерк первый, вступительный. Кое-что о российской интеллигенции

Нам истерические порывы не нужны. Нам нужна мерная поступь железных батальонов пролетариата.

В. И. Ленин, «Очередные задачи Советской власти».

Ленин не любил интеллигенцию, считал ее порождением мелкобуржуазности и видел в ней источник колебаний, сомнений, неустойчивости, свойственной российскому образованному классу. Об этом написано и сказано немало. Дело, конечно, не в цитатах, которых у любого «классика» и «основоположника» можно найти на все случаи жизни. Дело в принципиальном отношении к этому слою российского общества, к той роли, которую интеллигенция сыграла в российской истории XIX и XX столетий.

Интеллигенция дала стране основную массу теоретиков и лидеров революции (точнее, революций), и именно интеллигенция в лице ее лучших представителей принесла невозполнимые жертвы на алтарь отечественной истории новейшего времени. Прошли годы, но и в наши дни российская интеллигенция продолжает играть столь же противоречивую роль, давая стране героев, жертв и палачей.

Дискуссии о том, что есть интеллигенция, о различии между образованностью и интеллигентностью etc., столь же интересны, сколь и бесконечны. Достаточно того, что все мы понимаем под интеллигентом в российском смысле этого слова: образованный разночинец, оторвавшийся от своего сословия или класса, не имеющий социальных корней, зато имеющий возможность и вкус к длительным рассуждениям о смысле жизни и своей роли во всемирной истории (или «в мировой революции»). Именно отсутствие социальных корней (кроме собственно интеллигентских) создает основу интеллигентского индивидуализма, который существенно ограничивает способность представителей этого «сословия» объединяться для достижения социально-политических целей. Индивидуализм — важнейшее условие и источник того интенсивного творческого поиска, который является визитной карточкой интеллигенции и который делает наиболее выдающихся ее представителей совестью нации. Но этот же индивидуализм делает российскую интеллигенцию принципиально неспособной осознать себя как единый слой, который должен уметь защищать свои интересы.

Существуют три признака интеллигенции, которые принципиально отличают ее от других социальных групп: отношение к богатству, к истории и к государству. Во всех случаях эти отношения представляют собой смесь презрения, нетерпения и зависти. Особенно характерно это для интеллигенции французской и российской, хотя и в англосаксонских странах подобные настроения в минувшем столетии также заметно возросли.

Презрение к богатству — принципиальная особенность интеллигенции. «Собственность есть кража» — в этом политэкономическом тезисе французского социалиста Прудона заключается квинтэссенция мудрости и веры континентальной интеллигенции. Этот тезис откровенно противостоит другому классическому политэкономическому труду, написанному в англосаксонской традиции, — «Исследованию о природе и причинах богатства народов» Адама Смита. Здесь — изначальная суть конфликта: или человек должен доказать справедливость своих идей на практике — и тогда надо признать обоснованность вопроса «Если ты такой умный, то почему ты такой бедный?»; или же надо сторониться низкой и грязной практики — и тогда всякий жизненный успех непременно вызывает подозрения у собратьев по классу.

Противопоставление интеллектуального поиска бизнесу, недостаточная «практичность» в повседневной жизни становились источником гордости и самоуважения континентальных интеллигентов. Интеллигенция должна быть выше грязи повседневной жизни. Только это позволит ей по-настоящему *страдать за народ*. Правда, предполагается наличие в достаточном количестве хлеба с маслом, сыром и колбасой, чтобы можно было страдать, не отвлекаясь

на различные глупости вроде хлеба насущного. «Утром мажу бутерброд, / Сразу мысль: а как народ?» — это не из царской жизни, а из интеллигентской.

Такое положение не может быть устойчивым. Поэтому именно интеллигенция поставляет на политическую арену экстремистов разного рода — от радикалов и террористов до жесточайших реакционеров и консерваторов. Неубедительность страданий за народ за чашкой чая порождает неумные натуры, готовые растрачивать свой талант и энергию в целях разрушения. Рахметов в этом ряду представляется положительным персонажем: он хоть сам на гвоздях спал, готовился к будущим мучениям. Его друзья же готовили гвозди и бомбы для других, видя в «адских машинах» лучший способ привести всех в светлое будущее. А напротив стоит реальный персонаж — К. П. Победоносцев. Тот самый, который по молодости лет писал письма Герцену, служил профессором гражданского права в Московском университете, а потом стал одним из наиболее жестких охранителей самодержавного режима. Тоже ведь интеллигент, нашедший свой вариант осчастливливания нации.

Именно существование рахметовых и победоносцевых, неумных, ищущих форм самореализации, и создало в России предпосылки для большинства кровавых событий XX века.

Страдание за народ, как правило, не дает возможности сказать правду народу и одновременно побуждает видеть чуть ли не во всяком мерзавце представителя «простых людей». Боюсь, что лишь у ничтожного меньшинства из нас хватило бы мужества сказать в декабре 1993 года вместе с Ю. Карякиным: «Россия, ты одурела!», не испугавшись обвинений в пресловутом отрыве от собственного народа. И уж совсем неприлично выступать с аргументами в пользу ограничения всеобщего избирательного права — безотносительно к тому, какой вклад вносит тот или иной гражданин в благосостояние страны.

Отказ от рутинной, методичной работы в совокупности с презрением к накоплению материального богатства оборачивается своеобразным историческим экстремизмом. Все надо получить немедленно, здесь и сейчас. «Оборотной стороной интеллигентского максимализма является историческая нетерпеливость, недостаток исторической трезвости, стремление вызвать социальное чудо, практическое отрицание теоретически исповедуемого эволюционизма», — замечал С. Н. Булгаков².

Стремление осуществить «социальное чудо» есть во многом следствие доминирования в интеллигентской среде философского рационализма. Это не удивительно: современная российская интеллигенция есть порождение французского Просвещения с его верой во всемогущество человеческого разума. Именно на этой методологической базе интеллигенция стремится осчастливливать народ. Мы знаем, как и что надо делать, поскольку владеем самой передовой (самой правильной, самой развитой) теорией.

Я вовсе не призываю здесь к тотальному агностицизму, но не могу не признать, что как раз сомнений в полноте знания нам особенно не хватает. Не хватает того самого либерализма, который предполагает признание ограниченности всякого знания, отсутствие монопольного права на обладание истиной³. То есть при всем внешнем «либерализме» отечественной интеллигенции как раз интеллектуального либерализма ей более всего и недостает.

Оборотная сторона прямо противоположных настроений отечественной интеллигенции заключается в ее желании обмануть общественный прогресс, обмануть историю, перескочить через естественные этапы развития общества. Иногда это даже удается, но ценой неисчислимых жертв того самого народа,

² Булгаков С. Н. Героизм и подвижничество. «Вехи. Сборник статей о русской интеллигенции». М., 1991, стр. 71.

³ Необходимо, впрочем, особо подчеркнуть, что речь здесь идет исключительно о роли интеллигента как советника (то есть в более органической для себя роли), а вовсе не как практикующего политика. Интеллигент в политике склонен демонстрировать противоположные качества: колебания, неуверенность, что так же опасно для политика, как и вера в обладание абсолютным знанием у советника.

за который надо страдать, и той самой интеллигенции, которой не терпится вступить в то самое счастливое завтра. А когда очередной исторический прыжок не удастся сразу, то начинаются разговоры о национальной уникальности, которую нельзя измерить общим аршином.

Естественное чувство исторического нетерпения, нежелание мириться с мерзостями сегодняшней жизни понятно, однако именно оно лишает ощущения исторической перспективы, понимания связи себя, своего поколения с прошлым и будущим. Без ощущения целостности истории своей страны время оказывается «таинственной субстанцией, превращающей наше светлое будущее в наше проклятое прошлое».

Желание ускорить ход истории уживается в современном интеллигентском сознании со стремлением отыскать свою исключительность и уникальность. Мало кто готов согласиться, что Россия столь же уникальна, сколь уникальны и другие страны мира. Все страны, как и все люди, уникальны, и все они похожи друг на друга. Неготовность принять эту простую истину оказывается следствием лишь плохого знания истории других стран и нередко служит психологической формой компенсации за недостатки образования (а в некоторых, ксенофобских, случаях — и за настоящую дикость).

Трудно жить в реальной истории и видеть реальные, а не мнимые альтернативы общественного развития. «Почему у нас положение дел хуже, чем в Польше, Венгрии, Чехии, не говоря уже о Германии?» Подобный вопрос в той или иной форме задается нашим интеллигентским сообществом, а за ним следует поиск виноватого: Ельцина, Гайдара, Чубайса, МВФ, ЦРУ, жидомасонов (список открытый). Но никому не приходят в голову простые вопросы: «А почему мы не воюем с другими республиками бывшего СССР? Как мы избежали гражданской войны? Почему мы не повторили путь Боснии или Сербии?» Все уже забыли, что распад советской империи происходил на фоне бомбардировок Сребреницы, и именно они были тем мощнейшим политическим и интеллектуальным фактором, который давил на российское руководство осенью 1991 года, когда оно принимало решение о роспуске СССР. Наши стартовые условия (распад союзного государства, переплетение в нем существенно различных этнических и религиозных групп) были гораздо ближе к «югославскому варианту», и избежание гражданской войны является важнейшим достижением М. Горбачева, Б. Ельцина и первого посткоммунистического правительства России. Достижением, за которое они слышат только хулу и никогда не дождутся благодарности.

Презрение к богатству дополняется презрением к государству и его институтам. Конечно, бюрократическое государство дает немало поводов для презрения, однако попытки отдельных представителей интеллектуалов заняться расчисткой авгиевых конюшен власти, как правило, заставляют собратьев по классу лишь *брезгливо морщить нос*. А когда кому-нибудь все же удастся хоть что-то сделать, совершив при том конечно же немало ошибок, то власть дружно призывается к ответу перед народом и перед теми, которые «в белом». Хотя на самом деле белые одежды обвинителей пошиты руками обвиняемых. Если нет мужества или желания бороться за свои идеи, как Чубайс, то хоть признайте, что он делает работу за вас. Работа критиков тоже важна и почетна, но она возможна лишь тогда, когда кто-то дает материал для этой критики. Принимая решение «не участвовать», надо быть честным до конца и хотя бы внутренне видеть свою ответственность не только за то, что сделано, но и за то, что не сделано. Хотя последнее оценить бывает очень трудно. Нельзя интеллигенции уподобляться вора в законе, статус которых в принципе запрещает сотрудничество с властью, нельзя отдавать политику на откуп беспринципным дельцам и карьеристам. Без конкуренции извне, без постоянной подпитки со стороны интеллектуалов политика так и останется сферой человеческой деятельности, в которой отсутствуют какие-либо ценности и принципы.

Такое отношение к власти является результатом неготовности значительной части интеллигенции признать, что политическая жизнь имеет определен-

ную логику, какой бы неприятной она ни была. Реальная жизнь, увы, труднее и грязнее идеальной схемы, однако неучастие в ней честных людей (чтобы не замараться!) делает политическую жизнь еще грязнее. Не могу не процитировать слова В. Ленина о людях (прежде всего интеллигентах), активно готовивших свержение монархии и ужаснувшихся тому, что они увидели с началом революции. «Беда этих горе-революционеров состоит в том, что даже у тех из них, кто руководится лучшими в мире побуждениями... недостает понимания того особого и особо-„неприятного“ состояния, через которое неминуемо должна была пройти отсталая страна, истерзанная реакционной и несчастной войной... недостает выдержки в трудные минуты трудного перехода... Такие типы чаще всего морщат пренебрежительно нос и говорят: „Я не из тех, кто поет гимны „органической“ работе, практицизму и постепенности“»⁴. При всем негативном отношении к деяниям автора этих слов трудно отрицать их правоту. Причем речь здесь идет о ситуации, складывавшейся в России к концу 1917 года, когда еще не пришлось пройти через кошмар Гражданской войны. Интересно, много ли интеллигентов позднее нашли в себе силы увидеть собственную ответственность за дальнейшие события российской истории?

Не мной замечена идейная близость российской и французской интеллигенции. В обеих странах несколько десятилетий бурной активности интеллигенции завершились революционными взрывами, невиданно кровавыми по сравнению с другими европейскими революциями. И там и здесь именно интеллигенция явилась мотором и основной жертвой революционных потрясений. В обоих случаях результатом революций стало укрепление в стране бюрократического государства при значительном ослаблении роли негосударственных, общественных институтов.

Интеллигенции, чтобы самореализовываться как интеллигенции, надо иметь государство, которое она может обличать и ненавидеть. Но которое может ее, интеллигенцию, и защитить от необходимости работать в поле, *накормить и обогреть*, поскольку без этого нельзя петь обличительные песни и плясать революционные пляски. Вот и получается, что в странах, где нет сильного бюрократического государства, нет и интеллигенции в специфически российском (точнее, российско-французском) смысле слова. Поэтому, как только государство ослабевает, ослабевают и государственный диктат, и государственная подкормка, сразу же в адрес государства начинают звучать обличительные раздраженные крики, и в конечном итоге государство оказывается объектом неограниченной ненависти. Причем в этих смелых обличениях сливаются голоса, казалось бы, антиподов. «Двенадцать голосов злобно перебранивались, отличить, какой чей, было невозможно... Они переводили глаза со свиньи на человека, с человека на свинью и снова со свиньи на человека, но угадать, кто из них кто, было невозможно», — как писал по другому поводу Дж. Оруэлл. Некогда диссидентствующие интеллигенты поносят демократические реформы с ничуть не меньшим энтузиазмом, чем лауреаты всевозможных советских премий. Объявление вполне уважаемым г-ном Синявским Егора Гайдара своим личным врагом ничем не отличается от анафемы, раздающейся из пресловутого Союза писателей России. Какая уж тут последовательность, какая тут связь между прошлым и настоящим, между личным опытом и провозглашаемыми ценностями, когда сам великий гений Александр Исаевич Солженицын осуждает частную собственность на землю!

Все это печально, но неудивительно. Было время, когда государство кормило и одевало и тех, и других. Одни получали от советской власти премии и звания непосредственно. Другие — опосредованно: в виде зарубежных премий и грантов нонконформистам и жертвам тоталитарного режима. Я менее всего хочу ставить знак равенства между уважаемыми диссидентами и циниками совписа. Первым действительно пришлось пострадать и зарабатывать свои гранты в советских тюрьмах и лагерях, тогда как вторые в лучшем случае му-

⁴ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 36, стр. 207 — 208.

чались от мысли, не продешевили ли они, продавая свою бессмертную душу. Однако факт остается фактом: крушение тоталитарного режима привело к тяжелому психологическом кризису *как тех интеллектуалов, так и этих*. С крушением коммунистической системы исчезли устоявшиеся стереотипы, привычные ориентиры. И в новой борьбе интеллигенции с государством в одном лагере оказываются и официальный Бакланов, и творивший на грани дозволенного Окуджава, и запрещенный Войнович. А в рядах певцов тоталитаризма мы видим недавних его неистовых критиков Зиновьева и Лимонова. Сегодня, как и в прошлом, именно писатели отражают общий дух отечественной интеллигенции: упорное нежелание брать на себя ответственность — ни за свою семью, ни за свою страну, стремление обмануть политическую логику и историю, найдя себе доброго и мудрого вождя, который будет руководствоваться некими только интеллигенции ведомыми «интересами страны». При всей своей внешней несхожести, именно Г. Зюганов и Г. Явлинский оказываются наиболее близкими духовному поиску стоящей на историческом перепутье интеллигенции: оба говорят, что обладают Сокровенным Знанием, благодаря которому без особых усилий и лишь при объединении действий всего народа смогут обеспечить всем достаток и благополучие. Жизнь оказывается не сложным процессом обретения опыта, а поиском Высокого Знания, обладатель которого и способен осчастливить неразумный народ. При этом подразумевается, что практическая реализация этого Знания требует безусловной веры в его носителя. А уже следующий вопрос, как осчастливить — через утопию кроваво-коммунистическую или розово-демократическую, — не имеет особого значения. Главное, вождь знает путь. *«Der Führer sacht»*.

Удастся ли российской интеллигенции избавиться от комплекса мессианской роли, который является лишь оборотной стороной униженности? Многие здесь зависят от социально-экономических тенденций развития страны. Либеральная экономика, создающая простор для творческого поиска и одновременно делающая необходимым зарабатывать свой хлеб в труде, не ожидая подачек от государства (не важно, своего или иностранного), создает условия для формирования реально независимого от власти слоя интеллектуалов. Это уже не брюзжащая и вечно недовольная интеллигенция, сетующая, что ее все время недооценивают. Здесь просто нет времени брюзжать и жаловаться, здесь надо работать и зарабатывать. (Увы, гораздо меньше времени остается и на то, чтобы читать книги в свое удовольствие.) Зато здесь формируется интеллектуальная элита, которая рассматривает государство как своего наемного служащего и которая способна прямо, а не исключительно «через отрицание» оказывать влияние на власть преобладающих.

От позиции «ныне действующей» интеллигенции многое зависит. Нужна напряженная интеллектуальная работа по осознанию места своей страны в мировой истории. Признание того, что мы не уникальны, даст определенный ключ к пониманию тенденций нашего развития. История как метод познания сегодняшних реалий — вот что нам важно сейчас как никогда. В конце концов, не помешает и немного цинизма, к которому приводит знание истории, знание того, что все уже было. *Пройдет и это*.

Очерк второй. Россия в Истории — мировой вообще и западной в особенности

История, показывая кризис в перспективе, снабжает каждое поколение противоядием от иллюзии, что его проблемы уникальны по тяжести... Знание прошлого должно давать иммунитет от истерии, но не должно внушать самодовольства.

А. Шлезингер, «Циклы американской истории».

Моей первой опубликованной работой был обзор седьмого тома «Кембриджской экономической истории Европы» («Вопросы истории», 1981, № 1) — солидного британского издания, первый том которого вышел еще до

моего рождения. Методично, на протяжении нескольких десятилетий крупнейшие специалисты по экономической истории трудились над этим изданием, выпуская книгу за книгой. Открыв седьмой том, посвященный концу XIX — началу XX века, я с наивным удивлением обнаружил, что помимо Франции, Германии, Италии, Бельгии и ряда других европейских стран обширные главы посвящены России, США и Японии. Мне было приятно, что редакторы тома отнесли Россию (и СССР) к Европе. Но почему США и Япония? Обратившись к предыдущим томам, я заметил, что в самых первых из них не упомянута ни одна из этих трех стран, но в последующих, с приближением к новейшему времени, появляются Россия и США, а затем и Япония. Тем самым понятие «европейский» имеет для авторов труда не столько географическое, сколько экономическое (или экономико-политическое) значение: страна может располагаться в Европе, но не быть частью европейской цивилизации; и наоборот: находясь за тысячи километров от Европы, являться европейской. Но это понятие оказывается и исторически относительным: продвигаясь по пути социально-экономического прогресса, страны, далекие от Старого Света, могут становиться его органической частью.

Впрочем, эти рассуждения должны быть очевидными для исследователя, воспитанного в марксистской методологической культуре. Как писал К. Маркс, «страна, промышленно более развитая, показывает менее развитой стране лишь картину ее собственного будущего»⁵. Однако для практического применения этого вывода к анализу советских и российских реалий необходимо было отказаться от не критического восприятия советского опыта. Ведь сколь бы скептически мы ни относились в свое время к советскому социализму, в глубине души у многих жило представление, что именно СССР показывает другим странам определенные контуры их будущего.

Между тем существуют интегральные показатели, которые следовало бы принимать во внимание при оценке тенденций и перспектив развития любой страны. Таковым может служить показатель ВВП на душу населения. При проведении межстрановых исследований целесообразно сопоставлять не страны в данный год или даже в данное десятилетие, но страны, находящиеся на сопоставимом уровне среднедушевого валового внутреннего продукта.

И тогда открываются вещи поистине удивительные.

Первое, что бросится в глаза, — это близость уровня среднедушевого ВВП во всех странах в момент осуществления в них революций нового времени. Этот показатель достаточно близок в Англии середины XVII века, в США и Франции второй половины XVIII века, в Германии и Италии середины XIX века, в России и Мексике начала XX века (колебания находятся в пределах 10 процентов)⁶. Грубо говоря, монарха казнят в странах сопоставимого уровня экономического развития.

Следуя далее по истории, можно заметить, что устойчивый демократический режим возникает также примерно на сопоставимом уровне социально-экономического развития — примерно вчетверо превышающем уровень «казни монарха». Устойчивость демократической конституции также связана с определенным уровнем развития: исторический опыт свидетельствует, что попытки введения всеобщего избирательного права на уровне ниже определенного оборачиваются скорым крахом этой системы.

Дело не в мистике цифр. Просто среднедушевой ВВП оказывается интегральным показателем, отражающим социальные, политические и гуманитарные аспекты развития той или иной страны. Скажем, страна с уровнем в 1200 — 1400 долларов (1990 года) ВВП на душу населения с высокой степенью

⁵ Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 23, стр. 9.

⁶ Межстрановые сопоставления ВВП — самостоятельная и весьма сложная задача учета покупательной способности валют разных стран, к тому же в исторической ретроспективе. В данном случае мы опираемся на расчеты, проведенные А. Мэддисоном (Maddison A. Monitoring the World Economy 1820 — 1992. Paris, OECD, 1995).

вероятности является аграрной (примерно две трети населения и столько же ВВП связано с сельским хозяйством), с низким уровнем образования (неграмотно более половины населения), причем если речь идет о периоде до начала XX века, то это — монархия. Страны с уровнем выше 6000 долларов — демократические, с доминированием промышленности в структуре производства и занятости. А в странах с уровнем выше 10 000 долларов интенсивно идет структурная трансформация в направлении постиндустриализма.

Уровень среднедушевого ВВП хорошо коррелирует с индексом человеческого развития и индексом экономической свободы, с развитием процессов политической демократии. Понятен механизм связи этих показателей. С ростом среднедушевого ВВП происходит рост образования и политической культуры населения, диверсифицируются его потребности и соответственно развивается производство. Правительство все больше попадает в зависимость от своих граждан, налогообложение которых становится основным источником доступных государству финансовых ресурсов. (В традиционных обществах бюджет формируется в основном за счет рентных доходов, то есть мало связан с экономической активностью.) Государство попадает в зависимость от экономической активности своих граждан, которые оказываются уже достаточно образованными, чтобы понимать свои реальные интересы. *Это приводит к превращению подданных в граждан.* А граждане отличаются от подданных тем, что они желают знать, как и на какие цели тратит государство собираемые у них налоги. Тем самым возникают предпосылки для установления демократического режима⁷.

Или возьмем такой пример, как всеобщее избирательное право. Элементарное сравнение уровней экономического развития в год, когда в той или иной стране оно было введено впервые, показывает, что устойчивым этот принцип оказывается лишь в странах со среднедушевым ВВП порядка 3500 долларов и выше. Именно тогда к избирательным урнам было допущено все население Великобритании, Германии, США. Попытки же введения его на более низкой ступени приводят к тому, что очень быстро оно оказывается или отмененным (во Франции после 1795 года), или превращенным в пустую формальность (в СССР, в большинстве латиноамериканских и африканских стран на определенном этапе их развития)⁸. Понять причины такого порядка вещей не представляет особого труда: ответственно голосует лишь тот, кому есть что терять. Соответственно в развитых ныне странах Запада избирательное право расширялось постепенно, по мере возрастания числа людей, живущих в достатке. И лишь тогда, когда они оказались в большинстве (а на это и указывает названный выше уровень среднедушевого ВВП), избирательное право становилось всеобщим. Иными словами, наличие собственности — или определенного уровня достатка и соответствующего уровня образования — является действенным противоядием от популизма и демагогических обещаний безответственных политиков.

Количество примеров подобного рода можно увеличивать. Но уже очевидны два взаимосвязанных вывода.

Во-первых, сравнивать имеет смысл только сопоставимые по уровню страны и между ними уже искать культурно-исторические различия, необъяснимые уровнем их социально-экономического развития. То есть помимо хронологиче-

⁷ Отсюда становятся понятными и исключения из общего правила, например, сохранение абсолютистских монархий в странах Персидского залива. Доходы этих стран формируются почти исключительно за счет нефтяной трубы (ренты), то есть государство не попадает в зависимость от деловой активности населения и — более того — имеет достаточно ресурсов, чтобы покупать лояльность подданных, обеспечивая им высокий уровень жизни. То есть исключение из «правила демократизации» оказывается связано не с какими-то историко-культурными особенностями, а со структурными характеристиками отдельных стран.

⁸ Сюжет о «естественном уровне» социально-экономического развития для устойчивости системы всеобщего избирательного права подробно рассмотрен мной в книге «Экономическая реформа сквозь призму конституции и политики» (М., «Ad marginem», 1999). Там приводятся соответствующие количественные оценки.

ского времени можно говорить о существовании «социально-экономического времени», и лишь в этом измерении можно делать реальные сопоставления.

Во-вторых, достижение более высокого уровня социально-экономического развития приводит к существенным сдвигам в политической и культурной сферах. Более высокие темпы роста отдельных стран и приближение их к странам-лидерам по уровню среднелюдянского ВВП делает эти страны сопоставимыми опять же не только в экономическом, но и в политическом, а отчасти и культурном отношении. Признавая правоту К. Маркса в приведенной выше цитате о странах разного уровня развития, мы можем дополнить ее и противоположным выводом: более развитые страны могут видеть в странах относительно менее развитых картину их более или менее отдаленного прошлого.

Последний вывод надо помнить тем западным политикам и интеллектуалам, которые высокомерно кривятся от нынешних российских проблем, от коррупции, от неурегулированности отношений между уровнями власти, резкости или некорректности действий отдельных наших политиков. О нем не следует забывать и нашим демократическим страдалцам, жалующимся на причудливость сегодняшней демократии в России по сравнению с западными образцами. Дело не только в отсутствии значительного демократического опыта и традиций, хотя и это тоже важно. Дело не только в том, что за 90-е годы Россия прошла политический путь, который на Западе занимал многие десятилетия, если не столетия. Посмотрите на современные развитые страны в то время, когда они находились на сопоставимом с нынешней Россией уровне экономического развития (скажем, США на рубеже XIX — XX веков, Италию в 50-е годы). Вы увидите и схожие формы политической борьбы, и попытки олигархических структур доминировать в политической жизни, и сопоставимый уровень коррупции.

Однако на ту же проблему можно посмотреть и с другой стороны — так сказать, снизу. Забавными выглядят ссылки на современный Китай, указания на преимущества выбранной этой страной модернизационной модели по сравнению с российской. Я отчасти понимаю, когда об игнорировании китайского опыта с раздражением говорят представители некогда реформистского крыла советской номенклатуры: китайский путь означал бы не только сохранение, но и укрепление их политического и хозяйственного влияния еще на пару десятилетий. Ведь социальная суть китайского пути состоит в сохранении власти в руках старой номенклатуры благодаря однопартийной системе и идеологической жесткости режима, когда экономические преобразования проводятся постепенно и под контролем номенклатуры, а попытки проявления политической активности вне этих рамок жестоко подавляются. Однако идеи благотворности «китаизации всей страны» получили гораздо более широкое распространение и в России, и среди западных интеллектуалов.

Я оставляю в стороне вопрос о *политической невозможности и нравственной ущербности* предложений об использовании китайского опыта в современной России. Это было *политически невозможно*, поскольку к началу 90-х годов была разрушена партийно-чеккистская вертикаль власти, без которой в принципе невозможен эволюционный путь китайского типа; это было бы *безнравственно*, поскольку ценности демократии, идеалы политической свободы не могут и не должны измеряться арифметикой краткосрочной экономической целесообразности⁹.

⁹ Сожаления о том, что политические реформы начались вместе с экономическими (а то и раньше их), весьма популярны среди западных исследователей. В этой связи вспоминается дискуссия, которую автор этих строк имел с одним видным итальянским экономистом — специалистом по СССР и России. В ответ на традиционные сентенции об ошибочности горбачевского курса на политические реформы я заметил: «Наверное, вы правы. Однако согласитесь, что ошибки такого рода уже были в истории. Ведь и для Италии было бы гораздо лучше, если бы Муссолини не ввязался во Вторую мировую войну, а просуществовал бы, скажем, до середины 70-х годов. Итальянская экономика устойчиво развивалась, не было бы чехарды правительств, не было бы террора „красных бригад“, коррупции, северного сепаратизма и других острейших проблем послевоенных десятилетий». Мой собеседник был возмущен подобным сравнением, хотя оно совершенно естественно и достаточно очевидно.

Впрочем, использование китайского опыта в СССР конца 80-х было невозможно и по *социально-экономическим* причинам. По уровню среднедушевого ВВП эти две страны разделяло столетие, что отражалось и в качественных параметрах. Соотношение городского и сельского населения, структура ВВП и занятости, уровень грамотности, система социального обеспечения населения и соответственно корреспондирующие со всем этим среднедушевой ВВП и бюджетная нагрузка на экономику (доля бюджета в ВВП) Китая весьма близки соответствующим показателям СССР 20-х годов.

Таким образом, для реализации модели ускоренного экономического развития при сохранении политического авторитаризма принципиально важны три условия. Во-первых, низкий уровень экономического развития, наличие значительного числа не вовлеченных в эффективное производство трудовых ресурсов (аграрное перенаселение). Во-вторых, низкий уровень социального развития, когда государство не имеет характерного для развитого общества объема социальных обязательств. (Например, если в КНР социальным страхованием и пенсионным обеспечением охвачено не более 20 процентов населения, то в СССР оно распространялось на всех.) Наконец, в-третьих, низкий культурно-образовательный уровень, когда требование демократизации еще не является одним из ключевых для значительной массы населения.

Все эти черты налицо в КНР, и всех их не было в Советском Союзе 80-х годов. Поэтому те, кто выражает сожаление, что Горбачев не пошел по пути Дэн Сяопина, или рекомендует России учиться у Китая, должны согласиться на следующие условия: правительству следует отказаться от социальных обязательств и перестать платить большую часть пенсий и социальных пособий; также сократить объемы предоставления бесплатных услуг в области здравоохранения и образования, доведя уровень бюджетной нагрузки в ВВП с нынешних 36 — 40 процентов до 20 — 25. Однако сторонники китайских рецептов мотивируют их в значительной мере как раз деградацией социальной сферы России. Но тогда все эти рекомендации уходят из сферы реальной экономической политики в область благородных, но бесполезных мечтаний.

Однако ни схожесть нашей социально-политической системы с Западом на более ранней, индустриальной, фазе его развития, ни наша нынешняя социально-политическая несхожесть с Китаем не должны внушать ни самодовольства, ни самоуспокоения. Хотя социальная и экономическая структура современного российского общества и сейчас, несмотря на глубокий экономический спад, остается гораздо ближе к развитым странам, чем к развивающимся, результаты прошедшего десятилетия не могут быть оценены однозначно.

Разрыв с Западом остается колоссальным. Более того, резко снизился показатель среднедушевого ВВП — тот самый показатель, который, как мы видели, дает обобщающую характеристику социально-политического уровня. Конечно, колебания ВВП не ведут к немедленному симметричному изменению всех других параметров жизнедеятельности общества. Россия остается страной с высокообразованным населением, с экономической и социальной структурой, характерной для индустриального общества, начинающего движение в постиндустриальную эру. От резкого падения ВВП на душу населения все эти благоприятные особенности российской социально-экономической структуры автоматически не исчезают. Однако с позиций исторической перспективы такая ситуация не может быть устойчивой.

Совершенно очевидно, что мы находимся на критическом рубеже в развитии страны. Налицо очередная развилка, причем вопрос стоит очень жестко. *Или мы найдем путь для преодоления качественного разрыва по сравнению с уровнем развитых западных государств, обеспечив соответствие экономического уровня развития страны социальному и интеллектуальному уровню ее народа. Или произойдет деградация интеллектуального потенциала до соответствующего экономического уровня.* Конечно, изменения как в ту, так и в другую сторону будут происходить постепенно, однако выбор между инерцией роста и инер-

цией деградации будет сделан уже в ближайшее время. Точнее, выбор делается уже сейчас. И от этого выбора зависит будущее страны, а может быть, и само ее существование.

Особая сложность ситуации состоит в том, что практически невозможно сказать, что конкретно надо делать для решения стоящих перед Россией проблем. Можно долго и убедительно объяснять, какие реформы нужны для улучшения экономической ситуации: налоговую, бюджетную, — как улучшать инвестиционный климат. Можно убедительно доказывать, какие изменения в Конституции приведут ко всеобщему счастью, или, напротив, доказывать, что Основной закон страны лучше не трогать (я лично разделяю последнюю точку зрения). Можно предлагать рецепты либеральные и авторитарные, можно критиковать и те и другие. Но что может стать решающим фактором в прорыве или деградации, знать не может никто.

Исторический опыт свидетельствует, что рецепты прорыва к «всеобщему счастью», как правило, оказываются ошибочными. Страна находит путь к благосостоянию, осуществляет или не осуществляет социально-экономический прорыв не тогда, когда исполняет на десятилетия вперед расписанные планы, а когда решает конкретные задачи и в процессе их решения нащупывает точки и инструменты прорыва. А уже потом политики и историки объясняют, благодаря каким гениальным предначертаниям одна страна совершила чудо, а другая попала в ловушку стагнации.

Анализируя ситуацию в стране для определения пути ее оптимального развития, важно трезво относиться к двум факторам, о выдающейся роли которых особенно часто можно слышать и в интеллектуальной, и в политической среде. Я имею в виду такие любимые нашей публикой темы, как наличие у России богатых природных ресурсов и не менее богатых национальных, исторических, культурных и т. п. традиций. Значение этих факторов по меньшей мере не следует оценивать однозначно: богатство природных ресурсов только на поверхности выглядит как благо. Весь опыт XX столетия свидетельствует, что наличие этого фактора само по себе не является ни необходимым, ни достаточным для решения масштабных социально-экономических задач. Скорее наоборот: изобилие ресурсов нередко становилось фактором, развращающим правительство, вселяющим необоснованные надежды и отнюдь не стимулирующим проведение ответственной экономической политики. Пример тому — опыт стран, которые было принято относить к третьему миру. В первое послевоенное десятилетие, когда происходили бурные процессы деколонизации и на картах Африки и Азии появились десятки новых государств, распространенным было мнение, что именно «черный континент» будет демонстрировать бурные темпы роста, тогда как у азиатских стран вряд ли есть надежда на процветание. Объяснялось это именно наличием богатейших природных ресурсов в одном случае — и почти полным их отсутствием в другом. Прошли годы — и, как это чаще всего бывает, прогноз сбылся с точностью до наоборот. Многие азиатские страны обеспечили высокие темпы роста и быстрое преодоление отсталости от «первого мира», а Африка пребывает в нищете и кризисе, несмотря на все свои алмазы, нефть, цветные металлы, гидроэнергоресурсы.

В странах, бедных природными ресурсами, население особо не на что было рассчитывать, а их правители не имели доступа к ресурсам ни для социальных экспериментов, ни для разграбления страны. Чтобы получить хлеб с маслом, здесь надо было напряженно работать — как населению, так и элите. И постепенно в этих странах обозначились признаки экономического благополучия. Причем налицо была одна достаточно очевидная закономерность: первыми признаки экономического чуда стали демонстрировать политически стабильные государства — Япония (благодаря американской оккупации), Тайвань, Сингапур, Гонконг. Позднее к ним присоединились Южная Корея, Малайзия, Индонезия. И демократические, и авторитарные режимы в них могли опираться только на свои силы и на поддержку Запада — при соответствующем выборе внешнеполитических приоритетов.

Особенно яркий пример сказанному дает опыт развития СССР и КНР. Помимо отмеченных выше политических различий, ресурсный фактор также оказался исключительно важным при определении экономической стратегии обеих стран в середине 70-х годов. Когда социализм советского типа столкнулся с серьезными экономическими трудностями, когда падали темпы роста и обозначились признаки стагнации, перед руководством обеих стран встали вопросы о дальнейшем пути развития. В СССР начались дискуссии о повышении роли рыночных механизмов, и в 1965 году была даже предпринята попытка хозяйственной реформы. Однако энергетический кризис 1973 года резко изменил ситуацию: огромные запасы нефти и газа дали стране (точнее, брежневскому руководству) фантастические финансовые ресурсы, обладание которыми сделало ненужным поиск путей повышения экономической эффективности. Нефтедоллары позволили продолжить гонку вооружений, одновременно обеспечивая некоторый рост уровня жизни. К реформам вернулись только в 1983 — 1985 годах, то есть тогда, когда мировые цены на энергоресурсы стали снижаться.

Китай после экспериментов «культурной революции» и смерти Мао Цзедуня также определялся относительно дальнейшего пути. После недолгого периода колебаний и экспериментов, в отсутствие богатых природных ресурсов, китайскому руководству не оставалось ничего другого, как арестовать склонную к левому экспериментированию «банду четырех» и объявить устами Дэн Сяопина, что «не важно, какого цвета кошка, а важно, как она ловит мышей». И начать коренное реформирование своей экономической системы на рыночных основаниях.

Конечно, из всякого правила есть исключения. Так, нефтяные монархии Ближнего Востока сумели эффективно воспользоваться имеющимся у них природным богатством и обеспечить высокие темпы роста и экономической стабильности. Однако в данном случае критическим фактором оказалась как раз стабильная политическая система (стабильность абсолютной монархии), которая создавала основу *жесткого легитимного* управления страной, избегая политических катаклизмов и государственных переворотов. Хочу подчеркнуть здесь — *жесткость и легитимность*, поскольку приход к власти в нефтяных странах даже многолетних диктаторов (вроде Ливии) или существование полудемократических нестабильных режимов (вроде Алжира) отнюдь не способствуют порядку и процветанию: нелегитимные правители относятся к богатствам своей страны как к временному источнику обогащения (нередко личного), тогда как в абсолютной монархии процветание страны и процветание правителей связаны непосредственно и стратегически. Первые именуется в экономической науке «блуждающими бандитами», вторые — «бандитами стационарными». Первые понимают, что со «своей большой дороги» можно получать больше доходов, когда она окажется более привлекательной для проезжающих, нежели дорога, контролируемая другими бандитами.

В стабильно функционирующей политической системе доступные природные ресурсы оборачиваются благом. Так, открытие нефтяных месторождений в Северном море пошло на пользу Великобритании и Норвегии. Однако в обоих случаях нефтяные богатства не стали доминирующим фактором развития, не поставили всю экономику в зависимость от одной этой отрасли.

Схоже обстоит дело и с ролью национально-культурно-исторических etc. особенностей той или иной страны. Перефразируя классика, можно сказать, что все счастливые страны счастливы одинаково, все несчастливые страны приходят к плачевным результатам своим собственным путем, обычно апеллируя при этом к национальным особенностям и традициям. Конечно, такие особенности и традиции существуют, однако никто и никогда не смог *ex ante* показать, какие конкретные факторы дадут тот или иной результат. *Ex post* — сколько угодно: найдутся сотни и тысячи экспертов, увешанных академическими званиями и премиями, которые убедительно и авторитетно объяснят

нам причины успехов особенностями национальной охоты и рыбалки. Но в том-то и состоит «прелесть» исторического прогресса, что он плохо поддается прогнозированию.

А вот поведение разнообразных групп интересов, готовых воспользоваться «национально-культурной» аргументацией для получения конкретных материальных дивидендов, такому прогнозированию поддается легко. Мне приходилось слышать, как необходимость создания Российского банка реконструкции (источника дешевых денег для дружественных фирм) объясняли обилием часовых поясов, как неплатежи и бартер объясняли огромными размерами государства Российского, как множественность валютных курсов выводили из особенностей национального характера. Список можно продолжать до бесконечности. Имеющийся опыт позволяет сделать вывод о том, что ссылка на «особенности страны» в лучшем случае возникает, когда не находится других аргументов, а в худшем — когда есть намерение что-то украсть.

Национально-культурные особенности — фактор, не поддающийся количественной верификации. Одинаково убедительный набор исторических аргументов доказывает, что Россия, скажем, — самая индивидуалистическая или самая коллективистская страна, что либерализм органически присущ или совершенно чужд ее истории и т. п. Иногда кажется, что фактор национально-культурных особенностей играет в экономико-политических дискуссиях роль *deus ex machina* в греческих трагедиях: он возникает тогда, когда не удается найти других объяснений происходящих событий. Причем касается это не только России. Как известно, после Второй мировой войны на протяжении примерно полутора десятков лет исследователи скептически относились к экономической политике Японии в связи с особенностями японского национального характера. Однако позже исследователи с тем же упорством именно этим фактором объясняли «японское экономическое чудо».

Вот еще один яркий пример того, как аргументация, опирающаяся на «особенности национального характера», приводит к прогнозам, прямо противоположным последующим историческим результатам.

Посетивший Англию в 1497 году итальянский путешественник делился своими впечатлениями от местных крестьян: «Крестьяне этой страны до того ленивы и медлительны, что они никогда не станут работать больше, чем это необходимо для их собственного потребления». В те времена итальянские государства были одними из самых развитых и динамичных в Европе, а Англия — одной из самых отсталых стран. И соответственно в природной лениности крестьянства как национальной черте английского народа видит автор причины плачевного положения дел. Однако итальянский автор, будучи наблюдательным человеком, уточняет проблемы английского крестьянства: «Они предпочитают превратить свои земельные угодья в пастбища для овец, которых они разводят в огромных количествах»¹⁰. То есть путешественник именно в «национальном характере» английских крестьян — в их природной лениности — видит причину недостаточного внимания к хлебопашеству — ключевой, как тогда представлялось, отрасли сельскохозяйственного труда: от ленивых крестьяне занимаются разведением овец, которые требуют гораздо меньших затрат труда. Весь опыт, накопленный *к тому времени*, свидетельствовал, что для сокращения экономического отставания Англии от развитых европейских стран необходимо было больше внимания уделять земледелию, выращивать и продавать зерно. Но ленивые крестьяне не хотели этого, что и вызывало презрительную усмешку представителей более развитых стран. Теперь же совершенно очевидно, что осуществленный в Англии структурный сдвиг создал важнейшие предпосылки для будущей промышленной революции и вывел эту страну в лидеры индустриального мира. Хотя для практической реализации новой модели развития потребовалось порядка трех сотен лет.

¹⁰ Цит. по: Coleman D. C. The Economy of England. London, Oxford, New York, 1977, p. 32.

Подобный пример приведен не для оправдания лениности и не для посрамления высокомерия: просто в одних случаях то, что кажется ленью, может дать выдающиеся результаты; в других — привести к разложению (последнее бывало в истории гораздо чаще). Я хотел лишь подчеркнуть ограниченность возможностей человека делать однозначные выводы стратегического характера, основываясь на собственном опыте и здравом смысле. Мы не знаем и принципиально не можем знать, какой порок или какая добродетель окажутся в будущем источником социально-экономического прорыва или же приведут к краху. Более того, мы далеко не всегда можем знать, какой кризис послужит во вред, а какой во благо.

Сегодня в России существует немало разного рода «твердых выводов» относительно того, какие сектора российской экономики могут обеспечить исторический прорыв. В итоге же все сектора становятся приоритетными: космос и связь, сельское хозяйство и самолетостроение, жилищное строительство и дороги. «Разве нам не надо накормить народ?» — говорят одни. «Какие замечательные у нас военные технологии!» — резонно утверждают другие. «Связь относится к важнейшим секторам постиндустриального мира», — настаивают третьи. Все эти аргументы имеют свои резоны — и в то же время за ними с очевидностью проступают стремления представителей соответствующих групп интересов получить дешевые ресурсы для своих отраслей и предприятий.

Тем более невозможно отыскать источник социально-экономического прорыва в таких «исконных чертах» российского общества, как коллективизм, общинность, государственничество и т. д. Эти «черты» чаще всего существуют не в реальности, а в воображении политиков и идеологов. Но ведь в нашей истории (как, впрочем, и в любой другой) политические потрясения не случались как раз тогда, когда вожди слишком полагались на то, что они считали глубинными настроениями народа, будь то «православие и исконный монархизм» русского мужика времен Николая II или «социалистический выбор советского народа» времен М. С. Горбачева, вера в которые дорого обошлась и обоим правителям, и подвластному им народу.

Признание того, что наши проблемы примерно соответствуют проблемам западных стран соответствующего уровня экономического развития, само по себе не включает никакого исторического оптимизма: ведь именно отсутствием оптимистической предопределенности реальная жизнь отличается от марксизма и других претендующих на прогностическую ценность теорий. Все страны проходили через кризисы — одним удавались прорывы в будущее, другим нет. Результаты кризисов, как и вообще результаты развития, оказывались совершенно различными. Ничего в истории не предопределено. Из того, что мы не уникальны, вовсе не следует, что «все будет хорошо». Вынесенные в эпиграф слова А. Шлезингера заканчиваются предостережением: «История идет по лезвию ножа»¹¹.

Очерк третий. Революция, о которой так много говорили¹²

Это было самое прекрасное время, это было самое злосчастное время, век мудрости, век безумия, дни веры, дни безверия, пора света, пора тьмы, весна надежд, стужа отчаяния, у нас было все впереди, у нас впереди ничего не было...

Ч. Диккенс, «Повесть о двух городах».

Для адекватного понимания характера и динамики нынешних наших проблем недостаточно лишь принимать во внимание общий уровень социально-

¹¹ Шлезингер А. Указ. соч., стр. 12.

¹² В настоящем очерке я буду использовать материалы и аргументы из рукописи книги, подготовленной Ириной Стародубровской и автором этих строк.

экономического развития России. Современная ситуация действительно весьма специфична, если сравнивать ее не только с развитыми странами Запада, но и с подавляющим большинством других посткоммунистических стран. Но специфика эта — отнюдь не в истории и культуре, а в революционном типе переживаемых Россией преобразований.

Революция и слабое государство.

Вывод о том, что последнее пятнадцатилетие было периодом революционной трансформации в России, вызывал многочисленные возражения и только в самое последнее время начинает получать осторожное признание. Осмысление того, что с нами произошло и происходит, сквозь призму опыта великих революций прошлого позволяет увидеть и понять реальную логику событий 1985 — 2000 годов. И дает неплохой инструмент для того, чтобы заглянуть немного вперед.

Обычно под революцией понимают коренные, системные преобразования в государстве и обществе, и вряд ли стоит доказывать, что именно такие преобразования происходили в последние полтора десятилетия в России. Однако не всякие системные изменения могут рассматриваться как революция. Сильное правительство может осуществлять глубокие, радикальные преобразования, имеющие несомненно революционные последствия, но остающиеся по сути своей реформой (то, что называют «революцией сверху»). Примерами здесь являются «реставрация Мейдзи» в Японии и реформы Бисмарка в Германии. Радикальные, системные изменения могут происходить и в результате поражений в войнах и иностранной оккупации (как это было в Пруссии после наполеоновских войн или в Японии и Германии после Второй мировой войны).

Революционная трансформация обусловлена внутренними кризисными процессами в стране. Эти процессы формируют определенную политическую и идеологическую среду революции, когда вместе с разрушением государства рушатся и казавшиеся незыблемыми ценности (будь то святость монархии, единство нации или вера в победу мирового коммунизма). Поэтому национально-освободительные движения, как правило, не являются революциями — в них всегда имеется некий стержень, объединяющий разрозненные силы нации. Подлинная, полномасштабная революция происходит в обществе, расколотом на множество противоборствующих социальных сил (групп интересов), которые не имеют общих ценностей и интересов. Одним из любимых слов М. Горбачева было «консенсус», который Президент СССР постоянно искал, но так и не смог найти. И неудивительно, поскольку социальной основы для консенсуса к концу горбачевского периода уже не существовало. Различные социальные группы и различные представители элиты видели свое будущее в принципиально разных общественных системах — от северокорейского социализма (с туркменским акцентом) до интеграции с Европой (в Балтии). Россия же, как наиболее пестрая и наиболее крупная часть бывшего СССР, оказалась в наиболее противоречивом и потому неустойчивом положении.

В условиях отсутствия базового консенсуса потеря политической власти может привести к полному уничтожению той или иной группы интересов, и потому борьба за власть приобретает ожесточенный, самодовлеющий характер, подчиняя себе все другие сферы жизнедеятельности общества. В такой политической обстановке правительство быстро теряет контроль над экономической и социальной жизнью страны, что проявляется и в постоянных колебаниях экономического курса, и в возникновении конкурирующих между собой центров власти, и в исчезновении существовавших политических институтов (в результате чего функции политических посредников могут выполнять самые разнообразные организации, включая отдельные предприятия), и в отсутствии сколько-нибудь понятных «правил игры».

«Бархатные революции» в Восточной Европе не были революциями в полном смысле слова. Они освобождались от режима, навязанного извне, и при всех глубоких разногласиях в обществе и элитах там существовало общее по-

нимание цели развития: движение (возвращение) в Европу. Непонимание этого коренного отличия стран Центральной и Восточной Европы от России оказывается источником неадекватной оценки стартовых условий и перспектив нашего развития, комплекса неполноценности части отечественной интеллигенции и презрительного отношения к результатам наших реформ.

Правда, иногда приходится слышать сомнения относительно революционного характера происходящих в России изменений на том основании, что произошедшие у нас изменения недостаточно радикальны и вообще революция должна сопровождаться массовым насилием. Однако привносимые революцией изменения представляются радикальными обычно лишь потомкам, тогда как общество, выходящее из революционных катаклизмов, воспринимается большинством современников скорее как пародия на старый режим, нежели как принципиально новое состояние страны. Что же касается насилия, то вряд ли можно всерьез рассматривать революцию как синоним гражданской войны. Урбанизированное и высокообразованное население (а именно такова современная Россия), которому в отличие от малообразованной крестьянской бедноты прошлых революций есть что терять, гораздо менее склонно к массовым стихийным выступлениям¹³.

Главным последствием качественного ослабления государственной власти является резкое усиление стихийности: общественное развитие на протяжении двенадцати — двадцати лет (а именно такова продолжительность полномасштабной революции) гораздо меньше зависит от конкретных решений властей, чем при нормальной, эволюционной жизни. Эта стихийность в свою очередь делает революции удивительно похожими между собой — как в смысле фаз их развития, так и по характеру возникающих проблем.

За последние пятнадцать лет Россия прошла те же фазы революции, что проходили все великие революции прошлого¹⁴. Таковыми являются:

«Розовый» период. У власти находится первое революционное (умеренное) правительство, а весь народ сплочен в едином порыве жить по-новому. Кажется, что надо только взять все лучшее из старого и соединить с новыми идеями и новыми людьми. Уверенность в своих безграничных возможностях толкает правительство на экзотические шаги, прежде всего в экономической сфере (антиалкогольная кампания была только первым примером), что становится дополнительным фактором усугубления системного кризиса.

Поляризация. Постепенно обнаруживается, что позитивные цели разных общественных групп существенно различны и даже непримиримы. Нарастает борьба за власть, причем из-за отсутствия консенсуса по базовым ценностям все остальные процессы (прежде всего экономические) оказываются заложниками политической борьбы. Ухудшение экономической ситуации становится лишним аргументом для доказательства вредности политических противников. Экономика все более выходит из-под контроля властей, что особенно наглядно отражается в падении собираемости налогов и резком росте транзакционных издержек (соответственно — в снижении экономической активности и объемов производства).

¹³ Мне приходилось сталкиваться с одной любопытной точкой зрения. Видный политический деятель, один из «отцов перестройки», категорически возражал против трактовки посткоммунистической трансформации как революции, полагая, что подобный вывод есть оправдание насилия и призыв к гражданской войне. Переосмысление советского опыта и отказ от романтизации «гражданской» (чаша сия не миновала даже тонкого и мудрого Б. Окуджаву) привели интеллектуалов старшего поколения к мистическому восприятию слова «революция», как будто бы даже само использование его может привести к кровопролитию.

¹⁴ Фазы революций хорошо изучены в западной литературе. Классической работой является книга Крейна Бринтона «Анатомия революции» (Brinton Crane, «The Anatomy of Revolution»), первое издание которой вышло еще в середине 30-х. Об этом же по-русски можно прочитать в статье В. Мау и И. Стародубровской «Перестройка как революция. Опыт прошлого и попытка прогноза» («Коммунист», 1990, № 11). В то время мы еще не знали о существовании исследования Бринтона, и тем забавнее, что основанные на опыте Англии, Франции и большевистской России выводы Бринтона оказались очень близкими работе, включавшей в себя и «перестроечный» опыт.

Радикализм. Крушение умеренного режима сопровождается открытым столкновением консервативных и радикальных сил, и если первые не одерживают верх, к власти приходят радикалы, которые проводят глубокие преобразования, разрушающие фундамент старого режима. Радикальные власти действуют в основном весьма прагматично (хотя внешне идеологически индоктринированно), концентрируя все ресурсы на сохранении нового режима.

Термидор и завершение революции. Тяготы радикализма и постепенное стирание из памяти характерных черт старого режима приводят к накоплению социальной усталости и усилению ностальгических настроений по прошлому. Тем более, что по мере приобретения революцией необратимого характера укрепляются позиции тех элитных групп, которые заинтересованы в стабилизации общественно-политической жизни. Формируется новая конфигурация власти, происходит сближение элит на умеренных основаниях, постепенно складывается новый социально-политический и экономической консенсус.

Подчеркиваю: описываемые фазы, при всей их узнаваемости, не есть характеристика современной России, они наблюдаются во всех великих революциях прошлого начиная с Английской середины XVII века. Каждой революционной фазе соответствует стандартный набор экономических проблем, имеющих схожие механизмы разрешения. Ведь на самом деле именно встающие перед данной страной вызовы времени и попытки общества найти адекватный ответ на них делают революционные процессы похожими. Имеют значение механизмы, а не исторические аналогии.

Слабость государственной власти оказывает существенное влияние на ситуацию в экономике. Неспособность обеспечивать исполнение законов приводит к резкому ухудшению условий для бизнеса, что оборачивается спадом производства и нарастанием социальных тягот. Быстро выясняется, что условия жизни в революционную пору не только не лучше, но откровенно хуже, чем при старом режиме¹⁵.

Деньги и собственность — извечные проблемы революции.

Революционная власть всегда оказывается не способной собирать налоги, а значит, выполнять свои финансовые обязательства. Финансовый кризис быстро нарастает, проявляясь прежде всего в форме кризиса бюджетного (невозможность правительства оплачивать свои счета) и денежного (падение доверия к национальной валюте). Для своего выживания (не только политического, но и физического) новым руководителям приходится принимать экстраординарные меры. История свидетельствует, что для обеспечения социально-политической и финансовой поддержки революции в распоряжении правительства оказывается два основных варианта действий: печатный станок (и другие нетрадиционные способы извлечения бюджетных доходов) или манипуляции с собственностью.

Инфляционный механизм финансирования революции впервые был опробован в массовом масштабе во Франции 1790-х годов, когда неспособность правительства собирать налоги привела к тому, что выпуск бумажных денег (ассигнатов) стал важнейшим источником финансирования нового режима. Первоначально ассигнаты рассматривались как свидетельства государственного долга и должны были использоваться для покупки недвижимости у государ-

¹⁵ Не могу удержаться от примера из истории Великой французской революции. Вот как писала тогда «Французская газета»: «Часть народа, к сожалению слишком многочисленная, не привыкшая заглядывать дальше завтрашнего дня, лишь бы были средства прожить сегодня, не видит в отмене этого абсурдного закона ничего полезного, никаких причин, побудивших к ней. Особое недовольство проявляют женщины, большая часть которых не помнит о вчерашнем дне и которые не примечают завтрашнего дня, начинают проявлять недовольство». Отсюда было недалеко и до политико-экономических обобщений: «Пока не обуздуют свободы, мы будем оставаться несчастными». А несознательные женщины в это время нередко откровенно заявляли: «Пусть дадут нам короля, лишь бы мы имели хлеб» (Добрлюбский К. П. Экономическая политика термидорианской реакции. М. — Л., 1930, стр. 25, 164, 166).

ства, однако по мере нарастания финансового кризиса революционные правительства все более активно использовали их в роли бумажных денег.

Инфляционное финансирование государственных расходов повлекло за собой стандартную (но тогда еще неизвестную) цепочку экономических последствий. Увеличение предложения бумажных денег вызвало быстрый рост цен и вытеснение из обращения металла. Правительство ответило введением принудительного курса, в результате чего торговцы стали отказываться принимать бумажные деньги вообще. Тогда правительство приняло решение о государственном регулировании цен (установление «максимума»), а чтобы поддержать курс ассигната, запретило использование металлических денег. Нарушителям этих установлений грозила смертная казнь. Последствия оказались стандартными: с прилавков исчезли товары, страна столкнулась с угрозой голода. Смертная казнь за припрятывание продуктов питания была подкреплена запретом на вывоз потребительских товаров и введением фактической государственной монополии на ввоз продовольствия. Однако внутреннее производство продуктов под воздействием законов о «максимуме» катастрофически падало. Не только лавочники, несмотря за грозившие им суровые наказания, устанавливали цены в золоте («у. е.» в тогдашнем понимании), но и законодательный корпус, принимая решения о своем жалованье, также ориентировался на золото.

Печатный станок был важнейшим фактором финансирования бюджетных расходов и в других революциях, прежде всего Американской, Русской (1917 — 1922), Мексиканской¹⁶. Аналогии с ситуацией в России на протяжении большей части 90-х годов очевидны.

Важное макроэкономическое следствие такой политики — демонетизация народного хозяйства. У нас сейчас модно указывать на резкое снижение уровня денег в ВВП (примерно с 65 до 15 процентов) в постсоветской России, однако этот процесс происходил во всех известных революциях прошлого. Причем инфляция становится только одним из факторов сжатия реальной денежной массы. (Речь идет именно о реальной, а не о постоянно растущей номинальной денежной массе: с увеличением скорости работы печатных станков стоимость денег все более падает.) Демонетизация происходила и в революционной Англии, правительство которой не прибегало к эмиссии. Дело в том, что политическая нестабильность приводит к падению деловой активности, к росту сбережений в форме реальных ценностей. Поэтому даже при сохранении металлического денежного обращения благородные металлы уходят в сокровища, и экономика сталкивается с «денежным голодом».

Несмотря на катастрофические экономические последствия такого курса, его политические последствия были вполне удовлетворительные: революционные режимы смогли окрепнуть, что со временем позволило отказаться от инфляционных методов. Однако для того, чтобы иметь возможность отказаться от populistских действий, обеспечивающих решение сиюминутных проблем выживания, власть должна была стать достаточно сильной.

Другим механизмом выживания революционной власти служит процедура перераспределения собственности. Все революционные правительства прибегали к перераспределению собственности, мотивируя свои действия высокими идейными соображениями вроде передачи земли (заводов, фабрик) народу, формирования справедливой социально-экономической структуры. Однако реальной целью всех этих действий всегда было решение задачи укрепления позиций нового режима. Причем здесь не важно, осуществлялось ли это в форме секвестра королевской собственности, национализации или приватизации.

¹⁶ Впрочем, были и другие нетрадиционные способы пополнения государственного бюджета. Скажем, в эпоху Английской революции бумажно-денежная эмиссия еще не была известна европейским державам, и этот механизм не был доступен антироялистскому правительству. Зато был доступен морской разбой, и нападения патриотически ориентированных пиратов на иностранные суда (прежде всего испанские) дали дополнительные финансовые ресурсы революции.

Для понимания происходящих в современной России процессов важны две особенности революционной трансформации собственности, хорошо известные из истории: соотношение краткосрочных и долгосрочных целей этого процесса — и механизмы перераспределения собственности. Эти вопросы заслуживают того, чтобы остановиться на них чуть более подробно.

Впервые в истории нового времени механизмы перераспределения собственности были использованы в революционной Англии. Ограниченное в финансовых ресурсах и ищущее политической поддержки правительство Долгого парламента, а затем Кромвеля решило использовать в своих интересах земельные владения, принадлежавшие ирландским повстанцам, роялистам, церкви и короне. Частично это было сделано путем прямой продажи земель за деньги, отчасти — путем выпуска ценных бумаг, дающих право на приобретение собственности в будущем.

Как показывают современные исследования, первый вариант стал откровенным способом покупки политических союзников и обслуживания интересов предпринимательских групп, обеспечивавших революционным властям финансовую и социальную базу. Первичными покупателями конфискованных земель стали финансирующие правительство лондонские купцы, воевавшее за Парламент местное дворянство, депутаты и чиновники Парламента, генералы революционной армии¹⁷. То есть продажа земель осуществлялась в интересах лондонской политической элиты, ее финансовых и политических союзников.

Аналогичные сюжеты возникали и при продаже ирландских земель. Правда, в процесс их перераспределения был встроен своеобразный стимулирующий механизм: под обеспечение земель были выпущены ценные бумаги, которыми расплачивались с солдатами экспедиционного корпуса. Тем самым правительство укрепляло свои политические позиции, а у армии появлялся прямой стимул подавить восстание.

События во Франции конца XVIII века сопровождалась более жестким конфликтом между финансовыми и социальными целями продажи земель. Острый финансовый кризис подталкивал к необходимости продавать земли как можно дороже. Однако ради обеспечения поддержки со стороны широких масс крестьянства власть пошла на ускорение продаж и удешевление земли. Дискуссии на эту тему велись постоянно. Поначалу, при всеобщем энтузиазме и популярности нового режима, условия продажи недвижимости были сформулированы с акцентом на финансовые результаты — было решено продавать землю крупными участками, с весьма ограниченным периодом рассрочки и при максимальной уплате «живыми деньгами». Позднее же, по мере обострения социальной борьбы, после череды политических кризисов и изобретения механизма инфляционного финансирования госбюджета, значимость фискальной цели приватизации заметно ослабла. На первый план вышли социально-политические проблемы: были приняты решения о поощрении приобретения земель мелкими собственниками, о резком увеличении периодов рассрочки (что с учетом инфляции делало распределение земли близким к бесплатному), об усилении роли ассигнатов в процессе передачи собственности в частные руки¹⁸.

В условиях большевистской и Мексиканской революций социально-политический аспект трансформации собственности сыграл решающую роль. Национализация проводилась в целях выживания революционного режима — сперва

¹⁷ См.: Thirsk J. The Sales of Royalist Land during the Interregnum. — «The Economic History Review», vol. 5, 1952, № 2; Архангельский С. И. Распродажа земельных владений сторонников короля. — «Известия Академии наук СССР». 7 серия. (Отделение общественных наук). 1933, № 5.

¹⁸ Впрочем, как отмечают историки Французской революции, и здесь аргументы социальной целесообразности естественным образом переплетались с личными интересами представителей революционной власти и особенно депутатского корпуса. Поместья и дома в провинции продавались за чеки («территориальные мандаты») по цене, в десятки раз ниже дореволюционной стоимости, причем за сделками нередко прослеживались интересы депутатов и чиновников.

для обеспечения поддержки со стороны миллионов крестьян, а затем, в промышленности, для концентрации сил и средств в гражданской войне. Известно, что немедленная национализация не была программным требованием большевиков и не рассматривалась в качестве первоочередной меры экономической политики накануне революции. Однако складывавшиеся обстоятельства политической борьбы подтолкнули на реализацию комплекса соответствующих мероприятий, которые к тому же соответствовали общим идеологическим настроениям эпохи вообще и коммунистической идеологии в частности.

Революционная трансформация собственности имеет ряд общих черт и последствий. Прежде всего реализация собственности всегда дает гораздо меньший фискальный эффект, чем от нее ожидают. И дело здесь не только в конфликте между фискальной и социальной функциями перераспределения собственности, в результате чего стоимость сделки на определенной (радикальной) фазе революции всегда приносится в жертву ее темпу, а фискальный результат — политическому. Проблема также в том, что при оценке фискальных перспектив продажи недвижимости расчет основывается на дореволюционной, то есть более высокой, ее стоимости. В революционных же условиях эта цена оказывается значительно ниже: дает о себе знать политическая неопределенность (ведь в случае поражения революции результаты сделок с недвижимостью будут пересмотрены), да и сам по себе факт массивных распродаж-раздач создает избыточное предложение, что и ведет к занижению цены. (Разумеется, удлинение сроков реализации госимущества, постепенность продаж могли бы дать больший фискальный эффект, но для власти, решающей задачи своего выживания «здесь и сейчас», реальный временной горизонт исключительно узок.)

Есть еще один, важный для революционного этапа, феномен: само использование ценных бумаг ведет к занижению цен на недвижимость. Испытывающее финансовые трудности правительство не может удержаться от избыточной эмиссии этих бумаг, а получающие их граждане склонны быстро от них освободиться со значительной скидкой (что естественно в условиях революционной политической неопределенности). В результате недвижимость в годы революции продается не только дешево, но и по большей части попадает в руки спекулянтов и используется в дальнейшем для перепродажи. Разница в ценах попадает отнюдь не в руки государства.

В этом отношении весьма показателен ирландский опыт. Те самые свидетельства на получение земель повстанцев, розданные английским солдатам, в основной своей массе были немедленно проданы нескольким финансистам, активно «работавшим» в это время с солдатами: ведь земли можно было получить только после завершения военной кампании, а «живые деньги» за бумажки-ваучеры давали немедленно. Разумеется, со значительным дисконтом. И когда ирландское восстание было подавлено, выяснилось, что большая часть земель находится уже не в руках революционных солдат, а у кучки богатей, причем скуплена ими по дешевке.

В современной России, как и в других странах, проходивших через революцию, проблема собственности концентрирует в себе различные аспекты экономического, социально-политического и финансового характера. От приватизации ожидали, что она сможет обеспечить резкое повышение эффективности отечественной экономики, преодоление разрыва с индустриально развитыми странами мира. Реальность же оказалась иной. Если рассуждать вне исторического и политического контекста, такое развитие событий может вызвать разочарование. Однако понимание российской трансформации как процесса революционного привносит в этот анализ существенные уточнения.

Действительно, помимо социально-экономической функции (формирование эффективного собственника) приватизация должна решать и другие — не менее важные с точки зрения революционного процесса — задачи: формирование политических коалиций в поддержку революционной власти и пополне-

ние государственного бюджета. Более того, пока государственная власть остается слабой, решение именно этих задач оказывается наиболее важным делом, тогда как формирование эффективного собственника становится актуальным только после преодоления политического кризиса. Понятно и то, что пока политическая ситуация не стабилизируется и власть не окрепнет, серьезные предприниматели не станут вкладывать свои средства, а значит, не будет и эффективного собственника.

Из сказанного ясно, почему на первых этапах приватизации решались преимущественно задачи укрепления социально-политической базы рыночной демократии в России. Ваучерный механизм не был и не мог быть эффективным, что признавали сами реформаторы: в краткосрочном плане он обеспечивал поддержку власти, в среднесрочном — способствовал формированию класса собственников, заинтересованных в устойчивости новой российской экономики¹⁹. Именно ваучерная приватизация дала возможность сформировать антикоммунистическую и антиинфляционную коалицию, которая обеспечила решение первичных задач макроэкономической и политической стабилизации.

В середине 90-х годов, по мере укрепления новой власти и обострения бюджетного кризиса, акценты в приватизации были перенесены в фискальную область. Правительству, лишившемуся инфляционного налога, нужны были деньги, и приватизация могла стать их важным источником. Это дестабилизировало сложившуюся ранее коалицию. Но правительство почувствовало себя уже достаточно сильным, чтобы противостоять новым группам интересов, что и стало источником обострения политической борьбы на протяжении 1997 — 1998 годов. Именно в ходе этой борьбы произошло формирование политических условий для перехода к следующей фазе — выходу из революции, политической стабилизации и формированию со временем эффективного собственника.

Завершение революции.

В стране завершается революция. После падения правительства радикалов сформировался режим, основанный на компромиссе бывших радикалов и умеренных, достаточно прагматичных, а потому выживших в бурные годы революционного подъема, сумевших сохранить себя во власти или рядом с властью. Наступает время циничных компромиссов, циничных политиков, многие из которых не просто выжили, но и неплохо обогатились, погрев руки на перераспределении собственности — процессе, который бурно шел на протяжении почти десяти лет.

Постепенно успокаивалась и финансовая ситуация. Инфляция была подавлена, и практически одновременно государство объявило дефолт по значительной части внутреннего долга, причем само указало, какую часть своего долга и кому оно готово продолжать выплачивать, а какую — нет. Однако социальная ситуация оставалась неблагоприятной, в народе усиливалась ностальгия по старому режиму, когда все было устойчиво и спокойно. Все хотят стабильности, все ждут сильного и популярного лидера. В парламенте идут бурные дебаты, однако острейшая политическая борьба не приводит к зримому улучшению ситуации и вызывает у народа нескрываемое раздражение.

¹⁹ Наиболее наглядно это было продемонстрировано состоявшимися в конце 1995 года «залоговыми аукционами», в ходе которых банки давали правительству кредиты под залог государственных пакетов акций привлекательных предприятий. Фактически это была продажа, причем по весьма низкой цене. Нередко подчеркивают, что в тех условиях власти были жизненно необходимы деньги, а политическая ситуация (победа коммунистов на парламентских выборах и высокие шансы появления в России президента-коммуниста) препятствовала зарубежным инвестициям. Сказанное справедливо, но не менее очевидно и другое: «залоговые аукционы» проводились в декабре 1995 года, а переход в собственность мог осуществиться только осенью 1996 года. В середине же этого срока (июнь 1996 года) должны были состояться президентские выборы. Было ясно, что условия аукционов будут соблюдены только в случае победы на них совершенно определенного кандидата.

Все это не о сегодняшней России, а о Франции 1795 — 1799 годов. О режиме Директории, сложившемся в стране после падения якобинского правительства, о постепенном формировании предпосылок для знаменитого переворота 18 брюмера, завершившегося падением Директории и формированием режима Консулата, а фактически режима личной власти Наполеона Бонапарта — Первого Консула, позднее провозгласившего себя императором.

Процесс выхода из революции есть процесс укрепления государственной власти. Это предполагает постепенное сближение позиций различных элитных групп, формирование определенного консенсуса по базовым ценностям общественной жизни. По мере исчерпания революционного потенциала нации происходит постепенная консолидация правящей элиты, которая укрепляет свои позиции и получает более широкое поле для маневра. Консолидирующаяся власть находит в себе силы к принятию болезненных, непопулярных, но необходимых для финансово-экономического оздоровления мер. По сути, это означает возвращение к нормальной экономической политике, без революционных эксцессов и чрезвычайщины. По форме это выражается в стремлении правительства жить по средствам и обеспечить устойчивость финансовой системы страны. Поэтому характерной чертой последней фазы революции является депрессивное состояние производства и недофинансирование отраслей бюджетной сферы. Причем чем активнее революционными правительствами использовались ранее инфляционные механизмы, тем острее следующий затем бюджетный кризис.

Можно сказать иначе. Позднереволюционное обострение экономических проблем вообще и бюджетного кризиса в частности связано со своеобразным положением консолидирующейся элиты и восстанавливающей свои силы политической власти. Власть уже достаточно сильна, чтобы не заигрывать с группами интересов и не идти на экстравагантные популистские меры, но еще достаточно слаба и бедна, чтобы решать весь комплекс стоящих перед ней задач.

В современной России по известным историческим причинам «сильное государство» обыкновенно понимается как государство дорогое и (или) интервенционистское, как государство, имеющее возможности активно вмешиваться в хозяйственную деятельность фирм, перераспределять значительную долю финансовых ресурсов через бюджет. Мне же представляется уместным сравнить сильное государство с Королем из «Маленького принца», который мог приказывать солнцу всходить и заходить — однако делал это лишь в минуты восхода и заката. И справедливо замечал, что великий монарх должен быть умным, то есть способным трезво оценивать свои возможности и возможности своих подданных. А теперь представим, что было бы, если бы по просьбе одних приближенных государь потребовал бы от солнца взойти на полчаса раньше, а другая близкая группа подсунула бы указ об отмене заката на ближайший год. Конечно, абсурд — но не больший, чем требования аграриев, промышленников, регионов и т. п. включать новые и новые расходные статьи в бюджет без относительно к объему доступных источников финансирования.

Итак, принципиальной характеристикой сильной власти является ее способность реально оценивать свои возможности, доступные ресурсы. И говорить «нет», когда требуют чего-то нереального. Разумеется, формирование сильного государства не происходит одномоментно. Это процесс, требующий времени и проходящий через определенные фазы.

Государство преодолевает характерную для революционной эпохи слабость постепенно. Сперва речь идет лишь об ограничении лоббистов, об ограничении расходных обязательств доступными власти здоровыми финансовыми источниками. Это способность государства не прибегать к услугам печатного станка несмотря на возможные социальные и политические конфликты. А позднее — не расширять налоговое бремя сверх разумного уровня.

Сильное государство предполагает и наличие определенной личности. Впрочем, здесь важна не только личность, но и механизм прихода к власти. Дело в том, что расколота, имеющая существенно различные цели элита не

может объединиться сама. Практически невозможно сформировать компромиссную программу: цели зачастую диаметрально противоположны и каждая попытка объединения «за» сталкивается с более мощным объединением «против». Каждая группировка в элите опасается усиления влияния другой. Поэтому каждый потенциальный кандидат в вожди находится под прицелом и при попытке вырваться вперед попадает под жесткий огонь своих коллег-конкурентов. Именно поэтому лидером завершающей фазы революции всегда оказывался политик всем известный, но от которого подобных политических амбиций никто не ждал.

Теперь еще немного о Франции при переходе от Директории к Консулату. К власти пришел человек, которого ждали. Это был широко известный и популярный деятель, в котором, однако, никто не видел мощного политического лидера. Он смог объединить элиты, но, так сказать, негативно. Лидеры враждующих группировок ненавидели друг друга, но каждый из них полагал, что новый популярный генерал станет *их* шпагой в деле реализации *их* политических амбиций и в борьбе с *их* политическими противниками. Потом, правда, выяснилось, что никто из героев Директории новому лидеру не нужен: все они были быстро отстранены от реальной власти и отправлены в политическое небытие, хотя с одними поступили грубее (удалили из столицы), а другим дали почетные титулы и награды. Но политические последствия для тех и других были одинаковыми.

Сказанное в значительной мере объясняет тот феномен, что политик, метивший у нас на протяжении последних лет в президенты, за считанные месяцы терял свой шарм. Всякий кандидат на верховную власть в России второй половины 90-х годов оказывался объектом жестких нападков, и счастье В. Путина, что поначалу его всерьез никто не воспринял как преемника. Это в совокупности с его очевидным политическим чутьем позволило успеть сформировать новую политическую ситуацию, в которой каждый затаив дыхание ждет от нового лидера реализации своих планов.

Понимание революционного характера нынешней российской трансформации представляется особенно важным для адекватной оценки хода нашего развития на протяжении последних десяти — пятнадцати лет и перспектив на будущее. Ведь все с нами случившееся отнюдь не уникально и вполне вписывается в опыт западной цивилизации

И наконец, заключение. Как говорили раньше, о текущем моменте

Россия пережила революцию. Эта революция не дала того, чего от нее ожидали. Положительные приобретения освободительного движения все еще остаются, по мнению многих, и по сие время по меньшей мере проблематичными.

С. Н. Булгаков, «Героизм и подвижничество».

Сегодня считается неприличным говорить о реальных результатах нашего развития за минувшее десятилетие. Между тем результаты эти не могут не поражать: достаточно вспомнить, что к 1992 году страна подошла без основных институтов государственной власти и практически без демократических традиций их организации.

Главным итогом прошедшего десятилетия, несмотря на все тяготы революционной поры, является создание и сохранение основ демократического строя. В России есть демократическая Конституция, гарантирующая права и свободы, которых никогда не имели российские граждане. Именно этой Конституции мы обязаны той относительной политической стабильностью, которую обрела страна после декабря 1993 года. Именно эта Конституция позволила всю острую политическую борьбу последних лет ограничить рамками элиты и удерживать ее в пределах демократических механизмов и процедур.

Страна имеет реальную свободу слова, какой не было в России никогда. Несмотря на все претензии к нашим СМИ, вряд ли кто-либо согласится вернуться к традициям подцензурной прессы.

У нас есть действующий парламент, который впервые в российской истории формируется на основе всеобщего, прямого, равного и тайного избирательного права, на основе реальной многопартийности. Есть Федерация — еще со многими противоречиями, с неурегулированными отношениями между центром и регионами. Но это реальная Федерация, которой никогда не было в истории России. Причем удалось не допустить ее распада, который был реален в начале 90-х годов.

Мы смогли создать основы рыночной экономики, сформировать ее базовые институты. Впервые с середины 20-х годов мы имеем конвертируемую валюту. Рубль недостаточно устойчив, но это настоящие деньги, на которые можно купить любые товары, не отставая в многочасовых, а то и в многолетних очередях.

В России проведена невиданная по масштабам приватизация. Ее результаты вызывают острейшую дискуссию в обществе, однако сам факт осуществления приватизации создал принципиально новый экономический и политический климат. Частная собственность вновь стала легальной, и это служит залогом того, что при ответственной политике властей страна получит импульс экономического и социального прогресса.

Не будем забывать: все эти процессы начались, по сути, с чистого листа, без опыта и без исторической памяти, которая вытравлялась на протяжении большей части XX века. Не будем также забывать, что, при всех тяготах последнего десятилетия, понесенные нами жертвы несопоставимы со всеми предыдущими периодами отечественной истории, когда Россия решала задачи радикального обновления экономико-политических условий своего существования. Нам удалось совершить практически бескровный (в прямом и переносном смысле) демонтаж прежней политико-экономической системы, причем в исторически короткие сроки, при обеспечении преемственности реформ и постепенной консолидации политической элиты страны.

Более того, характер проблем и даже кризисов, с которыми России придется сталкиваться сегодня, свидетельствует о нашем существенном продвижении вперед. Это уже не экзотические кризисы пустых прилавков и всеобщего товарного дефицита, которые свойственны странам низкого уровня развития, архаичным хозяйственным системам. Наши сегодняшние проблемы, при всей их болезненности и неприятности, являются кризисами, типичными для современных рыночных экономик. И пути преодоления этих кризисов достаточно хорошо известны.

Оценивая итоги минувшего десятилетия, приходишь к исключительно важному выводу: *нам удалось окончательно покончить с наследием коммунистической эпохи, с «родовыми пятнами» коммунизма.*

Важнейшими характеристиками коммунистической экономико-политической системы являются:

тотальное огосударствление собственности, недопущение частной собственности и частнопредпринимательской активности граждан, жизнь и труд которых должны полностью зависеть от государства;

принципиальное отсутствие демократии, политический тоталитаризм, основанный на тоталитарной идеологии;

товарный дефицит как результат отсутствия рыночных стимулов и механизмов. Товарный дефицит является неотъемлемой чертой коммунистической системы во все времена и во всех странах.

Всего этого в современной России более не существует. И это позволяет сделать вывод: *переходный период в России практически завершен. Россия стала страной с рыночной экономикой и демократической Конституцией.* Дальнейшее развитие России, ее успехи или трудности, прорывы и кризисы будут определяться этим фундаментальным результатом последнего десятилетия XX века.

Конечно, перед Россией стоит множество непростых экономических, политических и социальных проблем. Кризис еще не преодолен, экономическое оживление остается неустойчивым, политическая обстановка непростая. Предстоит закрепить стабильность макроэкономической ситуации, создать благоприятные условия для инвестиционной активности и роста, создать современную социальную сферу и т. д. Однако все эти задачи не являются уже такими уникальными, как выход из коммунизма. Схожие задачи стояли и сейчас стоят перед многими странами мира.

Начался процесс консолидации элиты. Если в 1995 — 1996 годах программы ведущих партий и кандидатов в президенты расходились радикально и были принципиально несовместимы, то теперь этого сказать уже нельзя. Оставляя в стороне маргиналов (вроде сталинистов), программы основных политических сил уже не являются абсолютно несовместимыми. Конечно, видение реалий в них существенно различается. Но программные документы написаны уже в рыночной парадигме, различия между ними перестали напоминать дискуссию слепого с глухим (точнее, здорового человека со слепоглухонемым), а стали похожи на острейшие дискуссии британских лейбористов и консерваторов рубежа 1940 — 1950-х годов (когда лейбористы были очень красными, а консерваторы очень консервативными, однако ни те, ни другие не собирались строить ленинско-сталинский социализм).

Все признают важность частной собственности, и никто всерьез не говорит о необходимости масштабной национализации. Пересмотр итогов приватизации допускается лишь в тех случаях, когда в ходе судебной процедуры будет установлен факт несоблюдения ее исходных условий. Конечно, к этому можно поставить много вопросов (например, о независимости судов в условиях «диктатуры пролетариата» или авторитарном лидере регионального масштаба), однако сама по себе такая постановка существенно отличается от требований тотального пересмотра итогов «грабительской приватизации».

Все признают важность макроэкономической стабильности, неинфляционной денежной политики, сбалансированного бюджета. А расхождения по вопросам организации валютного контроля (при всей экзотичности возникающих порой предложений о запрете конвертируемости рубля) не столь уж нетипичны для западных демократий середины XX века. Близки позиции по налоговой политике, нет непреодолимой пропасти в вопросах внешнеэкономической деятельности.

Еще более ярким свидетельством сближения позиций стали первые дни работы Государственной Думы (январь 2000 года). Буквально в момент ее открытия выяснилось, что проправительственные силы и коммунисты не имеют серьезных расхождений и легко могут договариваться между собой. Попутно обнаружилось, что главным фактором, разделявшим «партию власти» и КПРФ, была сама личность Б. Ельцина как главы государства, острая взаимная ненависть между ним и коммунистическими вождями. С уходом Ельцина стало ясно, что других серьезных различий, пожалуй, и нет. Дискуссии, конечно, будут, и весьма острые. Но они будут носить скорее «ролевой характер» — по принципу «правительство предлагает, оппозиция критикует, а после все вместе, обнявшись, идут пить пиво». Как это и положено «правительству Ее Величества» и «оппозиции Ее Величества».

Разумеется, такая ситуация не может внушать восторга идейным сторонникам демократии или коммунизма. Однако именно так происходит постреволюционная консолидация, и нам остается только мечтать, чтобы она происходила в том же естественном и относительно мирном ключе. В первой половине 20-х годов, в самый разгар нэпа, один сознательный (то есть рефлексирующий) рабочий так охарактеризовал ситуацию в письме к знакомому: «*Правильно, но противно*». Тогда «правильный, но противный» ход событий был нарушен теми, кто захотел сделать жизнь лучше и веселее, сломав социально-экономическую систему нэпа и открыв эпоху «больших чисток» и большой крови.

Перспективы социально-экономического и политического развития России вполне отчетливо просматриваются сквозь призму опыта последней трети XX века вообще и опыта завершения революций в частности.

Кризис советской системы произошел в рамках определенного мирового социально-экономического тренда, суть которого состоит в преобразовании индустриальных обществ в постиндустриальные. Советский Союз, соревнуясь с Западом, не смог адаптироваться к постиндустриальным вызовам и пал под тяжестью собственной индустриальной системы, ориентированной на производство чугуна и стали, а не на электронику и информатику, на потребности производства, а не на потребности современного человека (без которого нет и современного производства). Советская система сформировала образованного человека, ориентированного на постиндустриальные ценности, но не смогла создать адекватные условия для реализации им этих ценностей.

Поэтому при благоприятном развитии событий (то есть без политических катаклизмов и популистских экспериментов) производственные перспективы развития страны прорисовываются достаточно отчетливо. Будут происходить структурные изменения, характерные для трансформации индустриального общества в постиндустриальное. В 90-е годы, несмотря на состояние тяжелого кризиса, уже начались стихийные сдвиги в направлении пропорций, характерных для постиндустриализма.

Доля сферы услуг увеличилась с 37 процентов в 1980 году до 49 — 51 процента к концу 90-х. Увеличение доли услуг и сокращение доли промышленности является важнейшей характеристикой современной экономики.

Несмотря на общую негативную экономическую динамику, продолжали расти показатели автомобилизации и телефонизации, по которым отставание СССР в 70-е годы от общемировых показателей было наиболее значительным. Обеспечение населения телефонными аппаратами возросло в 2,5 раза (или в 3 раза из расчета на 100 семей), а протяженность междугородных телефонных каналов — в 50 раз (в 35 раз по сравнению с 1985 годом). За 90-е годы с 2 тыс. до 111 тыс. увеличилось количество только зарегистрированных факсовых аппаратов (понятно, что в реальности их гораздо больше), а число сотовых телефонов с 1994 по 1998 год выросло почти в 30 раз. (В конце 1999 года *ежемесячный* прирост числа абонентов сотовой связи составлял порядка 100 тыс.) Количество телевизионных станций за тот же период выросло почти в 3 раза. В 3,5 раза с 1980 года выросло количество легковых автомобилей (в 2 раза только за 90-е годы).

Очевиден быстрый рост компьютеризации. По результатам опросов населения, в 1997 году 3 процента семей в стране имели домашние компьютеры, в Москве же компьютером обладала каждая десятая семья.

Наблюдаются и довольно важные структурные сдвиги в традиционных секторах промышленности. Характерно в этом отношении положение в черной металлургии. На протяжении примерно двух десятилетий (в 70 — 80-е годы) мы слышали жалобы высоких руководителей о том, что прогрессивные технологии не внедряются и даже те изобретения, которые были сделаны в СССР (вроде непрерывной разливки стали), широкое распространение получили в США и Японии, но не у нас. И лишь в кризисные 90-е наметился перелом: удельный вес производства электростали и кислородно-конверторной стали (то есть прогрессивных технологий) в общем объеме выплавки возрос с 47 до 72 процентов, с помощью машин непрерывного литья заготовок — с 23 до 47 процентов, а отношение готового проката к выплавке стали (показатель, характеризующий эффективность производства) выросло с 71 до 78 процентов.

В химической промышленности также наблюдается рост многих видов современной продукции, отражающий изменение структуры и приоритетов во всем народном хозяйстве и потребительском секторе. За 90-е годы заметно возросло производство шин, видеокассет (в 10 раз), компакт-дисков (в 2 раза). Удельный вес производства прогрессивных лакокрасочных материалов увеличился в общем объеме с 64 до 81 процента.

Средняя обеспеченность жильем на одного жителя — 16,4 кв. м в 1990-м и 18,6 в 1997-м, жилой фонд возрос с 2425 млн. кв. м до 2715 млн. кв. м.

При всех разговорах о деградации образования и культуры в России на протяжении 90-х годов росло количество школ и школьников (с 67,6 до 68,5 тыс. и с 20,3 млн. до 21,7 млн. соответственно). Количество вузов почти удвоилось (с 514 в 1990-м году до 914 в 1998-м), причем на 27 процентов увеличилось число студентов, на 90 процентов — число аспирантов и на 15 процентов — профессорско-преподавательский состав (с 220 до 250 тыс.).

Несмотря на тяжелый финансовый кризис, заметно возросло число музеев, театров, спортзалов, бассейнов.

Я привожу эти примеры не для того, чтобы доказать, что все у нас стало хорошо. Ситуация на протяжении 90-х годов была и остается очень тяжелой, и на каждый положительный пример можно найти десяток отрицательных. Однако наблюдающиеся у нас положительные сдвиги отражают важную тенденцию: происходит не восстановление объемов производства вообще (этого и не нужно), а увеличение доли тех секторов в производстве и потреблении, которые связаны с выходом за рамки индустриального общества. И было бы по крайней мере странно не замечать эти тенденции.

Для лучшего понимания предстоящих нам структурных сдвигов стоит обратить внимание на опыт таких стран, как Испания и Португалия. В середине 70-х годов эти страны освободились от диктатур и находились по показателю среднедушевого ВВП примерно на уровне России. Им также предстояло адаптироваться к новейшим вызовам времени, и их путь примерно показывает наши перспективы. (Разумеется, с соответствующими поправками: советская экономика была значительно больше перегружена традиционными индустриальными гигантами, что усложняет процесс трансформации; но позитивным фактором является более высокий уровень человеческого капитала, которым обладает современная Россия.)

Для реализации позитивного сценария в предстоящие годы важнейшим фактором окажется способность элиты к консолидации, результатом чего должно стать укрепление государства. Это, как мы уже видели, вообще характернейшая проблема завершающей фазы революции. Неудивительно, что с необходимостью укрепления государства согласны сейчас все — от коммунистов до либералов. Однако смысл в это понятие вкладывается совершенно различный, если не противоположный. Для одних укрепление государства означает восстановление советской практики масштабного вмешательства в экономику, в хозяйственную деятельность конкретных предприятий и производств, проведение частичной национализации и установление государственного контроля над всеми финансовыми потоками. Для других укрепление государства — это способность власти принимать только те решения, которые она способна реализовать и проконтролировать.

В самом деле, до того, как заниматься прямым регулированием экономики, раздачей денег на сельское хозяйство, угольную промышленность, машиностроение и т. п., государству надо быть уверенным, что деньги эти не будут разворованы. А для этого надо укрепить правоохранительную систему, силовые структуры, суды, разобраться с соответствием регионального законодательства федеральному. Надо провести реформу государственного аппарата, сократив его численность и резко повысив привлекательность (в том числе и в финансовом плане) труда чиновников. Без всего этого многочисленные контролирующие инстанции так и останутся конторами по выколачиванию взяток. А все попытки усиления госвмешательства в экономику будут вести лишь к росту транзакционных издержек (на «улаживание» отношений бизнеса с чиновничеством).

А когда будет создана надежная структура власти, когда слово «государство» в народе перестанет ассоциироваться со словом «взятка», когда права граждан будут надежно защищены милицией и судами, когда сверх этого в руках государства окажутся дополнительные финансовые ресурсы, можно будет

заняться и «госвмешательством». Впрочем, может оказаться, что при здоровых институтах власти особого вмешательства в экономику уже не потребуются. Политическая стабильность, честность госслужащих и благородство милиционеров сделают Россию раем для инвесторов, и капиталы потекут сюда полноводной рекой. А дополнительные ресурсы можно будет тратить на развитие социальной сферы, на вложения в «человеческий капитал».

Однако есть один фактор, который является критическим для осуществления эффективного экономического курса. И фактор этот находится не в экономической, а в политической сфере. Я твердо убежден, что главным и для «наследников Ельцина», и для всех нас является сохранение и упрочение в России политической демократии и особенно свободы прессы. Перефразируя выражение из советского позавчера, можно сказать, что демократия является сейчас «основной производительной силой» нашего общества.

При всей ограниченности набора реалистичных решений в экономической сфере всегда остается риск непродуманных, непрофессиональных действий, ошибок, ведущих к ухудшению социально-экономической ситуации. Но и это еще полбеды. Гораздо хуже, что логика ошибочных действий при определенных политических обстоятельствах приобретает самораскручивающийся характер. Усугубление кризиса подталкивает недостаточно опытных политиков к принятию внешне эффектных решений, от которых околэкономические шаманы ожидают наступления немедленного чуда. В итоге получается «как всегда», но нежелание принимать сложные решения приводит к появлению новых заклинателей. Страна же попадает в западню.

Важно не допустить возникновения *таких* политических обстоятельств. Я знаю только один способ избежать этого — сохранить политическую свободу. О ее роли в экономике мы можем судить даже по итогам 1999 года. Сейчас модно говорить о мудрости Е. Примакова, чья политика привела к экономическому росту. Но мало кто помнит, что исходные программные документы и заявления его правительства были такими, что многие сограждане стали уже закупать впрок продукты и другие предметы первой необходимости. Но обошлось: телеканалы и газеты в течение нескольких недель ежедневно объясняли, что произойдет, если планы несоветского реванша будут осуществляться на практике. Руководители резко пеняли на СМИ, но объяснения поняли и скорректировали свои действия. Однако это стало возможно потому, что Б. Ельцин был реальным гарантом политических свобод и правительство не могло остановить критику в свой адрес.

Таким образом, политические свободы, и особенно свобода печати, являются на сегодня не только важнейшим идеологическим приоритетом, но и ключевым фактором устойчивого экономического развития России.

В начале статьи я задал вопрос, находимся ли мы на развилке или в тупике, в начале большого пути или в его конце. Сейчас я должен ответить. Мы находимся в конце туннеля и видим свет. Окажется ли это светом дня или светом паровоза, зависит от нас самих.



ПО ХОДУ ДЕЛА

ЮРИЙ КАГРАМАНОВ

*

МНОГОЛИКИЙ ДЖИНН

В том, что говорят и пишут о Северном Кавказе, обычно не берется в расчет наиважнейшее обстоятельство: в этом регионе проходит глубокий цивилизационный разлом между мусульманским (отчасти псевдомусульманским) Югом и европейским (хотя бы и с большой натяжкой) Севером.

Сейчас, пока я пишу эти строки, на дворе лежит снег, а в мае, когда номер придет к читателю, в разгаре будет весна и, даст Бог, операция против мятежников в Чечне в основном уже завершится. Но «проблема останется», и надолго, — кажется, ни один думающий человек в этом не сомневается. И чтобы не испортить начатое более или менее успешно, хотя бы в чисто военном отношении, следовало бы рассмотреть ее основные составляющие.

Листаю книгу, вышедшую недавно в Махачкале: А. Вердиханов, «Куруш: история и современность» (1998). Это социологическое описание одного высокогорного села в Южном Дагестане, развернутое в исторической перспективе. Для лучшего понимания того, что происходит на Северном Кавказе, мне как раз не хватало такого рода «лупы», позволяющей внимательно рассмотреть, чем люди дышат, какие отношения складываются у них друг с другом и с внешним миром. К сожалению, в данном случае село выбрано «не совсем то» (куда интереснее было бы познакомиться с такими, например, селами, как Чабанмахи и Карамахи) и, главное, взгляд «не тот». Тем не менее одно, по крайней мере обобщающее (ко всем мусульманским автономиям Северного Кавказа относящееся), заключение с большой долей уверенности можно вынести из этого и некоторых других источников, а именно — что здесь имеет место разрыв между поколениями.

На протяжении нашего столетия такое совершается уже во второй раз. В 20-х годах молодежь резко свернула с пути, которым шли старшие поколения; причастники грядущего светлого царства коммунизма сумели увлечь ее обещаниями «песен небывалых и сказок нерассказанных» (в дореволюционный период русского господства разрыва с традициями не происходило, европеизация была относительно «мягкой» и постепенной, а лояльность мусульман в рамках империи обеспечивалась их подданныческими отношениями к великому белому царю). Сейчас это трудно понять, но некоторые «волшебные слова» производили тогда впечатление в самых отдаленных аулах; главное из них было «Ленин», за ним тянулись остальные — «интернационализм», «электрификация» и т. д. Три поколения выросли под магическим действием этих слов, и хотя сила заклания, в них вложенная, с течением времени слабела и в конце концов сошла на нет, дрессура, которую они сделали возможной, сохраняла некоторую силу и в значительной мере сохраняет ее до сих пор — советское прошлое проявляет большую цепкость в складках северокавказского ландшафта, чем по России в целом.

В пределах национальных окраин советизация — специфическая разновидность русификации. Чем более русифицированы «нацмены», тем скорее они ориентированы на Россию (хотя есть и многочисленные исключения). Особенно это относится к бывшей номенклатуре, сохраняющей власть повсюду, за исключением Чечни, — но теперь и в Чечне пытающейся восстановить свое влияние. Наверное, в этой среде есть очень разные люди — достойные

мужи наряду с теми, кого можно назвать «нашими сукиными сынами» (последних, догадываюсь, больше). В любом случае, однако, этот культурный слой свеваеся временем, и опираться на него в длительной перспективе имеет смысл лишь в том случае, если произойдет какое-то решительное его обновление, что, естественно, может прийти только из России.

Ибо сейчас набирают силу другие «волшебные слова», другие зовы, чутко улавливаемые, опять-таки, молодежью, подростками (впрочем, поскольку слова это не новые, а просто полузабытые, то и старшие поколения оказываются не вполне к ним равнодушны).

Точнее, здесь можно расслышать по меньшей мере два разных зова. Один из них — зов почвы, племенных традиций, среди которых есть добрые, есть сомнительные и есть отвратительные (вроде первобытно жестоких наказаний за те или иные преступления). Второй — зов ислама, который тоже является частью местных традиций, но одновременно вступает в противоречие-противочувствие с другой и, вероятно, большей их частью, представляющей собой языческое прошлое, по-своему приспособившееся к советскому времени и благополучно его пережившее.

Частью традиций являются также различные «компромиссные» установления между исламом и язычеством. Примером может служить распространенный повсеместно на Северном Кавказе культ святого Сулеймана — фантастическое отражение образа библейского царя Соломона, принимаемого за местного святого. Фактически св. Сулейман служит чем-то вроде местного божка; во многих аулах могут даже указать место на кладбище, где он якобы захоронен.

Из этих двух сил, местных традиций и мирового ислама, первая, сколь она еще ни значительна, имеет скорее остаточный характер, зато вторая — растущая и, так сказать, расправляющая изначально данные ей крылья. На всемирно-исторических часах настал ее час, или, по крайней мере, так она сама считает. Крутые ветры, дующие с юга (для которых Кавказский хребет не является препятствием), «садовники Аллаха», чьи-то души засевают семенами подлинной веры, а кому-то просто дуют в спину. Я имею в виду людей, для которых драка, а зачастую и откровенный разбой, по сути, есть самоцель.

Хотя отделить драчливость от религиозности, как это у нас любят делать, далеко не всегда представляется возможным. Ваххабитов, например, отличает раздраженная воинственность, а вместе с тем нельзя отрицать, что внутренний строй жизни в ваххабитских селениях основан на вере — никакая другая сила не смогла бы его удержать. Разумеется, многое в ваххабизме может быть оспорено с точки зрения самого ислама, но это вряд ли помешает тому, что в ближайшие годы ваххабизм будет вербовать себе все новых и новых сторонников на территории прогоревшей советской империи. Особенно в молодежной среде.

«Человек меняет кожу» — образ Бруно Ясенского (напомню, что так называется его роман о «социалистических преобразованиях» в мусульманской Средней Азии 30-х годов) не так уж плох: смена кожи у некоторых видов животных имеет причиной существенное внутреннее перерождение организма. Нечто подобное происходит и сейчас, только в направлении, противоположном тому, о котором писал Ясенский.

В период первой чеченской войны идея предоставления независимости Чечне имела множество сторонников, включая автора настоящих строк. Опыт, однако, показал, что Чечня не сумела достойным образом распорядиться фактически достигнутой ею независимостью. Поэтому обратное ее завоевание, при всех его трагических издержках, представляется делом, в конечном счете должноствующим послужить на пользу самим чеченцам.

Но пройдет какое-то время, и идея независимости Чечни — почти наверное Чечни, но, вполне вероятно, также и Дагестана и даже других северокавказских автономий — вновь привлечет к себе общее внимание. Поэтому имеет смысл рассмотреть некоторые pro и contra, к ней относящиеся.

Очевидный факт, что северокавказские племена остаются «химически неразстворимыми» (воспользуясь выражением В. Ключевского, примененным им к населению остзейских провинций) в составе России. Это значит не то, что они непременно должны обособиться, а то лишь, что такая возможность должна рассматриваться как вполне реальная. Юридические соображения, ссылки на конституцию, которая-де воспрещает, и т. д. не могут тут играть решающей роли. Когда чеченцы говорят: «Это ваша конституция, вы нам ее навязали как завоеватели, а мы хотим жить по своим законам», возразить им, на мой взгляд, очень непросто. Не на юридические тенёта надо смотреть, а в сторону фактического положения дел¹.

Ничего особо драматического в отделении северокавказских автономий не было бы. Все они, вместе взятые, составляют ничтожно малую часть России с крайне низким экономическим весом, к тому же во многом ей инородную. Эта утрата была бы совершенно несопоставима, например, с утратой Украины, с которой вроде бы сразу смирились. Зато попытка удержать северные склоны Кавказского хребта одними только военными средствами может завести нас в тяжелейший тупик. Чеченский богатырь хоть и мал, да стоек: по пояс, по самую грудь в землю уйдет, а не сдастся. И даже если с головою уйдет в землю, все равно что-то после себя на семена оставит. Вполне можно представить такой вариант развития событий: мы получим затяжную, на долгие годы, партизанскую и террористическую войну, с разными неприятными последствиями как во внутри-, так и во внешнеполитическом плане, войну, от которой российское общество в конце концов смертельно устанет и будет аплодировать первому руководителю государства, который отпустит мятежный край раз и навсегда.

Как будто в пользу такого развития событий говорит и мировой опыт. Русское владычество на Кавказе — часть общеевропейского колониального проекта, хотя и со своими особенностями; а европейцам нигде в мире не удалось удержать под скипетром своей власти ни один инокультурный народ, как бы мал он ни был. Естественно допустить, что и северокавказские племена не составят в этом смысле исключения.

Существует, однако, и другая возможность; во всяком случае, никто не вправе утверждать наверняка, что ее не существует.

В девятнадцатом веке в Европе было увлечение естественными границами: они служили «печкой», от которой танцевали многие геополитики. На самом деле даже в геополитическом плане есть вещи более важные, чем складки почвы, водные пространства и т. д. И все же естественные границы — тоже существенный фактор, заставляющий с собою считаться. И конечно, это относится к такому грандиозному природному образованию, как Большой Кавказ. Его вершины — «престолы вечного Аллы»? Пусть так. Но его северные склоны естественным образом обращены к России, и это тоже кое-что значит.

А мусульмане живут и в России. И жили здесь в продолжение уже нескольких столетий. Вера сама по себе не должна мешать сожительству мусуль-

¹ С юридической стороны как раз не должно быть в этом вопросе особых сложностей. Уж если в деле национального размежевания мы вынуждены опираться на советское законодательство, уместно вспомнить, что «сталинская» Конституция 1936 года статус союзной республики, а с ним и право (чисто формальное в то время, а все же реализованное на пороге 90-х) выхода из Союза даровала автономиям, имевшим миллион населения и внешние границы. Дагестан тогда до миллиона не добрал, зато сейчас его население перевалило за два, да и в Чечне, если собрать всех, кто оттуда разбежался, больше миллиона жителей будет, следовательно, даже по «сталинской» Конституции они должны были бы получить право распоряжаться своей судьбой. Но «пороговая» цифра миллион сегодня не может устоять в свете мирового опыта: на карте мира появились независимые государства из числа бывших колоний с населением всего в несколько десятков тысяч. Значит, по справедливости следовало бы предоставить право выхода всем национальным автономиям, имеющим внешние границы (Ледовитый океан не в счет), конечно, при условии, что титульная нация составляет в них большинство населения. Никакого распада России в этом случае не последовало бы, ибо указанным условиям отвечают только северокавказские автономии (и то не все) да еще Тува (или Тыва).

ман и христиан (равно как и неверующих) в лоне одного государства и одного гражданского общества (в пользу этого говорит и опыт некоторых мусульманских стран). Другое дело, что в наши дни ислам вступает в конфликт с цивилизацией, именующей себя — с большой долей условности — христианской. Сложность в том, что свою правду несет в себе каждая из конфликтующих сторон. Это мировой вопрос, обещающий стать одним из главных вопросов XXI века; и Северный Кавказ — лишь один из многих участков, где он будет решаться.

Не обойдет он и наших, «внутренних», мусульман, которые обречены жить в составе России и которым тем не менее заново придется вырабатывать модус вивенди, что будет очень нелегким делом.

Вот поле, на котором российская сторона еще имеет шанс как-то себя проявить. Недостаточно преподать военный урок «неразумным хазарам» (кстати говоря, как раз в зоне исторического проживания хазар) — надо еще суметь завоевать их души. Обилие пролитой крови сильно затрудняет такую возможность, но не исключает ее. Сейчас, правду скажем, завоевывать нечем. Российская цивилизация в ее нынешнем состоянии, ущербная, кособокая, через пень-колоду функционирующая, представляет собой некоторое благо лишь в сравнении с тою дикостью, в какую «просела» Чечня за послесоветские годы. По малым счетам она (я говорю о российской цивилизации) еще способна рассчитываться, а по большому счету ей платить нечем. Ибо в самом ее устройстве — и это относится не только к российской, но и ко всей евро-американской цивилизации — ослабли, до беспомощного провисания, некоторые важные струны, на которые отзывался человеческий дух. Обратное завоевание Чечни создает временную задержку, в продолжение которой (если она окажется достаточно длительной) этот «пробел», может быть, удастся хотя бы отчасти восполнить.

Впрочем, даже если такая возможность останется неосуществленной, это не будет означать, что военная операция, начатая летом прошлого года, была напрасной тратой сил. Даже если из Чечни все-таки придется уйти, уход должен быть обставлен так, чтобы он не имел ничего общего с непристойным бегством четырехлетней давности. Прежде всего нужно удостовериться, что чеченский народ действительно желает независимости, для чего провести, может быть, не один, а два или три референдума, разделенных порядочными временными дистанциями. И если выбор будет сделан в пользу независимости, сохранить за собой право военного и полицейского вмешательства в необходимых случаях (наподобие того, как это делают французы в своих бывших африканских колониях), урегулировать политические, экономические отношения (включая обязательства помощи в восстановлении разрушенного), сделать невозможным военное присутствие других держав в регионе и т. д.

Есть нечто обнадеживающее в действиях правительства на Северном Кавказе за последние месяцы, а именно, определенная осторожность, с какою оно продвигается вперед, — как бы проверяя, где земля горит под ногами, а где можно поставить ступню и сообразить, что делать дальше. Заведомо безошибочных способов решения задачи, к сожалению, не существует; здесь надо полагаться на глазомер, на то, что возбужденное опытом истории чутье укажет наиболее справедливый и одновременно наименее болезненный выход из столкновения различных сил и правд.

Беда не приходит одна: война в Чечне имела следствием дальнейшее (вслед за косовской трагедией) охлаждение наших отношений с Западом, где многие обрушились на Россию с резкой критикой. В иные времена «русский медведь» мог бы надуться в ответ и повернуться к «клеветникам России» спиной. Дескать, пусть себе клеветают на здоровье; чужие земли похвалой стоят, а наша и хайкой крепка будет. Не то сейчас: мы и практически во многом зависим от западных партнеров, и, что, наверное, еще важнее, духовно силимся

укрепиться в Европе — «вечной» Европе, до которой нынешняя по ряду важных признаков сама «не дотягивает». Так что постараемся понять западных критиков.

Что в целом наша страна извне смотрится не лучшим образом, об этом и сидя дома легко догадаться. Увы, наследство, оставленное советской властью, оказалось еще более тяжелым, тянущим книзу и назад, чем это можно было представить десятью годами ранее (и тут европейцам не мешает все-таки помнить, что зараза, изолировавшая нашу страну от остального мира, пришла к нам от них). В частности, о такой вещи, как права человека, у нас до сих пор имеют смутное представление, особенно те, у кого есть возможность их попирать. Поэтому исходящие от Запада требования соблюдать права человека сами по себе полезны: у нас немало людей, способных всякое натворить, когда за ними нет пригляда.

Но ситуацию на Северном Кавказе, и в частности в Чечне, нельзя рассматривать только под углом зрения прав человека. Это труднейший вопрос, у которого есть много разных аспектов. Европейцам, да и американцам тоже, должно быть под силу представить их сложность, ибо сами они сталкивались с подобного рода вопросами, хотя все-таки несколько менее трудными, если учесть, что территории, судьбу которых им приходилось решать, все без исключения расположены за морем, часто — за тридевять морей.

Вот известные французские философы Б.-А. Леви и А. Глюксман мечут громы и молнии (для чего и в Москву специально приезжали) в адрес «кремлевских динозавров», ведущих «террористическую» войну против славных свободолюбивых чеченцев. Суждение это поражает своей, мягко говоря, односторонностью. Ну, хорошо, Леви и Глюксман — «дети 68-го года», генетические леваки, у которых любые проявления власти и силы, откуда бы они ни исходили, вызывают истерику. Но их оценку положения на Северном Кавказе разделяют многие публицисты, далекие от крайних взглядов. Этим французам стоило бы напомнить, как их собственная страна вела себя в подобных ситуациях. Например, по отношению к Алжиру. Одна из старейших и самая, так сказать, звонкая из европейских демократий мертвой хваткой держала вчетверо превосходящую ее по площади страну, отделенную от нее почти тысячью километров водной глади. И если бы не воля генерала де Голля, когда бы она еще разжала свои военно-полицейские клешни? Сравнительно с нею молодая российская демократия, во многом еще сохраняющая прежние дурные повадки, довольно быстро отпустила Чечню фактически и уже готовилась отпустить ее формально (чему подтверждением могут служить выступления некоторых ведущих политиков). Несмотря на то что право (не столько юридическое, сколько фактическое) Чечни на независимость — гораздо менее очевидное, чем в случае с Алжиром. И только агрессивные и разбойные действия чеченцев вызвали резкую перемену в чеченской политике Москвы.

Сравним и другое. Французские «колонны», составлявшие лишь десятую часть населения Алжира, накрепко вцепились в эту страну и даже подняли мятеж против французского правительства, когда оно пожелало предоставить ей независимость. Ничего похожего мы не видели в Чечне, где русские составляли добрую четверть (если не треть) населения, а к северу от Терека даже, кажется, и большинство.

Дж.-С. Милль писал в прошлом веке, что самое трудное испытание для демократии представляет область внешней политики: здесь понятие о справедливости слишком легко уступает место эгоистическим заботам *pro domo sua*. Нельзя отрицать, что наш век привнес кое-какие улучшения в данном отношении, но, к сожалению, они далеко не столь радикальны, какими их хотелось бы видеть.

Лишний раз это подтверждает популярный Джон Ле Карре в романе «Наша игра», написанном еще до первой чеченской войны (мною только теперь про-

читанном)². Отставные разведчики, воины «холодной войны» (Cold Warriors), удалившиеся было на покой, спохватываются, что рано сложили оружие: оказывается, «Советская империя еще не испустила дух в своей могиле, а из нее уже выползает Российская империя», со всеми ее «прежними посягательствами». Один из них, вспомнив лорда Байрона, едет на Северный Кавказ, чтобы помочь свободолюбивым горцам добиться независимости. Другой (это собственнo герой романа) отправляется на поиски исчезнувшего первого и, между прочим, узнает на месте интересную вещь: «в суфийских кругах» распространена вера в старое пророчество, что Российская империя однажды рухнет и Северный Кавказ припадет к скипетру британского монарха. Вроде бы англичанин не принимает эту информацию всерьез, но и мимо ушей не пропускает; во всяком случае, он убежден, что только в Лондоне с его историческим опытом (а отнюдь не в Вашингтоне) знают, чего хотят народы Кавказа.

Писатель выбалтывает то, о чем обычно умалчивают политики: тень былого соперничества «русского медведя» с «англо-индийским слоном» (отчасти замещенным, хочется ему того или нет, его американским «компаньоном») ложится на нынешние выступления в защиту «кавказской свободы». Не станем чернить «слона», от которого ныне остался только призрак: англичане сделали немало полезного для тех стран, что находились в их временном владении. Но, при всем уважении к родине либерализма, позволительно усомниться, что ее сыновья были, скажем так, более созвучны народам Востока, чем русские. Что осталось в памяти бывших подданных их британских величеств? А то прежде всего, что последний англичанин, попавши в их края, тотчас становился надменным «сахибом» со стеком, ощущая себя человеком высшего сорта в сравнении с местными жителями. Надо ли припоминать, что у русских с покоренными или добровольно присоединившимися народами складывались совсем иные отношения?

И в предсказания того рода, что России-де еще придется помучиться «с этим джином», напрасно привносится элемент злорадства (как в романе Ле Карре и как во многих сегодняшних выступлениях западных публицистов). Джинн — многолик. Говорят, всегда водились такие в таинственном краю Мазендеран (область в Иране, согласно поверьям, распространенным в мусульманском мире, искони служившая обиталищем опасных духов). Один из основных его ликов или, лучше сказать, одно из основных его выражений — бандитское, зверское; и обращено оно не только в российскую сторону.

Хотя, конечно, и другие его выражения — это уже относится к нам — надо видеть тоже.

² Le Carré John. Our Game. London, 1995.

ПОЛЕМИКА

АЛЕНА ЗЛОБИНА

*

КТО Я?

К вопросу о социальной самоидентификации бывшего интеллигента

«Я» счастлив, что я этой силы частица, что общие даже слезы из глаз. Сильнее и чище нельзя причаститься великому чувству по имени — класс... Лично я впервые испытала радость подобного причащения на первой большой выставке авангардного (условно говоря) искусства, случившейся в Измайловском парке 29 сентября 1974 года. За две недели до того разразилась пресловутая «бульдозерная» история: художники, не допускаясь в советские экспозиционные залы, решились раскинуть свою экспозицию под открытым небом, в Битце, где их поджидала землеройная техника, присланная якобы для «благоустройства территории», — и разломанные, изувеченные работы были закатаны в грязь. Как оказалось, власти поступили опрометчиво: приглашенные художниками западные корреспонденты засняли варварский разгром, вспыхнул громкий скандал, вследствие которого и была разрешена выставка в Измайлове.

Вражьи голоса мгновенно разнесли эту весть по Москве, и в назначенный день, такой теплый и очаровательно безоблачный, что казалось — сама природа поддерживает неконформистов, ликующие толпы хлынули в парк, где на травке, под сенью деревьев, расположились художники. Дополнительную праздничность создавали выглядывавшие из-за каждого куста знакомые, с которыми можно было обменяться восторгами; но еще сильнее радовало то, что и посторонние здесь воспринимались как знакомые, даже как друзья или родные — «свои», короче говоря... В августе 1991-го это счастливое единение ощущалось с куда большей — поистине потрясающей — силой. Понятно: в Измайлове большинство из нас праздновало победу, добытую чужими руками, тогда как у Белого дома мы вместе узнавали значение слов «в борьбе обретешь ты право свое». Что же до «класса», о коем идет речь, то имя ему, естественно, было — интеллигенция.

Прошедшее время употреблено не случайно: утверждение, что интеллигенции больше нет, стало сегодня чуть ли не общим местом, и даже рассуждения на сию тему многим представляются устаревшими. Работая над статьей, я, случалось, рассказывала коллегам про свои планы — и нередко слышала в ответ: «Нашла о чем писать! Разве это новость?» Действительно: про кончину российско-советского интеллигента пишут уже давно; для примера можно вспомнить хотя бы высокоученую статью Л. Гудкова и Б. Дубина «Идеология бесструктурности», опубликованную в 1994 году в журнале «Знамя»¹ и констатирующую «немыслимо быстрое разложение» интеллигентской массы: «наиболее дееспособная часть интеллектуального слоя» двинулась в сторону «профессионализации», а та, что продолжает считать себя именно интеллигенцией,

Злобина Алена (Елена Анатольевна) — театральный и литературный критик. Окончила филологический факультет МГУ. Лауреат премий журналов «Новый мир» и «Знамя», где постоянно публикуются ее статьи, рецензии и эссе.

¹ На всякий случай хочу извиниться перед «Знаменем» за то, что большинство примеров взято с его страниц: это не умысел, а случай. Что читаю, то и цитирую.

выпала в осадок, «все больше замыкается в себе», «становится все более провинциальной в буквальном и переносном смысле».

Допустим; но возникает вопрос: чем же в таком случае стала эта самая «дееспособная часть», к коей естественным образом причисляет себя любой более или менее успешно работающий профессионал? В статье, посвященной юбилею «Нового мира», газета «Коммерсантъ» противопоставляет «интеллигентным аутсайдерам» (которые, понятное дело, и являются толстожурнальными читателями) «новый, вестернизированный российский средний класс» (которому, разумеется, «нечего искать в этом издании»); в том же противопоставительном смысле употреблено и словечко «яппи». Но разве принадлежность к «среднему классу» (то есть к социальной страте, имеющей «средний» уровень доходов), равно как и статус «молодого городского профессионала» (как буквально расшифровывается аббревиатура «YUP»), по определению несовместимы с традиционными культурными потребностями? Иначе говоря, разве желание зарабатывать деньги обязательно исключает желание читать современную «интеллигентскую» литературу? Пусть не насквозь, не взахлеб, как в прежние времена, — но почему какой-нибудь преуспевающий менеджер (программист, журналист и т. д.) не может между делом полистать какую-нибудь премированную новинку, напечатанную как раз в «Новом мире» или же в «Знамени», которые часто делят между собой «Букеров» и «Антибукеров»?

Иные, впрочем, листают и даже читают — уточняя единственно справедливости ради, поскольку знаю, что не все наши новоявленные «яппи — средний класс» под одну гребенку стрижены. Впрочем, данное уточнение напрямую связано с другим, куда более существенным: если брать не «вестернизированный», а собственно западный middle class и примыкающих к нему яппи, то обнаружится, что их противопоставление интеллигентным читателям выглядит по меньшей мере странно — ведь данная страта включает в себя не только коммерсантов, но и ученых, и людей искусства, и всех вообще интеллектуалов. То есть мы имеем дело с терминологической путаницей, и вопрос, кем/чем стала «дееспособная часть интеллектуального слоя», не решить путем простой подстановки западных наименований.

Ясно одно: она действительно не претендует на традиционную роль интеллигенции, действительно отказывается от представления о себе «как о силе, соединяющей интеллектуальные ресурсы, знания с моральным авторитетом держателей культуры, с энергией подвижничества» (Гудков — Дубин). И этот отказ — по мнению «могильщиков интеллигенции» — непременно *должен* сопровождаться отказом от «интеллигентского» чтения. Резоны отчасти понятны: трепетное отношение к Слову, к Литературе составляло одну из основ прежнего мироощущения, которое надлежит целиком сдать в архив; впрочем, это объяснение явно поверхностно, а чтобы предложить нечто более основательное, стоит рассмотреть процессы, происходящие не среди потребителей, а в кругу «производителей» культурных ценностей и установок, каковой включает в себя людей, ранее называвшихся «творческой интеллигенцией», а также журналистов-критиков-публицистов, пишущих на темы искусства. Не потому, что они реально формируют общественное мнение — это дело прошлое, но просто потому, что ими (нами) артикулируются социокультурные тенденции.

«Любите ли вы театр так, как не люблю его я?»

Начнем с обстоятельства, так сказать, внутрицехового, не то чтоб специально скрываемого от публики, но не слишком афишируемого: люди, существующие искусством, стали не менее (если не более) других индифферентны к культурной жизни. Профессиональные сообщества резко обособились друг от друга, превратившись в замкнутые тусовки. Толстые журналы читают литературные критики и — изредка — писатели, в театр ходят критики театральные и — иногда — режиссеры с артистами, но ни в коем случае не наоборот; лица, пользующиеся громкой известностью в одной профессиональной среде,

лишь смутно знакомы другой (естественно, речь о тех, чья слава имеет сравнительно недавнее происхождение), и даже спектакли, книги, фильмы, получившие статус «события», остаются непросмотренными и непрочитанными. Больше того: если попросить собравшихся на вручении «Золотой Маски» назвать всего только имя последнего «букерианта», а на «Букере» — имя лауреата «Маски»... Не ответят: проверяла; разве что респондентом случайно окажется зав. газетным или журнальным отделом культуры, по долгу службы обязанный знать своих «нюсмейкеров».

Иные наиболее «старомодные» представители среды еще пытаются объяснить эту ситуацию элементарной занятостью. Действительно, последние годы вынудили к более напряженному существованию. Заработать на жизнь стало труднее, да и прежний нищий, зато духовный *modus vivendi* уже не кажется достойным. Напротив, потребности возросли соответственно расширившимся возможностям: как известно, Париж стоит мессы, а уж некоторого количества СКВ — тем паче. В результате одни выматываются на трех работах и, придя домой, падают от усталости и расслабляются посредством детектива или тупо щелкают кнопками телевизора, а другие, которым приличное «коммерсантское» (условно говоря) жалованье вроде бы позволяет не суетиться... все равно делают то же самое.

Потому что изменился не только способ существования — изменился самый взгляд на вещи. Если раньше считалось естественным любить свое дело и всякий «вед» говорил энтузиастически: «Какая же замечательная у меня работа! Делать по долгу службы то, что само по себе приносит высокое удовольствие!» — то сегодня исполнению профессиональных обязанностей все чаще сопутствует скука. «Я читаю только по необходимости», — чуть не с гордостью заявляет известный литературный критик; «Я хожу в театр только потому, что мне платят за это деньги», — вторит ему известный театральный критик. Конечно, таковые слова содержат в себе элемент вызывающей декларативности — однако ж коллеги не принимают вызова, отвечая не возмущением или недоумением, а понимающей усмешкой. И не случайно в театральной среде большой популярностью пользуется цитатная шуточка: «Любите ли вы театр так, как не люблю его я?»

Зато бесконечные тусовки всеми любимы. И причиной являются не только и не столько фуршеты, сколько смена ориентиров: культурная жизнь уступает место жизни светской. Особенно явственно эта подмена видна на вернисажах, сочетающих в себе тусовку и, так сказать, премьеру: искусствоведы, галеристы, сами художники, их родные и близкие, оживленно жужжа, перемещаются по залу от одной группки знакомых к другой, не забывая, разумеется, прихватить бутерброд и не слишком обращая внимание на экспонируемые произведения; а ежели кто вдруг примется всерьез анализировать оные, то услышит в ответ ироническое: «Ты что, искусство смотреть сюда пришел?» То есть куратор и автор(ы) получают, конечно, положенную порцию дежурных отзывов, но необязательные обсуждения — особенно если в них вдруг прорывается искренняя заинтересованность — воспринимаются чуть ли не как моветон: ведь вернисаж является чисто светским мероприятием, которое по существу своему не предполагает подлинной эмоциональной включенности... И даже самые агрессивные, рассчитанные на шок экспозиции оставляют публику совершенно равнодушной. Один только Зураб Церетели встречает живой отклик — и это показательно.

Потому как создания плодovitого монументальщика сохраняют статус общественного события, причем речь идет не только о том, что г-н мэр навязывает свой личный, катастрофически недоразвитый вкус целому городу, и даже не об астрономических суммах, в которые обходятся весомые церетелевские монстры: дебатировается вопрос, какой быть новой Москве, какая идеологическая тенденция определяет оформление городской среды. А самое существенное, может быть, то, что для эстетически продвинутого зрителя император Петр & компания зверушек вообще не имеют отношения к искусству — в силу

чего проблема просто перемещается в другую сферу, еще не вполне пораженную равнодушием; впрочем, ведь и само искусство чем дальше, тем меньше рассчитано на эмоциональную реакцию.

Письмо к самим себе

То есть на самом деле тут возможны варианты. Так, театр чаще прочих сохраняет живую эмоциональность, поскольку материалом его является живой человек-актер, которым нельзя играть, как словами или художественными объектами: он сам хочет играть. Писатели тоже частично удержали за собой право требовать сопереживания и даже писать в традиционной реалистической манере, не попадая в разряд замшелых консерваторов, а, напротив, получая за то премии; однако большая часть серьезной литературы являет собою сложные, иронично-холодные формальные конструкции, читать которые — мучительный и неблагодарный труд. А наибольшей отчужденности от нормального человеческого интереса достигло актуальное изобразительное искусство.

Имеет смысл отметить, что оно и дальше других продвинулось по пути международной интеграции: «единство проходящих через планету информационных потоков» (которое объявлено идеологической основой масштабного проекта «Глобальное искусство 2000») естественным образом легче реализуется в безъязыкой сфере. Соответственно и скромная галерейка где-нибудь в Бельево, и большая международная экспозиция демонстрируют, в сущности, одно и то же: набор визуальных «объектов», которые не имеют уже ничего общего с традиционной изобразительностью — главную роль здесь играет некий сложно (или не очень) сочиненный «концепт». К примеру, на боннской выставке «Смена эпох» (относящейся к вышеуказанному проекту) можно было увидеть ванну, заполненную сухой ромашкой, и кусок горного хрусталя над нею — «объект для расслабления», а московский Музей частных коллекций недавно продемонстрировал «Письмо в XXI век», предлагающее потомкам «портреты» двенадцати «наиболее значительных» художников нашего столетия: все они имеют форму овоидов, причем Сальватор Дали явлен в виде золотого яйца, Маяковский — ржаво-железного, Бродский — стеклянного (почему бы это? совершенно же непрозрачный поэт), а дадаист Морис Дюшан, прославившийся тем, что экспонировал писсуар, выполнен из того самого фаянса, который используют для производства сантехники... Понятно, что такие выдумки не рассчитаны ни на эмоциональный, ни на интеллектуальный отклик: в лучшем случае они могут слегка позабавить.

Не хочу сказать, разумеется, что ныне все без изъятия изобразительное искусство напоминает эти маловразумительные и никому не нужные message'и. Однако исключения слишком редки, чтобы противостоять тенденции и хоть как-то влиять на общий процесс. Таким образом, означенная сфера почти полностью отвергает традиционный запрос интеллигенции, чьи взаимоотношения с искусством всегда строились на человеческой основе. Любопытно, что новый взгляд совершенно уравнивает непримиримых, казалось, антиподов — передвижника и мирискусника, пылкого, пуленепробиваемо серьезного «поэта-гражданина», призывавшего сеять «разумное, доброе, вечное», и легкомысленного эстета, занимавшегося «поэзией для поэзии»: ведь они вели спор о неких вечных ценностях, восславляли если не Свободу, то Красоту, тогда как ванна с ромашками в равной мере игнорирует и нравственные, и эстетические принципы. Здесь действуют совершенно иные послы, исходящие из кардинально иной парадигмы, которая не пересекается и даже, пожалуй, не соприкасается с прежней.

Соответственно выходит, что мы должны вычеркнуть из перечня *интеллектуальных* профессий не только художников, но и весь обслуживающий персонал: галеристов, кураторов, искусствоведов, формирующих и формулирующих программы восприятия, — а впрочем, считать их обслугой творчества уже нельзя, поскольку в эпоху виртуальной реальности, когда знак вытесняет озна-

чаемое, концептуально-организационная и интерпретаторская деятельность становится едва ли не более важной, нежели производство художественных объектов. Художники, кстати, иногда даже проговариваются, что валяют дурака, и сами удивляются успеху такого занятия — но искусствоведы и кураторы глубокомысленны, а подчас агрессивны, они решительно отстаивают свое право определять и судить, что есть современное искусство, и с высокомерной снисходительностью смотрят на тех, кто их современность не понимает или не принимает.

Отличным примером определяющей роли кураторов может служить совместная выставка москвича Юрия Лейдермана и будапештца Яноша Шугара, с успехом прокатившаяся по Европам: «звезды» кураторства Виктор Мизиано и Каталин Нерэй выбрали художников-«двойников», обязали их вступить в электронную переписку и сделать экспозицию из «рифмующихся» объектов, темой которых демонстративно выбран «нонсенс»; таким образом, организаторы-идеологи практически подменили собой собственно творцов... А за пример искусствоведческого суждения возьмем рецензию на выставку некой группы «Синтез», опубликованную в первом номере «Знамени».

Главный интерес этого сюжета состоит в том, что авторы (редкий случай!) решили пойти в народ и, показав экспозицию Москве и Франкфурте, отправились в свой родной Новороссийск. Но, в отличие от прежних ходоков, они не пожелали подстраиваться к «мужику», а, напротив, предъявили свое творчество — серию фотоиллюстраций к романам Набокова, выполненных методом наложения, — «в образцовом виде... без малейшей адаптации к провинциальной наивности в отношении к материалу и неумению прочесть авторские концепции», — пишет рецензент Анна Кузнецова; право, кажется, что речь идет о первобытных обитателях дебрей Амазонки, никогда не видевших фотоаппарата, не говоря уж про телеклипы, активно использующие технику наложения! Впрочем, новороссийские дикари незамедлительно продемонстрировали свою дикость: они «настаивали на беседе о содержании», тогда как «художники упрямо придерживались уровня профессионального разговора», — забавно, однако, что профессиональная позиция предполагает отчуждение от содержания даже в том случае, когда дело касается иллюстраций, вроде бы обращенных к вполне осмысленной прозе. Правда, «многослойность» кадра, якобы стремящаяся отразить многослойность текста, на самом деле скорее уничтожает смысл: поди разбери, что изображено на снимках! А публика, обманутая словом «иллюстрация», стремится именно к этому. Что и дает критику основания для «профессионального» вывода — «жизнь показала», что проект не может «предстать здесь в объективном виде»: «неприменно надо все дообъяснять, потому что возникают несуразности, ненужные вопросы».

Вот и у меня возник один: в самом ли деле «сверхзадача художников» состояла в том, чтобы «достичь понимания провинциального зрителя», или же они, наоборот, стремились доказать, что их творчество недоступно пониманию провинциалов? Мне так кажется, что второе: антидемократическая (а соответственно антиинтеллигентская) цель лучше отвечает принципам аутичного, замкнутого в самом себе искусства. Но в любом случае проверка откровенно некорректна: ведь проверяющие должны были знать, что могут «достичь понимания» лишь у тусовки, а «широкая» публика — хоть столичная, хоть европейская — отнеслась бы к экспозиции ровно так же, как вышеозначенные подопытные кролики. И реальная разница заключается только в том, что не избалованные развлечениями жители маленького города ринулись смотреть на работы преуспевших земляков, тогда как москвичи спокойно остаются дома: насмотрелись. Многочисленные галереи, экспонирующие «актуальное» искусство, заполняются лишь в часы вернисажей; в остальное время в них нет ни души, несмотря на то что вход обыкновенно бесплатный. Тогда как толстые журналы все же выписывают и, следовательно, читают, кино смотрят хотя бы на видео, и «элитарные» театральные постановки стабильно собирают залы — пусть даже малые; а впрочем, ведь и музеи не пустуют...

Между Востоком и Западом

И тут пришла пора вспомнить про недавнее прошлое: хотя история наших тогдашних взаимоотношений с искусством известна и объяснена, необходимо все же вписать материал в контекст. Давно понятно, что шумная популярность «авангарда», характерная для позднесоветских лет, была обусловлена не художественными, но исключительно социальными причинами (естественно, что ровно то же относится к оппозиционному театру и литературе). Поскольку интеллигенция, согласно определению, данному одним из дореволюционных словарей, есть «образованная часть общества, находящаяся в оппозиции к правительству», она стремилась выразить неприятие официоза и выказать одобрение художникам, которые отстаивали свое право писать не по указке, теряя на этом если не свободу, так работу, заказы и проч. То есть человек, готовый так или иначе платить за творческую свободу, в силу одного этого становился образцом интеллигентского поведения, а что именно он творит — не суть важно: мы склонны были восхищаться любым черным квадратом лишь потому, что он не похож на портрет вождя...

Ко всему вдобавок надлежит отметить, что ведь и искусство тогда порядком отличалось от того, что мы имеем сегодня: хватало, разумеется, и бессодержательных «концептов», но был и Вадим Сидур с его пронзительной, потрясающей экспрессией, был и Анатолий Зверев с его гибкой, ускользающей пластической выразительностью — были Страдание и Красота, говоря короче. Возникает, разумеется, вопрос, почему же они так быстро иссякли. Причин несколько, и не последняя среди них — слишком резкое, стремительное подключение к глобальной тенденции, разделившей культуру и масскультуру, причем в массовой сфере кипят разнообразные страсти, эфир дрожит от воплей: «I love you» и кошмаров с улицы Вязов, и толпы ошалелых фанатов идут на поклонение к неоновым звездам, тогда как сфера элитарная достигла наконец высокого идеала, намеченного в свое время Кантом, который настаивал, что эстетическое суждение должно исходить единственно из законов эстетики и быть полностью безразличным к содержанию.

На Западе это безразличие стало уже таким изощренным и всеобъемлющим, что захватило и кич, употребляя его расхожие схемы для создания иронически отстраненных произведений (ярчайший пример — Тарантино) или просто эстетски наслаждаясь масскультуловской пошлостью как особым, безупречно выдержанным стилем; у нас данная игра, называемая «кэмп», еще не слишком распространилась, но скоро, по всей видимости, войдет в широкий обиход: недаром же многие интеллектуалы склонны испытывать своеобразный холодный восторг перед шедеврами соцреализма. А возможным это стало именно потому, что ушло прежде столь мощное отвращение к содержанию официальной идеологической туфты и на смену ему пришло спокойное и высокомерное (или «высоколобое»?) безразличие, позволяющее рассматривать объект чисто эстетически — как явление стиля.

Таким образом, мы возвращаемся к той самой отечественной проблеме, с которой начали, — к общей утрате интеллигентского пафоса, катастрофической (то есть случившейся в процессе социальной катастрофы) смене мировоззренческих позиций. И здесь опять придется повторить некоторые общеизвестные истины. При советской власти представитель «интеллектуального слоя» имел на выбор три роли, каждая из которых была по-своему привлекательной. Он мог, во-первых, более или менее активно противостоять системе, в ответ получая преследования и, таким образом, наращивая себе комплекс сверхполноценности, укрепляемый пассивным сочувствием всей массы интеллигенции. Во-вторых, он мог культурно обслуживать режим, взамен имея его неизменную поддержку, состоявшую отнюдь не только в обильных госзаказах, огромных тиражах «секретарской» литературы и сверхмассовом прокате киноэпопеи «Освобождение». То есть, по нынешним представлениям, материальный фактор, может быть, и стоило бы поставить номером первым, но тогда

существенней было другое: власти апеллировали к традиционному авторитету интеллигенции и в свой черед утверждали этот авторитет, подчеркивая ее общественное, моральное, культурное и т. п. значение. Естественно: коль скоро идеология, хотя бы внешне, играла главенствующую роль, то и создатели идеологической продукции должны были быть в чести; тем более что «торжество социализма» на самом деле имело место только в искусстве «социалистического реализма»... Наконец, большинство тихим хором пело «Возьмемся за руки, друзья», молчаливо поддерживало оппозиционеров и гордилось своей духовностью (что, впрочем, не исключало зависти к чиновным работникам пера и кисти). Разумеется, эти три позиции не были жестко отграничены друг от друга, напротив: наблюдалась интерференция, перетекание из слоя в слой, броуновское движение и т. д. Но это детали, а суть в другом: писатель, художник, артист в любом случае получался «большим человеком»: ручной, он входил в номенклатуру, свободный — казался столь сильным и опасным, что вся страна по свистку кидалась на борьбу с «формалистами», с Пастернаком или Солженицыным...

Соответственно потеря значимой социальной роли вызвала у творческой интеллигенции горькую, до сих пор не изжитую обиду — не случайно же знаменитости с таким упоением участвуют во всяких предвыборных оргиях, совершенно по-детски радуясь тому, что еще важны и нужны господам, что еще не весь наличествующий в народном бюджете авторитет перетек к банкирам и уголовникам... Но суть опять же в другом: наш дикий капитализм не только освободил интеллигентов от «служения», сухо сказав: «Дело надо делать, господа», — он разрушил саму веру в действенное Свободное Слово, бывшую одной из главных, фундаментальных основ мировоззрения. Если раньше казалось, что свобода печати и т. п. может буквально перевернуть мир (а какая-нибудь публикация в «Правде» действительно переворачивала судьбы), то теперь она превратилась в эдакую чистую словесность, в «искусство для искусства» — можно сколько угодно бичевать пороки, а высеченные носители оных остаются на своих местах и даже не морщатся.

Надо заметить, что такое положение дел отнюдь не характерно для стран развитой демократии: там публичные скандалы на тему, например, коррупции приводят к отставке коррупционеров; да и типичные голливудские истории, в которых преследуемому каким-нибудь ЦРУ герою нужно лишь добежать до какой-нибудь редакции, убедительно свидетельствуют о силе слова. Потому что демократический Запад худо ли, бедно, но сочетает свободное предпринимательство и стремление к высокому качеству жизни с уважением к гуманитарным идеалам. А мы сейчас переживаем трудный переходный период, продолжительность которого зависит от множества самых разных обстоятельств — и в том числе, не побоюсь сказать, от нравственной стойкости культурной элиты и ее готовности трудиться на благо общества, несмотря на то что общество говорит «пшли вон, надоели». И если б интеллигенция попыталась удержаться на этой позиции и не отказывалась формировать соответствующие установки у публики (что, разумеется, требует чрезвычайного оптимизма) — может, желанная развитая демократия наступила бы чуть-чуть быстрее?.. Вместо того наша словесность — как публицистическая, так и художественная — сама торопится отбросить *бесполезные* интеллигентские ценности и убеждения, а то и издевательски осмеять их.

Поэт в России — меньше, чем поэт

Может быть, наиболее решительно эту тенденцию демонстрирует роман Анатолия Королева «Человек-язык» («Знамя», 2000, № 1), построенный как своего рода ловушка: поначалу вроде бы утверждающий «разумное, доброе, вечное», он постепенно оборачивается злой насмешкой. В основу сюжета положена старая тема сострадания к маленькому человеку, усиленная тем, что речь идет об уроде: несчастный Муму (прозванный так санитарями, поскольку

«может только мычать, как немой у Тургенева, и сам смахивает на собачонку, которую тот утопил») от рождения наделен огромным, свешивающимся ниже подбородка толстым языком. Впрочем, на самом деле герой не только умеет говорить, но даже способен мыслить на уровне апелляции к Провидению («Бок все зделал ана нас ругаица», — гласит корявая записка, найденная под подушкой уродца); со всем тем он отнюдь не озлоблен, но, напротив, обладает чистой, кроткой душой, отзывчивой и на редкость благодарной.

А в роли благодетеля выступает «молодой идеалист, врач с инстинктом сострадания». «Бесконечная доброта и отзывчивость во сто крат утяжеляют его жизнь, но Антон неукоснительно настаивает на своем добросердечии», — заявляет автор на первой же странице; под статью Антону и его невеста Таша — «отважная и жертвенная натура. Сестра его милосердия». Конечно, нескрываемая чрезмерность и ироничность характеристик могли бы сразу насторожить читателя — однако иронию вкупе с разными формальными штучками (впрочем, скромными) легко списать на «современный стиль», а повествование в целом ведется вроде бы всерьез и строится так расчетливо, что трудно не поверить в благие намерения писателя. Я, во всяком случае, попалась. И прежде всего, конечно, потому, что роман хорошо написан: пошлую мелодраматическую склоняемость интеллигентный читатель не скупал бы, а тут — и красоты слога, и изящное построение, и ярко обрисованные типажи, и... впрочем, не важно. Главное, что нам предлагается полный интеллигентский набор: пафос служения; жалость к несчастным, постоянно педалируемая выразительными и, как кажется, очень сочувственными описаниями врожденных уродств; небогатое по мысли, но эмоционально насыщенное философствование — чем объяснить, что природа или Господь проявили изначальную жестокость по отношению к некоторым из своих созданий? сие мучительное «послание из бездны» должно нести в себе какой-то смысл, но какой?.. В общем, Королев усердно и расчетливо вымогает из читателя эмоцию — чтобы, запустив традиционные механизмы восприятия, повернуть к издевательскому опровержению той системы ценностей, на которой держится вся схема.

Подозрение, что нас все-таки дурачат, возникает в момент, когда невеста Антона читает страдальцу «Муму», а тот, обливаясь слезами, выражает желание тоже занять «сабаську», — слишком уж литературно выглядит эта трогательная картинка, слишком «знаковый», растиражированный хрестоматиями и анекдотами, взят сюжет; а когда бедный щенок еще и умирает... Недоверие вызывает и близлежащий, старательно «пережатый» эпизод: брат невесты, предполагая доставить Муму удовольствие, везет его к проститутке, в результате чего бедняга попадает в лапы гнусных сутенеров-садистов. А уж когда Таша, потрясенная страданиями маленького человечка, решает стать его женой и Антон ее благословляет, — авторская цель оказывается окончательно ясна: доведя классическую жалость к «униженным и оскорбленным» до такой преувеличенно-надрывной, литературно вывернутой жертвы, Королев извращает саму идею доброты и сочувствия, представляя ее как интеллигентскую заморочку, нелепую и, более того, вредоносную. Поскольку Муму, конечно, не может быть счастливым несчастием благодетелей — вот и приходится ему уйти в никуда... После чего повествование превращается уже в откровенно фарсовую игру. Три финала предлагают три возможных варианта судьбы героя: попал к мафии, эксплуатирующей калек; посредством *deus'a ex machina* занесен на острова Новой Гвинеи, где стал божком, поскольку туземцы исповедуют своеобразный культ — поклоняются длинному языку; тихо умер, причем после смерти выяснилось, что никакого уродства и не было — просто святой Муму свершал «подвиг смирения» и... всех загипнотизировал, что ли? И, узнав об этом, «Таса лодила на тва месяся ланьше слока: 1. масика, 2. девоську, 3. улота. Нусный атфет тля спасения фашей туши падчелкните»...

Конечно, случай Королева — это крайность. Но более сдержанное и «интеллигентное» утверждение той же позиции — занятие нынче весьма распространенное, а притом пользующееся высоким спросом среди самой творче-

ской интеллигенции. Одно из ярчайших тому доказательств — успех детективов Б. Акунина², в сумме называемых модным словом «проект». Что, кстати, весьма показательно: ведь «проект» — это дело, даже, может быть, бизнес, а не привычное писательское творчество. Творчеством тут и впрямь не пахнет: перед нами выверенная конструкция, включающая хорошее знание исторических реалий (действие происходит в конце XIX века), набор иронически отстраненных литературных типажей, элементы стилизации и, разумеется, отлично закрученный сюжет. «Интеллигентная публика давно уже тосковала о ком-то подобном, — выражает общее мнение модный журнал „Афиша“. — Омерзение, с коим она отвергает грубые полицейские историйки, должно было быть вознаграждено появлением легкого, но изящного и побуждающего к размышлениям писателя. Если бы Б. Акунина не было, его стоило бы выдумать!»

Что и произошло: новомодного детективщика «выдумал» блестящий японист, переводчик, эссеист и т. д. Григорий Чхартишвили, с год или больше скрывавшийся под псевдонимом. Сюжет, достойный отдельного разговора; но лично мне интересней другое: к каким же размышлениям побуждает «интеллигентную публику» этот ответивший запросу времени мистификатор? А вот к таким, например: традиционное интеллигентское презрение к охране есть всего лишь дань стереотипам — ведь даже курсистка Варенька, милое, но несколько глуповатое (или скажем мягче — наивное) существо, пытавшееся жить по Чернышевскому, и та поняла, что шеф жандармов Мизинов отнюдь не похож на воображаемого сатрапа; а уж агент Фандорин — просто рыцарь без страха и упрека... Конечно, я понимаю: тут есть элемент игры или даже легкой провокации, столь любимой современным искусством. Зато «применения» касательно демократии и российского парламентаризма («Демократический принцип ущемляет в правах тех, кто умнее, талантливее, работоспособнее», «Пусть наши с вами соотечественники сначала отучатся от свинства и заслужат право носить звание гражданина, а уж тогда можно будет и о парламенте подумать») звучат совершенно всерьез; это же относится к общественной роли писателя: «...литература — игрушка, в нормальной стране она не может иметь важного значения... Надо делом заниматься, а не сочинять душещипательные сказки. Вон в Швейцарии великой литературы нет, а жизнь там не в пример достойнее»... Сходные идеи утверждает и серьезная публицистика-эссеистика.

Тот же Чхартишвили, выступая под собственным именем, призывает брать пример с демократического Запада, где писатель вовсе не стремится быть учителем, совестью нации и проч., — он просто пишет тексты. Потому что высокая социальная значимость литературы — признак того, что общество больно, равнодушие к ней — признак выздоровления, а крохотные тиражи высококолых книжек — норма жизни; и давайте пользоваться драгоценным даром — свободой слова — в своих собственных творческих интересах («Похвала равнодушию» — «Знамя», 1997, № 4). Тем более что интеллигенция — это такой причудливый чисто российский феномен, который возник из чувства вины перед народом, каковое чувство сегодня есть «несомненный атавизм»; впрочем, атавизмом является и сама интеллигенция — нация в нации, чья жизнь искусственно продлевается «внеклассным чтением русской литературы». Но конец близок: ныне она сливается с народом; подобный процесс уже свершился в Англии, где джентльмены растворились в общей массе нации, и чем быстрее он завершится у нас, тем будет лучше для всех и в первую очередь для самой интеллигенции (Г. Чхартишвили, «Писатель и самоубийство» / М., 1999/).

Можно было б привлечь и других, не менее уважаемых авторов — но, наверное, довольно и изложенного. Теперь пришла пора разобраться с тем, какой, собственно, пафос питает призывы скорее расстаться с прежними, выра-

² До конца этого года «Новый мир» предполагает опубликовать новый роман Б. Акунина. (Примеч. ред.)

ботанными диктатурой представлениями, переключиться с «мы» на «я», уйти из общественной жизни в частную и тихо-спокойно исполнять свои профессиональные обязанности. Иначе говоря — какую социальную роль избирает для себя бывший «творческий интеллигент», кем/чем он хочет стать, перестав быть интеллигентом? Ответ, в общем, понятен: он желает обернуться западным интеллектуалом, который, дескать, и есть собственно *профессионал* — молодой городской или какой там еще. Непонятно только, почему мы решили, будто на Западе профессионал не употребляет слова «мы» и вообще не интересуется ничем, кроме профессии.

В чем состоит их (наша) работа

История свидетельствует: западный писатель (и вообще интеллектуал) всегда активно вмешивался и продолжает вмешиваться в жизнь социума: это очень прочная традиция, ведущая свое начало от античности, когда Аристофан утверждал как нечто само собой разумеющееся, что поэты «разумней и лучше... делают граждан родимой земли» и именно за это их должно «почитать... и венчать похвалою». Конечно, мне могут возразить: то дела давно минувших дней, когда обществу было чрезвычайно далеко до нормальной демократии. И когда Вольтер с Руссо подготавливали Французскую революцию, и когда Диккенс громил безобразия в английских богадельнях, приютах, школах и тюрьмах, и когда Золя кричал: «Я обвиняю» — тогда западное общество все еще нуждалось в писателе-лекаре, а теперь...

Обратимся, значит, ко дню нынешнему. По свидетельству Ромена Гари, «главный отличительный признак американского интеллектуала» есть «комплекс виновности», заставляющий его заниматься разнообразной общественно полезной деятельностью. А в комедии Вуди Аллена «Все говорят, что я люблю тебя» (1996) этот самый «комплекс» фигурирует в качестве расхожего штампа, детали конструктора, из которого складывается пародийная история про «типичных представителей» американской культурной элиты. Можно также считать, как определяет социальную роль интеллигенции знаменитый постмодернист Умберто Эко, чьи «Пять эссе на темы морали» были недавно опубликованы по-русски: «Свобода и Освобождение — наша работа. Она не кончается никогда»; «С нетерпимостью надо бороться у самых ее основ, неуклонным усилием воспитания, начиная с самого нежного детства, прежде чем она отольется в некую книгу и прежде чем она превратится в поведенческую корку, непробиваемо толстую и твердую», — «именно тут наша работа».

И надо заметить, небезуспешная: все перехлесты политкорректности не могут заслонить того чрезвычайно радостного обстоятельства, что в Европе и Америке расизм если не вовсе изжит, то поставлен вне закона. Тогда как у нас он процветает; да и других безобразий более чем достаточно — работы то есть надолго хватит. Собственно, единственный признак «выздоровления», который можно обнаружить в нашей жизни, — как раз свобода слова. Правда, мы уже вспоминали про ее нерезультативность — но это другой вопрос: кто сказал, что все должно получаться сразу?

А рядом встает еще один, куда более интересный вопрос: откуда, собственно, появилось привычное противопоставление российской интеллигенции и западных интеллектуалов? Положим, в его пользу свидетельствует язык: само слово «интеллигенция» появилось на российской почве, взяв свое значение из русской жизни; да и в классической европейской словесности практически отсутствует образ интеллигента, взваливающего на свои плечи всю боль мира — или хотя бы народа, тогда как в русской классике этот типаж распространен не менее, чем байронические отщепенцы. Как сие понимать?

Боюсь, что загадка разъясняется просто: именно тем, что интеллигенция и вообще «гражданское общество» появились в России много позже, чем в Европе, — но уж когда появились, тогда развитие пошло с ошеломляющей стремительностью. И чрезвычайная концентрация всех гуманитарных процессов,

естественно, нашла отражение в словесности, в это же самое время переживавшей такой фантастический взлет, равного которому не было, пожалуй, нигде и никогда. В результате возник российский литературоцентризм — сумма или, быть может, произведение взаимопротиводействующих факторов (высоких запросов продвинутой интеллигенции и отсталой социальной структуры), в итоге чего полем борьбы за совершенствование социума стали главным образом *тексты*.

Характерно, что интеллигент в них, как правило, оказывался жертвой — системы либо же собственного безволия, — и это было значимой трагической темой. Спивающиеся или сданные полиции ходоки в народ, не умеющий отстоять свою любовь Рудин, герои Чехова — попавший в палату № 6 доктор Рагин, так и не уехавшие в Москву три сестры, превратившийся в обывателя Ионыч, отчаявшийся учитель словесности и многие, многие другие — демонстрируют читателю все возможные варианты жизненного поражения. Да и в реальной жизни интеллигенты терпели поражение — поскольку не могли исправить действительность.

Впрочем, на рубеже веков прогрессивная общественность достигла-таки определенных успехов в борьбе с социальной несправедливостью, произволом и проч. (для примера вспомним антисемитское дело Бейлиса, оправданного благодаря публичной кампании, начатой Короленко). Но известные события 1917-го надолго отбросили страну ко временам ига, и лишь в конце 50-х — начале 60-х началось возрождение традиции. И, может быть, именно по причине ее недостаточной укорененности, подавленности, прерванности она так легко уступила очередному давлению обстоятельств.

А на Западе она никогда не прерывалась и потому оказалась как бы более разреженной, зато свободной от надрыва и аффектации, стойкой и уверенной. Вспомним: еще в 50-е годы в литературе действовал принцип «ангажированности», Альбер Камю в «шведской речи» призывал писателей сеять разумное, доброе, вечное и говорил, что «свобода творчества недорого стоит, когда она имеет лишь одну цель — обеспечить удобство художнику»; а французская публикация «Слепящей тьмы» Артура Кёстлера, как считается, послужила одной из причин того, что коммунисты проиграли выборы... И только теперь, когда словесность поставила форму над содержанием, признала достоинства неудобочитаемости и скуку, отгородилась от нормального человеческого интереса — в общем, ушла в «зону равнодушия», — «местом работы» интеллигента стали уже не книжные страницы, но исключительно газетные полосы.

А у нас произошло некое смещение понятий: мы соединили безразличие как принцип существования в искусстве, действительно ныне характерный для всего мира, и наше собственное растущее равнодушие к гуманитарной проблематике. И виной тому (отчасти) наша историческая память и порожденное ею сознание, в котором две основы интеллигентской работы — общественное и художественное служение — смешались, слиплись, срослись до неразличимости и неразрывности. Отвергая привычку пробуждать «чувства добрые» через искусство, бывший интеллигент отвергает ее вообще, в целом. И считает, что таким образом приближается к нормативному для него способу существования западного интеллектуала, у которого данные сферы деятельности как раз успешно дистанцировались. Характерно, что подобная адаптация чужих образцов совершается в нашей истории не впервые: когда царь Петр прорубил окно в Европу, радиус обзора был столь мал, а культурные традиции вели к такому искажающему восприятию, что в течение десятилетий русский европеизм куда как далеко отстоял от оригинала; недаром и класс интеллектуалов — или интеллигентов — возник отнюдь не в Петровскую эпоху.

Нынче интеграция происходит, разумеется, быстрее — не зря же планета живет в едином информационном поле. Но наличие информации — не более чем необходимая основа для усвоения информации; подозреваю, что наши интеллектуалы просто не хотят усвоить, что западные на самом деле являются интеллигенцией. Во-первых, сознание исключительности нашего интеллигент-

ского прошлого помогает против комплекса национальной неполноценности, который так или иначе — пусть даже в форме комплекса сверхполноценности — присутствует в ментальности россиян. (Забавная деталь: успешный транснациональный предприниматель Сергей Кугушев, отрекомендованный деловым журналом «Эксперт» еще и как философ, говорит в интервью, что Россия имеет «единственный шанс — превратить США в наш финансовый придаток, а остальной мир в наш технологический придаток». И это вполне осуществимо, потому как, делая бизнес в Америке, «транснациональные русские» убедились, «что они умнее и способнее американцев».) Во-вторых, «чувство вины» и прочие интеллигентские штучки вроде как мешают реализации светлой мечты о «нормальной» — то бишь комфортной и спокойной — жизни. Понятно: мы устали — невозможно же так долго существовать в экстремальных обстоятельствах. Но интеллигент на то и интеллигент, чтобы уметь обосновывать собственную деятельность — или бездеятельность. Что и происходит: подыскивая оправдания своей апатии, он находит — а вернее, выдумывает — образец для подражания: западного коллегу, занятого единственно заботами профессии. Боюсь, однако, что эта новомодная мифологема направлена скорее против заявленной мечты: бросив на половине (в лучшем случае) свою работу по «освобождению» и затеяв работу по развенчанию интеллигенции, мы сможем только углубить пропасть национально-идеологического кризиса. Может быть, и не очень сильно — кто нас сегодня слушает, в самом-то деле? — но все же, все же...



П Р Е М И Я

А. СОЛЖЕНИЦЫН

*

СЛОВО ПРИ ВРУЧЕНИИ ПРЕМИИ СОЛЖЕНИЦЫНА ВАЛЕНТИНУ РАСПУТИНУ 4 мая 2000

На рубеже 70-х и в 70-е годы в советской литературе произошёл не сразу замеченный, беззвучный переворот без мятежа, без тени диссидентского вызова. Ничего не свергая и не взрывая декларативно, большая группа писателей стала писать так, как если бы никакого «соцреализма» не было объявлено и диктовано, — нейтрализуя его немо, стала писать *в простоте*, без какого-либо угождения, каждения советскому режиму, как позабыв о нём. В большой доле материал этих писателей был — деревенская жизнь, и сами они выходцы из деревни, от этого (а отчасти и от снисходительного самодовольства культурного круга, и не без зависти к удавшейся вдруг чистоте нового движения) эту группу стали звать *деревенщиками*. А правильно было бы назвать их *нравственниками* — ибо суть их литературного переворота была возрождение традиционной нравственности, а сокрушённая вымирающая деревня была лишь естественной, наглядной предметностью.

Едва ли не половину этой писательской группы мы теперь уже схоронили безвременно: Василия Шукшина, Александра Яшина, Бориса Можая, Владимира Солоухина, Фёдора Абрамова, Георгия Семёнова. Но часть их ещё жива и ждёт нашей благодарной признательности. Первый среди них — Валентин Распутин.

Валентин Распутин появился в литературе в конце 60-х, но заметно выделился в 1974 внезапностью темы — дезертирством, — до того запрещённой и замолчанной, и внезапностью трактовки её.

В общем-то, в Советском Союзе в войну дезертиров были тысячи, даже десятки тысяч, и пересидевших в укрытии от первого дня войны до последнего, о чём наша история сумела смолчать, знал лишь уголовный кодекс да амнистия 7 июля 1945 года. Но в отблесченной советской литературе немислимо было вымолвить даже полслова понимающего, а тем более сочувственного к дезертиру. Распутин — переступил этот запрет. Правда, и представил нам случай гораздо сложнее: заслуженный воин всю войну, три ранения, последнее особенно тяжёлое, и госпиталь в Сибири неподалеку от родных ангарских мест; других в таком виде демобилизуют или хотя бы в краткий отпуск, нашего героя — нет. А война — явно при конце, тут особенно обидна ему смерть — и он дрогнул. Тайком вернулся в окрестности своей деревни, даже родителям не открылся, только жене Настасье.

Она помогает ему таиться, через Ангару скрывно перебирается то в зимнюю мятель, то, потом, по открытой воде. Ошеломлена его побегом, но всё делает для его жизни. Изворачивается в сокрытии перед родными и окружающими. До войны прожили 4 года — не было ребёнка, и вдруг теперь она зачала. Для него — это высшая радость: «теперь... хоть завтра в землю!», «да разве есть во всём белом свете такая вина, чтоб не покрылась им, нашим ребёнком?!» (Невозможнейшая фраза на советских страницах!) Для Настёны — догружается неизбежность раскрыва беременности и позора. Сюжет складывает-

ся не из издуманных поворотов, а из простых жизненных обстоятельств, как они естественно текут. Повествование не спешит, оно просочено сибирской натурой, — а события развиваются плотно. В центре всех напряжений — Настёна. Оттенки страхов, надежд, нарастающих мучений — совсем не литературными приёмами вылепляют нам яркий женский образ. Сверховь выгоняет Настёну из дому, в деревне кто любопытствует, кто насмехается, — Настёна теряет чёткость чувств и мыслей, у неё нарастает ощущение неотвратимости беды. «Казалось — это последний день, что ей ещё можно быть с людьми». У властей возникают подозрения о дезертире, Настёна мечется предупредить мужа об угрозе, за ней и по ночной реке следят в лодках — и чтоб не выдать пребывания мужа и облегчением от невыносимого состояния — она утопляется в Ангаре, вместе с нерождённой, так желаемой, жизнью.

В повести малыми средствами выставлен нам ещё десяток характеров — и вся заброшенная сибирская деревня, где скудный вдовий праздник окончания войны — щемит, посильнее батальных сцен у других авторов. В густоющем мраке находится место и просветлённому лучу — извечной крестьянской трудовой радости сенокоса, без него была бы и Настасья неполна: она

любила ещё до солнца выйти по росе, встать у края деляны, опустив литовку к земле, и первым пробным взмахом пронести её сквозь траву, а затем махать и махать, всем телом ощущая сочную взывнь ссекаемой зелени. Любила стоялый, стонущий хруст послеобеденной косьбы, когда ещё не сошла жара и лениво, упористо расходятся после отдыха руки, но расходятся, набирают пылу, увлекаются и забывают, что делают они работу, а не творят забаву; весёлой, зудливой страстью загорается душа — и вот уже идёшь не помня себя, с игривым подстёгом смахивая траву, и кажется, будто вонзаешься, ввинчиваешься взмах за взмахом во что-то забытое, утаенно-родное. Любила даже гребь по мёртвой жаре, когда сухо и ломко шебуршит сонное разнотравье; любила спорое, с оглядкой на небо и вечер, пока не отошло сено, копненье.

Через два года после «Живи и помни» Распутин издаёт своё сильнейшее произведение — «Прощание с Матёрой». Это прежде всего — смена масштаба: не частный человеческий эпизод, а крупное народное бедствие — не именно одного затопляемого, обжитого веками острова, но грандиозный символ уничтожения народной жизни. И даже ещё огромней: какой-то неведомый поворот, сотрясение — расставание и для нас всех. Распутин — из тех прозорливцев, которому приоткрываются слои бытия, не всем доступные и не называемые им прямыми словами.

От первой страницы повести мы застаём деревню уже обречённой к уничтожению — и сквозь повесть это настроение нарастает, звучит как реквием — и голосами народа, и голосами самой природы и человеческой памяти, как она сопротивляется своей кончине. Пронзительно нарастает прощание с островом, растянутое умирание, режущее сердце.

Вся ткань повести — широкий поток народного поэтического восприятия. (На её протяжении изумительно описаны, например, разные характеры дождей.) Сколько чувств — о родной земле, её вечности. Полнота природы — и живейший диалог, звук, речь, точные слова. И — настоящий у автора мотив:

Раньше совесть сильно различали. Ежели кто норовил без её — сразу заметно. А теперь — холера разберёт, всё смешалось в одну кучу — что то, что другое. Мы теперь так и этак не своим ходом живём. Люди про своё место под Богом забыли.

Пришли пожогщики, «набежники из совхоза», и жгут одно за другим, что пугает. Гигантское царь-дерево Листвень, отметный знак всего острова, — только он оказался неповалимый и несжигаемый. Сжигают — «мельницу христовенькую, сколько хлебушка нам перемолола». Вот — часть домов уже сожжена, а остальные «как вжались в землю от страха». Последняя вспышка

прежней жизни — дружная пора сенокоса, любимая деревенская пора. «Все мы — свой народ, из одной Ангары воду пили». А теперь это сено — через Ангару, и скирдовать около многоэтажных неживых домов для неприютных коров, обречённых под нож. Прощание с деревней, растянутое во времени, одни уже переехали и приезжают навещать остров, другие — держатся на месте до последнего. Прощаются с могилами родных, пожогщики дико налетают на кладбище, стаскивают в кучу кресты и жгут. Старуха Дарья, готовясь к неизбежному сожжению своей избы, — белит её насвежо, моет полы и набрасывает на пол травы, как под Троицу: «Сколько тут хожено, сколько топтано». Для неё отдать избы — «как покойника в гроб кладут». А заезжий внук Дарьи — отчуждён, беспечен к смыслу жизни, уже давно оторван от деревни. Дарья ему: «В ком душа, в том и Бог, парень». «А что душу свою потратили — вам и дела нету». — Теперь узнаётся: изба, если её не трогать, сама по себе горит два часа — но ещё многие дни тоскливо курится потом. А и после сожженья избы — Дарья не в силах уехать с острова, ещё с двумя-тремя старухами ютится в негодном бараке. И так — перепущен срок отъезда. Сына Дарьи на катере посылают ночью снять стариков — а тут налегает такой густой туман, какого в жизни они не видели, и найти на Ангаре знакомый остров уже не могут. Этим и оканчивается повесть — грозным символом как бы нереальности нашего бытия: существуем ли мы вообще?

Просветы метафизических сил ощущаются и в некоторых рассказах Распутина, — «Что передать вороне»:

Небо и земля — что из них вопрос и что ответ? Мы можем, из последних сил подступив, лишь замереть в бессилии перед неизъяснимостью наших понятий и недоступностью соседних пределов.

Или в «Наташе» — загадочном рассказе об ангеле-хранителе.

Символична и повесть «Пожар», девятью годами позже «Матёры», — и как в прямое продолжение к ней: дальнейшая судьба людей, насильно оторванных затоплением от своего прежнего коренного бытия и на бессмысленную уничтожительную работу — валку и валку лесов, без заботы о подросте новых.

Однако сам пожар описан вовсе не символично, не с литературной красотой, а с реальными подробностями развития пламени в разных местах здания и на разных этапах горения, — автор подробно видит и передаёт нам детали; это — взгляд и художника, но и знатока пожарного дела. Таких адекватных описаний хода пожара я в русской литературе не знаю. Надо побывать там, чтоб это узнать: «казалось, горел даже дым, которым приходилось дышать». И эти сдвиги в сознании людей в захвате пожарной работы — до полной потери реальности, даже понимания, откуда куда бежит или что делает.

Сквозь этот ревуший огонь звучит трубный голос народного горя, — в продленье того необратимого расставания нашего с разумным бытием.

На этом пожаре, несомненном поджоге: одни жертвенно спасают гибнущее, другие — всё больше воруют сполупно, а третьи — неназванные и невидимые, получают главный доход от поджога. В перемежных с пожаром главах — видим общий рост бессовестности и воровства, скудеющий остаток добросовестных людей. «Сама земля уходит из-под ног».

И — торжествующее, наступающее на общую жизнь новое племя — всё те же пожогщики, знающие лишь одно уничтожение, теперь — «архаровцы», ненаказуемые уголовники на просторах страны. «Вечная тоска в глазах: куда? зачем?» — сами не знают. «Вредят всякому, кто твердит о совести». Для них «что было нельзя — стало можно, считалось за смертный грех — почитается за ловкость». — «И как получилось, что сдались мы на их милость?»

Повесть вышла в свет в 1985-м, пронизательно показывая, какую полууголовной наша страна была к началу Перестройки, — какую вся эта шваль вот-вот разнерётся господами нашей жизни.

Вослед «Пожару» цепочка рассказов Распутина протянулась и в новейшее время, отражая и новые виды лютости жизни. «Изба» — как живое существо, принявшее душу своей обиталицы-подвижницы. — «Нежданно-негаданно». — «Новая профессия».

Выделим гнетущий рассказ большой силы «В ту же землю» (1995). На окраине микрорайона города, в котором воздух, растительная и человеческая жизнь необратимо отравлены заводскими выпусками фтора, живёт одинокая Пашута. Последняя из сестёр, трое умерли, она взяла к себе из деревни уже беспомощную мать. У самой-то «не оконеченшее до конца тело выгибается в поясище с сухим треском — будто косточки ломает». А мать — «оттолкнулась последним вздохом», вот умирает; и «такой покой был на её лице, будто ни одного, даже маленького дела она не оставила неоконченным». И — как хоронить? В деревне бы — куда как просто. А здесь первое: все цены теперь вскружились в десятки и десятки раз, нечего и думать купить гроб. А ещё главней: мать не прописана здесь и никто не выпишет ей свидетельства о смерти; а без свидетельства — не похоронишь. Конечно, за деньги можно получить всё — но денег-то и нет. «Время настало такое провальное: все кругом, все никому не нужны», всё, что питает добро, пошло на свалку, «жизнь открылась сплошной раной».

Не только стало нельзя жить, но у нас отняли и сокровенное, священное право — мирно отдать прах матери-земле.

О гробе — Пашута просит работягу, в прошлом близкого ей человека. Но где и как хоронить без дозволения? «Если всё от начала до конца пошло не так, то по нетаку и это — так». На окраине микрорайона — свалка, пустырь, он «захламлён, набит стеклом, завален банками и пакетами»; но и дальше пустыря — «зачернён кострищами, затоптан, загажен и ближний к городу лес». Даже за тем ещё б отодвинуться дальше, но ведь так, «чтоб добираться же к могиле уже неходящими ногами». Спутник Пашуты помогает ей найти сухую полянку дальше в лесу. Однако: запретные похороны надо и провести тайно — значит, ночью, и выкопать могилу, и беззвучно же вынести гроб — «телоприимную обитель» — по лестнице общего дома, и везти до места. Уже на рассвете закопали, под первым снежком, как бы «дарующим прощение за незаконные действия». На лице у пашутиного друга «странная и страшная улыбка — изломанно-скорбная, похожая на шрам, с отпечатлевшегося где-то глубоко в небе образа обманутого мира».

Помимо художественных произведений у Распутина есть замечательные сибирские очерки — об Алтае, Лене и Русском Устье — легендарном поселении на берегу Ледовитого океана, где колония новгородцев сохранила до нашего несчастного XX века — неповреждённые с XVI века язык и обычаи. Если вспомнить тут и Байкал, и Ангару — Распутин выступает нам как уникальный певец Сибири и среди самых стойких защитников её.

И — органичнее черты его творчества: во всём написанном Распутин существует как бы не сам по себе, а в безраздельном слитии:

- с русской природой и
- с русским языком.

Природа у него — не цепь картин, не материал для метафор, — писатель натурально сжит с нею, пропитан ею как часть её. Он — не описывает природу, а говорит её голосом, передаёт её нутряно, тому множество примеров, здесь их не привести. Драгоценное качество, особенно для нас, всё более теряющих живительную связь с природой.

Подобно тому — и с языком. Распутин — не пользователь языка, а сам — живая произвольная струя языка. Он — не ищет слов, не подбирает их, — он льётся с ними в одном потоке. Объёмность его русского языка — редкая среди нынешних писателей. В «Словарь языкового расширения» я от Распутина не мог включить и сороковой части его ярких, метких слов.

А если надо всем сказанным здесь мы не упустим и такие качества Валентина Распутина, как сосредоточенное углубление в суть вещей, чуткую совесть и ненавязчивое целомудрие, столь редкое в наши дни, то изо всего и составится образ писателя, которому наше жюри вручает сегодня премию — с самым радушным чувством.



ВНИЗ ПО ЛЕСТНИЦЕ, ВЕДУЩЕЙ ВНИЗ

Михаил Шишкин. Взятие Измаила. — «Знамя», 1999, № 10 — 12.

Роман Михаила Шишкина «Взятие Измаила», печатавшийся в последних номерах «Знамени» за прошлый год, сразу же удостоился премии «Глобус», которую назначает Библиотека иностранной литературы. Номинация этой награды формулируется так: «За произведение, способствующее сближению народов и культур». Объявляя о присуждении премии (отсутствующему на церемонии) Шишкину, директор ВГБИЛ Екатерина Гениева, помянув новатора в области художественного пространства Джойса и новатора в области системы персонажей Набокова (что подводило, надо думать, к осознанию уровня достижений нового лауреата), сказала, что Михаил Шишкин открыл способ ввести героя русской литературы в художественную систему литературы мировой.

Понятно, что не стоит искать *слишком строгих* формулировок в текстах «премиальных» речей — не та у них задача. Однако столь многообещающий аванс все-таки подталкивает к особо внимательному чтению премированного романа, где «сближение народов и культур», если верить вышеприведенному отзыву, нашло не просто какое-нибудь прикладное, а прямо-таки *методологическое* выражение.

Михаил Шишкин, давно проживающий в Цюрихе (что, вероятно, благоприятствует его успехам на культуропроникновенной стезе), уже имеет репутацию тонкого знатока языка и изысканного стилиста. Первую славу принесла ему повесть «Уроки каллиграфии», где персонажи носили по второму, так сказать, сроку имена на лиц, проживших свою литературную жизнь на страницах русских романов XIX века. Затем вышел его роман «Всех ожидает одна ночь», где Шишкин «самодостаточно» симитировал не персоналии, а дух русской классики, создав филигранно стилизованный текст, рассчитанный на эффект «ложного узнавания». Уже тогда было ясно, что Шишкин — действительно талантливый человек с превосходным языковым слухом. Если сравнить популярный «Хоровод» Антона Уткина, который попытался втиснуться в нишу, занятую до него Шишкиным, с «Всех ожидает одна ночь», то тут как раз будет заметна разница уровней исполнения: Шишкин без всякой натуги находит безупречно точные слова, тогда как Уткин не раз дает петуха, что в деле стилизации особенно досадно. Другой «мэтр стилизации», Владимир Сорокин, попытавшись сыграть на том же поле (имеется в виду его роман «Роман», основной корпус которого симулирует русский классический дискурс), тоже показал себя не лучшим образом, допуская не только языковые, но и фактологические неточности. Пальма первенства в этой специфической и узконаправленной сфере деятельности остается за Михаилом Шишкиным.

Единственный, но при этом довольно серьезный упрек, который можно бы предъявить автору «Ночи», так это то, что роман — при удивительном совершенстве формы — оказался довольно скудным по содержанию. Искусно сделанная шкатулочка была почти пуста — и это обратная сторона приема, направляющего читателя в сторону дежа вю. Возникает эффект старого полузабытого сна: смутно знакомые имена, эпизоды, до боли знакомый интонационный строй... Конечно, эта знакомость сначала страшно «приближает» любителя классики к шишкинскому тексту, но затем наступает реакция — если все это уже выходило когда-то на сцену, так не лучше ли полюбоваться на дорогие лица в оригинале, чем довольствоваться, хотя и мастерски исполненными, копиями?

Хотелось надеяться, что, убедившись в своих *графических* возможностях, автор возьмется теперь за что-то действительно значительное — прежде всего в содержательном плане, где замечательными словами будет высказано что-то новое, незнакомое, не привязанное к демонстрации одного лишь *искусства каллиграфии*.

Но вышло иначе. Проверив свои силы в имитации духа и плоти чужого текста и убедившись, что Господь его талантом не обидел, Михаил Шишкин рискнул на

более масштабный эксперимент, но дислоцированный все на той же тесной лабораторной площадке. Роман «Взятие Измаила» — это роман языковых пластов, которые сталкиваются или сливаются друг с другом, это роман языковой стихии, задавившей собой все — прежде всего сам *смысл* текста. «Мы — лишь форма существования слов, — говорит один персонаж „Взятия Измаила“ другому. — Язык является одновременно творцом и телом всего сущего». И как же он прав в этом самоопределении!

Возможно (даже наверняка так), что сам Михаил Шишкин ставил себе задачу несколько иначе — но первое (и, надо сказать, последнее) впечатление от структуры «Взятия Измаила» — это хаос. Сюжета — в обыкновенном понимании — в нем нет. Есть отдельные, не сочетающиеся между собой фрагменты *разных* текстов, есть несколько, опять-таки разных, не связанных между собой линий — притом начатых как бы с полуслова и на полуслове же оборванных. Повторюсь: *вероятно*, автор полагал написать симфонию (хоть и в модернистском духе), где эти куски и линии должны были перекликаться между собой, сливаясь в единую наполненную смыслом мелодию. Но вышло скорее подобие какофонии, когда каждый голос, сколь сладкозвучен бы он ни был, никак не желает сочетаться с другим. Если продолжить сравнение, роман Шишкина напоминает что-то вроде рабочего момента в коридоре консерватории, куда доносятся звуки из разных классов, в каждом из которых идет свой независимый урок. Мы слышим обрывки упражнений и вокализов, кто-то невидимый демонстрирует школу беглости, другой — столь же для нас бесплотный — репетирует арию, третий раз за разом отрабатывает оглушительный удар литавр. Узнать в этом шуме музыку затруднительно, хотя возглавляющий учебное заведение ректор будет настаивать, что обеспечить именно такую задачу — то есть идущий своим чередом учебный процесс — он считает своим первым долгом и от души доволен результатом.

Весьма возможно, что Михаил Шишкин результатом тоже доволен, но читать «Взятие Измаила» человеку, не чересчур озабоченному *сближением народов и культур*, откровенно говоря, удовольствия мало. Во-первых, все-таки хочется какой-нибудь логики. Если в тексте присутствуют персонажи, человек, читающий текст, даже помимо своей воли ожидает, что происходящие с ними события, иные из которых описываются автором с удивительной подробностью, будут иметь какой-то смысл и в пределах текста найдут свое объяснение. Но какое объяснение могут найти события, если вниманию предлагается заведомый фрагмент без начала и без конца? Да еще если этих фрагментов не один и не два, а добрый десяток?

Человеческая память, между прочим, тоже имеет ограничения. Она отсекает нераспознаваемую и неструктурируемую стихию. В результате читающий сталкивается с невыполнимой задачей: для полноценного восприятия текста требуется хоть приблизительно помнить, о чем шла речь в предыдущих частях, а запомнить это совершенно невозможно. Если же добросовестности ради начать возвращаться к прочитанному, то из памяти ускользает, наоборот, то, что читал в последний момент. Пытаясь добиться полифонии, актуализируя эту полифонию как основу повествования и расширяя ее до бесконечности, Шишкин — в силу переусложненности — свел текст к «монологу», тому, который звучит в данный момент, *здесь и сейчас*, забывая собой все остальные уплывающие из сознания голоса.

«Взятие Измаила» начинается как лекция (очень характерно, что помечена она номером семь — практически еще *до начала* повествования автор постулирует свой художественный принцип — разрозненности и незавершенности). Лекция на тему криминалистики имеет несомненные временные характеристики — время действия опять XIX век (вторая половина). Заметим к слову, что Шишкин никогда не оперирует датами — время реализуется у него в особенностях речи, и в этом смысле он действительно добивается убедительного результата. Во-первых, он демонстрирует (и доказывает), что язык (и соответственно сознание) есть строжайший эталон для измерения временных сдвигов, точнее хронометра и календаря маркирующий смену эпохи. Во-вторых, он возводит феномен языка вообще на уровень глобальной системы, включающей в себя реальность на правах *одного из компонентов*, который существует лишь постольку, поскольку язык позволит ему реализоваться в каждый данный момент.

Последнее обстоятельство Шишкин подчеркивает в своем романе бесконечными временными «передержками», когда персонаж, точно ступив в изобретенную фантастами временную трещину, в следующем абзаце оказывается не просто в обстоятельствах совершенно другой эпохи (допустим, советской), но в совершенно другой языковой среде, моментально соскальзывая в этот речевой слой, владение которым ему, только что говорившему языком Чехова, дается без всякого видимого усилия.

Возможно, что при гораздо меньшем объеме текста эти языковые эксперименты увенчались бы большим художественным успехом. В том виде, в котором они представлены во «Взятии Измаила», они работают на износ — причем не столько собственный, сколько читательского терпения, изнуренного назойливым повторением одного и того же приема по десятому и сотому разу.

Хотя такой текст вроде бы не предполагает никакой «пронзительности» — слишком отвлеченные задачи ставит себе автор, философствующий с лингвистикой в руках, — однако некоторые фрагменты обнаруживают возможности для ответного сопереживания. Всерьез ли Михаил Шишкин настроен вести эмоциональный диалог с читателем или это тоже элемент демонстрации «каллиграфического» мастерства — вопрос до известной степени открытый. Но не лишне сформулировать некоторые соображения по этому поводу.

Для «чувствительных» эпизодов избрана самая беспроектная тема — дети. Заметим, что даже в рекламном бизнесе не приветствуется привлечение детей к сугубо взрослым сюжетам. Биология думала, что устраивает все наилучшим образом: вид *детеньша* должен вызывать умиление (ради его — детеньша — защиты и блага). Не предусмотрела она только одного — спекуляций на этом умилении. Я не хочу категорично утверждать, что Шишкин именно спекулирует, выводя образ отца, беззаветно любящего свою умственно отсталую дочь, — отца, которому (благодаря стилистическому мастерству Шишкина) удается донести эту самозабвенную любовь — и бесконечное страдание, и отчаяние, и преодолевающее это отчаяние смиренное терпение — до читателя «Измаила». Но само включение *на равных правах* таких эпизодов в общий корпус повествования, целенаправленно отвлеченного от человека вообще и посвященного проблемам синхронизации и диахронизации литературного пространства, где следом за ним может пойти какой-нибудь маловразумительный трактат, имитирующий путевые записки заезжего иностранца или отрывок из справочника по судебной медицине, — само уравнивание этих фрагментов сигнализирует либо об этической индифферентности автора — либо (парадоксально!) о его художественной нечуткости.

Другой фрагмент задает еще больше загадок. В «Измаиле» фигурирует некто «я», от имени которого ведется определенная линия, проходящая — без хронологических перескоков — только по временному отрезку, соответствующему параметрам жизни самого автора. В этой линии «я» теряет сына — восьмилетнего мальчика, которого насмерть сбивает машина. Ближе к финалу романа выясняется фамилия «я» — Шишкин, если не ошибаюсь, звучит где-то и имя. Есть, таким образом, достаточные основания отождествлять этого персонажа с автором текста. Но тогда аргументы, приведенные касательно предыдущего фрагмента, приобретают еще большую остроту. Если Шишкин *действительно* пережил трагедию, которую опять-таки на равных правах с вымышленными и достаточно *игровыми* эпизодами вставил в свой текст, то остается только умолкнуть. Комментировать подобные вещи невозможно. Если же трагедии не было, то как с такими вещами можно *играть*, как вообще можно *вымышлять* что-то подобное, представить невозможно. Повторюсь: эта проблема осталась для меня неразрешимой...

Что же касается премии «Глобус», избравшей своим кумиром на этот год роман Михаила Шишкина «Взятие Измаила», то тут особой загадки нет. Интеграция в западное общество представляет для многих российских людей не просто заманчивую цель, но прямо-таки навязчивую идею. Не касаясь политических и экономических аспектов феномена, остановимся на сфере культуры. Значительная часть современных деятелей в этой области полагает, что полноценное бытие русской культуры, куда, естественно, входит и литература, может осуществляться только в случае ее унификации с образцами и стереотипами, свойственными западноевропейскому культурному пространству.

Современный западный роман в его «интеллектуальной» ипостаси так называемого «послевоенного периода», а в последние десятилетия особенно упорно, следует отходу от исследования окружающего мира для исследования мира в его «вторичном», так сказать, варианте. Популярная в свое время лингвофилософия породила у западных писателей стремление переместить *средство* художественного изображения (то есть язык) на место главного действующего лица, сделав из него *предмет* изображения, вытеснивший — с такими-то тылами — из западного романа все остальное. Современный западноевропейский роман похож в каком-то смысле на наполненный всяческими хитроумными приспособлениями дом без жильцов из рассказа Рея Брэдбери «Будет ласковый дождь». По утрам нежный голос напоминает, что пора вставать, тостер поджаривает хлеб, механизированный гардероб предлагает одежду по погоде. Все идет, как и должно идти, — и все это совершенно бессмысленно, поскольку нет самого главного — тех, ради кого и должна крутиться вся эта бытовая карусель.

Живой человек ушел из западноевропейского романа, точнее, западноевропейский роман отправил этот неудобный, плохо гармонирующий с изящным антуражем и отвлеченными конструкциями *осколок прошлого дискурса* в бессрочный отпуск без содержания, приглашая лишь на эпизодические роли бессловесных статистов. Западный литературный стереотип позволяет актуализироваться в тексте одному лишь человеческому сознанию — авторскому, но при сложившихся обстоятельствах не сказать, чтобы такая реализация была полноценной. Выстроенный по заданным правилам, этот якобы сугубо индивидуальный внутренний мир оказывается уже заранее изрядно унифицированным. Отличаются частности — общий тон остается *общим*.

Современный западный роман не ставит и не решает человеческие проблемы — западному обществу они представляются давно уже решенными. Терпимость ко всему внутри этого общества, отказ любой ценой от страдания, боли и вины — и подгонка всего, что к этому обществу не принадлежит, под его стерилизованные стандарты — вот мировоззренческая основа современной западной культуры. Когда *не болит* и *не стыдно*, в искусстве остается в основном развлекаться — как в примитивных формах (искусство массовое), так и в самых рафинированных (искусство элитарное).

То, что Михаил Шишкин в романе «Взятие Измаила» продемонстрировал глубокое знакомство с западной культурной парадигмой в ее интеллектуальном изводе и художественное ее освоение, — несомненный факт. Так что премия «Глобус» им не то что заслужена, а прямо-таки выстрадана.

Остается единственный вопрос: следует ли русской литературе, достигавшей самых значительных вершин мировой культуры, непременно подстраиваться под очевидно *преходящий*, хотя и пользующийся определенным спросом, мировой стандарт. Тем более, что продукция последних двадцати лет самими же западными интеллектуалами охотно именуется «кризисом культуры». Спрашивается, зачем, точно замороженная крыса, следовать тропой упадка, если можно попробовать какой-то иной путь, пусть даже пока и не вполне различимый в тумане. Не факт, что он куда-нибудь приведет, но факт, что проторенная дорога уже наверняка ведет в довольно тесное и отгороженное от жизни пространство, хотя и оборудованное кондиционером и компьютером, подключенным к всемирной сети.

Мария РЕМИЗОВА.

*

ОГОНЬ БЛЕД

Чарльз Маклин. Страж. Перевод с английского В. Топорова. М., Издательство «Независимая газета», 1999, 416 стр.

Большинство приемов и фабул, которыми располагает масскульт, были в свое время разработаны искусством серьезным, для восприятия трудным. Собственно, задача массового искусства с точки зрения вечности (помимо зарабатывания

прибыли, что никакого значения для вечности не имеет) в том и состоит, чтобы осваивать, делать общедоступными новооткрытые гениями территории. Для любого, кто внимательно смотрел бюджетообильный «Титаник» Кэмерона, очевидны заимствования идей и целых сцен отнюдь не из предыдущих «Титаников», но из чрезвычайно скромного по бюджету фильма Феллини «И корабль плывет», который первым своим зрителям казался вял и темен (Феллини, как всякий гений, мыслит со значительным опережением). Только что изданный в России роман Чарльза Маклина «Страж» (не путать автора с поставщиком бестселлеров Алистером Маклином) выполняет аналогичную задачу — адаптирует применительно к канону психотриллера блестящие и сложные приемы, впервые нащупанные Набоковым в его романе 1961 года «Бледный огонь».

«Страж» издан в той же серии интеллектуальных бестселлеров, что и «Волхв» Фаулза. Я не принадлежу к числу поклонников самого толстого фаулзовского романа, но в случае с Маклином, конечно, труба значительно ниже и дым пожиже. Фаулз куда менее падок на дешевые эффекты, его книга не столь схематична, он замечательный портретист и пейзажист, и кокетливый до кривлянья перевод Б. Кузьминского все-таки далеко не то, что перевод В. Топорова. Тавтологии вроде «хаотического беспорядка»; ляпы типа «эти образы нахлынули на меня навсегда»; комические и позорно часто повторяющиеся фразы: «У меня наступила эрекция»; ничем не обусловленные, хотя бы и в научном тексте, кальки вроде «эвентуальный»; совершенно анекдотический «частично выбритый лобок» и неуклюжая «очередная паутина своих измышлений»... Гипнотизер почему-то обращается к герою «низким», а не тихим, приглушенным голосом, хотя «low» в этом контексте любой первокурсник перевел бы именно так. Происходят анатомические чудеса вроде следующих: «В моем горле что-то затикало», «Из глубины моего живота пахло смертельным холодом» (впрочем, последнее — скорее корректорская ошибка). Наконец, стиль дневников героя — вместо того чтобы эволюционировать вместе с его больным сознанием — остается таким же тяжеловесно-описательным, мало чем отличаясь от стилистики медицинских наблюдений его психоаналитика. Подозреваю, что и «Страж» — не самый точный перевод для «Watchet», куда удачнее был бы буквальный «Смотритель», ибо в задачи героя входит не столько охранять некий кристалл, сколько высматривать в небесах знамения. Переводческих перлов не перечесать, но наша рецензия посвящена самому роману, удовольствию от чтения которого было-таки нам изрядно подпорчено. Не станем останавливаться и на предисловии Андрея Бычкова, имеющем целью, вероятно, максимально запугать и запутать посетителя книжного магазина, чтобы он тут же и купил «Стража». За эффект не ручаюсь, ибо выдержано оно в стилистике оккультных журналов с названиями вроде «Эпическая сила».

Тем не менее все эти досадные частности не могут отменить главного достоинства маклиновского романа: он читается с захватывающим интересом, это книга из числа тех, свидание с которыми радостно предвкушаешь после вынужденного перерыва на работу или сон. Маклин мастерски играет лейтмотивами, нагнетает атмосферу истинно готического ужаса, а что временами впадает в дурновкусие и банальщину, так у него есть замечательное оправдание: большинство кошмаров возникает в подсознании специалиста по компьютерам, и потому во всех его видениях ощущается изрядный привкус игры-квеста или сказки в духе фэнтези (любимый жанр программистов, равно презирающих реальность и реализм). Текст оснащен приманками и обманками, как сайка изюмом. Но, восхищаясь техникой английского романиста, не устаешь с приятным чувством национальной гордости узнавать за всем этим придумки романиста российского, хоть и написавшего самый свой остроумный роман на неродном языке.

Поклонников у «Бледного огня» не много. В России это связано с тем, что наиболее широко здесь издан не скромный перевод Веры Набоковой, а чрезвычайно тяжеловесная версия С. Ильина, который вдобавок, без всяких на то оснований, почел себя в силах перевести стихами сложнейшую поэму, составляющую стержень набоковского романа. И это при том, что поэма была уже виртуозно и точно переведена в Петербурге А. Шарымовым и обнародована «Авророй». Но и в оригинале «Бледный огонь» — не самое легкое чтение, никогда еще Набоков не

разрабатывал формы столь редкой и фабулы столь прихотливой. «Pale Fire» заду­мывался как компенсация главной набоковской литературной травмы — незавер­шенного русского романа, две главы из которого — «Ultima Thule» и «Solus Rex» — обещали одну из лучших книг двадцатого века. И как тот роман 1940 года должен был изумить и восхитить поклонников Сирина, показав им его истинные возмож­ности, так и новая американская книга Набокова должна была потрясти его чита­телей, хотя бы из среды университетской Америки. Никогда еще набоковская Зо­рландия, намеченная в «Подвиге», гротескно и яростно обрисованная в «Bend Sinister», бегло очерченная в незаконченном романе, не была так поэтична и одно­временно так убедительна, как в «Бледном огне», где ее зовут Земблей. Но глав­ное — Набоков первым научился так балансировать на грани реальности и галлю­цинации, как это удалось ему еще в «Приглашении на казнь». И как у читателей «Приглашения» никогда не будет одинакового ответа, казнен Цинциннат или нет (с равным строго дозированным количеством аргументов в пользу каждой версии), так и у поклонников «Бледного огня» никогда не будет лишнего аргумента в пользу любого из возможных прочтений: либо Джон Шейд скромный американ­ский профессор, жертва случайного убийства, а его сосед Кинбот, русский эмигрант, — обычный параноик. Либо же Кинбот действительно отпрыск царственно­го рода и Шейд, подобно отцу Набокова, погиб, заслоняя его от пуль наемного убийцы. Роман Набокова строится как бесконечный, в десятки раз превышающий по объему саму поэму Шейда комментарий его соседа Кинбота к ней. Шейд в по­эме грустно и сдержанно подводит итоги своей жизни, Кинбот видит в ней за­шифрованную летопись своей. Он не один месяц изводил несчастного американца своими бредовыми рассказами о Зембле, своей выдуманной Родине. Мы-то знаем, что он никакой не земблянский принц Кинбот, а бедный русский беженец Бот­кин, но Шейд делает вид, что слушает. Теперь Кинбот ищет (и находит) в чужом тексте отголоски тех бесед — и главным доказательством его фантастической вер­сии становится то, что Шейда все-таки убили! Набоков умудряется сказать в сво­ем романе не только о неизбежной тоске по Родине и о бесплодной, литературной мифологизации ее. Он высмеивает и американских коллег-профессоров, способ­ных что угодно интерпретировать как угодно. И то, что комментарии постепенно вытесняют литературу, зачастую становясь интереснее. И то, наконец, что всем-то нам, грешным, собственная жизнь и собственный мир заслоняют чужую правду, что всех-то мы понимаем единственно через себя — и потому всякий текст в на­шем сознании светится лишь отраженным светом, лунным «бледным огнем»: соб­ственного его излучения мы не улавливаем, почитая всех нулями, а единицами себя. В известном смысле «Бледный огонь» — не только самый изобретательный и остроумный, но и самый сентиментальный роман Набокова, и единственная его беда — в том, что он получился скучным. Ничего не сделаешь. Форма наукообраз­ного кинботовского комментария диктовала свои законы. Беспрестанно заглядыв­ать в текст поэмы в поисках комментируемой строки или реалии скоро надоеда­ет. Количество отсылок, реалий и многоязычных, тяжеловесных набоковских ка­ламбуров явно рассчитано на то, чтобы удивить снобов из числа коллег.

Нужен был Маклин, чтобы блистательно найденный прием перенести на иную почву и заставить наконец играть всеми красками. Фокус, пуант «Бледного огня» — именно в том, что версия безумца по-своему логичнее реальности. Набо­ков, полагавший, что никакой реальности нет, а есть лишь разные степени при­ближения к ней, наверняка одобрил бы замысел Маклина, в чьем романе герой (тоже параноик) излагает куда более несбыточную, но и куда более связную исто­рию, чем та, которую выстроил его психотерапевт Сомервиль. И Мартин Грегори, уверенный в своей богоизбранности, и врач, не верящий в переселение душ, мог­ли бы привести одинаково убедительные доказательства. Против Грегори свиде­тельствует тот факт, что его записи становятся все бессвязнее, а идея общего заговора против него — все более навязчивой. Но и Сомервиля опровергает целый ряд деталей: откуда Мартин Грегори мог в таких подробностях узнать все о жизни сво­их шестерых предшественников, в которых перевоплощается под гипнозом? Прав­да, детали эти подозрительно напоминают упомянутые квесты, да и сам Мартин время от времени проговаривается: все, мол, было, как в компьютерной игре... Ко-

роче, усвоен главный урок Набокова: никому не давать явного преимущества. Вспомним тончайший, почти шахматный этюд — фабулу «Ultima Thule»: там из Фальтера тоже под гипнозом вытаскивали его тайну, способную убить любого. И если бы не умер на месте итальянец-гипнотизер, которому Фальтер проговорился, то и художник Синеусов, и читатель имели бы все основания заподозрить героя в шарлатанстве. Психиатр и параноик никогда не поймут друг друга, как автор и интерпретатор в «Бледном огне», но если версия параноика опять оказывается куда увлекательнее, то и вреда от нее куда больше: сколько душ невинных загубил!

Главное же (не хочу пересказывать сюжет, чтобы не лишать читателей удовольствия), версия Мартина Грегори привлекательнее уже тем, что предполагает некий вектор, осмысленность истории, предлагает новый, хотя и истинно масс-культурный миф о вечной борьбе добра и зла, света и тьмы, знания и неразумия. Правда, миф этот весьма прямолинейный и плоский, истинно компьютерный, наглядно иллюстрирующий весь вред квестов... но поскольку квесты уже неостановимы, а фэнтези триумфально шествует по планете, не значит ли это, что культура деградирует в преддверии конца времен, который все-таки близок, и тогда Грегори все-таки прав?! Эта-то прелестная обоюдность и составляет главное достоинство романа, и борьба скучного, но гуманного позитивизма с увлекательным, но кровавым мистицизмом проиллюстрирована в нем очень убедительно.

К числу достоинств этой хитрой книги следует отнести и ее замечательную, истинно готическую атмосферу, что большая редкость по нынешним временам. Стивен Кинг, чьи ранние романы были очень хороши, по сравнению с Макклином все-таки приговорила: далеко ему до этой мрачности, даром что в любви к Набокову он признавался неоднократно. В неоконченном романе и в «Бледном огне» преобладают мрачные, болотистые, вересковые пейзажи Севера, еще и лошадь какая-то белая мчится через луг... Мир этот существует только в воображении Синеусова и Кинбота, то-то в нем и туман все время. Мир Грегори очень похож на набоковский: пещеры, роса, водопады, заросли, развалины... Лейтмотив книги — как и лейтмотив истории — неизменен и пугающ: это людской поток, текущий среди развалин, тщетно ищущий спасения от надвигающейся катастрофы. Как называется катастрофа — наводнение, бомбежка, — не важно: следом неизменно наступит чума, гниль, разложение, безумие... и девочку-подростка обязательно убьют... Эта-то система лейтмотивов — полумесяц, кристалл, толпа, тьма, роса, пещера, чума, браслет или лента на запястье, мансарда, лестница, колокол — заставляет предполагать в Маклине серьезного писателя, а не только крепкого профессионала. Чтобы увлекательно изложить историю, достаточно профессионализма, но чтобы насытить ее сложными и поэтичными символами, надо обладать истинным даром Божиим. Это отнюдь не исключает, впрочем, склонности к голливудским, чрезвычайно аляповатым эффектам вроде финального эпизода в церкви, да еще и на колокольне, да еще и внутри гигантского колокола — сцена так и просится в экранизацию; но спасает полная невозможность перенести на экран ту двойственность повествования, которая и составляет смысл романа. Выше всяких похвал способность автора припрятывать важные детали вроде прикосновения к люстре в третьей части или струйки крови на лице соседа в первой главе. Пропускать при чтении даже строку не рекомендуется.

В общем, Маклин делает благое дело — имею в виду, разумеется, не его версию мироздания и даже не исключительную способность напугать читателя, а задачу чисто литературную. Он осваивает и популяризирует открытия, которые без этого остались бы достоянием немногочисленных и самодовольных интеллектуалов. Так упомянутый Стивен Кинг эксплуатирует джойсовскую технику, когда расписывает на несколько абзацев курсивный поток сознания какого-нибудь любимого героя, а то в лучших европейских традициях сочиняет вдруг роман в романе («Мизери»). Так бесчисленные вариации на темы «Мельмота-скитальца», «Эликсиров Сатаны» и «Портрета Дориана Грея» составили костяк современных литературных ужасиков. Так, наконец, Лев Толстой преломился в сочинениях Маргарет Митчелл: Масскульт всегда стоит на плечах гигантов, и в этом нет решительно ничего дурного. Куда бесплоднее и скучнее обратная тенденция — насыщать «серьезную прозу» приемами и фабулами дешевого детектива. Тогда на свет появляются урод-

ливые кентавры вроде книг Умберто Эко, где банальные и легко просчитываемые сюжеты нагружены непропорциональной тяжестью аллюзий, вставных новелл и необязательных сведений.

Увы, в постсоветской литературе прижилась именно эта, вторая, тенденция. Популяризовать и адаптировать достижения наших гениев у нас отчего-то считается занятием неприличным. Любой русский автор, задумай он что-нибудь вроде «Стража», написал бы эту книгу так претенциозно, навьючил бы таким количеством не идущих к делу намеков и цитат, завязал бы такое количество узлов (половину которых впоследствии забыл бы развязать), что куда там Маклину! Александра же Маринина, честный автор масскульта, — увы, недостаточно поэт, чтобы написать такую книгу. Русский интеллектуальный бестселлер — это в лучшем случае Борис Акунин (Г. Чхартишвили), который переносит во вторую половину прошлого века все те же фабулы о мировом заговоре — или чисто «стругацкие» истории о школе-коммуне, в которой растут «продвинутых» детей, в будущем призванных овладеть миром... Задача Маклина — быть увлекательным, коммерчески успешным и при этом остроумно сравнить атеистов и фанатиков по принципу их большей или меньшей опасности для человечества. Задача почти любого русского автора, включая Арбитра-Гурского или Чхартишвили-Акунина, — прежде всего показаться умным и ироничным. Такой автор больше всего стесняется написать бестселлер, поэтому он столько цитирует, вводит в роман персонажей тусовки и вообще играет. Маклин серьезен, иногда чересчур, но в его романе есть пафос истового вопрошания, тревога о мировой загадке. Без этого «Страж», конечно, никогда не стал бы бестселлером. Ибо как серьезной прозе, по замечанию Музиля, необходима примесь беллетристики, так и беллетристика ничего не стоит без примеси серьезности и искренности, без «страха и трепета», без драгоценного сознания непостижимости бытия.

Дмитрий БЫКОВ.

*

ПРОБЛЕМА РЕАЛЬНОГО КОММЕНТАРИЯ: ПОЧТИ ПРАВДА, ПОЧТИ ВСЯ, ДАЛЕЕ — ПО ТЕКСТУ...

В. Катаев. Уже написан Вертер. С. Лушник. Реальный комментарий к повести. — Одесса, «Оптимум», 1999, 232 стр. (Серия Общества «Одесский мемориал». Вып. 8).

Если верить мемуарам Валентина Катаева и воспоминаниям о нем, замысел повести «Уже написан Вертер» вынашивался почти шестьдесят лет. Она планировалась как книга об эпохе, «о времени и о себе». Несколько раз Катаев, казалось бы, принимался за эту книгу, оставлял ее, вновь возвращался.

Так, в январе 1928 года самый авторитетный московский литературный ежемесячник — «Красная новь» — опубликовал повесть Катаева «Отец». Над ней писатель работал с 1922 года, публикуя готовые главы в периодике. Сюжетная основа — история, о которой автор часто вспоминал в беседах с друзьями и журналистами.

Начало 20-х годов, Одесса, голод. Молодой литератор — главный герой повести — несколько месяцев сидит в тюрьме ЧК, ждет допроса. Он вполне аполитичен, и о причинах ареста можно лишь догадываться: то ли причастность к антисоветскому заговору, то ли просто «по подозрению» — бывший студент, бывший офицер времен мировой войны. Смерть близка. Из гаража, что неподалеку от тюрьмы, то и дело доносится стук автомобильного мотора. В гараже расстреливают, а мотор, по мнению чекистов, должен заглушать выстрелы. Почти не заглушает, во всяком случае — для заключенных. Под этот шум они засыпают каждый вечер. Единственный, кто заботится об узнике, кто носит ему передачи и стоит под окнами тюрьмы, — старик отец. Мать умерла давно. Герой повести мечтает, что, если уцелеет, будет всю жизнь заботиться об отце, никогда больше не огорчит его. Наконец узника вызывают к следователю. И отпускают. Похоже, арестовали его по ошибке, перепутали с кем-то. Но герой, выйдя из тюрьмы, вскоре забывает обеща-

ния, что давал себе, видится с отцом изредка. Однажды, вернувшись из журналистской командировки, он узнает, что отец умер, так и не дождавшись встречи с сыном.

Для читателей-современников, особенно одесситов, была очевидна связь повести с биографией автора. Повесть тогда не воспринималась как антисоветская, тем более — просоветская. В ней видели исповедь, признание неискупимой вины перед отцом, покаяние. Что во многом и обеспечило успех.

Почти двадцать лет спустя — в марте 1967 года — «Новый мир» опубликовал повесть «Трава забвения» — «художественную автобиографию», как назвал ее Иракий Андроников. Главы уже печатались в «Известиях» и «Огоньке», но после новомирского издания повесть на десятилетие стала бестселлером. Катаев вспоминал о молодости, о друзьях, о литературной Одессе эпохи Гражданской войны и литературной Москве 20-х годов. Одна из сюжетных линий «Травы забвения» — история смерти отца, чувство вины перед которым все еще мучит героя-повествователя. Она почти цитатно воспроизводит соответствующие фрагменты повести «Отец». Одесская ЧК, тюрьма и гараж тоже описаны в «Траве забвения». Только теперь все это не имеет к герою никакого отношения. В чекистской тюрьме сидят контрреволюционеры, бандиты и спекулянты, их и расстреливают чекисты в гараже. А герой хоть и бывший офицер, но вовсе не аполитичен, он искренне принял революцию, работает в советских изданиях, ездит в журналистские командировки, одесские чекисты и руководители городской администрации — его приятели и хорошие знакомые. В их числе и Сергей Ингулов. Чекист, публицист, тогдашний председатель губкома. Ингулов и предложил писателям актуальнейший политический сюжет — о «девушке из партшколы». В «Траве забвения» он пересказан Катаевым. Комсомолка, «девушка из партшколы» помогла чекистам «ликвидировать опасный контрреволюционный заговор», во главе которого стоял «молодой врангелевский штабс-капитан. И надо было начинать с него. Это было очень трудно. Офицер был чрезвычайно осторожен». Однако штабс-капитан случайно познакомился с девушкой. «Она не знала, кто он. Он не знал, кто она. В Губчека ей объяснили, с кем она познакомилась, и приказали влюбить в себя штабс-капитана. Задание было выполнено с лихвой: она не только влюбила его в себя, но влюбилась сама и не скрыла этого от заведующего секретно-оперативным отделом Губчека». Чекист взял с нее слово довести дело до конца. «Девушка торопила. Она говорила, что больше не может вынести этой пытки». И все же «твердо исполнила свой партийный, революционный долг, ни на минуту не выпуская из виду своего возлюбленного, до тех пор, пока они не были вместе арестованы, сидели рядом в камерах, перестукивались, пересылали записки. Затем он был расстрелян, она освобождена».

«Поэты и поэтессы, — восклицал (по словам Катаева) Ингулов, — вы сумели воспеть любовь Данте и Беатриче, разве вам не постичь трагической любви штабс-капитана и девушки из партшколы?» Если так, то «почему же вы молчите?».

Они конечно же не молчали. Их герои и героини с энтузиазмом отрекались от семьи, убивали или предавали во имя идеи отцов, братьев, сестер, невест, женихов, возлюбленных, мужей, жен и т. д. Сюжеты вроде ингуловского вообще характерны для советской литературы. И не с Ингулова началось. Идея, как известно, древнейшая, да и сам по себе прием обусловлен задачей: величие идеи наилучшим образом оценивается по масштабу принесенной во имя нее жертвы. Однако советские писатели не просто восприняли традицию. Тема предательства во имя идеи, в мировой культуре, что называется, маргинальная, стала центральной в советской. К 50-м годам сложился своего рода культ предательства, культ отречения. Зато в годы хрущевской «оттепели» и брежневского «застоя» накал истерического поклонения всякого рода павликам морозовым несколько снизился. И тогда Катаев осмыслил ингуловский сюжет по-своему.

Да, уверял он читателя, рассказанное Ингуловым действительно случилось. И с «девушкой из партшколы» повествователь был даже лично знаком. И штабс-капитан знал еще до войны, когда тот был гимназистом. А в 1920 году штабс-капитан работал в одном из советских учреждений. И его фамилию повествователь сам прочел в списках расстрелянных заговорщиков, что периодически вывешивались

тогда по городу. Ингулов ничего не сочинил. Но, как выяснилось позже, все было гораздо сложнее.

Во-первых, «девушке из партшколы» отречение от любви едва не стоило рассудка и жизни. Услышав, как штабс-капитана уводят на расстрел, «она легла в угол своей общей камеры и потеряла сознание», очнувшись в больнице, ее несколько лет лечили. И о штабс-капитане она помнила всегда. А за верность революции заплатила не только единственной своей любовью. Намеками, впрочем достаточно прозрачными для советского читателя, сообщалось, что «девушка из партшколы» была репрессирована в 1937 году, прошла сталинские лагеря. Как и чекист, отправивший ее когда-то на задание. Однако оба в итоге были реабилитированы и остались верны идеалам молодости.

Во-вторых, «девушка из партшколы» так и не узнала, что штабс-капитан не был расстрелян. Его фамилию уже внесли в соответствующие списки, но по дороге из тюрьмы в гараж приговоренный бежал. Потом перебрался через границу, антисоветскую деятельность прекратил, даже признал ее ошибочной. Жил в Париже, где и встретил его повествователь чуть ли не сорок лет спустя. О «девушке из партшколы», о той, которой пересылал записки в тюрьме, штабс-капитан забыл. Ему не было известно, что девушка выполняла задание ЧК, он не мог сомневаться в том, что ее расстреляли, кстати, по его вине, но — забыл. Начисто. Вот такая трогательная история. Состоялось жертвоприношение, но жертва уцелела. «Девушка из партшколы» страдала и помнила, и бесстрашный, неподкупный чекист страдал и помнил, а штабс-капитан существовал более или менее благополучно, их пережил и забыл. Даже непонятно, кому больше повезло, кто перед кем больше виноват. Волки почти что сыты, овцы почти что целы. Почти правда...

В 1980 году в июньском номере «Нового мира» была опубликована повесть «Уже написан Вертер». Катаев вернулся к истории жертвоприношения. Но на этот раз решил обойтись без обычных советских «легенд и мифов», написать всю правду. Или — почти всю.

Не было, оказывается, отчаянного врангелевца, хитроумного штабс-капитана, возглавлявшего крупнейшую контрреволюционную организацию. Был гимназист, ушедший в военное училище, юнкер времен мировой войны. Он стал художником, о заговоре толком и не знал. И благородного чекиста тоже не было. Был недавний эсер-боевик, террорист, выбившийся в стражи «революционной законности». И кристальной чистоты комсомолки, пожертвовавшей своей любовью, перенесшей немислительные страдания, не было тоже. Была секретная сотрудница Губчека, так называемая сексотка, в прошлом — горничная, опытная, хладнокровная, жестокая и хитрая особа, по чекистскому заданию познакомившаяся с молодым художником, ставшая его женой. Она следила за мужем, по ее доносу художника и арестовали. А еще был известный писатель, в прошлом — эсер-боевик. Некогда он спас жизнь своему товарищу, который стал чекистским начальником. Именно этого писателя умолила мать арестанта обратиться в ЧК, воспользоваться авторитетом «ветерана революционной борьбы», спасти сына. Писатель выполнил просьбу, едва не поплатившись жизнью. Его прежний товарищ договорился с комендантом, руководившим расстрелами, и тайком отпустил бывшего юнкера. Однако фамилию арестанта уже внесли в список казненных, мать художника прочла этот список, и сын, вернувшись домой, застал ее мертвой. Он бежал из города, но перед этим еще успел встретиться с женой, рассказал о чудесном освобождении. И сексотка вновь донесла на мужа, да заодно на своего начальника и коменданта. Донос поступил к приехавшему из Москвы инспектору. Механизм уничтожения включился, его уже никто не мог остановить. По приказу инспектора в приспомятом гараже были расстреляны под стук мотора и начальник ЧК, и комендант, и сексотка. А художник, чудом избежавший пули, четверть века спустя попал в сталинский лагерь, где и умер.

Даже сейчас не вполне понятно, каким образом Катаеву, благополучнейшему советскому классику, удалось провести повесть сквозь цензурные рогаки. Возможно, это еще когда-нибудь выяснят, но одесский исследователь Сергей Лушик ставил другую задачу: подготовить текстологически корректное, комментированное издание повести «Уже написан Вертер».

Последовательно, скрупулезно, суммируя достижения немногочисленных предшественников, Лушик выстроил фактографическую канву повести. Основываясь на архивных материалах и одесской периодике, он установил, что Катаев удивительно точно — подневно — описал события, имевшие прямое отношение и к его семье, и к семьям его друзей и знакомых.

Так возникла документально подтвержденная версия судьбы прототипа главного героя повести — художника Виктора Федорова, сына популярного в предреволюционные годы писателя Александра Федорова. Именно Александр Федоров был описан Катаевым в «Траве забвения», его автор называл своим первым наставником в литературе. Установлен и прототип чекиста, бывшего эсера, и писателя, спасшего героя повести, и т. п. Установлено также, что не было знаменитого заговора, о котором столько рассказывали мемуаристы из «компетентных органов». Была обычная чекистская провокация, цель которой — не просто уничтожение тех, кого большевики считали потенциально опасными, но и превентивное устрашение всех жителей города. Кстат, участие в заговоре некогда инкриминировали Катаеву и его младшему брату. И освобождением из тюрьмы оба они обязаны хлопотам знакомого литератора.

А еще установлено, что не было и жестокого, но по-своему честного чекиста. Были заурядные убийцы. Кто-то из них дожил до пенсии, кого-то расстреляли, причем не в 1920 году и не за излишнюю гуманность, а много позже — когда и поскольку пришло время менять исполнителей.

В общем, почти все было почти так, как описал Катаев в повести «Уже написан Вертер», только еще проще и страшнее, что и доказывает Сергей Лушик.

Книга, им подготовленная, — результат коллективных многолетних изысканий. Основная текстологическая работа — устранение цензурных купюр и различного рода искажений — выполнена преимущественно наследниками писателя, сверившими прижизненные публикации повести с рукописями. Комментатор указал источники и наиболее важные разночтения. Что же касается собственно «Реального комментария к повести», то его объем (девятнадцать глав) почти в три раза превосходит объем комментируемого текста. Издание снабжено словарем персоналий, справочный аппарат оформлен так, чтобы им было удобно пользоваться не только составителю, но и массовому читателю (в наши дни — редкая деликатность), изобразительные материалы, включенные в книгу, удачно дополняют ее, помогая составить впечатление о «топографии» катаевской повести, своеобразном колорите эпохи, о прототипах героев и ходе работы комментатора.

О достоинствах работы Лушика можно сказать многое, но есть в ней и недостатки.

Прежде всего решается не та задача, что изначально поставлена: «Реальный комментарий к повести» таковым не является. Это скорее фрагменты монографии о творчестве Катаева, монографии весьма интересной, однако монография — другой жанр.

Путаница с жанрами закономерна. Ведь автор убежден, что *реальный комментарий* — это, как он выражается, «расшифровка»: выявление *реальных* событий, на которых основывается писатель, *реальных* лиц, ставших прототипами литературных героев, и т. д. Спору нет, в монографии задачи подобного рода могут быть и главными. Но для реального комментария они разве что факультативны. Реальный комментарий — пояснение *реалий*. Причем не всегда тех, что интересны краеведу. Выявление прототипов уместно здесь постольку, поскольку необходимо для пояснения исторических реалий, не более того. У комментария, опять же, своя — традиционная — структура. Он структурно совпадает с комментируемым текстом. Может быть, структура монографии покажется многим более удобной, но опять же: монография — другой жанр.

Примечательно, что «Реальный комментарий к повести» снабжен вступлением с характерным заглавием «Зачем нужен комментарий?». Отметим, что тем, кому нужно такое объяснять, комментарий не нужен. «Комментарий, — утверждает автор, — не ставит литературоведческих задач анализа стиля и приемов блестящей катаевской прозы, это дело будущих исследователей». Непонятно, почему он так уверен, что литературоведы заняты исключительно анализом «стиля и приемов», а

текстологический, историко-литературный и реальный комментарий — дело не литературоведческое.

К сожалению, не только автор «Реального комментария к повести» запутался в жанрах. Евгений Голубовский, написавший предисловие к рецензируемой книге (малоинформативное), убежден, что «в наше время комментарий стал новым литературным жанром, где история не разрушает прелесть изящной словесности». Почему «новым», почему именно «в наше время», почему, наконец, история должна разрушать эту самую «прелесть» — ему виднее. Тут, как говорится, комментарии излишни.

Впрочем, недостатки здесь не принципиальны. Главное — сделана большая и очень важная работа.

Давид ФЕЛЬДМАН.

*

ОСНОВЫ ИСКУССТВА ЖИТЬ

П. Г. Проценко. Биография епископа Варнавы (Беляева). В небесный Иерусалим. История одного побега. Нижний Новгород, Издательство братства во имя святого князя Александра Невского, 1999, 555 стр., с илл.

Как часто можно слышать завистливо-восхищенное: «Он умеет жить!» — или: «Эх, мне бы так жить!» Или, напротив, осуждающе-возмущенное: дескать, понятно, за чей счет он так живет! За счет нищих пенсионеров, детей-инвалидов, рабочих без зарплаты, крестьян, обманутых в который раз...

Собственно, весь нынешний «выбор России» колеблется между этими двумя векторами, и соответственно выстраиваются общественно-политические направления. Одни говорят об исторической ошибке России в XX веке и проповедуют эвдемонизм, то есть умение «хорошо жить» («как на Западе», «как во всем цивилизованном мире») — сыто, богато, счастливо и т. д. Очевидно, что вожди этого направления, составляющие определенную элиту в бизнесе, политике, культуре, или лукавствуют, или настолько зачерствели душой, что не могут понять простого: стыдно процветать одним на фоне нищеты и деградации остальных, тем более когда эти «остальные» являются большинством населения страны. Стыдно, потому что это этика «сильного», нравственная мерзость.

Другие, ведомые не менее лукавыми вождями, построившими свою политическую стратегию на народной обиде, клянут «воров в законе», жиреющих на развалинах великой страны, вспоминают об утраченных «нравственных ценностях», о патриотизме, о чувстве долга и т. д. И ненавидят (или по крайней мере относятся с подозрением) тех, кто сумел в это грязное и безответственное время хорошо устроиться. Ненавидят до какой-то физической патологии. Один мой собеседник сладострастно заявил мне, что он Чубайса «повесил бы за ноздрю».

Для всякого мыслящего и более или менее совестливого человека очевидна обреченность и первого, и второго пути. Но выпутаться из этого невероятно сложно. Легко сказать: катитесь вы все! Легко объявить о необходимости третьего пути. Но что-то не виден этот третий путь, не сформулирована эта «третья правда». Национальная идея лопнула, как мыльный пузырь, на радость тем, кто вообще отказывает России в праве на культурное и цивилизованное самостоянье. Русская душа бродит в потемках.

В этой ситуации труд (именно труд, а не просто написанная книга) Павла Проценко является почти бесценным. Это завершение пятитомного издания сочинений епископа Варнавы (в миру Николая Никаноровича Беляева; 1887 — 1963), одной из самых загадочных личностей XX века, чей жизненный путь не укладывается ни в одну из знакомых идеологических схем. Биография Варнавы, написанная Проценко на основании автобиографических заметок самого епископа и с привлечением обширного исторического материала, — это книга о том, как можно прожить, сотворив свою жизнь как произведение высочайшего духовного искусства, притом живя в любые времена, не выбирая.

Судьба епископа Варнавы поразительна уже тем, что она серьезно поправляет известную мысль Осипа Мандельштама о «конце романа» как результате конца личности в истории. Да, в традиционном европейском виде роман невозможен, потому что невозможно появление личности наполеоновского типа. (Правда, русская литературная традиция внесла существенные коррективы в этот тип. Однако биография Варнавы до конца не вписывается и в русскую романную традицию. И тем не менее это настоящий роман, восхитительный по своей художественной структуре, по обилию задействованных в нем персонажей, вращающихся вокруг единого центра-героя.) Но кто сказал, что герой романа тот, кто бросает вызов судьбе и либо побеждает, либо, что гораздо вернее, гибнет? Жизнь Варнавы обрушивает это классическое положение. Она показывает удивительную вещь: традиционный романный герой погиб уже в начале своего пути. Живя, он не живет. Потому что надо «уметь жить». Потому что жизнь есть самое сложное из искусств. Искусство «трансцендентного эгоизма».

Впрочем, сам Варнава не очень жаловал сокровенную мысль Конст. Леонтьева о «трансцендентном эгоизме» как способе личного спасения вопреки гнущему во зле миру. Его жизнь не укладывается и в эту жесткую схему. Варнава был монах, но особой породы. Он прямой духовный родственник Тихона Задонского с его «сокровищами, от мира собираемыми», Иоанна Кронштадтского, окормлявшего чуть не половину России, и еще немногих самых светлых и сердечных русских святых. Но и здесь его путь особ и неповторим. Ему нет аналогичных примеров.

Сын простого слесаря из Подмосковья (дед по отцу был крепостным князя Прозоровского-Голицына) и дочери сельского дьякона, Николай Беляев с детства обожал всяческие механизмы, в юности решил стать инженером-путейщиком. В традициях канонического жития он внезапно передумал и поступил в Московскую духовную академию. Павел Проценко, впрочем, весьма убедительно объясняет эту внезапность и мистическими, и родственными влияниями — глубокой религиозностью матери.

Закончив академию, он делает блестящую духовную карьеру: в тридцать с небольшим лет становится викарным епископом в Нижегородской (одной из важнейших) епархии, обласкан Патриархом, окружен преданными духовными детьми, среди которых не только будущие церковные подвижники иеромонахи Руфим и Киприан, но и, например, художник Рафаил Карелин (его отец был европейски знаменитым фотографом, знакомым М. Горького) и известный поэт и критик Борис Садовской (уже больной сифилисом после «серебряновечных» забав во вкусе Михаила Кузмина), во многом обязанный отцу Варнаве своим духовным возрождением...

В Нижегородской губернии многие уже считают его святым, его выделяют старцы Зосимовой пустыни Алексей и Митрофан, к нему с подчеркнутой нежностью относится знаменитая дивеевская блаженная Мария Ивановна, никогда не ошибавшаяся в своих предсказаниях. Такой репутации можно позавидовать.

И завидовали. Например, нижегородский архиепископ Евдоким, назначенный на место расстрелянного большевиками архимандрита Лаврентия. Между Евдокимом и Варнавой возникает негласная брань, осложняемая, с одной стороны, тем, что по монашескому обету молодой епископ был обязан во всем подчиняться «начальнику», а с другой — невозможностью примирить свою совесть с образом жизни и «обновленческой» стратегией отца Евдокима. Чтобы понять сложность и драматичность этой коллизии, достаточно ознакомиться хотя бы с «Лествицей» преп. Иоанна Лествичника. Но чтобы оценить ее современность, надо просто внимательно взглянуть на нашу сегодняшнюю церковную жизнь.

И вот по благословию зосимских старцев популярный молодой священник принимает подвиг юродства. Дело, разумеется, не в столкновении с архиепископом. Дело в том, что Варнава, и под руководством старцев прошедший серьезную аскетическую школу, был органически не способен фальшивить в своем искусстве жить. Борьба с большевиками легальная церковь не в состоянии. «Сергианство» (политика патриарха Сергия на сближение с советской властью) — единственная возможность сохранения некатакомбной церкви в стране. Как быть? Любопытно,

что одно время Варнава мечтал уехать миссионерствовать в Японию и даже начал изучать японский язык. Но не только судьба распорядилась иначе, а и сам епископ от этой мысли отказался. Сбежать в Японию означало облегчить задачу искусства жизни, значило перевести ее в сугубо географическую и политическую плоскость. Варнава выбирает другой, более трудный, способ побега.

Он отправляется в «небесный Иерусалим». В реальности это выглядело дико. Блестяще образованный молодой священник (он знал древнееврейский и древнегреческий, несколько новых европейских языков и уже начал писать трактат о православной аскетике с поразительно точным названием «Основы искусства святости») на глазах своих любимых духовных сыновей и дочерей, под радостное улюлюканье красных газетчиков и сокрушение всех преданных прихожан становится обычным сумасшедшим, придурком «со справкой». Ключьями остригает волосы и бороду (роскошные, Варнава в молодости был еще и внешне феноменально красив), выше колен обрезает рясу, ругает архимандрита «собакой», бежит по городу на виду всей толпы.

Его помещают в психушку к буйным, потом отпускают на все четыре стороны.

В ГПУ, однако, не дураки сидели. (Впрочем, и дураки. Потом уже следователи удивлялись, как это могли органы долгое время не замечать епископа, под видом сумасшедшего живущего в Москве.) Однажды Варнаву все-таки арестовали и старательно пытались подвести под расстрельную статью. Затем отправили погибать в лагере на Север. В том, что, по логике власти, бывший епископ был обречен на смерть, не приходится сомневаться. Это только профаны думают, что аскетический опыт (изнурительные посты, воздержание даже от невиннейших радостей земных) страшно полезен для здоровья. На самом деле это очень тонкое балансирование на грани жизни и смерти, тоже невероятно сложное искусство сознательного умерщвления плоти, в которой, однако, бодрствует дух. И в нормальных-то условиях Варнава с трудом поднимался по ступенькам, чего уж говорить о лагерных работах и пятидесятиградусном морозе! Он определенно должен был погибнуть, и власти это, разумеется, знали.

Он выжил именно чудом. Чудо было в том, что в лагере оказались его любимые духовные дети, которых уважали даже и блатные.

После лагеря Варнава жил в Киеве, много путешествовал с котомочкой за плечами, где лежали все необходимые инструменты и разная хозяйственная мелочь, позволявшие ему быть независимым от мира в любой момент и в любом месте. Его называли «дядей Колей», и лишь не многие знали, что этот чудаковатый пожилой дядечка носит в котомке листки, испещренные каллиграфически изысканным полууставом, в которых встречались такие, например, названия: «Что есть истина...», «Вавилонская башня», «Утешитель (Параклитос)» и, наконец, «Тернистым путем к небу...». И слава Богу, что об этом не многие знали! Не только психбольницы, но и лагеря в России в 50 — 60-е годы никто не отменял. Засадил бы за милую душу.

Николай Никанорович Беляев скончался в 1963 году в Киеве, там и был похоронен. Двадцать с лишним лет его наследники (прежде всего надо отметить подвижничество его духовной дочери В. В. Ловзанской) хранили рукописи бывшего епископа, юродивого, «дяди Коли». В начале 90-х стараниями Павла Проценко их стали понемногу издавать. Искусство жизни отца Варнавы стало доступно читателям...

Р. С. Вот только доступно ли? Прочитав свои заметки, ясно вижу, что не сумел передать и сотой доли той глубины и высоты, какие вполне отчетливо проступают в книге П. Проценко. А все потому, что книга писана взволнованным сердцем и трезвым, рассудительным умом. В моей же рецензии больше восторга и любопытства перед необычной судьбой. Но необычность отца Варнавы заключалась, собственно, в том, что он правильно прожил жизнь. Владел этим искусством жить, как музыкант владеет инструментом. А мы берем ноты, берем инструмент и извлекаем из него дичайшие звуки, полагая их за необычную, самостоятельно исполняемую музыку. Не умеем — и все.

P. P. S. Книга превосходно издана (обширная иконография, фотокопии документов, именной указатель) при содействии Русского общественного фонда Александра Солженицына.

Павел БАСИНСКИЙ.

ЛАРИСА МИЛЛЕР. Между облаком и ямой. М., «HGS», 1999, 183 стр.

Лариса Миллер показала недавно своим творчеством еще один интересный пример существования литературной материи, а именно — ее эволюцию от строчки до книги.

Оказывается, словосочетание-состояние, давшее название сборнику, — без малого юбилей. В 1980 году появилось одноименное стихотворение. В 1992-м это название цикла в «Стихах и прозе». Сейчас же мы видим, что побег, основательно укрепившись корнями в питательной почве (тут вспоминается, кстати, замечание А. Тарковского о том, что поэзия Миллер *калорийна*), разросся до книги.

Между жизнью лучшей самой
И совсем невыносимой,
Под высоким небосводом
Непрестанные качели...

Между... Именно так! Действительно, это книга середины. Ведь в этом, девятом по счету, сборнике Ларисы Миллер нет ни головокружительных провалов, ни заоблачной эйфории. Книга ровная, как озерная гладь, — воистину штиль — в обоих смыслах. У Миллер спокойное, *не нервное*, не ломаное письмо. Особенно заметна сглаженность стилистическая — классические размеры, неторопливый синтаксис, отсутствие неологизмов. Иными словами, никакой излишней акцентации, утрирования, никаких рваных ран. Качели не могут взлететь выше положенного им размаха.

Миллер пишет *ровно* не только в стилистическом отношении: если (в виде эксперимента, конечно) поставить любое стихотворение, датированное 1970 годом, в ряд ее последних работ, будет ли это так уж заметно? Вряд ли, ведь в творчестве этого автора все безусловно и безоговорочно подчиняется единому вкусу, отточенному годами. Расширений, выходов за пределы захва-

ченных территорий практически не происходит. («Все тяну на излюбленной ноте / Ту же песню...») Меняются лишь описываемые *состояния* — но не форма.

Стихи Ларисы Миллер всегда очень сдержанны и непритязательны — собственно, это стихи человека, который с детства приучен, что за обедом локти на стол не ставят, а яблоко берут ближайшее к себе. Однако при всей этой ненавязчивости существует и порыв — донести до читателя цену мгновенья. Вероятно, поэтому в стихотворениях 90-х годов появляется тема бренности, скоротечности жизни, появляется чувство тревоги, страх *не успеть...*

Когда и не думаешь о роковом,
Тебя рисовальщик сотрет рукавом
С туманной картинки, начертанной всеу,
Случайно сотрет. Чей-то профиль рисуя...

Лариса Миллер не называет своих стихотворений. Все они так и значатся в содержаниях — по первой строке. Прием? Проявление литературного такта? В любом случае это конечно же не случайность, что и доказывается самой стихотворной структурой. У Миллер завидное чувство старта. Ударное начало, динамика первых строк — излюбленное па поэтессы. Почти всегда ее первая строчка — локомотив, который увлекает, тянет за собою весь состав. Вот, открыв наугад: «Да разве можно мыслить плоско, / Когда небесная полоска / Маячит вечно впереди, / Маня: иди сюда, иди...»

А. Тарковский писал, что ее поэтическому языку — «чистому и ясному до прозрачности» — не нужно для выразительности «ни неологизмов, ни словечек из областных словарей». И правда, танец ее бесхитростный: если листья — то желтые, если небосклон — голубой, если дождь — соответствующий сезону. То есть все как *на самом деле*. В этом смысле Лариса Миллер не оригинальна. Стихи ее очень просты, и иногда даже в них звучит что-то до боли знакомое:

А там, где нет меня давно,
Цветут сады, грохочут грозы,
Летают зоркие стрекозы,
И светлых рек прозрачно дно...

Наверное, еще наши прабабушки пели, покачивая колыбельку... над бездной: «Не для меня цветут сады, не для меня Дон разольется...» Что это: еще одна вариация на тему или — прапамять, выпущенная на свободу вдохновением Ларисы Миллер?

Поэтический ареал ее — полусказочный-полуреальный, где летят в небесах гуси-лебеди, ангелы, аисты, овечки-облака и осенние желтые листья. Одна из немногих, Лариса Миллер видит мельчайшее — *и луч, и лист случайный*, — видит и показывает читателю. Как же иначе, если в мире есть вещи, которым невозможно не удивляться: шорох ливня и цветущий орешник, зачарованный пруд и облака невнятной лепки, полевой сорняк и филигранная снежинка... Все сущее — тайна, просто мы об этом забыли. Надо только всмотреться — и пустяк превратится в *неслыханный случай*.

Евгения СВИТНЕВА.

*

АЛЕКСАНДР ЛЕВИН. Кудаблин-тудаблин. Стихи. «Знамя», 1999, № 11.

От детских считалок (произнесенных ли, записанных ли со среднеазиатским либо кавказским, то есть не соответствующим «национальной идее» акцентом) до сладко-липких строк в скобках:

там правит слово пьяный винокрад
о треснувший асфальт в словоподтеках...

Сколь хороши эти «словоподтеки», ставшие, видимо, следствием словопоток. Столь хороши, что удивляешься степени владения голосом — в разных разнообразных регистрах: от «Народной песни» до «Гундосой песни», от звукоподражания до чревоуговения, от силлабо-тоники до скоморошьей метрики... От полного мухоедства до неполного Введенского, от поэтических экономов лианозовской школы до Левина самого по себе... Городской фольклор и мещанский романс провоцируют здесь новую поэтику со старыми дырками. И она рождается на топком болоте сновидения,

увиденного через кинескоп телевизора или монитор компьютера. Эта поэтика — просто речь, показывающая язык классической поэзии. Нырнет, например, в бойкую журналистику — и вынырнет как можно дальше от нее:

Ужасное, кривое юрлицо
бежит за мной по топкому болоту,
отбрасывая ноги и хвосты,
копыта, и печати, и валюту.

Страшный новорусский анекдот, черочек на вилле близ Диканьки... Корсчета, маржа, инвестор, трейдер, трансферт, нерезидент...

Боюсь! Боюсь! Проснуться и забыть...

«Трансфертный» кошмар левинского персонажа — не пародия на бойкую газетную трепотню. Или не только пародия. Термины, теряя по дороге свое истинное значение, проникают в живую речь, превращаются в языковых монстров, владеющих нашими представлениями. Просторечие становится сказово-демоническим.

Я неликвидный! Отпусти меня!.. —

это звучит как просьба о снятии проклятия (порчи). Заклятие не смехом, а новейшим жаргоном.

Поэтическая культура, таким образом, вбирает в себя нагло расширяющиеся субкультуры быта, финансов, может, даже производства. Их смыслы и бессмыслицу. Блинизация (от просторечной частицы «блин») слога оговорена заголовком подборки (интересно перевести сие на немецкий: *wohinblindahinblind*). Междометно-грубоватая добавка, впрочем, может играть роль некоего фонетического ля-ля-ля.

Уходит на запад кудаблин-тудаблин,
спокоен, взволнован, упрям и расслаблен.
Несут его в море колибри-корабли,
палат гарнитуры большого калибра,
гремят полонезы прощальные вьюги,
и машут платками подруги-задрыги.

Но дело не только в «ля», а в детском подходе к языку. Когда недостает слов, их выдумывают, когда опять не хватает — берут в словаре (например, гарнитура — не только полиграфический термин, но и технический: совокупность приборов, деталей, узлов). Как замечал

Ленин, русский язык мы портим. Иностранные слова употребляем без надобности. Левин здесь небольшую поправочку делает: по поэтической надобности. Тут и «задрыги» воспринимаются не как с улицы взятые, а как у французов, скажем, украденные... Ибо для нашего автора нет разницы между каким-нибудь тупиком Свободы (фотодокументально запотоколировано наличие такого места в Уфе) и, предположим, Елисейскими полями. А его «Народная песня» представляет нам красивый, почти хороводный взгляд на этносы — взгляд человека, в них, то есть в народностях, специально запутавшегося. Потому что чем больше мы в прозе рассуждаем о национальном самоосознании, тем больше приходим по этому вопросу в полное бессознание.

Я хлебу еще отравы
и усядусь на пеньке,
и народы, словно травы,
зашумят на языке!..

Общественно-политический подтекст этой мастерской игры в слова столь же существен, как существенна рама для понимания картины. Народы-дети, зашумев на языке, превратятся в музыку. Возможно, в божественную музыку. И страх, таким образом, превратится в прах...

Узоры «словоподтеков» — это не зумь, а скорее — до-умь. Во всяком случае — до взрослого рационального умозрения. И поездка на автобусе под наблюдением кондукторов-кондукторов, и игра дурака-дурака на дудочке-дурочке в «Гундосой песне» («игдает падтию любви»), и парикмахер, командуемый: «Извольте бриться!» (в противоположность мастеру у Маяковского, испугавшемуся просьбы: «Причешите мне уши»)... Любая бессмыслица здесь художественно осмыслена — и через ритм, и через метр, и через причудливые сближения. В той же «Гундосой песне», например, содержится дурацкая инвектива в адрес «модальных уродов» (то есть моральных уродов). А человек, испорченный филологическим образованием, читая эту пиесу, может вспомнить логико-грамматическую категорию модальности. Так что дудочка дурачка — инструмент, возможно, философский.

Такие серьезные выросли дети! «Вот ведь как один маленький человек может помочь понять обществу другого, боль-

шого» (Евгений Попов). Например, такого:

Мимо острова Буяна,
мимо сада Монплеизир
едет девушка Татьяна,
бывший красный командир.

Едет и размышляет:

«И куда я этак шибко
в белом венчике из роз?..»

Цитаты из Пушкина и Блока — как дорожные знаки, размещенные на колхозном тракте советской (антисоветской) смеховой культуры. «Наклонительное повеление» — так называется другое стихотворение. Этакое прогулки на руках, этакая постмодернистская акробатика-аэробика. Все вертится, и кружится, и несется кувырком — в сторону от всякого ПМ, мимо концептуализма, к большей свободе — к воле.

Александр Левин, преодолевающая свою склонность к игре (с гитарным аккомпанементом — бардовская все-таки выучка), выходит на просторы какой-то новой лироэпичности. Когда игра важнее жизни, но жизнь — дороже текста.

Думаю, всего сказанного достаточно.
И для читателя, и для психоаналитика.

«Я раскрыл заговор слов. Нам только кажется, что мы владеем словами по какому-то не нами установленному закону, как движениями своей руки, как мыслями, как воздухом, как дыханием. А на самом деле все наоборот. Ведь на самом деле дыхание владеет нами, а не мы им. Так и со словами. Мы — лишь форма существования слов», — сказано в романе Михаила Шишкина «Взятие Измаила», который печатается в той же книжке «Знамени».

На самом деле заговор раскрыл Александр Левин. Раскрыл и превратил его в текст.

Александр КАСЫМОВ.

Уфа.

*

МАРИАННА ВЕХОВА. Бумажные маки. Повесть о детстве. М., «Путь», 1999, 144 стр., с илл.

Книга Марианны Веховой имеет подзаголовок: «Повесть о детстве». Но сра-

зу же вводится еще одна тема: «Посвящается памяти моих безвременно умерших родителей: двадцатитрехлетней маме, погибшей в ссылке, и тридцатилетнему отцу, пропавшему без вести в народном ополчении под Ржевом».

Вся вторая часть книги — попытка ребенка, подростка, а затем и взрослого понять самоубийство матери и решимость отца, которого любая медицинская комиссия не признала бы годным к военной службе, идти в ополчение, на верную смерть. Этот поиск перерастает в открытие третьей темы: о глубинном смысле страдания. Третьей темой я совсем не почувствовал в журнальном варианте. Он меня захватил когда-то, временами сердце сжималось от жалости, но я не подозревал в авторе мыслителя. Слишком многое было, видимо, сокращено. Оставались больные девочки, мастеровившие лежа на спине искусственные цветы, чтобы в день победы положить их к портрету Сталина. Только несколько лет спустя, выйдя из санатория, одна из этих девочек начинает понимать, почему бабушка Женя, взявшая ее к себе, живет в глухом углу Коми АССР, а не в Москве, почему погибла ее мать, Тамара Гербст, виновная только в своей немецкой фамилии, и почему отец предпочел погибнуть, а не упомянуть о своей близорукости в восемь диоптрий.

В журнальном варианте («Континент», № 90) во всем виноват «век-волкодав». Но в книге автор идет дальше, глубже.

«Я ведь была тем страдающим безвинно ребенком, одиноким в мире страха, крови, войны, ребенком, о котором можно было спросить: каков смысл этой боли, одиночества, надвигающейся инвалидности — безысходного горя до конца дней?» Надо ли забыть свои страдания, словно их не было, освободиться от груза воспоминаний — или человек обязан их помнить, вдумываться в них, искать в них смысл? В своих личных страданиях и в страданиях страны? Зачем нужны они, все эти страдания?

«Когда я была больным ребенком, одиноким среди чужих, когда кричала от боли, грызла руки, мучилась в лихорадке, погружалась в страхи, — я жила этим — болью, жаром, страхом, была *внутри* страдания. А только отпускало, я, усталая, спала... Это взрослым было тя-

жело на меня смотреть *извне*... Сейчас, сама взрослая, я понимаю в полной мере, каково это — видеть муки ребенка. Но ведь и боль одинокого старика, обманутой девушки, избитой мужем женщины, юноши, попавшего в руки садистов, ужас и отчаяние ракового больного, умирающего в пустой квартире, — разве они меньше тех моих детских мук? Кто их может взвесить и сравнить?

Возможно ли — жалеть одного больше, чем другого?..

Очищает ли страдание? Я видела и по себе знаю — подавляет, искажает, уродует. Может быть, очищает сопротивление этим искажениям? Может быть, возвышает победу над своей слабостью?

Тогда мне нельзя отсекать себя теперешнюю от прошлой, зачеркивать мои победы, такие тяжелые, давшиеся такой большой ценой, и отворачиваться от поражений, которые мне так много помогли понять...»

Вехова пристально вглядывается в свои маленькие детские победы и поражения, в свои порывы к радости жизни сквозь будничное, привычное страдание и в свои завихрения злорадства, мучительства.

Драгоценным опытом становится и радость, сменившая боль, и вопли, которыми больной ребенок мстит взрослым за то, что они здоровы, или — едва выучившись читать — декламирует наизусть сказки Пушкина как раз во время мертвого часа, назло всем. И первое прикосновение к молитве:

«В гипсе спина болела меньше, чем на полу в избе, до больницы, я уже не кричала от приступов, спина просто ныла то сильнее, то тише, я плакала, когда менялась погода, и боль, как ночная мышь, начинала меня точить.

Одна больная сказала мне по секрету: — Хочешь, научу тебя унимать боль?

Еще бы! Я очень даже хотела!

— Я научу тебя тайным словам. Ты их будешь повторять, когда тебе особенно больно, и тогда полегчает. Но это поможет, только если ты *никому никогда* не скажешь этих слов. Если скажешь хоть одному человеку, волшебные слова навсегда потеряют лечебную силу!

Она понимала, *что* ей может грозить, если я разболтаю, что она меня учила молиться. Но велика была ее доброта, она взяла верх над страхами. А я обра-

довалась, что у меня будет моя собственная тайна, да еще волшебная!

Женщина прошептала мне на ухо:

— Запоминай! „Отче наш, иже еси на небесех...“, повторяй, запоминай, — велела она.

Слова были такие непонятные, я их никогда ни от кого не слышала... И я поверила, что они — волшебные. И действительно, они помогали мне перетерпеть ночи, когда все спят, а в темной палате бродят страшные сны и оживают боли. Слышны стоны и вздохи тех, кого грызут их боли-невидимки с железными когтями и раскаленными в аду зубищами...

«Да, моя боль пугалась волшебных слов...»

И в самом деле, разве суть молитвы в понимании отдельных слов? А не в волшебстве целостного чувства, не в обращении к таинственному всемогуществу — над всеми причинами и следствиями? Разве в любой молитве на непонятном или полупонятном языке не встает один и тот же образ света, мерцающего во тьме? Разве суть не в самом обращении к этому свету, сквозь боль физическую и нравственную? Не в зажигании внутреннего «белого огня», пламени без дыма, в котором сгорает зло?

Не зря ведь было сказано: будьте как дети. Ребенку что-то доступнее, чем взрослому. Наверное, потому, что мир его мал, и целое в этом мире господствует над подробностями, и за отчетливо видимыми деревьями ребенок чувствует, угадывает волшебный лес. Секрет обаяния книги — в упорном поиске этого леса, волшебного смысла собственной жизни, всякой жизни — и смысла, не найденного в жизни отцом, которого Вехова смутно помнила, и матерью, совсем не запечатлевшейся в младенческом сознании. Живя у бабушки Жени, она вслушивается в каждый рассказ о маме, вглядывается в каждую фотографию, вчитывается в каждое письмо, вплоть до последней, в горячке набросанной записки мужу, бесконечно ее любившему и поехавшему за ней в ссылку: «Срочно вернись с ребенком в Москву. Когда мама освободится, отдай ей ребенка. Работай, женись. Живи!»

Да, проще всего сказать: ее погубило время. Но Веховой нужно дойти до глубинного смысла катастрофы. И она находит его в незначительном, на первый взгляд, эпизоде:

«Когда маме было три года, бабушка Женя привела ее в храм в Берлине. Девочка увидела распятие. Она вгляделась в лицо Христа с потеками крови от тернового венца, в Его руки, пробитые большими гвоздями, и начала кричать и плакать: „Злые люди! Злые люди! Зачем они Боженьку гвоздями прибили?“»

Бабушка испугалась, что дочка слишком впечатлительная, и больше никогда не водила ее в храм. Она хотела защитить детскую ранимую душу и не знала, что раны Христа имеют врачующую силу. Чем больше человек о них плачет и думает, тем свободнее и сильнее становится незаметно для себя. Если бы из детских слез родилась любовь ко Христу, вся жизнь девочки пошла бы по другому руслу: ее характер сложился бы по-другому, ее защитили бы от отчаяния могущественные силы... И что бы с ней ни случилось, она не стала бы обрывать свою жизнь сама...»

Так же мягко Вехова вспоминает (но не забывает вспомнить!) атеистическую книжку своего отца-астронома, поверившего в науку, как в Бога, и изнутри любви приносит покаяние за ошибки поколения, захваченного пафосом «бесконечного развития богатства человеческой природы» и покорения обезбоженной вселенной. Ей очень важно, что умный священник разрешил отпеть самоубийцу: «Отвернулся и постоял, опустив голову, перед иконой Богородицы. А потом ответил, что моя мама не виновата ни в чем, потому что ее затравили, довели до самоубийства. С нее грех снят, он пал на того, кто ее довел до отчаяния, тем более что мотивы у нее были: спасение ребенка и мужа от ее собственной тяжелой участи. Значит, она принесла себя в жертву, за нас положила душу свою...»

Внутренний нерв книги — открытие заново «ценностей незыблемой скалы», на вершине которой — трепетное прикосновение к священному, превосходящему человеческий ум. Эту вертикаль Вехова нашла для себя в Библии, другие находят ее в иных книгах. Буква мертва, только дух животворит, и этот дух веет в паузах между словами книги со скромным названием «Бумажные маки». Я думаю, эта книга поможет нам понять ошибки отцов и наши собственные ошибки.

Григорий ПОМЕРАНЦ.

*

ЕВГЕНИЙ ГОЛЛЕРБАХ. К незримому граду. Религиозно-философская группа «Путь» (1910 — 1919) в поисках новой русской идентичности. Серия «Исследования по истории русской мысли». СПб., «Алетейя», 2000, 560 стр.

За последние несколько лет история русской религиозно-философской мысли из белого пятна на карте превратилась в столь густонаселенную территорию, что на ней скоро яблоку негде будет упасть. Уже список использованной Евгением Голлербахом литературы свидетельствует, как много сделано в изучении этого пласта русской культуры XX века: переизданы сочинения крупных (и не очень) философов, описана деятельность многочисленных объединений и кружков, так или иначе связанных с религиозно-философской мыслью, опубликованы переписки философов и т. д. Монографии и статьи на «религиозно-философские темы» и вовсе не поддаются исчислению.

Однако первые конкистадорские попытки проникнуть на этот долгое время запретный материк носили в значительной мере прикладной характер: там рассчитывали найти (и продолжают искать до сих пор) ту идеологию, которая помогла бы то ли «возродить Россию», то ли поставить ее на свое место — и в том и в другом случае речь шла о попытках поживиться за счет чужого богатства. Книга Голлербаха демонстрирует совершенно иной подход, который в терминах прежней эпохи следовало бы назвать «буржуазным объективизмом»: нелениво и с чисто библиографическим спокойствием описывается история книгоиздательства «Путь», созданного М. К. Морозовой в качестве своеобразного продолжения деятельности московского Религиозно-философского общества памяти Вл. Соловьева.

Оригинальность авторского подхода к истории русской религиозно-философской мысли, состоящая в том, что предметом изучения избрано не творческое наследие того или иного мыслителя или философское направление, а идейное издательское объединение, дает Голлербаху возможность восстановить горизонтальные связи внутри русской философии. «Путейцев» Голлербах класси-

фицирует как неославянофилов, и отсюда появляется в подзаголовке столь современное словосочетание «новая русская идентичность». К счастью, дань моде этим подзаголовком и исчерпывается, поскольку содержание книги — вовсе не эта пресловутая идентичность, а прежде всего — тщательный источниковедческий обзор материалов по истории издательства. Описание источников развивается как бы в двух планах: в основном тексте книги — как путеводитель непосредственно по материалам, отражающим историю издательства (публикация книг, споры вокруг издательских планов, редакционная переписка, рецензии и отклики прессы и т. п.), в подстрочных примечаниях — как путеводитель по современным работам, относящимся к тем или иным аспектам данной темы. В результате и возникает тот новый жанр исследования, который автор предисловия А. В. Лавров удачно определил как «историко-культурная картография». Можно назвать ее также «путеводителем» или «семинарием» — и в каждом из этих определений будет свой резон. Книга может служить и как пособие по истории философии, и как основа для последующего научного углубления в предмет — на пространстве нескольких ее страниц вполне можно набрать материал для диссертации. Сводя воедино все доступные на сегодняшний день источники по истории издательства «Путь», ее автор стремится не столько изложить все, что он думает о нем, сколько все, что знает, открывая дверь тем, кто захочет узнать больше.

Источниковедческую базу Голлербах расширяет весьма основательно, и прежде всего в той ее части, которая касается газет. Здесь петербургская школа может праздновать победу, потому что лучшие традиции фактографических описаний, которыми всегда славилась именно вторая столица, нашли в лице молодого ученого достойного продолжателя. Не могу не восхититься некоторыми явными находками. В последнее время появилось несколько работ, посвященных имяславию (почти все они, кроме самых наипоследних, в примечаниях к разделу «Дискуссия об имяславии» перечислены), благодаря которым общие контуры дискуссии о почитании Имени Божьего вырисовы-

ваются довольно отчетливо. Голлербах вносит в историю этих споров небольшой, но очень любопытный штрих — он цитирует мнение об афонских спорах газеты «Таймс», которая видела в монашеских настроениях попытку русской экспансии, борьбу за порты на море и т. п. Разумеется, к существу споров это нас не приближает, но вот к пониманию причин ожесточенности, с которой вмешивалось правительство в эти споры, — приближает, и даже очень. Такие штрихи, вписываясь в общую картину, помогают лучше иных концепций.

Работа Голлербаха убеждает, что источниковедение как отрасль науки имеет свои способы познания и убеждения. С одной стороны, в ней есть страницы, явно свидетельствующие о том, что автор не всегда ясно понимает богословскую сторону имяславческих споров: там, где он пытается охарактеризовать их даже в самых общих чертах, он явно пользуется чужими словами. Такие формулировки, как «окоченевшая в опасном консерватизме Русская Православная Церковь», «рептильная администрация РПЦ» и т. п., не заковыченные в тексте, так и хочется поставить в кавычки, они противоречат общей стилистике работы и выскочили как будто из полемических выступлений участников Религиозно-философских собраний. Временами кажется даже, что автор вполне удовлетворяется мнением о причинах этих споров, почерпнутым из той же «Таймс». Но с другой стороны, не понимая до конца этих споров по существу — или не до конца понимая их существо, — он создает полезнейшую работу по их истории, где описана вся совокупность материала по данной теме, представлен обзор основных точек зрения, среди которых собственно авторская присутствует лишь как одна из возможных — не более.

Неожиданно выясняется также, что источниковедение обладает своими методами рецензирования, когда вместо общих рассуждений и оценок приводится перечень неточностей. Например, почти каждая ссылка на сборник «Взыскующие града» сопровождается словами «Опубликовано с некоторыми искажениями», и никакие оценки больше не нужны. Голлербах не только ис-

пользует источники, он не ленится их перепроверить. Конечно, гамбургский счет — вещь нелегкая, но теперь ясно, что если волк — санитар леса, то источниковед — тоже для науки санитар, и его существование в этом качестве надо как минимум учитывать.

В своем последовательном стремлении остаться в границах чистого описания книга в некоторых отношениях может быть названа своеобразной манифестацией позиции нового поколения исследователей. В отличие от поколения более старшего, представители которого в своей работе чаще всего руководствовались вполне индивидуальными пристрастиями и открыто ценили (или, напротив, ненавидели), например, в П. Б. Струве классического либерала, а в П. А. Флоренском — монархиста и консерватора, молодые исследователи не стремятся оповестить нас ни о том, от какого наследства они отказываются, ни написать на полях чужих книг собственную программу светлого будущего. Они выбирают чистоту описания, и, читая их книги, не надо искать ответа на вопрос: «С кем вы, мастера культуры?» Они — просто с источниками. Это лишает их книги некоторого подмагничивания днем сегодняшним, изгоняет публицистический элемент и выставляет прошлое под особым углом зрения: оно предстает как мертвая натура, имевшая не только начало, но и конец. Огромное спасибо им за это.

Зато по композиции и построению работа Голлербаха представляет собой верх логичности: персоналии, темы дискуссий, точки зрения, внутрииздательские притяжения-отталкивания — все по параграфам и в хронологии.

Конечно, тема, заявленная в книге, не закрывается и не исчерпывается этой работой, но она четко очерчена в основных контурах и обозначена в границах культурного процесса своей эпохи. Тема несомненно имеет и другие измерения: публикация основных источников далеко не завершена. Но путеводительная роль книги Голлербаха в изучении истории издательства с названием «Путь» останется, а имя ее автора неизменно будет вызывать благодарность его немногочисленных коллег.

Евг. ИВАНОВА.

*

АГАТА КРИСТИ. Автобиография. Перевод с английского В. Чемберджи, И. Доронина. М., «Вагриус», 1999, 637 стр.

«Я всегда считала жизнь захватывающей и думаю так до сих пор. Мы мало знаем о ней — разве что крошечную частичку собственной, как актер, которому предстоит произнести несколько строк в первом акте. У него есть напечатанный на машинке текст роли, и это все, что ему известно. Пьесы он не читал. Да и зачем? Все, что от него требуется, это произнести: „Телефон не работает, мадам“, — и исчезнуть».

Книга Агаты Кристи — это не столько череда событий в биографии писательницы или история создания тех или иных детективов, сколько размышление о жизни. Я бы сказал — оправдание жизни. Но почему же «*телефон не работает*»? Фраза для цепкого психоаналитика или бдительного сыщика. Что-то заставляет Кристи возвращаться к одной и той же теме на всем протяжении книги, дабы еще раз признать в любви к жизни. Эта тема не оставляет писательницу, и по авторской настойчивости, по нюансам самоувещевания становится ясно, что вопрос жизни и смерти — острейший и так и не разрешенный. И все же писательница декларирует верность *жизненным добродетелям* и преодолевая обстоятельства, заявляет: «Ребенок, вставая из-за стола, говорит: „Спасибо тебе, Господи, за хороший обед“. Что сказать мне в свои семьдесят пять? Спасибо тебе, Господи, за мою хорошую жизнь и за всю ту любовь, которая была мне дарована».

Автобиография писалась пятнадцать лет. И одно это позволяет отнестись к ней как к цельному и выверенному тексту. Главное достоинство состоит в том,

что, сохраняя безусловную пристойность сюжета, изъясняясь изысканно и сдержанно, писательница между тем приковывает внимание читателя, удерживая его в напряжении на протяжении всей книги. Счастливое детство, взросление, помолвка, две войны, бросивший муж, новая любовь, археологические раскопки в Ираке — жизнь мировой знаменитости вполне соответствует канонам нормальной, можно сказать, эталонной жизни. Эта жизнь всегда была пропитана жаждой человеческой справедливости, об этом детективы Агаты Кристи, и в этом секрет их успеха.

Но «леденящие душу» произведения не могли не сказаться на авторе. Зловещая эстетика подчас дает о себе знать, чуть оттесняя в сторону чопорность и благонравие. «Я всегда обожала эскимо. Однажды для дорогой старушки мамы будет приготовлено изысканное холодное блюдо, она уйдет по ледяной дороге — и больше не вернется...»

На множестве фотографий у писательницы невеселые, отстраненно-задумчивые глаза. Эта туманная отстраненность англичанки присутствует во всей книге. Автор-героиня умеет держать дистанцию между собой и читателем, между собой и другими персонажами. Ее жизнерадостность подразумевает отточенное здравомыслие и даже добропорядочный расчет, близкий к смирению.

Агата Кристи приводит диалог с неким полковником о своем покойном брате:

«— Да, он умер несколько лет назад.

— Жаль. Считаете, жизнь его не удалась?

— Откуда мне знать?!

Действительно, кто знает, где проходит граница между неудавшейся жизнью и счастливой?» — спрашивает она.

Агата Кристи, благодарная и рассудительная...

Сергей ШАРГУНОВ.

ЗАРУБЕЖНАЯ КНИГА О РОССИИ

ЛИКИ И ЛИЧИНЫ

The Russian Century. A Photographic History of Russia's 100 Years. Brian Moynahan. Foreword by Yevgeny Yevtushenko. L., Barnes and Noble, Inc., 1999, 520 p.

Все-таки писатель в России — не последний человек. Возьмешь в руки книгу классика — и обязательно наткнешься на что-нибудь глубокое. Скажем: лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии. А расстояние — в прямом смысле слова эпохальное. Эпоха-то и пройдена. Век прожит. Как мы его ухитрились прожить — и пережить все, что с нами было, — одному Богу понятно. Нам же хотя бы собрать эти впечатления воедино, в книжечку какую-нибудь, да все недосуг.

Нам недосуг — а другие оглянулись. На большом расстоянии от России, в Соединенных Штатах Америки, в обычном книжном магазине я увидела наконец «Русский век. История России за сто лет в фотографиях». Альбом — огромнейший, более трехсот фотографий из государственных и частных коллекций, многие из них вообще раньше не публиковались. Фотоисследователи Аннабел Мералло и Сара Джексон собирали альбом целый год (с 1992-го по 1993-й), сопроводительный текст писал Брайан Мойнахен, известный историк, предисловие — Евгений Евтушенко, собирався альбом в Лондоне, печатался в Италии, одним словом, эпохальное издание. И я присела его полистать.

«Земля Романовых» простерлась предо мной. И я увидела: экзотические темные лица народов окраин, темные лица бурлаков и «бурлачек», не менее темные лица рабочих в очень грязной рабочей столовой, черные, что понятно, рясы монахов; увидела безногих и бездорожье, голодающих и страждущих. Увидела и более занимательные вещи: скажем, на развороте справа — фотография этой самой грязной рабочей столовки, а слева — угадайте — дворянский бал в Санкт-Петербурге... В детстве подобные развороты я разглядывала в советских учебниках по истории: они весьма красноречиво доказывали «необходимость революции в одной, отдельно взятой стране» России. А вот приведенная создателями альбома цитатка из Троцкого — описание нищей сибирской деревни — мне была незнакома, меня учили по цитатам его соратника — Ленина (тоже гремевшего об «обнищании», чтобы потом хладнокровно свергнуть те же деревни в ад революции, Гражданской войны и окончательной социалистической разрухи). За фотографией толстых купцов у самовара шли очередные бурлаки (точнее — сидели у костра перед пустым котелком, — понятное дело, кому самовар с сушками да икрой, а кому — пустая водица). Впрочем, в главе первой на десяток фотографий нищих и обездоленных в «земле Романовых» пришлось пара снимков россиян благополучных — были и такие, оказывается: на одном — те самые купцы, на втором — девицы из Смольного, с комментарием о кровавом значении сего дворца в российской жизни. Пролитая семья Романовых российская кровушка (включая кровь российских оленей, у трупов которых стоит царь-убийец-охотник Николай II) разлилась по главе бурным потоком.

Промокнув последние пятна, я сочувственно подумала: но, может, создатели альбома просто не знают, что была другая романовская Россия? Может, их консультанты-интерпретаторы (которым от собирательниц альбома — особое спасибо) Лара Стояновская и Миша Сметник — просто невинные жертвы советской идеологической пропаганды? Может, не знают, не ведают они, что земля романовской России развивалась, богатела — не без проблем, но жила, а не умирала?! Что, по оценкам английских экономистов того времени, сохрани Россия прежние, 10-х годов, темпы развития, уже к 50-м годам XX века она оказалась бы среди богатейших стран мира?.. Уверена, что все это составители знали. Ведь знали же они такую тонкую, не всем русским известную подробность, что Красная площадь названа так не потому, что «красная» или крови на ней Романовы много пролили, а по-

тому, что — «красивая». Ведь «красота спасет мир». А мир без красоты — обречен. Чувствуете нюанс?.. Красная площадь в грязи — обречена. Грязный мир бурлаков и нищего смрада — обречен... Да, железные дороги активно строились, это Мойнахен признает — ведь он как историк должен опираться на факты. Признает, но уточняет: железная дорога до Санкт-Петербурга была спроектирована американцем. Признает, что Россия была четвертой в мире «наибольшей индустриальной силой», но — уточняет: в нее мощным потоком вливался иностранный капитал... Можно, конечно, предположить, что у историка «своя, особая гордость». Но и во мне тоже что-то эдакое трепещет, так что прошу понять правильно возникшее недоумение: когда в экономику развивающейся страны вкладывается иностранный капитал, это свидетельствует о том, что международные специалисты посчитали сию страну благоприятной зоной вложения средств (положительная характеристика). А вот утверждение, что отечественные промышленники были сплошь да рядом нерусские, просто неверно. Хотя в Российской многонациональной империи строили и евреи, и шотландцы, и немцы. И Багратион был — грузин, и у Юсуповых фамилия татарская, и Адамовичи с XI века с кем только не нагрешили... И Юрик откуда-то сверху по карте спустился. Давайте тогда договоримся, что Россия — это просто миф. Сказка. Но — красивая, черт возьми!

Может, для американцев и сойдет, как ее теперь переписывают. Ну а если какой-нибудь зануда русский, прочитав про «сплошное невезение» на просторах Российской империи, подпортит картину замечанием: широкая сеть приютов в дореволюционной России (до 20 000 младенцев в год) — эта цифра говорит не только о проблемах развивающейся страны, но и о ее моральной готовности и экономической возможности позаботиться о детях-сиротах. Разве не так? И уж совсем ни к чему, например, под фотографией пикника писать, что стол русского человека — это водка, икра, копченая стерлядь и соленые огурцы (вещи, кстати, все — деликатесные, американцы и сами их весьма уважают). Я специально присмотрелась к безумцам, в летнюю жару вздумавшим жрать водку с икрой, — нет, не безумцы, нормальные мешчане-дворяне; на беленькой скатерточке сервированы фрукты: виноград, яблоки, чашечки для чая стоят, есть и бутылки — но не шкалики, а изящные такие, легкого столового вина. Все как у людей.

Эта логика: «безобразный мир — обреченный мир» — сохранится и в последующих главах альбома. Скажем, 1914 год: фронт и есть фронт, Восточный ли, Западный — все едино: трупы, кровь, боль. Кстати, именно — боль, а не насмешка должна бы определять тон исторического комментария к фотографиям тех лет. Вместо этого — вдруг анекдот о царской семье. Царевич спрашивает: что делать — мама плачет, когда немцев бьют, папа — когда русских, а когда плакать мне? Я бы напомнила составителям, что этот смертельно больной мальчик достаточно плакал в своей недолгой жизни, и только солдатня, пусть «в шляпе и очках», могла в своих «независимых» ревгазетенках сплетничать о царице-«шпионке» и заодно издеваться над человеческой бедой. Впрочем, не буду оспаривать солдатский анекдот своей отягощенной интеллигентской памятью. И лишь вскользь замечу, что Владимир Владимирович Набоков, чья детская фотография помещена в альбоме, — не автор «„Лолиты”», написанной в Соединенных Штатах», а просто выдающийся русский писатель. (Наивность и простодушие американцев порой умиляют. Скажем, на унифицированном панно «Кафе писателей» в книжных магазинах крупнейшей американской фирмы «Barnes and Noble» аристократ Набоков сидит в шапке-ушанке, перед ним — граненый стакан. Что англоманы-аристократы Набоковы и по-русски-то дома не говорили, и шубы надевали лишь в ядреные российские морозы, а не по причине национальной дикости и кичливости нуворишей, — трудно понять это человеку Нового Света. Да и климат в Америке мягкий.) Так же наивно в альбоме «продают» современным американским читателям и графа Толстого — на лошади среди полей, и Горького — с любовницей... Ну и, знамо дело, в мастерской русского художника в качестве модели пренебреженно должна оказаться... корова. (Кто-то, очевидно, писал и коров — только вот что бы это значило в альбоме «Россия за сто лет»? — вижу тут явный промах: кустодиевские купчихи намного лучше «пошли» бы у американского мужчины, оголодавшего на

феминистской диете.) Но, в общем, искусство представлено. И повешенный поп Гапон — тоже.

А уж дальше, после Распутина, понятно, — только хуже (хотя вроде уже некуда): «Годы революции», «Красное на белом», «Убийца кулак», «Террор», шпионы, «железный занавес», «великая спячка», долларовая Россия... Я и свое плохое могу добаввить — и из семейных преданий, и из собственного опыта. Но вот чего я опять-таки не понимаю: почему российские беды и несчастья вызывают не горечь и сочувствие (нормальные общечеловеческие волнения души), а насмешку и издевку? Почему о командире женского батальона, защищавшем Зимний (отчаянная, но весьма достойная попытка женщин внести свою лепту), почему о ней нужно рассказывать постельные сплетни? Почему можно похлопать Анну Ахматову по плечу — мол, декаданс «в черном шелку», — что за странная фраза: «Молчала с 1922 по 1940» — слава Богу, уже известно, что не молчала, а писала — да как! Почему в комментарии к фотографии Пастернака нужно писать о звонке Сталина (американский читатель, который о Пастернаке-то знать не знает, так и решит: перезваниваются, мол, друзья-приятели и решают между собой, кого сажать, кого — миловать)?.. Почему спортоманию Советской России 30-х годов не без оснований сравнивают с немецкой, но молчат о такой же американской? Ведь лепка «человекобогов» — не столько показатель фашиствующего режима, сколько всеобщий «загиб сознания» обьязычившейся цивилизации XX века...

Нет, мне приходится отказаться от мысли о наивности и простодушии создателей альбома. Дело отнюдь не в дилетантстве — компиляция истории целой страны требует особого рода профессионализма. Нужно уметь из фактов и документов склеить собственную версию ее бытия — да так, чтобы комар носа не подточил. Вот свежий пример — фоторепортаж о встрече нового тысячелетия из весьма приличного журнала «Тайм»: в Италии молится Папа Римский, в Англии — королева, в Африке — тоже какой-то со свечкой стоит, на островах Тумба-Юмба очень мило рожают детей, — весь мир умиляется. А вот в России на Красной площади группа военных разливают по стаканам. Что Новый год во всем мире встречают именно шампанским, а не кефиром — это остается за кадром; в объективе фотографа — пьющая группа военных на главной площади страны, грозный хмельной враг. Очень профессиональный фоторепортаж. Именно таким образом в советские времена учили нас, студентов факультета журналистики, вносить идеологическую пропаганду в массы. В дядю Сэма-то со времен Маяковского никто в России уже не верил, а вот показать какого-нибудь убогоногого на фоне Рокфеллер-центра — самое милое дело (кстати, узнала недавно, что мой бывший преподаватель по партийной печати, секретарь парткома факультета, гнавший меня из университета за «идеологическую незрелость», ныне преподает... в некоем американском колледже. Рекламу).

И поверьте — грустно от всего этого. Ну что, разве неправда — безумный лопочущий Ленин? — Правда. Разрушенные церкви и раскулаченные крестьяне? — Правда. Зажравшиеся партийки и хмельные поэты? — Также правда. И национальные погромы в Грузии и Средней Азии, и стрельба в Молдавии и в Останкине в 90-е — тоже правда. Пьяный Ельцин и Чечня, милиция с дубинками — и морда озверевшего ветерана, столетняя бабка, тупо стоящая на избирательном участке, — еще один правдивый образ, теперь уже выборов 1993-го, продажа женских кос, двойник Ленина со стриптизершей, детская тюрьма в Казани — такой увидели сегодняшнюю Россию создатели альбома. Все это вижу и я. Но не только это. Потому и выводы мы делаем разные. Вот что нас отличает — контекст. Вне контекста любой факт, и визуальный тоже, — мертв, он не может свидетельствовать. И камера фотографа, снимающего толстые зады участников крестного хода и бесноватых перед Распятием — «религиозное обновление» перестроечной России, — эта камера лжет. Потому что кадр отсекает контекст — лица верующих и лики икон. Надежду и готовность поднимать страну. Когда безумие паралитика Ленина выдается за состояние души целого народа — это и называется подтасовкой фактов. В результате чего возникает страна безумцев и злодеев, убийц и проституток. А люди работающие, думающие, созидающие исчезли. Естественно, что и венчает такой «русский век» фотопортрет четырех алкоголиков — «русская свадьба»: при-

снославные водка да соленый огурец. Надо отдать должное «документальному» кадру — стерляди и икры на столе нет. Но есть страшный черный оскал беззубых ртов. Есть образ страшного, обугленного народа. Образ врага.

Да-да, знакомый американцам прошлых поколений образ русского врага. Впрочем, времена так меняются. Меняется и образ: враг больше не опасен. Прав, прав Евгений Евтушенко, замечающий в своем предисловии: русские не могут соревноваться со своим главным врагом — Америкой. Только давайте все-таки уточним, кто чей враг. Что-то давненько, с советских времен, я не встречала толстяка Сэма с дурацкой сигарой на губе — в России давно уже поют иное: «Америка, Америка...» Да и что в Америке плохого? Живут себе люди, честно работают, богатеют, детей рожают, экологию защищают, книжки покупают — «Русский век», например. И я представляю, что они себе думают... А думают они после таких альбомов: гиблое место эта Россия; и при царях — гиблое, и при социализме, и при капитализме — темный народец, с червоточиной, порочный. От такого — вред всему миру. Так связалась «земля Романовых» с долларовой Россией.

«Когда началась эта русская болезнь? Во время двухсотлетнего монголо-татарского ига, когда русские князья... бесконечно боролись друг с другом... эта национальная традиция, эта привычка русских проливать русскую кровь, началась тогда», — размышляет Евтушенко. Словом, совсем больной народец, поголовно заражен «национальной гемофилией». Вряд ли я испорчу настроение «кумиру молодежи 60-х» (как обозначено под фотографией Евтушенко в альбоме), уточнив, что гемофилия царевичу Алексею была передана через его иностранных родственников. Разве что, по примеру поэта, вспомнить войну Белой и Алой розы — крови-то было! Нет, не стану вспоминать. Потому что в истории любой нации можно найти и кровь, и хлеб — кто чего ищет. Образ же гемофилийного народа, на мой взгляд, — неудачный, да и откровенно нечистый, с душком. Вообще безнравственно судиться с папой-мамой. Мне почему-то ближе и понятнее светлая традиция моего «грязного» народа: пожалеть убогого да оступившегося.

«В этом зеркале вы увидите Россию» — и, во исполнение обещания: «безжизненное лицо Николая II», маскарадный «переодетый Ленин в парике», «Сталин с трубкой», Брежнев, Ельцин, Жириновский... Но разве они — Россия? Бабушка моя, что в храме свечку «за спасение страждущих» ставила, — это Россия, родители мои, с шестнадцати лет честно работавшие, не украсившие и не предавшие, — это Россия, друзья мои, нестяжатели, не алкоголики, скромняги-интеллигенты, — это Россия. Но чтобы увидеть Россию такой, чтобы прорваться через ее горе и грехи, нужно любить эту землю и этот народ. Нужно посмотреть в другое зеркало. Какое из зеркал кривое — спор бессмысленный. Но уж если заговорить об ответственности, как предлагает поэт... Безответственно писать, что «эта книга на настоящий момент — лучший визуальный учебник русской истории». Все же всё понимают. Книгу продать надо. А для этого она должна соответствовать наработанным культурным и психологическим стереотипам той или иной страны, должна развлекать и, главное, — успокаивать: это они, мол, — злодеи, а ты — хороший, ты — добрый, ты — сильный, ты — самый-самый-самый... И цена у альбома должна быть подходящая. Альбом «Русский век» сначала оценили в 50 долларов, потом уценили до 30 (на Интернете — 14.99 \$). Я и за эти деньги не купила. За эти деньги лучше купить «Английский век» — альбом из той же серии. С большой любовью сделанный.

Марина АДАМОВИЧ.

Нью-Йорк.



ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

ОБЩЕСТВО ВНЕ СЕБЯ

Россия: от принципа удовольствия к принципу реальности

В майском (1999 года) номере «Нового мира» была опубликована статья Андрея Зубова «Сорок дней или сорок лет?». Основная ее мысль носит несколько ветхозаветный характер и по сути может быть сведена к тому, что Россия сейчас вынуждена расплачиваться за грехи предыдущих поколений. Архаичность подобного рода суждений заключается не столько в формальном подражании библейским пророкам, сколько в социально-экономических представлениях автора статьи. Так, он, в частности, полагает, что «золото — кровь экономики — на миллиарды долларов ежегодно вытекает из тела России». На самом деле, конечно, золото давно уже не «кровь экономики», и вытекают из России доллары, прежде полученные за продажу вполне конкретных товаров: нефти, газа и оружия. Впрочем, для Зубова это едва ли важно, поскольку он прежде всего — морализатор. «Причины наших сегодняшних неудач, — пишет Зубов, — причины нашей безмерной слабости, причины некачественности нашей демократии и уродливости нашего капитализма не в ошибках Горбачева, Ельцина или Гайдара, не в том, что демократия и капитализм „неорганичны“ для русской души или что мы до них „еще не доросли“, нет. Причины нашей бедственности лежат в тех делах, которые мы и отцы наши сотворили в прошедшие десятилетия. И нет такой политической или экономической модели, которая могла бы сделать нынешнюю Россию процветающей и свободной. Нет и не может быть такого гениального политика, который бы ввел нынешний русский народ на равных в мировое сообщество наций. На челе нашем — каинова печать братоубийства и богоубийства. И путь с этой печатью только один — в геенну огненную».

Если Зубов сказал это серьезно, то хотелось бы более детально узнать, что именно он имеет в виду под геенной огненной. Строго говоря, такое отчаяние (если оно — искреннее движение души, а не простое кокетство) противоречит христианским представлениям о человеке и мире, а то сладострастие, с которым Зубов перечисляет совершенные российским народом гадости, отдает некоторым идейным мазохизмом. Будь он прав, немецкому народу давно была бы крышка. Правда, в другом месте своей статьи Зубов все же нащупал верную, на мой взгляд, причину слабости российского общества. «„Мы все ждем, кто б нас объединил“... Вот тут-то проступает болезненная русская слабость — неспособность к самоорганизации», — цитирует Зубов работу А. И. Солженицына «Россия в обвале». Цитирует — и забывает, что процитировал. А ведь на самом деле в основе развития общества лежит способность его граждан разрешать возникающие моральные проблемы бытия, после чего уметь добиваться исполнения принятых решений. Совершенно справедливо отмечают, что в XVIII веке малограмотное, жестокое население Соединенных Штатов не было расположено к восприятию ценностей свободного общества, а потому и не было никаких предпосылок для развития демократии в стране. Однако американцы осознали тогда стоящую перед ними моральную проблему, результатом чего и явилась победа идей федералистов.

Безусловно, понимание судьбы того или иного государства, общества предполагает учет множества факторов: темпов экономического роста, характера власти, наличия природных ресурсов и т. д., однако самый общий взгляд на историю свидетельствует, что железной причинно-следственной связи между этими факторами и исторической судьбой все же нет, поскольку в каждом отдельном случае многое решает дух нации, система ценностей и отношения между людьми. В конце концов, экономика покоится на социальной психологии, хотя бы на том, что люди ве-

рят в деньги. То, что национальную валюту может обрушить малодушие пары десятков банкиров, мы просто видели своими глазами. Крушение Древнего Рима, поражение Франции в начале Второй мировой войны, равно как и расцвет демократии в Северной Америке — во многом результат воодушевления или уныния общества, его отношения к себе и к миру. В основе рационального эгоизма, на котором покоятся многие общественные теории, все равно лежат иррационально принятые постулаты. Ф. Хайек писал, что демократические принципы сами по себе не в состоянии были бы создать современную систему социальных отношений, господствующую на Западе. Эта система, по его мнению, опирается на ценности иудео-христианской цивилизации, в частности на способность общественных институтов и отдельных людей к самоограничению, к партнерству и взаимной честности, к умению вести себя исходя не из принципа неограниченного потребления удовольствия, умеряемого исключительно страхом наказания, а из принципа реальности, признания бытия других.

Поскольку таковых способностей у российских общественных институтов и граждан, очевидно, не наблюдается, можно предположить, что Россию ждет неизбежный распад, а возможно, и вовсе прямая гибель. Страна переживет социальные катаклизмы такого масштаба, при которых уже будет не до спасения социальных институтов, а речь пойдет о физическом выживании индивидов. Не исключено сочетание техногенных катастроф, массовых беспорядков, распада государственных институтов — прежде всего правоохранительных, — терроризма, этнических и социальных столкновений и т. д. Конечно, это не так уж неотвратимо, но вполне вероятно. Мне порой кажется, что спасти нашу страну от гибели может разве что совершенно инфантильная вера людей, ее населяющих, в собственную исключительность. Вера, присущая детям, еще не испытавшим тяжесть бытия и не научившимся с ней справляться. Кстати, начало работы Государственной думы 3-го созыва — яркая тому иллюстрация. Мы видим тут и инфантилизм, и эгоизм, вследствие которого те, кто стал бойкотировать заседания после открытия Думы, — СПС, «Яблоко» и ОВР, — легко принесли в жертву мелкому честолюбию и стремлению удачно начать президентскую кампанию интересы и своих непосредственных избирателей, и общества в целом.

...Каким бы методом исследования России ни пользоваться, с неизбежностью встает проблема умственного и душевного состояния российских граждан, поскольку совершенно очевидно, что именно в особенностях национального самосознания корень всех наших проблем. Говорим ли мы о рынке недвижимости, о торгах валютой на бирже, о росте преступности — во всех случаях мы имеем дело с проявлениями душевной неуравновешенности жителей России, с состояниями, весьма близкими к патологии. Попросту говоря, очень многое в России легко может быть объяснено общественным безумием. Мне кажется, что природа этого безумия коренится в истории и возникло оно в результате того, что в свое время российское общество не смогло сделать необходимые цивилизационные шаги и с тех пор постоянно «психует», пытаясь понять мир и найти себя. А это не удается — инструменты социального мышления не годятся.

Как-то Зигмунд Фрейд высказал предположение, что в своей истории человечество переходит от принципа удовольствия к принципу реальности, от господства архаичного отца к управлению кланом братьев. Отец подавлял, но и брал на себя ответственность, позволяя остальным не слишком задумываться о положении дел. Клан братьев, детей, стремясь к удовольствию — сексуальному и иному, — свергает отца, но взамен вынужден строить партнерские отношения, ограничивать себя в удовольствиях, то есть переходить к принципу реальности. Естественно, Фрейд описал не саму политическую историю, а ее важнейший архетип, который определяет не только общее развитие человечества, но и поведение каждого поколения. Продолжительная власть Бориса Ельцина, способность общества переходить в отношении к нему от восторга к ненависти и обратно, недавняя популярность Примакова и московский успех Лужкова — все это живые иллюстрации господства принципа удовольствия и тяги к власти сурового отца, ограничивающего возможности, но дающего право на безответственное алкание удовольствий. Собственно, к Ельцину одна в этом отношении претензия: не очень-то он был крут.

Если же приглядеться к современному Западу, то видно, что там господствует принцип реальности, который и формирует устойчивое социальное партнерство и эффективное самоограничение индивидуумов и социальных институтов. В результате в сложных политических и экономических ситуациях западное общество оказывается довольно устойчиво: богатые и бедные, управляющие и управляемые — все демонстрируют готовность к жертвам, к рациональному перераспределению доходов, к сплочению и согласию.

Россия все же удивительная страна. Подавляющее большинство наблюдателей с завидным постоянством обращает внимание на редкостную разобщенность русских, на их взаимную недоброжелательность и жестокость, на отсутствие рационального — с точки зрения социального партнерства — поведения. Конечно, и в России все понимают необходимость поисков известных правил игры и даже говорят, что ищут их. Однако в действительности поиск общих правил игры обыкновенно сводится к поиску случая «кинуть» партнера. В общем, складывается впечатление, что интериоризации, внутреннего усвоения принципа реальности не произошло, он так и остался чем-то внешним, чем-то, что можно внедрить лишь суровым принуждением. Попросту говоря, каждый русский человек считает, что он незаслуженно страдает, что в рай его не пускают силой, что дай ему волю, так он заживет в свое полное удовольствие, плюя на всех и вся. Заметили же наблюдательные иностранцы, что русские не столько живут, сколько приготавливаются жить. А это именно и означает неосвоение принципа реальности. То есть неспособность отличить ласкающую психику мрачную сказку от противоречивой действительности, в которой можно вполне достойно вести себя и при этом сносно устроиться.

Иллюстрацией к сказанному может послужить отношение в России к различным типам преступников. Например, российское общество и сегодня, и во времена Веры Засулич склонно оправдывать самые жестокие акты насилия, объясняя их тем, что, мол, среда заела, что сложились обстоятельства и тому подобное. Как известно, в России начал действовать суд присяжных, и наблюдения за ним показывают, что поведение присяжных чрезвычайно инфантильно: они могут счесть невиновным или отнестись крайне снисходительно к жестокому бытовому убийце, и в то же время — сейчас, как и в прошлом, — поступить очень сурово с тем, кто демонстрирует последовательную и рациональную систему действий. По всей видимости это следствие патерналистского сознания, которое может простить «шалость» безответственного подчиненного сознания, но не может допустить самоуважительного, самодостаточного поведения, исходящего из собственной мирообъемлющей воли. Вот почему самодур Макашов куда симпатичнее в целом вполне толерантному к евреям российскому общественному сознанию, чем, скажем, Гайдар или Чубайс. Последние — взрослые, в то время как Макашов — дитя, хотя и противное. То есть свой. Кстати, такое мышление свойственно и сталинской эпохе. Уголовники, или, по терминологии большевиков, социально близкие, были таковыми и в действительности: они следовали логике ненасытного удовлетворения желаний, умеряемой исключительно страхом. То есть вели себя как все, как большая часть русского народа, так и не сумевшего стать по-настоящему христианским. Политические же заключенные, особенно настоящие антикоммунисты, исходили из логики партнерства, желали рациональных и самостоятельно совершаемых жизненных действий.

В сущности, ничего уж особенно исключительного в России не происходит. Наше общество — не единственное в истории, которое не сумело сделать своевременный шаг в собственном развитии. Например, многие мусульманские страны, как и Россия, не справились в свое время с необходимостью модернизировать человеческие отношения. Россия уникальна, может быть, только в одном: она сделала известные шаги в направлении модернизации, но остановилась, если хотите, на полпути. И потому вся ее история — напряженное и крайне нервное колебание между теоретически вычисленным стремлением к свободной, ответственной самостоятельности — и желанием безнаказанно наслаждаться, делая вид, что ловко надуваешь начальство или родителей. Но, согласитесь, это вполне детское поведение.

В сущности, мой тезис сводится к тому, что у России как у целостного государства нет будущего, что нет достаточных оснований надеяться на успешность необходимой для возрождения страны консолидации общества. Вполне вероятно, что Россию ждет или быстрый распад, или длительный процесс гнилостного существования, при котором те или иные окраины России будут медленно отпадать, как отпадают айсберги от Антарктиды, с той только разницей, что Антарктида просушивается гораздо дольше.

Для тех, кто со мной в душе согласен, но стыдится в этом признаться, а также для тех, кто искренне колеблется, замечу, что примет печального варианта развития событий много. Ведь успех или неуспех социального целого более всего зависит от двух вещей: во-первых, от степени дееспособности элиты; во-вторых, от силы духа общества, от степени его консолидированности.

Начнем с элиты. То, что положение дел здесь более чем печально, не вызывает особых сомнений. Большинство разговоров простых граждан сводится к констатации того, что опереться не на кого. Правда, сейчас появился Путин, который внушает многим надежду на будущее. Однако его проблема в том, что он оказался под ударом многочисленных псевдоэлит, которые тем или иным путем заняли привилегированное положение в обществе. Для большинства из них — для Примакова и Лужкова, Явлинского и Немцова, Зюганова и Кириенко — определенный успех Путина, равно как и вообще ясно выраженный успех какого-либо политика, опасен, поскольку этот успех означал бы «загустение» общества, создание вменяемой системы управления и установления системы социальной стратификации и дифференциации, при которых социальная мобильность всех видов приобретает некоторые правила. То есть, попросту говоря, той ситуации, когда все знают, как надо себя вести и, в общем-то, согласны с этими правилами. Поэтому компрометация лидера является для них единственным способом политического поведения. И прежде всего потому, что иначе им пришлось бы отказаться от принципа безответственного удовольствия в пользу принципа реальности. Начало работы Думы показало, что, пока принцип удовольствия господствует, в угоду ему можно пойти на все — вплоть до разрушения работы парламента.

Впрочем, описание слабости элиты — занятие неблагодарное. Куда существеннее то, что само общество не в состоянии выдвинуть из своей среды людей, желающих и при этом способных действовать в первую очередь в интересах страны.

Разложение общества и элиты проявляется еще и в том, что наиболее яркие и забавные фигуры появляются на экстремистских флангах, то есть там, где нет серьезных шансов на успех.

В России средой, порождающей элиту и лидеров, является интеллигенция. Но если во времена тоталитарного строя ей все-таки хватило сил на то, чтобы выдвинуть одного-двух деятелей ранга Солженицына, то сегодня не получается ничего. Более того, состояние кинематографа и литературы отражает нежелание и неспособность интеллигенции к продуктивному поведению. Ведь одна из ключевых задач интеллигенции — производить художественные ценности, позволяющие и обществу, и каждому отдельному гражданину ориентироваться в мире, понимать, какие ценности одобряются, а какие нет. Многие указывали на то, что во времена великой депрессии на Западе литература и кинематограф обнадружили общество, внушили ему оптимистическое представление о мире, поддержали надежду на возрождение и возможность преодоления сложностей. В конце концов, победить может только тот, кто верит если не в неизбежность, то хотя бы в реальную возможность победы. Очевидно, что современная российская массовая культура или занята садомазохистским пережевыванием идеи безнадежности попыток наладить в России нормальную жизнь, или же, что очень близко по духу, предается ностальгии, находя только в прошлом сколько-нибудь приемлемые человеческие ценности. Даже такой популярный жанр, как детектив, и тот антиобщественен. Большинство сочинителей исходит из представлений о полном отсутствии в России дееспособных правоохранительных органов, видит в государстве частное предприятие, действующее в интересах тех или иных административных групп.

Да и само общество производит весьма гнетущее впечатление. Совершенно очевидно, что каких-либо интегрирующих ценностей нет, что активизировавшийся

после крушения коммунистической системы процесс самоорганизации общества сдвигает Россию в сторону трайбализма, если можно так выразиться. То есть граждане создают более или менее обширные группы, которые конкурируют с другими в борьбе за жизненные ресурсы. Фактически происходит имитация нормальной социальной структуры, за фасадом которой действуют корпорации. Одна, например, называется милиция. Другая — правительство. Третья — Красноярский край. Признаком, по которым идет самоорганизация, множество. А внутри каждой группы не прекращается конкурентная борьба. Преступные сообщества — всего лишь частный случай самоорганизации россиян. И это, кстати, видно по уровню их включенности в жизнь страны. Иными словами, потрясающий воображение уровень неконсолидированности России определяет практическую невозможность ее возрождения.

Пожалуй, самым крупным положительным ресурсом страны можно считать безусловное стремление большинства жить «нормально», то есть соответствовать стандартам западной материальной жизни. Вялое, полубессознательное согласие общества с идеями свободной экономики конечно же отраднo, но недостаточно для эффективной консолидации. Этого явно мало, поскольку без серьезно и сознательно принятых ценностей, без некоторых воодушевляющих социальных мифов — веры в успех, убежденности в том, что в целом справедлив мир, что честный труд вознаграждается, что добро в конечном счете побеждает зло, что социальный характер большинства позволяет построить приемлемое общество, что продвижение по социальной вертикали более или менее связано со способностями и трудом, — без всего этого никакая жизнь России невозможна.

Конечно, я перечислил только несколько показателей, которые, по моему мнению, лишают нашу страну надежды. Ну в самом деле, на что можно рассчитывать, если элита неэффективна, безвольна в социальном смысле, если она в глазах населения выглядит лишь шайкой удачливых авантюристов, да и ведет себя в точности в соответствии с этим видением. Но эта элита — плоть от плоти российского народа, не имеющего ясных ценностей, морально разложившегося, уверенного в том, что любой успех есть результат воровства, подлости и везения, а самый большой враг — ближний твой. Понятно, что обществу без мечты и элементарного взаимного доверия не на что надеяться.

Забавно, например, что Ярослав Гашек более популярен в России, нежели в Чехии. Мне кажется, что такая популярность, равно как и популярность Ильфа и Петрова, связана с тем, что ядро их гениального смеха определено господствующим в обществе принципом отрицательной селекции, согласно которому на социальный верх поднимаются самые глупые и самые ничтожные, а умные и симпатичные — или жулики, или остроумные бездельники, живущие чем Бог пошлет. Конечная бедность Остапа Бендера оказывается следствием его внутренней свободы, его природной легкости и своеобразной порядочности.

Что же будет? Может, случится чудо: напряжение окажется настолько велико, что произойдет какой-либо социальный инсайт, прорыв в качественно новое состояние. Может быть, Путин и есть такой знак, хотя его успех и успех России при нем зависят не только от него, но и от способности и элиты, и граждан консолидироваться, осознать, что процветание целого зависит от способности каждого к самоограничению. Такое бывало в истории. Например, когда целые народы меняли религию. А может, Россия развалится на большее или меньшее количество частей, и в каждой из них по отдельности общество консолидируется, выберет себе какую-либо социальную модель, создаст свой, уникальный миф. Как конкретно будет происходить распад страны, пока предсказать трудно. Повторю, что он, хотя и очень вероятен, все же окончательно не неизбежен. Правда, лично я не верю в благополучный исход.

И прежде всего потому, что в основе всего лежит моральный выбор, а не какие-либо обстоятельства. Рим, как известно, пал не потому, что там жили дураки, а потому, что сила духа была на стороне варваров.

Андрей БЫСТРИЦКИЙ.

СОЛЖЕНИЦЫН ЧИТАЕТ БРОДСКОГО

Ровно сто лет назад два величайших русских мыслителя не сговариваясь обрушились на двух поэтов, занимавших огромное место в умах и сердцах российского читателя. Лев Толстой выступил с длинным — на семьдесят страниц — очерком «О Шекспире и о драме» (1900); Владимир Соловьев написал статью «Лермонтов» (1899).

«Содержание пьес Шекспира... — пишет Толстой, — *есть самое низменное, пошрое мирозерцание, считающее внешнюю высоту сильных мира действительным преимуществом людей, презиращее толпу, то есть рабочий класс, отрицающее всякие не только религиозные, но и гуманитарные стремления, направленные к изменению существующего строя.*

...У Шекспира нет естественности положений, нет языка действующих лиц, главное, нет чувства меры, без которого произведение не может быть художественным.

...Искренность совершенно отсутствует во всех сочинениях Шекспира. Во всех их видна умышленная искусственность, видно, что он не *in earnest* (не всерьез), что он балуется словами».

Соловьев же просто объявил Лермонтова падшим человеком, целиком поддавшимся дьявольским соблазнам гордыни и бессердечности.

«Мы не найдем ни одного указания, чтобы он когда-нибудь тяготился заправду своею гордостью и обращался к смирению. И демон гордости, как всегда хозяин его внутреннего дома, мешал ему действительно побороть и изгнать двух младших демонов (злости и нечистоты. — *И. Е.*) и когда хотел — снова и снова отворял им дверь...

Лермонтов ушел с бременем неисполненного долга — развить тот задаток великолепный и божественный, который он получил даром. Он был призван сообщить нам, своим потомкам, могучее движение вперед и вверх к истинному сверхчеловечеству, — но этого мы от него не получили... Облекая в красоту формы ложные мысли и чувства, он делал и делает еще их привлекательными для неопытных...»

И вот сегодня, словно отмечая столетний юбилей тех словесных баталий, что отгремели в России в начале XX века, Александр Исаевич Солженицын пишет о поэзии Иосифа Бродского («Новый мир», 1999, № 12). Даже читатель, не являющийся профессиональным филологом, может заметить, какой огромный труд был вложен в эту статью. Каждая мысль в ней, каждый тезис подкреплены и проиллюстрированы множеством строчек-цитат из стихов Бродского. Поистине эта статья — подвиг скрупулезности и усидчивости. Подвиг, оставшийся без вознаграждения, ибо автор здесь трудился, явно не получая эстетического наслаждения от рассматриваемого материала. Разбор, анализ, сопоставление, одобрительные и отрицательные оценки — всему нашлось место в этом исследовании, кроме простого читательского восхищения стихами.

Нет, в отличие от Толстого и Соловьева, Солженицын не становится в позу обвинителя и тщательно избегает прокурорских интонаций. Он находит много достоинств в поэзии Бродского, выделяет превосходные стихи, строчки, образы. Вот о стихах ссыльного периода: «Ярко выражено, с искренним чувством, без позы». «Отменно удачная „Большая элегия Джону Донну“». «В рифмах Бродский неистощим и высоко изобретателен». «Образы, тропы, сравнения бывают хороши». «Во всех его возрастных периодах есть отличные стихи, превосходные в своей целостности, без изъяна».

И все же основной тон статьи — раздражение и разочарование. «Принятая Бродским снобистская поза диктует ему строить свой стиль на резких диссонансах и намешке, на вызывающих стыках разностильностей, даже и без оправданной цели».

«И грубую разговорность он вводит в превышенных, неоправданных дозах».

У него «иронией — все просочено и переполнено». Например, весь цикл сонетов к Марии Стюарт «написан словно лишь для того, чтобы поразить мрачно-насмешливой дерзостью».

«Беззащитен оказался Бродский против издерганности нашего века: повторил ее и приумножил, вместо того чтобы преодолеть, утишить».

«Чувства Бродского... почти всегда — в узких пределах неистребимой сторонности, холодности, сухой констатации, жесткого анализа».

«Музыкальности — во множестве его стихов никак не найти, не услышать именно *звучания*, богатого и значительного, скорей — звуковое однообразие».

«Не находя не то что цели, но даже смысла в повседневном течении жизни — Бродский не струится вместе с жизнью, и не идет с ней об руку — но бредет потeyerянно, бредет — никуда».

«Нельзя не пожалеть его».

Все эти характеристики и оценки обильно подкреплены цитатами, по необходимости (а порой и намеренно) — укороченными, оборванными. Но память привычно откликается, узнает — продолжает и раздвигает оборванные строчки и строфы. И хочется сказать: «Да помилуйте, Александр Исаевич, — разве же злостью пронизана „Речь о пролитом молоке“? Разве не есть вся она — завернутый в трагикомическую форму, но искренне гневный вопль поэта против тех, кто завел страну и мир в моральный и экономический тупик? Разве не перекликается „Я люблю родные поля, лощины...“ с лермонтовским „Люблю отчизну я...“? И не здесь ли сказано прямым текстом: „Зло существует, чтоб с ним бороться, / а не взвешивать в коромысле“? И как же можно приписывать озлобленность автору, который кончает свое стихотворение чуть ли не песенной строфой: „Зелень лета, эх, зелень лета! / Что мне шепчет куст бересклета?.. / Ходит девочка, эх, в платочке, / Ходит по полю, рвет цветочки. / Взять бы в дочки, эх, взять бы в дочки...“»

Или о сонетах к Марии Стюарт. Ну да, с королевами не принято говорить таким тоном и таким языком. Но как еще иначе можно было изобразить то, что случилось с нашим поколением в послевоенном, послеблокадном Ленинграде? «Вчера», «атас», «накнокал» и проч. — да, это был наш язык, язык городской шпаны, для которой главными героями были уголовники с золотой фиксой на переднем зубе, а главным аргументом в споре — кулак или финка. И вдруг в этот мир голодного убожества и повседневного насилия («В конце большой войны не на живот, / когда что было жарили без сала») — через моря и века, тоненьким лучом кинопроектора, на экран, натянутый в бывшей церкви, — выносятся образ шотландской королевы и пронзает сердце на всю жизнь, — да есть ли на свете такие языковые «сдёрги» и «диссонансы», которыми можно было бы адекватно воссоздать подобное чудо?

Или об иронии Бродского. Нет, не от западных интеллектуалов затекала она к нам, а напрямиком из самых главных русских книжек — из томиков Пушкина. Каждый глоток пушкинской иронии был в юности как глоток кислорода. Ибо полное отсутствие иронии было главным свойством тех, кто распорядился нашей жизнью, а потому любой проблеск ее ощущался как знак душевного освобождения. Пушкинский Моцарт может сказать о себе: «Но божество мое проголодалось», а Сальери не может — и за эту-то легкость, а вернее, летучесть души и сердится на него. В доказательство «безысходной замкнутости» Бродского в себе Солженицын приводит строчки: «Кого ж мы любим, / как не себя?» Но ведь это чуть ли не прямой парафраз грустно-ироничного пушкинского: «Кого ж любить? Кому же верить? / Кто не изменит нам один?..», кончающегося: «Любите самого себя, / Достопочтенный мой читатель. / Предмет достойный: ничего / Любезней, верно, нет его».

Ирония Бродского сродни иронии Пушкина, Гёте, Шекспира. Томас Манн называл такую иронию эпической и писал, что ей вовсе не сопутствует «холодность и равнодушие, насмешка и издевка. Эпическая ирония — это скорее ирония сердца, ирония, исполненная любви; это величие, питающее нежность к малому».

«Порой поэт демонстрирует высоты эквилибристики, однако не принося нам музыкальной, сердечной или мыслительной радости», — пишет Солженицын.

В этой фразе особого внимания заслуживает местоимение «нам». Как велико это «мы», от имени которого выступает здесь Солженицын-читатель? Из кого оно состоит? И где проходит граница между ним и другим «мы» — тем, которое уже в начале 60-х перепечатывало по ночам строчки еще никому не ведомого поэта, за-

учивало их наизусть, сбегалось на его редкие выступления? Тем «мы», которому вызываемые в памяти строчки Бродского служили защитой и убежищем от бессмыслицы обязательных политзанятий, от стыда комсомольских собраний, от стужи долгих поездок в набитом трамвае? Что двигало нами тогда — еще до громкого суда, международного шума, признания и славы? Думается, только это: «музыкальная, сердечная и мыслительная радость», доставляемая его стихами.

Описать свое неприятие того или иного поэта — нетрудно. Но как описать радость? Она так текуча, так неподвластна словам. Хотя по серьезному счету в разговоре о поэзии только это и достойно внимания. Ибо поэтическое чудо происходит не в тот момент, когда «новый Дант склоняется к листу и на пустое место ставит слово», а в тот момент, когда это слово — по законам бахтинского диалога — достигает слушающего и слышащего и остается у него в сердце.

И вот если позволить себе попытку этого труднейшего дела, если вслушаться снова в ту радость, которая текла к нам от стихов Бродского и течет вот уже сорок лет, если попытаться определить, на что так откликнулась душа в этих строчках, — то приходит на ум в первую очередь одно старомодное и полузабытое слово: *отвага*. В своем порыве к высшей свободе поэт отважно бросает вызов страху, усталости, рутине, одиночеству — и тем зажигает в нас радостный огонек надежды. Но чтобы этот вызов был брошен не на словах, не из безопасного далека, мы должны быть уверены, что поэт стоит лицом к лицу со своим противником — то есть что он не отводит свой взор от ужаса Небытия, что ему знакомы настоящее отчаяние, настоящая тоска, настоящий страх смерти.

В статье Солженицына многократно говорится о душевном холоде Бродского, о сухости его эмоционального мира. Но каким же образом этот холод мог рождать в его читателях такой душевный жар? Думается, жар этот сродни тому волнению, с которым весь мир следил за полетом Линдберга, за походом Амундсена. Человек брел к Южному полюсу во мраке, в диком холоде, и мы точно знали, что ничего полезного он там не найдет. Никто не собирался последовать за ним во мрак и холод. Мужественный вызов ледяной пустыне — вот что восхищало людей в Амундсене.

Точно так же и великий поэт, посмеявший стать лицом к лицу с ужасом и хладом Небытия и сохранивший при этом сердечный жар, не зовет нас в Небытие, но дает пример отваги. Да, герой стихотворения «Письмо в бутылке» гибнет в одиночестве, его «не станет никто провожать». Но его прощание с миром превращается в настоящий гимн миру и любви, пронизанный надеждой на то, «что сохранит милосердный Бог / то, что я лицезреть не смог: / Америку, Альпы, Кавказ и Крым, / долину Евфрата и Вечный Рим, / Торжок, где почистить сапог — обряд, / и добродетелей некий ряд...». И мы чувствуем — он имеет право сказать про себя: «Я честно поплыл и держал Норд-Норд» — и срифмовать это со словом «горд».

Поэту, как и всякому художнику, приходится вступать в противоборство с тремя вечными противниками: инерцией и косностью своего материала (камня, звука, цвета, слова), ограниченностью своего земного «я» и безграничностью космического и метафизического «не-я». Мера смелости поэта в этом противоборстве — вот что подспудно ощущается нами, вот что вызывает восторг.

«Бывают фразы с непроизносимым порядком слов, — жалуется Солженицын. — Существительное от своего глагола или атрибута порой отодвигается на неосмысляемое, уже не улавливаемое расстояние».

Да, бывает у Бродского и такое. Существительное летит в кажущейся пустоте, как атлет под куполом цирка, — вот-вот упадет, разобьется. Но в последний момент невесть откуда вылетает атлет-сказуемое, они сцепляются рифмами, и в ту же секунду, именно в точку их соединения, подлетает спасительная трапеция метафоры, и тут же всех троих захватывает ослепительным кругом прожектор таившейся до поры стержневой мысли — какое облегчение, какой восторг!

Многие стихи Бродского представляются Солженицыну неоправданно длинными, засушенными, неясными. Ему кажется, например, что «Прощайте, мадмуазель Вероника» — «стих по замыслу любовный» и здесь хватило бы «теплого восьмистишия». Но сто шестьдесят строк этого стихотворения имеют любовное объяснение лишь обрамляющим поводом для разговора о чем-то большем — о реке вре-

мени, о тайне взаимоотношений прошлого и грядущего, о судьбе России. «Речь о кресле» здесь — «только повод проникнуть в другие сферы».

Конечно, были у Бродского стихи, которые казались неоправданно затянутыми даже горячим его поклонникам («Холмы», «Памяти Т. Б.», «Горбунов и Горчаков»). Но даже и они сохраняли для нас странное очарование. Это можно было сравнить с очарованием архитектурных развалин — Форум, Парфенона, — гравюр Пиранези. Собор Святого Петра в Риме являет нам торжество камня над пространством и тяжестью. Но неподалеку оставлен как есть полуразрушенный Колизей — казалось бы, зрелище поражения камня в противоборстве со временем. Однако само поражение являет нам серьезность и мощь противоборства более явно и ярко, чем иная победа. То же самое и у Бродского: громоздкое, недостроенное стихотворение порой яснее показывает нам величие замысла, неподъемную серьезность тайны, над которой бился здесь поэт.

«Будучи в СССР, он не высказал ни одного весомого политического суждения», — утверждает Солженицын. В статье всячески подчеркивается космополитизм поэта, его удаленность от России. «Запад! Запад Бродскому люб...»

В политических дебатах Бродский действительно не участвовал — но лишь до тех пор, пока «плохая политика не начинала портить нравы». «Это уже, — считал он, — по нашей [поэтов] части». И старинные российские споры между западниками и славянофилами оставляли его равнодушным. Если эта тема и всплывала, то скорее в ироничных строчках вроде: «...В порт Глазго караван за караваном / пошли бы лапти, пряники, атлас...» Не чувствовали мы в его стихах этого противопоставления — Россия или Запад. А что чувствовали остро и радостно — возврат России в царство мировой культуры, мировой истории. Ибо Троя и Древний Рим, холмы Иудеи и меловые утесы Англии, Веймар и Краков возрождались в строчках русских стихов, сливались вновь с Псковом и Петербургом, Охтой и Торжком, от которых они были оторваны на семьдесят лет насильственно и кроваво.

Не надо забывать и то, что марксистская идеология узурпировала почти все высокие слова, какие только есть в русском языке: долг, совесть, честь, верность, справедливость, доблесть. И конечно, слово «родина», «отчизна». Люди, чуткие к чистоте речи, старались не употреблять этих слов вообще, чтобы не участвовать во лжи и лицемерии режима. Но Бродский не поддался этому поветрию. Ибо для него отказаться от принадлежности к судьбе своего народа означало бы страшное самооскопление. Слова «отчизна», «отчество» рассыпаны в его стихах очень густо: «...к равнодушной отчизне / прижимаясь щекой» («Стансы»); «...я на земле без отчизны остался» («От окраины к центру»); «...по отчеству без памятника Вам» («Ахматовой»); «...Родину спасшему, вслух говоря» («На смерть Жукова»).

Наконец, и о христианских исканиях Бродского Солженицын отзывается скептически, считает его религиозное чувство зачаточным и непрочным. Он отдает должное стихам, писавшимся ежегодно к празднику Рождества, но считает, что «Рождественская тема обрамлена как бы в стороне, как тепло освещенный квадрат».

Ну а куда же тогда отнести такие произведения, как «Исаак и Авраам», «Большая элегия Джону Донну», «Разговор с небожителем», «Остановка в пустыне»? Куда отнести сотни строк в других стихах, в которых драма отношений человека с Богом пережита глубоко, страстно, отважно? Куда деть прямую перекличку с пушкинским «Дар напрасный, дар случайный...», с лермонтовским «За все, за все Тебя благодарю я...»? Как истолковать прямо высказанное кредо в стихотворении «Два часа в резервуаре»: «Есть истина. Есть вера. Есть Господь. / Есть разница меж них. И есть единство. / Одним вредит, других спасает плоть. / Неверье — слепота. А чаще — свинство».

И наконец, можно ли назвать во всем двадцатом веке другого русского поэта, который отдал бы столько души, сердца, строк теме Бога, веры, христианства?

«Поэт — это прежде всего состояние души», — говорит Цветаева. И состояние души поэта Бродского полнее всего описывается его любимой фразой, присказкой, девизом: «Взять нотой выше». Мы готовы восхищаться порывом человеческой души вверх, но часто забываем, какое это опасное дело. Ведь «взять нотой выше»

означает прежде всего — не дать себе застыть на довольстве собой и окружающим ни на одну секунду. Да, это единственный способ подняться очень высоко. Но там, в вышине, ты вдруг обнаруживаешь, что хода назад, вниз уже нет. Что и описано подробно в стихотворении «Осенний крик ястреба», про которое Солженицын справедливо замечает, что это «самый яркий его автопортрет, картина всей его жизни».

«Братъ нотой выше» означает еще и другое: это означает всегда искать новых царств для расширения своей свободы. Это означает сражаться с любой застылостью в себе, с любой остановкой — даже если это остановка на чем-то высоком и достойном. Поэтому-то любое высокое чувство у Бродского подвергается испытанию, искушается сомнением. Поэтому любовь может идти рука об руку с грубостью и ёрничеством (выживет или нет?), вера и благодарность Творцу — с сомнением в возможности услышать Его, гордое сознание полученного дара — с безжалостной самоиронией.

Как часто в жизни мы испытываем это разочарование: пытаешься поделиться с близким тебе человеком радостью, доставляемой тем или иным поэтом, — и натыкаешься на равнодушие, глухоту, непонимание. Мы со вздохом отступаем и ищем какое-нибудь простое объяснение: неразвитый вкус, иной душевный настрой. Ведь душа у человека болит по-разному и разные нужны ей утolenия. Но когда ты видишь, что человек огромного и бесспорного таланта отсекает от себя целую поэтическую вселенную, впадаешь в растерянность. А когда в истории нашей словесности эти коллизии начинают множиться и повторяться (Толстой — против Шекспира, Владимир Соловьев — против Лермонтова, Гоголь — против Гоголя, Солженицын — против Бродского), тогда растерянность переходит в чувство протеста, в догадку, что это не случайность судьбы или причуды индивидуальных вкусов, а таинственная западня, подстерегающая даже великие души на определенном изгибе духовных блужданий.

Из внутреннего сходства этих коллизий, из почти буквального совпадения некоторых обвинений (у Соловьева — Лермонтов не развил «тот задаток великолепный и божественный...»; у Солженицына — Бродский не пошел «естественным и благодарным путем развития»), из дружного отрицания независимых прав и законов искусства вырисовывается и имя этой западни: идолизация идеи Добра, вознесение ее над всеми другими духовными ценностями.

Четырьмя дорогами уводит человеческую душу жажда свободы, четыре порыва вечно тянут ее вверх: к Разумному, к Прекрасному, к Доброму, к Высокому. В привычном раскладе сил врагами этих устремлений представляются глупость, уродство, злоба, измененность. И нам утешительно думать, будто никогда эти высокие порывы не могут вступить в противоборство друг с другом. Увы, история духовной жизни человека показывает нам, что это не так. Что Прекрасное сплошь да рядом отказывается подчиняться требованиям разумного, доброго, полезного.

Что Высокое может потребовать от нас недоброго («Оставь отца и мать своих...»). Что культ Разумного приводил к Робеспьеру и Ленину.

Поборник Добра чувствует опасную искусительную силу искусства, отмеченную еще Платоном, — и ополчается на нее порой с искренней страстью. Он объявляет греховными и ненужными произведения, противоречащие Доброму и Разумному. Он идет войной на то, что еще недавно казалось дорогим и важным ему самому. Как Боттичелли, увлеченный проповедью Савонаролы, он готов проклясть и бросить в огонь даже лучшие собственные творения. Он отказывается вслушиваться в поэтический голос сердцем, но начинает проверять его критериями правильного и неправильного, доброго и злого, канонами стихосложения и догматами веры.

Нельзя не пожалеть его.

Игорь ЕФИМОВ.

Тинейфлай, Нью-Джерси (США).

«У МЕНЯ ЗАХВАТИЛО ДУХ ОТ СОВПАДЕНИЯ...»

Уважаемая Татьяна Александровна <Касаткина>!¹

Простите, мне очень захотелось написать Вам по прочтении Вашей статьи «Как мы читаем русскую литературу: о сладострастии» в «Новом мире» (1999, № 7). Я Вам очень благодарна за нее. Мне понятно, что единомышленников у Вас нет, я сама уже несколько лет «парю» в духовно-литературных сферах в полном одиночестве. У меня просто захватило дух от совпадения моих маленьких «открытий» и положений Вашей статьи. Если Вам в Москве не найти однодумца, то что говорить о провинции. Нужно, во-первых, быть верующим человеком, а во-вторых, читать и любить классическую русскую литературу, и не только русскую. Говоря схематично, у меня есть верующие — нет читающих, у Вас есть читающие — нет верующих. Известно, что образованность — не значит просвещенность.

Я очень люблю литературу, а с тех пор как поверила в Бога, стараюсь понять, зачем она Ему нужна, для чего было написано то или иное произведение. Подходя к поиску ответов на эти вопросы с абсолютной шкалой ценностей, которую дает Вера, открываешь удивительные вещи. Замечу мимоходом, что тем удивительнее, чем яснее помнишь уроки литературы в советской школе.

Для меня «Евгений Онегин» не просто «энциклопедия русской жизни», но своеобразная русская Библия, потому что иерархия ценностей в отношениях двух главных героев выдержана четко: «...я вас люблю, но...» Можно позабавить приятеля замечанием о том, что главный вопрос русской литературы — изменить мужу или нет. Этого никто не замечает! Даже С. С. Аверинцев в статье «Гёте и Пушкин»² об этом не сказал, впрочем, может быть, просто не посчитал уместным.

А это вопрос «быть или не быть» для женщины. Когда-то в английской литературе их «солнце» — Шекспир — поставил вопрос «быть или не быть», и вся последующая литература на него отвечала развернуто и глубоко, что значит и как это «быть» и «не быть» для человека. Английский — из тех языков, в которых одно слово «man» может означать и «мужчина» и «человек». И вот русская литература занимает свое важнейшее место в европейской, отвечая на этот же вопрос для женщины. (Почему в нашей поэзии нет стихотворения <Киплинга> «If...», и даже любой из переводов, на мое чувство, «список бледный»? А это ведь великолепный ответ на «To be or not to be?», кодекс чести.)

С Толстым Л. Н., с «Анной Карениной», мне кажется, более-менее все понятно, если мерить вечной меркой, которая все расставляет по своим местам. А роман Тургенева «Накануне»? Любопытству отца автор назвал «Августина Христиановна», папаша, Вашими словами говоря, подчинил «высшее низшему», и его дочь оказалась в плену ложных ценностей и ориентиров, из-за цельности своей природы безоглядно отдала им в лице Инсарова себя всю, и душу, и тело. Елена пропала, «сгинула», бесславно, без следа и звука, последовательно завершив неприглядную семейную историю. Никакого героизма, привлекательного романтизма национально-революционных идей, осуществимых вооруженной борьбой, я не вижу, это путь духовного бесилия, гибельность которого показана смертью героя от чахотки.

С другой стороны — Чехов А. П., «Дама с собачкой». Я почувствовала фальшь предательства отношений героев в этой повести. В отличие от «Палаты № 6» (где, конечно, совсем другая тема, но я сейчас хочу сказать о соответствии показа событий и отношений героев абсолютной шкале). Как в подобных случаях бывает у Господа Бога, «Палата № 6» — это одновременно и пророчество и предупрежде-

¹ Это письмо, пришедшее в «Новый мир» после публикации моего ответа на статью В. Свинцова и обращенное ко мне как к единомышленнику, я показала другим потенциальным единомышленникам автора — тут же, в редакции. Было предложено письмо напечатать. Я написала об этом Адели Александровне, но ответа так и не получила. Я надеюсь, что она не осудит нас за эту публикацию. Я надеюсь, что в ее жизни не произошло ничего плохого, просто почему-либо не дошло мое письмо или ее ответ. Может быть, она откликнется после этой публикации. А может быть, кто-то из наших читателей захочет написать к ней... (Татьяна Касаткина.)

² «Новый мир», 1999, № 6.

ние, но горькое, Господь знает, что шансов у апатичной, пассивной, слабосильной русской интеллигенции не попасть на мордобой в сумасшедший дом уже почти нет, и объясняет почему. Хочется здесь вспомнить отклик В. Г. Короленко на эту повесть: «Чехов сам не знает, что написал» — «Чем случайней, тем вернее слагаются стихи навзрыд».

Могу привести один случай многолетней давности. Как-то я сказала моей подруге, работавшей тогда в цехе в самой что ни на есть работяжной среде, что моя мама предложила завести собаку: «Будешь с ней прогуливаться вечерами». И тут Света говорит:

«— Ну, и будешь ты как „дама с собачкой”.

— А что?

— Ну что, ты не знаешь, кто такая „дама с собачкой”?»

Так что народ порой улавливает суть на удивление метко. В таких случаях я с удовольствием вспоминаю стихотворение Баратынского «Старательно мы наблюдаем свет...».

Не соглашусь с Вами, пожалуй, в том, что каяться нужно перед толпой, главное — раскаяться в своем сердце, осознать ужас греха и раскаяться перед Богом. Необходимость огласки, на мой взгляд, в таких случаях очень спорна. Но это уже вопрос, разумеется, не литературы, разные христианские конфессии расходятся во мнении по этому предмету.

Еще мне кажется, что «канал» источника жизни не перекрывается полностью. Господь милосерден, Он действует тонко, наводя четкость объектива внутреннего зрительного «инструмента», помогая не переворачивать и не сдвигать шкалу ценностей, установленных для человека с тем, чтобы расчистить жизнеобеспечивающий «канал». А какое замечательное, «говорящее» русское слово «цело-мудрие»!

Мне близок Ваш взгляд на «вампиризм» в повседневности, можно добавить к приведенному Вами в статье образному выражению синонимичное «съедать поедом».

Теперь позвольте отойти от «женского вопроса».

Для меня статья В. Свинцова³, на которую Вы ответили, относится к поиску природы творчества, его истоков. Но как для верующего человека для меня вопрос решается однозначно и ясно: «Но лишь Божественный глагол до слуха чуткого коснется...»; «...и просто продиктованные строчки ложатся в белоснежную тетрадь». Другое дело, что, как мне кажется, Господь знает, кого и как использовать, чей психофизический «инструмент» как настроить, какому-то автору необходимо самому пережить в той или иной степени подобное тому, о чем нужно возвестить миру, кому-то хватает наблюдения, а кому-то воображения. Не мне Вам приводить примеры по каждому случаю. Интересно проследить связи между досконально изученными житейскими биографиями, душевно-духовными путями и творчеством великих писателей. Известны неприглядные эпизоды из юности Пушкина, посещения «веселых» домов, безудержное распутство. Как это сказало на состоянии его «канала» и на его судьбе? Я думаю, что, кажется, А. Битов совершенно прав, сказав, что в «Болдинскую осень», «похоже, он написал всё». И женитьба, а затем горький, бесславный конец — это судьба, и сам поэт знал это, я думаю, его раздражительность в годы женатой жизни вызывалась не постоянными денежными заботами, долгами, расхождениями с женой во взглядах на выбор образа жизни семьи. Это все уже была Судьба, его Рок, Карма, как хотите. Потому, наверно, и написал накануне смерти эпитафия к последней своей повести «Береги честь смолоду».

Простите, что отняла у Вас время, есть вещи, о которых можно говорить и спорить бесконечно.

Дай Вам Бог сил и здоровья рассказывать детям в школе, что такое грех.

23 сентября <1999 года>.

Адель Александровна ВЕЙС,
37 лет, по специальности математик, работаю сторожем.

³ «Новый мир», 1999, № 5.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ПОЛКА КИРИЛЛА КОБРИНА

+7

А. Перле. Мой друг Генри Миллер. СПб., «Лимбус Пресс», 1999, 352 стр.

Эта жизнерадостная, излучающая невероятную энергию книга «достраивает» русскую миллериану, затеянную питерским издательством «Лимбус Пресс». Достойное завершение примерно десятилетнего официального обитания Генри Миллера в отечественной словесности. Был период, когда этому неумолимому узкоглазому очкарику вздумали у нас подражать; в жизни получалось довольно слабо, в литературе еще слабее. И дело даже не в разном калибре литературного (и жизненного) дарования. Дело в том, что все эти монстры, «священные чудовища» эпохи модернизма — Миллер, Кафка, Бунюэль, Стравинский, Пикассо — настолько «штучны», настолько отличны как от простых современников, так и от непростых потомков своим, если угодно, физиологическим составом, силой энергетического заряда, ментальной конструкцией, этической стереоскопичностью, что любые попытки подражательства, пусть даже частные, пустяковые, вроде сексуальных приключений или способов курения трубки, совершенно бесполезны. Собственно, книга Альфреда Перле, парижского компаньона, собутыльника и «подельника» (не в уголовном смысле) Генри Миллера, именно об этом.

Осколок незабвенной, роскошной и тоже уже недостижимой Австро-Венгерской империи, легкомысленный журналист, маргинальный (что не значит «плохой») прозаик, Альфред Перле изображает своего друга Генри эдаким «американским дикарем», «простодушным», варваром, дорвавшимся до высокой европейской цивилизации, добродушно набивающим рот самыми лакомыми ее кусочками. Воплощение здоровья (любого: от физического до эстетического) в большой послевоенной (и предвоенной, если речь о Второй мировой) Европе — вот каков автор «Тропика Рака» в книге его австро-венгерского друга.

Позволю себе обратить внимание еще на два малозаметных, но любопытных обстоятельства. Первое. Описывая взаимоотношения Миллера с не менее монструозной Анаис Нин (которая была жива в годы написания книги), Перле осторожно раздваивает ее на доброго друга и помощника Генри «Анаис Нин» и его же любовницу Лиану де Шампсор. Кажется, нечто похожее проделал в своих воспоминаниях Андрей Белый с Любовью Дмитриевной Менделеевой. Странное и многозначительное совпадение. Второе обстоятельство. У меня есть небольшая претензия к (в целом хорошему) переводу книги. На странице 68 читаем: «...что, однако, не мешало ему регулярно обзаводиться триппачком». В уменьшительном суффиксе есть нечто благодушно-укоризненное, так и тянет вставить дурацкое: «Э-э, батенька! Да у вас триппачок!» Модернисты героической эпохи выражались иначе.

О. Дозморов. Пробел. Б. м., б. г., 32 стр.

Эта неподражаемо плохо изданная книга, не имеющая никаких опознавательных знаков, тем не менее достойна внимания читателя, буде он ее, сиротку без роду и издательства, где-нибудь обнаружит. На Урале не так уж много поэтов младше тридцати пяти лет, не испытавших влияния стихов Виталия Кальпиди. Екатеринбургец Олег Дозморов — из их числа.

Его тихие, раздумчивые стихи, быть может, еще не совсем свободные от юношеских «размышлительно-рассудательных» версификаций, но независимые не только от влияния мэтра новой уральской поэзии, но и от непременной для нынешних молодых провинциалов конвейерной иронии кибиризма, носят на себе отпечаток настоящего таланта. Дозморов простодушен, но это — «высокое простодушие», оно укоренено в русской поэтической традиции, имеет державинское, ба-

тюшковское происхождение. Отчасти мандельштамовское. В стихотворении «Я слов боюсь, что я хотел сказать...» Дозморов вступает в полемику с хрестоматийной «Ласточкой»; мандельштамовское «слово», «слепая ласточка», не прозревает, возвращается в «чертог теней», будучи не сказано, будучи «забыто», екатеринбургский поэт свое слово произнести боится: «Я слов боюсь, что я хочу сказать», но произносит-таки его: «...но словом говорю о том, что слов боится». В конце концов, стихотворение Мандельштама — о душе («А на губах, как черный лед, горит / Стигийского воспоминанье звона»), а стихотворение Дозморова — о Культуре, стремящейся стать Природой: «...но шелест пожелтевшей старой книги / напомнит нам деревьев вечный шум». Вполне акмеистическое высказывание.

А вот название книги заставляет вспомнить уже символизм. «Пробел» — не просто зияние, отсутствие чего-то (в памяти, например), а (вполне в духе несколько неуклюжего словотворчества Андрея Белого: см. его «прозелени», «просини» и совсем уже невозможные «просерени») место, заполненное «белым», некой мистической белой субстанцией; причем именно цвет символичен. «Белый» в поэтике Дозморова значит «божественный». В этих стихах почти все время идет снег. Стоит глубокая, мягкая тишина. Вокруг возможно Бог. Место, где Он обитает, и есть, наверное, «пробел».

А. Кокотов. Над черным зеркалом. СПб., «Борей-Art Центр», 1999, 68 стр.

К сожалению, Алексей Кокотов не принадлежит к поэтам, хорошо известным читателю. Увы. Между тем «Над черным зеркалом» — событие в отечественной поэзии; попытаюсь объяснить почему.

Большинство современных стихотворцев весьма неряшливы в размерах и рифмах, точнее, те (далеко не все) из них, которые вообще применяют размер и рифму. Можно, конечно, кивать на вездесущий Запад, выведший оные под корень. Или поминать километры правильно зарифмованных, расчетливо выверенных стихов, производимых на территории возлюбленного Отечества. Но речь не об этом. С Запада мы запросто вывезем «мерседесы», компьютеры, умение правильно потреблять текилу, но поэзия у нас своя, наша: ее мы должны сохранять в истинном и приличествующем ей виде, который придают именно размер с рифмой. С другой стороны, говоря о неряшливых поэтах, я именно «поэтов» и имел в виду, а не записных стихопроизводителей. Книга Алексея Кокотова есть пример влюбленности настоящего поэта в русскую метрику и рифму.

«Над черным зеркалом» состоит из трех частей: собственно стихов, собранных под заглавием «Над черным зеркалом», и двух поэм: «Строфы Ионы, Пророка из Гафхефера» и «Кавказские строфы». Открывается книга несколькими стильными (и сильными!) сонетами (М. Л. Гаспаров отметил бы смешение в них «шекспировского» и «итальянского» типов); затем автор балует читателя другими стихотворными формами; отмечу для примера прекрасное стихотворение, начинающееся строчками: «Илья-пророк, под вечер бороздя / Повозкой небо, метил в нас октавой...» — излишне говорить, что состоит оно из двух октав. Замечателен также цикл «Русский квадрат» с его несколько неожиданно блоковским финалом «И сбываются вещие сны. / К небу пламя встает на Востоке» и программные «Заносчивые ямбы». Из двух поэм, кажется, сильнее вторая, использующая четырехстопный хорей в русле традиций русской поэзии — от «Бесов» и «Дорожных жалоб» Пушкина до «На высоком перевале...» Мандельштама — для «путевых», «путешественных» описаний.

Предвижу неизбежное ворчание по поводу «культурности» «Над черным зеркалом». Современная критика, объевшись всяческими интертекстуальностями, жаждет «подлинности» и «неискушенности». Кажется, скоро вспомнят и о «человеческом документе». Бог с ней, с критикой, бедной жертвой деконструктивистской интоксикации. Культурность поэзии Кокотова совершенно естественна, чуть суховата, по-британски сдержанна; нет в ней и глумливой столичной центонности, и холодного блеска питерского классицистического несессера. Все дело в местонахождении автора: он не снаружи Культуры, он — внутри.

В. А. Жуковский в воспоминаниях современников. Составление, подготовка текста, вступительная статья и комментарии О. Б. Лебедевой и А. С. Янушкевича. М., «Наука», «Школа „Языки русской культуры”», 1999, 726 стр.

Героические издатели серии «Языки русской культуры» выпустили в свет огромный (по своему обыкновению), прекрасно изданный (тоже традиционно) том воспоминаний современников о Жуковском, дополненный тридцатью пятью стихотворениями, посвященными поэту, пера разнокалиберных авторов XIX века: от Андрея Тургенева до Владимира Соловьева. Эта увлекательная книга, в которой благодушный «балладник» отражен в нескольких десятках зеркал — от парадных (таких, как отрывки биографического сочинения К. К. Зейдлица «Жизнь и поэзия Жуковского») до маленьких дамских (мемории А. О. Смирновой-Россет), не говоря уже о совсем крошечных осколках, — производит странное действие на вдумчивого и чувствительного читателя. Уж слишком хорош поэт! И добр, и благороден, и нежен, и заботлив, и ребячлив, и (конечно же!) религиозен! Желчный выпад Н. М. Коншина не в счет, комментатор утверждает, что «Коншин плохо знал Жуковского» и именно отсюда его подозрительная готовность «усомниться в легендарной доброте и отзывчивости Жуковского, неоднократно описанной близкими поэту людьми». То-то же! И все-таки. Поневоле хочется найти чертовщину, грешок, морщинку, мимолетную гримаску на нравственной физиогномии пожилого ангела. Я внимательно изучил весь объемистый том и ничего сомнительного, кроме следующего, не обнаружил (пишет Петр Андреевич Вяземский): «В этом доме Жуковский, вероятно, часто держал на коленях своих маленькую девочку, которая тогда неведомо была его суженая и позднее светлым и теплым сиянием озарила последние годы его вечерней жизни» (кстати, см. начало стихотворения Тютчева «Памяти В. А. Жуковского»: «Я видел вечер твой. Он был прекрасен!»). Читал ли это Набоков, сочиняя на других берегах Атлантики историю другой маленькой девочки, посиживающей на коленях другого вечеревшего господина? Впрочем, к стихам Жуковского это (как и все остальные воспоминания) никакого отношения не имеет. Мемуарная полова.

В книге можно обнаружить несколько прекрасных прозаиков. Как обычно, гениален афористичный Вяземский: «В жизни каждого таится уже несколько заколоченных гробов» (стр. 187), а Вигель, кажется, придумывает гениальное определение поэзии, одновременно с ним придуманное французами, только звучит оно несколько по-иному: «...по крайней мере он (Жуковский. — К. К.) создал нам новые ощущения, новые наслаждения» (стр. 164). Галльский вариант более физиологичен: «новый трепет».

Е. Э. Лямина, Н. В. Самовер. «Бедный Жозеф». Жизнь и смерть Иосифа Виельгорского. Опыт биографии человека 1830-х годов. М., «Языки русской культуры», 1999, 560 стр.

Еще одна безукоризненно изданная книга в той же серии. Трудно определить ее жанр. Французские создатели школы «Анналов» внесли в историографию материал, на который великие Гиббон, Трейчке, Тьер, Стаббс высокомерно не обращали внимания, — повседневность. Фактически они сформулировали новый объект исследования, а значит, и науку. После этого появилась «микроистория», попытавшаяся внедриться в жизнь, быт, мысли и верования самого обычного человека: III века н. э., XIII века н. э., XX века н. э. Долгое время мне оставалось непонятным — а чем хуже XIX век? «Чистым» историкам не до того — они продолжают азартно скрещивать марксизм с «цивилизационным подходом», яростно осуждать всяческую гумилевщину. Между тем в истории литературы и изящных искусств стали появляться исследования частных жизней второстепенных персонажей русской культуры; чем дальше, тем второстепенней становилось персонажи. И вот появилась биография Иосифа Михайловича Виельгорского, друга великого князя Александра Николаевича, Жуковского, Гоголя. Обстоятельное исследование, далекое от слащавых ахов по поводу монархической России, от въедливых дознаний на уранические темы (по поводу не очень понятных отношений И. М. Виельгорского

с Гоголем), от вездесущего социологизма, есть, на мой взгляд, живой укор «практикующим» специалистам по отечественной истории прошлого века.

В «Дневнике» Иосифа Виельгорского записан его разговор с другим Иосифом — Россетом. Вот этот примечательный отрывок: «Между прочим, заговорили о правительстве и Государях наших в том отношении, что они делают, что хотят. „Зато когда они нехороши, — сказал Россет, мы тоже делаем, что хотим; отправляем на тот свет“». По-моему, это сказано не хуже знаменитого «самодержавия, ограниченного удавкой».

Борис Поплавский. Сочинения. Общая редакция и комментарии С. А. Ивановой. СПб., «Летний сад»; Журнал «Нева», 1999, 448 стр.

Есть шанс, что скоро нас ждет «мода на Поплавского». Дело тут (увы), скорее всего, не в самих стихах поэта, а в его — «царства монпарнасского царевича» — имидже (прошу прощения за богомерзкое слово), его «тщательно обдуманном костюме путешественника», его бессонных тусовках в ночных кафе, его культуризме, его кокаине. Кто-то любит Де Куинси — писателя, кто-то — торчка. Кто-то попа, а кто-то — попову дочку.

Но и без стихов здесь дело не обойдется. Силовое поле, созданное «великой четверкой» русской поэзии, ослабло уже давно. С самодискредитацией концептуализма увядает и интерес к обэриутам. Некоторые облюбовали себе Кузмина, некоторые — позднесоветскую поэзию, есть вполне плодотворные вылазки в есенинские переулочки, в блоковские ресторанчики. Поплавский был бы здесь не лишним.

Будто предчувствуя все это, журнал «Нева» и издательство «Летний сад» выпускает большой том стихов автора «Аполлона Безобразова». Издание сделано вполне удовлетворительно. Не знаю, может, у специалистов оно и вызовет некие нарекания, но для читателя этот том удобен и полезен. Разве что издевательски мелкий и слеповатый шрифт наводит на тяжкие воспоминания о нищете самого автора.

Здесь не место рецензировать содержание книги. Поплавский — поэт известный, богато отрецензированный. Стихи его небрежны, вяловаты и порой волшебны. Набоков в той из автобиографий, которая была предназначена для иностранцев, и не помышлявших о существовании поэта Поплавского, великодушно хвалил его стихи за «гулкие тональности» и весьма романтично называл автора «дальней скрипка среди близких балалаек». В «Сочинениях» Бориса Поплавского эта скрипка слышна почти постоянно, хотя и на фоне декадентских гобоев: «Так впрыскивает морфий храбрый клоун...»

Fr. D. V. Кодекс гибели, написанный им самим. Б. м., «T-ough Press», 1999, 178 стр.

Даже попытка библиографического описания этой книги вызывает серьезные трудности. Место издания не указано, хотя в выходных данных читаем «Printed in Czech Republic». Нумерация страниц начинается с обложки, на которой воспроизведена не слишком пристойная композиция, состоящая из обиженного снеговика, собачки и связанного обнаженного юноши, кисти (если так можно выразиться по отношению к произведению современного художника) Садао Хасегава. ISBN, правда, наличествует, как, впрочем, и копирайт автора, скрывшегося под псевдонимом Fr. D. V. Моя скудная латынь позволяет мне предположить, что «Fr.» обозначает «брат», в смысле монашеского ордена. Что это за орден, становится ясно из другой картинки — на третьей странице. Это — бог сатанистов, Дьявол. Теперь понятно, кем «им самим» написан «Кодекс гибели».

«Кодекс гибели» — один из любопытнейших в нашей словесности образчиков воспаленного гомосексуального эстетизма, не щадящего ни приличий, ни морали вообще, ни истории, ни даже здравого смысла. Находящего удовольствие в этом отсутствии жалости. Плоть книги — словесная ворожба вокруг довольно банальной вещи — однополого коитуса, разукрашенного, впрочем, всякой всячиной: сатаниз-

мом, «голубым» периодом истории нацистского движения, кинематографическими пейзажами и мизансценами, ворохом красивых и ужасных вещей. «Кодекс гибели» мастерски интонирован; безусловно, он сочинен поэтом и предназначен для чтения вслух, а не глазами. Длинные перечисления, риторические и нравоучительные пассажи, перебиваемые короткими восклицаниями на непонятном энохийском языке, изобретенном (открытым?) автором: «Quasb!», «Agios o Atazoth!». Честное слово (чуть не написал «ей-богу!»), не хочется прозреть за всем этим никакой настоящей мистики, истинного сатанизма; хотя очевидно — «Кодекс гибели» есть попытка анти-Евангелия (равно как и «анти-Корана» с примесью «анти-бусидо») — ведь Евангелие, в общем-то, «Кодекс Спасения». Главное, что раздражает в этой мастерски написанной книге, — назойливое стремление (как бы походя, невзначай) оскорбить как можно больше святых, нарушить максимум табу, наговорить (как бы) неслыханных дерзостей. В этом у Fr. D. V. есть предшественники, предки (в разной степени родства) — ругачий Селин, яростный Жене, болтливый Берроуз. (Замечу в скобках, что у «Кодекса», точнее — его первой части, воспроизводится некий разговор, даже «семинар» «посвященных», «братьев», вдруг обнаруживается неожиданный доморощенный прадед: «Русские ночи» Одоевского, которые тоже есть не что иное, как разговор, философический семинар со вставными новеллами, своего рода тоже «кодекс», только не «гибели», а «спасения» — спасения мира посредством России. Что же до явной переключки сочинения Fr. D. V. со «120 днями Содомы» и семинарами Лакана, то вот красноречивая цитата из 1 части «Кодекса»: «Мы — мировой пустяк. И вскоре не останется никого, только мы, участники семинара, — павел сергеевич, роберт, илья, сережа и я»).

И последнее — марксистское — замечание. Очень буржуазная книга. Все представления автора о богатой и красивой жизни — из Пруста и австро-венгерских оперетт: сигары, шампанское, монокли, кокаин, билеты в оперу. Только мескалин более позднего происхождения — из Олдоса Хаксли и вышеупомянутого Берроуза (к сожалению, не того, что придумал Тарзана).

-3

Гарик Сукачев. Король проспекта. Единственное полное собрание всех текстов и стихов Гарика Сукачева. (Издание первое). Предисловие к книге написал А. И. Митта. М., Издательство «ЛЕАН», 1999, 256 стр., с илл.

Похвальное стремление стать по-ренессансному многосторонней личностью, так сказать, титаном Новейшего Русского Возрождения, волшебным превращает блеющего певца в чародея кухмистерской, шоумена с внешностью брачного афериста — в депутата. Досталось и словесности. Своими ценными наблюдениями о жизни, стихами к случаю и без, чеканными афоризмами неустанно делятся парикмахеры, модисты, отставные вице-премьеры. Вот и Гарик Сукачев, наш двойник Тома Уэйтса, порадовал публику своим литературным ПСС.

Большая его часть состоит из непонятого назначения текстов песен; просто читать их невозможно, для всего прочего нужны кассеты или CD. Впрочем, есть один вариант: использовать эту книгу на манер молитвенника; так и вижу стайку сукачевских поклонников, задушевно распеваящих (у каждого в руках по заветной книжице): «Горит огонь, горит, / Но что-то мне неможется, / Что-то грустится мне, / Что-то тревожится. / То ли себя потерял, / То ли раскис совсем. / Что-то забыл, не узнал, / Лодкою на мель сел».

Что же до «чисто» поэтической и прозаической части, то она, будь распечатана в десятке номеров студенческой многотиражки Бобруйского пединститута, никаких эстетических претензий не вызвала бы. КВН & капуста.

Искушенный читатель оценит прелесть чудовищного перевода/пересказа знаменитой песни итальянских партизан: «И женщины вслед долго машут руками. / Их нежность к тебе мою песню несет».

Фотографии в книге очень красивые.

Б. И. Гаврилов. История России с древнейших времен до наших дней. М., Издательство «Новая Волна»; ЗАО «Издательский Дом ОНИКС», 1999, 576 стр.

Что сейчас может стать «штукой, посильнее „Фауста” Гёте»? Не роман, конечно, не поэма и не (упаси Господи!) философский опус. Думаю, толково написанное пособие по истории России для школьников и абитуриентов: без педантства, дешевой драматизации, лексического мусора, фактических ошибок и методологического идиотизма. Увы, такой книги нет.

Тем сильнее стремление заполнить лауну. Очередная попытка принадлежит «кандидату исторических наук, старшему научному сотруднику „Центра военной истории” Института российской истории РАН» Б. И. Гаврилову. На обложке издания читаем: «Универсальное издание: школьникам и учителям, выпускникам средних учебных заведений, поступающим в вузы, гарантия получения базовых знаний». В аннотации отмечено: «Особое внимание в издании уделяется четкому изложению материала...»

Что верно, то верно. Четкость невероятная, истинно военная. Раздел «Культура России середины и второй половины XVIII века» открывается фразой: «Середина и вторая половина XVIII века — важнейший этап становления национальной науки и культуры. В просвещении большую роль сыграли *солдатские школы...*» Дальнейшее изучение параграфа, посвященного образованию и просвещению той эпохи, наводит нас на удивительное открытие — курсивом (как наиболее важные для запоминания) выделены только «солдатские школы»; ни Московский университет, ни мужские гимназии, ни Академия художеств такой чести не удостоились. Что, в общем, естественно: для сотрудника Центра военной истории они, безусловно, главные. Писал бы пособие университетский историк — выделил бы университет, искусствовед — Академию художеств. Все логично. Другое открытие Б. И. Гаврилова — освободительная борьба аборигенов Аляски против российского империализма в середине прошлого века; как еще можно толковать следующий пассаж: «18 марта 1867 года России пришлось уступить США Аляску и Алеутские острова за 7 млн. 200 тыс. долларов, так как силой удержать далекие заморские территории Россия тогда не могла»? Не прошел автор пособия и мимо истории русской словесности. Вот образчик его несгибаемого социологизма, помноженного на истинно классовый подход: «В целом для явлений буржуазной культуры конца XIX — начала XX века характерно *декадентство*, отмеченное настроениями безнадёжности, безрадостности мироощущения. Революция 1905 — 1907 годов всколыхнула декадентов, вызвала у них стремление к освободительным целям». Интересно, кого разбудили оные декаденты, «всколыхнутые» революцией? Наверное, Гумилева и акмеистов: «Акмеисты воспринимали мир, противопоставляя биологическое, животное начало социальному, с культом силы Ф. Ницше». А что за силач такой Ф. Ницше? К чему относится культ его нечеловеческой силы: к «миру», к «животному началу» или «социальному»? В общем, как написано в разделе «Культура России начала XX в.», между параграфом об архитектуре и параграфом о кинематографе: «Конка в городах стала вытесняться трамваем. Наряду с газовыми и керосиновыми фонарями появились электрические. В рабочих кварталах открываются чайные, иногда чайные-читальни. В этом отношении много делали Общества трезвости».

Вершины русской поэзии. Век XIX. М., ЗАО «Издательство ЭКСМО-Пресс», 1999, 640 стр.

У этой книги есть составитель — Вадим Кожинов. Аннотация загадочно предупреждает: «Профессионализм В. Кожинова вызывает интерес и уважение оппонентов», что сразу наводит на разные нехорошие аналогии: «Огромное состояние господина Н. вызывало интерес у компетентных органов». И вообще — что за странные контрасты в преамбулах: откуда сразу взялись «оппоненты»?

Перед нами авторская подборка — так сказать, русская поэзия прошлого века «по Кожинову». Издание открывается статьей «От составителя»; в ней намечаются принципы столь непростого отбора «вершинных» поэтов и их творений. В «вели-

кие творцы русской классической лирики» попали семеро: Пушкин, Боратынский, Тютчев, Кольцов, Лермонтов, Фет, Некрасов. Глупо, конечно, оспаривать любые списки подобного рода; как, впрочем, глупо и вымеривать на аптекарских весах унции таланта и грани гениальности для строительства очередной Периодической Системы Элементов Русской Поэзии (в случае Кожина еще и Истинно Национальной). У каждого из нас свой списокчик имеется, только вот не каждый из нас превращает его в толстые селекционные книги. Жалко, конечно, и Вяземского, закутанного в старческий его халат, и упоительного Батюшкова (чье итальянское «Ты пробуждаешься, о Байя, из гробницы», на мой взгляд, роднее русскому уху, чем все кольцовские посвисты вроде: «Ну! Тащися, сивка...»), и много кого еще жалко. Жалко даже тогда, когда математические эпитеты «второстепенный» и «третьестепенный» раздают люди, кому по рангу, по таланту «все дозволено», чей главный аргумент — их собственные сочинения: Набоков, скажем, или Бродский. А уж когда не вольный стрелок — поэт или писатель, а «теоретик, историк, знаток современного литературного процесса», с чьим именем «в ученом мире связываются основательность, компетентность, научная ответственность», объясняет нам, что Вяземский с Батюшковым хуже Кольцова, потому что «поэты эти не создали такого неоспоримо прекрасного лирического *мира*, без которого поистине, если воспользоваться словами Толстого о Тютчеве, „нельзя жить”», то начинаешь сразу понимать искомую фразу об интересе оппонентов к профессионализму Кожина. А вот еще одна глубокая, истинно научная оценка: «Да, Языков и, подобно ему, Жуковский, Полонский или Алухтин создавали завершенные в себе поэтические творения, но в них недостает того размаха и той глубины смысла, которые являются условием истинного художественного величия». Да, как говорил персонаж одного анекдота XVIII века, отвечая на вопрос Екатерины II, чем отличается единорог от пушки: «Единорог, Ваше Величество, он сам по себе, а вот пушка — она сама по себе».

Все ничего, если бы составителя вели прихотливые капризы истинного эстета, любителя парадоксов, неожиданных нюансов, ниспровергателя устоявшихся репутаций. Но, листая эту аляповато изданную книгу, как-то сразу забываешь про эстетизм.



Ъ И Ъ Л И О Г Р А Ф И Я

КНИГИ



Василий Аксенов. Скажи излом. Роман. М., «Изограф», «ЭКСМО-Пресс», 1999, 408 стр., 12 000 экз.

Переиздание известного романа, написанного по мотивам одного из самых знаменитых литературно-общественных скандалов конца 70-х годов — появления альманаха «МетрОполь» (1979). Одновременно вышли — роман «Ожог» (М., «Изограф», «ЭКСМО-Пресс», 1999, 492 стр., 12 000 экз.) и трилогия «Московская сага» (М., «Изограф», 1999, 702 стр., 10 000 экз.).

Б. Акунин. Особые поручения. Две повести о приключениях Эраста Фандорина. М., «Захаров», 1999, 318 стр., 5000 экз.

Ивлин Во. Новая Европа Скотт-Кинга. Повести и рассказы. М., «Текст», 1999, 221 стр., 5000 экз.

К уже известному корпусу сатирических текстов Ивлины Во добавилась повесть 1946 года «Новая Европа Скотт-Кинга» в переводе Б. Носика. Среди рассказов, вошедших в книгу, неизвестных русскому читателю нет.

Г. Гессе. Паломничество в Страну Востока. Перевод с немецкого С. Аверинцева и других. М., «ЭКСМО-Пресс», 1999, 397 стр., 8500 экз.

А. С. Грибоедов. Полное собрание сочинений. В 3-х томах. Том 2. Драматические сочинения. Стихотворения. Статьи. Путевые заметки. Главный редактор С. А. Фомичев. Подготовка текста, комментарии А. В. Архипова и других. СПб., «Нотабене», 1999, 618 стр., 4000 экз.

Андрей Дмитриев. Закрытая книга. Роман и повести. М., «Вагриус», 2000, 300 стр., 5000 экз.

Книжное издание нового романа (первая публикация — «Знамя», 1999, № 4), а также повестей «Поворот реки», «Воскобойников и Елизавета».

Милан Кундера. Вальс на прощание. Роман. Перевод с чешского Н. Шульгиной. СПб., «Азбука», 1999, 271 стр., 10 000 экз.

Новый для русского читателя роман Кундеры.

Александр Кушнер. Стихотворения. Четыре столетия. М., «Прогресс-Плеяда», 2000, 288 стр., 2000 экз.

Избранные стихи из двенадцати книг.

Томас Манн. Избранник. Роман. Перевод с немецкого, послесловие, примечания С. Алта. СПб., «Азбука», 1999, 344 стр., 10 000 экз.

И. И. Пущин. Сочинения и письма. В 2-х томах. Том 1. Записки о Пушкине. Письма 1816 — 1849 годов. М., «Наука», 1999, 551 стр., 2000 экз.

Сто стихотворений ста поэтов. Старинный сборник японской поэзии VII — XIII веков. Предисловие, перевод со старояпонского, комментарии В. Т. Становича. Под редакцией В. Н. Марковой. 4-е издание, исправленное. М., СПб., «Летний сад». Журнал «Нева», 1999, 287 стр., 4000 экз.

Французская новелла 1970 — 1995. Антология. Составление В. Балашова. М., «Культура», 1999, 400 стр., 15 000 экз.

Представлены Франсуаза де Мольд, Мишель Турнье, Андре де Мандриак, Кристиана Барош и другие современные писатели.

Евгений Анисимов. Дыба и кнут. Политический сыск и русское общество в XVIII веке. М., «Новое литературное обозрение», 1999, 720 стр.

Монография, посвященная внесудебному преследованию государственных преступников, месту доноса в русском обществе XVIII века, впервые в русской исторической литературе написанная с привлечением такого обширного исторического материала.

М. Н. Золотоносов. Слово и тело. Сексуальные аспекты, универсалии, интерпретации русского культурного текста XIX — XX веков. Сборник статей. М., «Ладомир», 1999, 830 стр., 2500 экз.

Книга вышла в серии «Русская потаенная литература». Содержит шесть крупных работ петербургского критика и культуролога, посвященных «Бесам» Достоевского, «Мухе-Цокотухе» Чуковского, «Зойкиной квартире» Булгакова, «Антисексусу» Андрея Платонова, советско-парковой скульптуре 30-х годов, сексуальной стороне левовского быта 20-х годов и т. д. «В методологическом отношении работы тяготеют к психоаналитическому литературоведению, соединенному с историко-культурным анализом, оживляемым поиском скрытых цитат и не опознанных ранее источников вдохновения» (из издательской аннотации).

Иванов-Разумник. Писательские судьбы. Тюрьмы и ссылки. Вступительная статья, составление В. Г. Белоуса. М., «Новое литературное обозрение», 2000, 544 стр.

Мемуары одного из властителей дум русской революционной интеллигенции 1910-х годов, литературного критика и историка общественной мысли Разумника Васильевича Иванова (Иванова-Разумника; 1878 — 1946), к сожалению, слишком хорошо знавшего тюрьмы и ссылки как в царской, так и в Советской России, а в конце жизни пополнившего свой опыт еще и в немецких лагерях.

Юрий Каграманов. Россия и Европа. Составитель и ответственный редактор Р. Гальцева. М., РАН ИНИОН. Центр гуманитарных научно-информационных исследований, 1999, 300 стр. («ЭОН». Альманах старой и новой культуры. 1999, № 6).

Восемь статей известного культуролога, постоянного автора «Нового мира», объединенных темой «Европа и мы».

Андреас Каппелер. Россия — многонациональная империя. Возникновение. История. Распад. Перевод с немецкого Светланы Червонной. М., «Прогресс-Традиция», 2000, 344 стр., 2000 экз.

Монография швейцарского историка, руководителя Семинара по истории Восточной Европы Кёльнского университета. Временной охват: от собирания российских земель в XVI — XVIII веках до процессов перестройки конца XX века.

Вячеслав Кошелев. Алексей Степанович Хомяков, жизнеописание в документах, в рассуждениях и разысканиях. М., «Новое литературное обозрение», 2000, 512 стр.

Ю. М. Лотман. Учебник по русской литературе для средней школы. М., «Языки русской культуры», 2000, 256 стр.

От древнерусской литературы и фольклора до Гоголя и Герцена — для школьников.

О ничтожестве литературы русской. Сборник статей. Составление и предисловие С. Гайер. СПб., «Алетейя», 2000, 224 стр., 1200 экз.

Авторы сборника: А. С. Пушкин («О ничтожестве литературы русской»), Ф. М. Достоевский («Пушкин. Очерк»), Л. Н. Толстой («Речь в обществе любителей российской словесности», «Письмо к А. Александрову»), А. А. Блок («О назначении поэта»), М. Горький («Советская литература»), Абрам Терц (А. Д. Синявский) («Что такое социалистический реализм»), И. А. Бродский («Нобелевская речь»).

Приватизация по-русски. Под редакцией Анатолия Чубайса. М., «Вагриус», 1999, 366 стр., 15 000 экз.

О приватизации, что называется, из первых уст (в коллектив авторов вошли экономисты — реализаторы программы приватизации: М. Бойко, Д. Васильев, А. Козаков, А. Кох, П. Мостовой, А. Чубайс); рассказ об экономике на языке, понятном достаточному широкому кругу читателей.

Русский консерватизм XIX столетия. Идеология и практика. Под редакцией В. Я. Гросула. М., «Прогресс-Традиция», 2000, 440 стр.

Сборник работ современных русских историков, выстроенный как монография. Составлена из шести глав, определивших структуру книги: **В. Я. Гросул**, Зарождение российского политического консерватизма (на материале начала XIX века); **Р. Г. Эймонтова**, В новом облики (1825 — 1855 гг.); **В. Я. Гросул**, В эпоху реформы 1861 года (1856 — 1861 гг.); **Б. С. Итенберг**, От апреля 1866 до 1 марта 1881 года; **В. А. Твардовская**, Царствование Александра III; **К. Ф. Шацлло**, Консерватизм на рубеже XIX — XX вв.

В. С. Соловьев. Полное собрание сочинений и писем в двадцати томах. Сочинения в пятнадцати томах. Сочинения. Том первый. 1873 — 1876. Ответственный редактор А. А. Носов. Составители Н. В. Котрелев, А. А. Носов. М., «Наука», 2000, 390 стр., 2000 экз.

Первая попытка издания всех доселе известных сочинений самого крупного русского философа, включая затерянные в периодике статьи, рецензии и заметки, не публиковавшиеся ранее неоконченные произведения, черновые наброски, планы к неосуществленным замыслам. В разделе «Приложения» публикуются конспекты академических и публичных лекций или газетные отчеты о них. Участники издания видят свою главную задачу в том, чтобы представить сочинения философа выверенными в соответствии со сложившейся для академических изданий текстологической традицией и снабдить их пространным историко-культурным комментарием, вводящим соловьевские идеи в контекст как его интимных творческих исканий, так и в контекст его времени. Поэтому значительное место в комментариях отведено отзывам современников (от видных мыслителей до частных лиц) на появлявшиеся в печати или произнесенные с кафедры тексты. Основу первого тома составляют магистерская диссертация Соловьева «Кризис западной философии» и примыкающие к ней полемические статьи, а также несколько не входивших в предыдущие собрания рецензий и других документов.

Издание осуществлено при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ).

Георгий Флоровский, протоиерей. Восточные отцы IV — VIII веков. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1999, 260 стр., 4800 экз.

И. Я. Фроянов. Киевская Русь. Главные черты социально-экономического строя. СПб., Издательство С.-Петербургского университета, 1999, 372 стр., 3000 экз.

Первое полное издание исследования, законченного историком еще в 1973 году и тогда же защищенного в качестве докторской диссертации в ЛГУ (сокращенный вариант книги выходил в 1974 году).

Л. Е. Шемелев. Чиновный мир России XVIII — начала XX в. СПб., «Искусство СПб.», 1999, 479 стр., 5000 экз.

Книга, сочетающая признаки двух жанров — исторической монографии и справочника, посвящена устройству аппарата государственного управления и организации гражданской службы в России XVIII — начала XX века. Содержит описание центральных и местных государственных учреждений и их канцелярий, информацию о составе чиновников, условиях их службы, о системе чинов и званий, о дворянстве и родовых титулах, об императорском дворе, придворных и светских званиях, о мундирах и орденах. Текст сопровождается таблицами, схемами и обширным иллюстративным материалом.

Составитель **Сергей Костырко.**

«НОВЫЙ МИР» РЕКОМЕНДУЕТ:

Андрей Дмитриев. Закрытая книга.
Русский консерватизм XIX столетия. Идеология и практика.
Приватизация по-русски.

ПЕРИОДИКА



«Арион», «Волга», «Время МН», «День литературы», «Дружба народов», «Ex libris НГ», «Завтра», «Знамя», «Известия», «Итоги», «Книжное обозрение», «Коммерсантъ», «Литература», «Литературная газета», «Литературная Россия», «Логос», «Московские новости», «Наш современник», «НГ-Наука», «НГ-Религии», «НГ-Сценарии», «Нева», «Независимая газета», «Новая Юность», «Общая газета», «Октябрь», «Посев», «Субботник НГ», «Урал», «Уральская новь», «Фигуры и лица», «Художественный журнал»

Анатолий Азолюский. Рассказы. — «Урал». Екатеринбург, 2000, № 2. Электронная версия: <http://www.art.uralinfo.ru/literat/ural> или <http://www.infoart.ru/magazine/ural>

Три коротких рассказа буковерского лауреата. См. также его повесть «Патрикеев» в газете «Литературная Россия» (2000, с № 3 по 10).

Алексей Алехин. Прощание с авангардом. — «Арион». Журнал поэзии. 1999, № 4. Электронная версия: <http://www.infoart.ru/magazine/arion>

С выставки¹ вышел угрюм. Тягостен век авангарда. Смело, Алехин, бичуй века священных коров²... (¹«Москва — Берлин»; ²Г. Айги, Вс. Некрасов и другие).

Григорий Амелин. Истоки и смысл русского структурализма. — «Урал», Екатеринбург, 2000, № 1.

Рефлексия над предсмертной книгой Ю. М. Лотмана «Культура и взрыв» (М., «Гнозис», 1992) и попытка ее экзистенциального толкования. Во второй части статьи находим критический разбор обширной работы известного структуралиста, лингвиста и литературоведа В. Н. Топорова о русском антисемитизме «Спор или дружба?», опубликованной в сборнике «Аequinox» (М., 1991).

Лев Аннинский. Звезды и кресты. — «Литературная Россия», 2000, № 3, 21 января.

Из цикла «Барды». «Перед народом Афганистана наши солдаты никакой вины не чувствуют. Ни на мгновение. То есть ни одной нотки во всех песнях, прослушанных мною, ни словечка, ни звука. Мы им несли „свободу“ — как мы можем быть перед ними виноваты? Мы их вообще не чувствуем...» См. также статьи Л. Аннинского «Удар костылем» («Литературная Россия», 1999, № 26, 9 июля) о создателях знаменитой песни «Я был батальонный разведчик...» и «Заговаривающий бездну» («Литературная Россия», 1999, № 32, 20 августа) о песнях Михаила Щербакова.

А. Баранович-Поливанова. Из воспоминаний. — «Волга», Саратов, 1999, № 10. Электронная версия: <http://www.infoart.ru/magazine/volga>

Детство. Атмосфера предвоенных лет. См. другие, более интересные, фрагменты из воспоминаний А. Баранович-Поливановой — «Впечатления послевоенной поры» («Знамя», 1996, № 5) и «Несколько штрихов из жизни 50 — 60-х» («Знамя», 1998, № 9).

Павел Белицкий. Поэт, вернувший песню. — «Независимая газета», 2000, № 8, 19 января. Электронная версия: <http://www.ng.ru>

К 100-летию Михаила Исаковского. «Есенин — „всемирно любимый“ поэт, его могут любить даже те, кто поэзию вообще не любит. На каждом слове стоит клеймо его личности и судьбы, и когда поют, например: „Ты жива еще, моя старушка?“ — поют именно Есенина. О Михаиле Исаковском всего этого не скажешь. Поют и любят „Катюшу“, „Ой, цветет калина“, „Снова замерло все до рассвета“, „Огонек“, не всегда и вспоминая, что это — Исаковский...»

Владимир Березин. Боевые действия по взятию Измаила. — «Независимая газета», 2000, № 7, 18 января.

О романе Михаила Шишкина «Взятие Измаила» в журнале «Знамя» (1999, № 10, 11, 12): «...это опись русской культуры, подчиненная оптике зарубежной подзорной трубы, свернутой из швейцарского вида на жительство. Вместо линз в этой трубе капнуты слезы — с одной стороны, от радости, с другой — от горя.»

Евгений Биневиц. История бедной падчерицы, или Как Евгения Шварца обвинили в неуважении к сказке. Драма в двух актах, трех картинах и с эпилогом. — «Нева», Санкт-Петербург, 1999, № 12.

1945 — 1946 годы. Вокруг шварцевского сценария знаменитой «Золушки» (режиссер Н. Кошеверова).

Андрей Битов. Он был одноклассником Набокова. Записала М. Галина. — «Литературная газета», 2000, № 3, 19 — 25 января.

К 100-летию со дня рождения Олега Волкова. См. также не публиковавшуюся прежде речь Андрея Битова при вручении Олегу Волкову Пушкинской премии (1992) Фонда Альфреда Тёпфера («Время MN», 2000, № 4, 21 января): «Олег Васильевич едва ли не последний русский писатель, умеющий выговаривать русское слово *старинно*, общая нам о нашей действительности».

Сергей Бочаров. Случай или сказка? — «Литература». Еженедельное приложение к газете «Первое сентября». 2000, № 3, январь. Электронная версия: <http://www.1september.ru>

«Пиковая дама».

Иосиф Бродский. «У меня есть только нервы...». Беседа с Биргит Файт. Литературная обработка и комментарии Ольги Мартыновой. — «Урал», Екатеринбург, 2000, № 1.

Интереснейшая беседа Иосифа Бродского с немецкой слависткой Биргит Файт записана 10 сентября 1991 года в Лондоне. У Бродского спрашивают, не было ли вызвано его маленькое, но хвалебное предисловие к стихам Ратушинской тем, что она сидела? Ответ: «Отчасти да, преимущественно — да, но, с другой стороны, я и не кривил душой. У Ратушинской, особенно когда она оказалась в тюрьме, стали из тюрьмы приходиться совершенно замечательные стихи... Я помню у нее стихотворение, которое описывает батарею отопления. Калорифер, да? Где-то, видимо, в здании тюрьмы. Это совершенно замечательное описание — описание этой пыли, описание этих ребер и так далее, и так далее. Такая есть в этом стихотворении замечательная монотонность. Я не знаю, как сложились бы ее поэтические обстоятельства, если бы она просидела дольше, просто не хочется думать, что, может быть, она стала бы еще и лучше писать...» Еще цитата. На вопрос о его *взглядах* на Маркса и Фрейда Бродский отвечает: «Нет никаких! Поймите простую вещь — и это самое серьезное, что я могу сказать по этому поводу! — у меня нет ни философии, ни принципов, ни убеждений. У меня есть только нервы. Вот и все. И... вот и все. Я просто не в состоянии подробно излагать свои соображения и т. д. — я способен только реагировать. Я, в некотором роде, как собака, или лучше: как кот. Когда мне что-то нравится, я к этому приноживаюсь и облизываюсь. Когда нет — то я немедленно... это самое...»

Вот что говорит Бродский о посвященной ему книге Валентины Полухиной «A Poet for our Time» (Cambridge University Press, 1989): «Ну это полный бред. Это не надо трогать, это надо немедленно спустить в уборную... Я ее не читал, я посмотрел первые две страницы... Полный бред». Интересно, попадет ли эта беседа в сборник избранных интервью поэта, который профессор Валентина Полухина готовит в издательстве «Захаров»? Но туда непременно попадут два не менее интересных интервью 1991 и 1987 годов, переведенные с английского Глебом Шульпяковым, — см. «Наглая проповедь идеализма» («Ex libris НГ», 2000, № 3, 27 января) и «Поэту страдать стыдно» («Общая газета», 2000, № 4, 27 января). Все указанные публикации приурочены к четырехлетию со дня смерти поэта (28 января 1996 года).

В. С. Вахрушев. Постмодернизм... и несть ему конца? — «Волга», Саратов, 1999, № 10.

«Дело, начатое волхвами, колдунами, знахарями и шаманами, живет и побеждает».

Игорь Виноградов. Припрячь публично. — «Книжное обозрение», 2000, № 3, 17 января.

По поводу интервью прозаика Юрия Кувалдина («Книжное обозрение», 1999, № 49), который назвал нынешний «Континент» *мертвым журналом, да еще с набишкой оскомины религиозности*. Главный редактор «Континента» отвечает: «Если уж действительно вы раньше (будучи автором журнала. — А. В.) не лицемерили, то почему же, Юрий Александрович, вы, наблюдая столь катастрофическую эволюцию журнала, ни разу мне не позвонили (хотя бы) и не сказали: знаете, Игорь Иванович, куда-то не туда вы журнал ведете?...»

Соломон Волков. Разговор с Анатолием Рыбаковым. Предисловие Татьяны Рыбаковой. — «Дружба народов», 2000, № 1. Электронная версия: <http://www.infoart.ru/magazine/druzhba>

О том, как Сталин дал Рыбакову Сталинскую премию за роман «Водители».

Александр Володин. «Я и не знал, что в меня влюблены». Беседовала Любовь Пайкова. — «Огонек», 2000, № 1, январь. Электронная версия: <http://www.ropnet.ru/ogonyok>

«История „Пяти вечеров“ — моя собственная... И „Осенний марафон“ про меня. Бузыкин, который мечется между двумя женщинами, который делает что-то для бездарной Варвары, потому что не может ей отказать, увы, тоже я...»

Илья Гилилов. Шекспировский вопрос в конце XX века. — «НГ-Наука», 2000, № 1, 19 января. Электронная версия: <http://www.ng.ru>

Автор нашумевшей книги «Игра об Уильяме Шекспире...» (М., «Артист. Режиссер. Театр», 1997) отвечает на критику. Полемика с академиком Н. И. Балашовым («НГ-Наука», 1999, № 4, апрель). Из-под пера академика также вышло антигилиловское «Слово в защиту авторства Шекспира» (М., Международное агентство «А. D. & T.», 1998).

О книге Ильи Гилилова см. резкую рецензию Алены Злобиной «Писательская артель „Три Шекспира“» («Новый мир», 1998, № 6). С Аленой Злобиной в свою очередь полемизирует Владимир Козаровецкий («Злобинная гиль, или О вреде кабаньей головизны» — «Литературное обозрение», 1999, № 4).

Олег Давыдов. Генотип Гайдара. — «Фигуры и лица». Приложение к «Независимой газете». 2000, № 2, 27 января. Электронная версия: <http://www.ng.ru>

Дед и внук. Рождение реформы из духа самоубийства. О другом его «психологическом» памфлете — «Демон Солженицына» («Фигуры и лица», 1998, № 9) — см. полемическое эссе Ирины Роднянской «Наши экзорцисты» («Новый мир», 1999, № 6).

Александр Дюма. Большой кулинарный словарь. Перевела с французского Галина Мирошниченко. — «Новая Юность», № 39 (1999, № 6). Электронная версия: http://www.infoart.ru/magazine/nov_yun

«Возьмите нужное вам количество лягушек, хорошо вымойте...» Начало см. в № 1 — 2 за 1995 год, № 2 за 1996 год, № 1-2 за 1997 год, № 3 за 1998 год.

Борис Евсеев. Рассказы. — «Дружба народов», 2000, № 1.

«Рот (рассказ в форме повести)» и «Я заставлю вас плакать, хорьки!» — новые рассказы известного прозаика. См. его рассказ «Баран» в «Новом мире» (1998, № 3).

Владимир Злобин. З. Н. Гиппиус. Ее судьба. Предисловие и публикация Виктора Леонидова. — «Новая Юность», № 39 (1999, № 6).

В. А. Злобин (1894 — 1967) несколько десятков лет был бессменным секретарем, летописцем, а потом и хранителем архива Зинаиды Гиппиус и Дмитрия Мережковского. Журнал публикует малоинтересные записки Злобина о Зинаиде Гиппиус, увидевшие свет в «Новом журнале» (1952, № 31).

Наталья Иванова. Теленигдейя. — «Знамя», 2000, № 1. Сетевой журнал «Знамя»: <http://www.infoart.ru/magazine/znamia>

«Теленигдейя — единственная из состоявшихся утопий».

Из переписки Кенжеева с Левиным. — «Огонек», 2000, № 2, январь.

Выбранные места из электронной переписки поэтов Бахыта Кенжеева и Александра Левина о порче/обогащении русского языка всякими иностранными словами, а также о том, является ли браузер — обозревателем, а юзер — пользователем.

Фазиль Искандер. Рассказы. — «Знамя», 2000, № 1.

«Гигант», «Чик и белая курица», «Ночной вагон» — новые рассказы известного прозаика.

Ирина Кабанова. Сладостный плен: переводная массовая литература в России в 1997 — 1998 годах. — «Волга», Саратов, 1999, № 10.

«Замечено, что как только качество переводов в какой-то серии (любовных романов. — А. В.) начинает расти, спрос на нее мгновенно падает».

Вольфганг Казак. «Сегодня невозможно без Христа». В Мюнхене вышло первое исследование образа Иисуса Христа в русской литературе. Беседовала Эрна

Малыгина. — «Ex libris НГ», 2000, № 1, 13 января. Электронная версия: <http://www.ng.ru>

В конце прошлого года автор знаменитого «Лексикона русской литературы XX века» выпустил в издательстве Отто Загнера свой новый труд — «Изображения Христа в русской литературе: от древности до конца XX века» (Kasack Wolfgang. Christus in der russischen Literatur. Ein Gang durch die Literaturgeschichte von ihren Anfängen bis zum Ende des 20. Jahrhunderts. — Wissenschaftliche Ausgabe mit Anthologie in russischer Sprache). Интересно, что немецкий исследователь обнаружил в русской литературе всего один роман об Иисусе (а именно — роман эмигранта Ивана Наживина «Евангелие от Фомы», вышедший в 1933 году в Китае), в то время как в западной литературе таковых очень много. В этом — добавлю я — большое достоинство русской литературы.

Виталий Кальпиди. Провинция как феномен культурного сепаратизма. Лирическая реплика. — «Уральская новь», 2000, № 1 (6). Электронная версия: <http://www.infoart.ru/magazine/urnov>

Радикальные предложения поэта Виталия Кальпиди по созданию *уральского литературного оазиса*, совершенно независимого от монструозной столицы, комментируют литературовед Владимир Абашев (Пермь), историк Вячеслав Раков (Пермь), прозаик Андрей Матвеев (Екатеринбург), литературовед Дмитрий Харитонов (Челябинск) и драматург Николай Коляда (Екатеринбург).

Сергей Кара-Мурза. Болотные огни. — «Завтра», 2000, № 2, 11 января. Электронная версия: <http://www.zavtra.ru>

«С целью устранить из своей модели фундаментальные социальные противоречия нашей жизни режиссер (Станислав Говорухин. — А. В.) доводит абстракцию до примитивизма». Сокрушительная критика фильма «Ворошиловский стрелок» — с патриотических позиций. «Этот фильм был восторженно встречен элитой нашей оппозиции. В этом я вижу наше тяжелое духовное поражение».

Александр Касымов. Идеальный поэт в поле степеней свободы. — «Волга», 1999, № 10.

«Путь идеального поэта (а это, естественно, всего-навсего бледнолицый конструкт!) состоит из суммы отрезков, пройденных неидеальными, может быть, так и не покорившими вершину, но упорно к ней карабкающимися». «Неидеальные» — это Николай Якшин, Аркадий Застырец, Геннадий Русаков и другие.

Илья Кириллов. Средь зерен и плевел. — «День литературы», 2000, № 1 — 2, январь. Электронная версия: <http://www.zavtra.ru>

«Проза „Нового мира“ вообще производит двойственное впечатление. С одной стороны, общий уровень ее — очевидно — выше, чем где бы то ни было. Я согласен с Вл. Бондаренко в высокой оценке повести Бориса Екимова „Пиночет“, но только в ее литературной части. То же самое могу сказать и о повести „Сирийские розы“ Андрея Волоса. Но, принимая во внимание остроту стоящих перед современным человеком духовных проблем, никак не могу признать значимыми эти „скучные песни земли“...»

Классическая история Томаса Венцловы. — «Новая Юность», № 39 (1999, № 6).

Глеб Шульпяков интервьюирует знаменитого литовского поэта, преподающего в Йельском университете (США). Томас Венцлова вспоминает: «Я однажды поднялся по лестнице в Москве к знакомой опять же даме... Это было на Пушкинской, и я был относительно трезв. И вот вижу: на лестнице сидит кодла мрачнейших личностей, их много и они пьют. Тут я, как Воробьянинов, понимаю, что меня будут бить, и, возможно, даже ногами. Но делать нечего, я обреченно иду вперед, как вдруг навстречу мне поднимается их атаман, красивый, но мрачный человек, и спрашивает: „Ты кто?“ — „Я Томас Венцлова, а ты кто?“ — „Я Венедикт Ерофеев. Давай выпьем“. Он слышал что-то обо мне, я, естественно, слышал о нем — „Москва — Петушки“ уже была написана. Оказывается, они тоже шли к этой даме, но кодлу дама справедливо не пустила к себе, они сели на лестнице и стали распивать по ходу дела. Я, естественно, с ними упился до полусмерти и к даме уже не пошел. Таков единственный случай моего общения с великим Ерофеевым».

См. в январском номере «Нового мира» за этот год рецензию Татьяны Касаткиной на сборник статей Томаса Венцловы «Свобода и правда» (М., 1999).

Анна Козлова. Утопленники пяти рек. — «Литературная Россия», 1999, № 51-52, 31 декабря.

О том, что «на месте ерофеевского слова в романе (Ерофеев Виктор. Пять рек жизни. М., „Подкова“, 1999. — А. В.) может стоять любое другое. Это как порнографическая фотография, под которой можно поместить заголовок любой газетной статьи».

Юлия Кокошко. «Ничего, кроме болтовни над полем трав». Повесть. — «Уральская новь», Челябинск, 2000, № 1 (6).

«У этой прозы сегодня аналогов нет, Кокошко занимает в русской литературе место, на которое никто не претендует и претендовать не может» (из предисловия Аркадия Бурштейна). О прозе Юлии Кокошко см. короткую рецензию Ольги Славниковой («Новый мир», 1998, № 5).

Владимир Корнилов. И жалко было страну Россию! — «Дружба народов», 2000, № 1.

«Надобно знать и честь, / Хватит уже блажить... / Но, как хочется есть, / Снова хочется жить».

Анатолий Королев. Человек-язык. Роман. — «Знамя», 2000, № 1.

Тератология — наука о врожденных уродствах. «Так вот, если у англичан *был* человек-слон (см. известный фильм Дэвида Линча. — *А. В.*), то у нас *есть* человек-язык». Он святой, зовут его Муму. *Язык* является больным местом и самого автора, констатирует Мария Ремизова в рецензии «Новое русское барокко» («Независимая газета», 2000, № 15, 28 января).

См. о романе А. Королева в статье А. Злобиной «Кто я?» в этом номере «Нового мира».

Петр Краснов. Добро народное. Из записных книжек. — «День литературы», 2000, № 1-2, январь.

«С момента опубликования „Мастера и Маргариты“ вокруг Михаила Булгакова сразу же образовался некий согласный „заговор молчания“ относительно явно антихристианской, гностической и манихейской, в конечном счете масонской идейной концепции романа — весьма согласный „заговор“ как с либеральной, так и с патриотической стороны литературного шестидесятничества...»

Александр Крылов. Особенности национального терроризма. — «Новая Юность», № 39 (1999, № 6).

Каракозов, Каляев, Халтурин — «психопатия параноидального круга с выраженными аффективными реакциями».

Борис Крячко. Края далекие, места-люди нездешние. Повесть. Предисловие Александра Зорина. — «Дружба народов», 2000, № 1.

Будни трудового коллектива ремонтной мастерской. Одна из последних повестей недавно умершего русского прозаика, жившего в Пярну (Эстония).

Александр Курский. Рассказ на пороге нового литературного направления. — «Волга», Саратов, 1999, № 10.

«90-е годы прошли и заканчиваются под всё возрастающим доминированием рассказа, вытесняющего на обочину литературного существования жанр романа». *Да-а-а?..*

Наум Лейдерман. «И время было мной, и я был им...». (Поэты-«шестидесятники»). — «Урал», Екатеринбург, 2000, № 1.

Евтушенко. Вознесенский.

Эдуард Лимонов. «Покажите мне героя!». Интервью провел Олег Головин. — «Завтра», 2000, № 2, 11 января.

«Я считаю, что Сталин стал символом, олицетворяющим могущество России... Это миф о мощном человеке, о мощном властителе. Я знал, долго живя на Западе, что если кого там действительно и уважали, так это только Сталина. Уже над Хрущевым смеялись...»

Новелла Матвеева. Не спрашивай у чудищ... — «Знамя», 2000, № 1.

«Что в сумерках расправ, на взгляд наш, злой и сытый, / Всегда *убивец* прав, а виноват *убитый*» (из «Сонета на убийство короля Гамлета, Гамлетова отца...»).

О новых поэтических книгах Новеллы Матвеевой см. рецензию Дмитрия Быкова в февральском номере «Нового мира» за этот год.

Сергей Мартьянов. Пустое сердце. К столетию со дня рождения великого русского писателя и философа А. Платонова. — «Урал», Екатеринбург, 1999, № 9.

Два враждующих языка в современном русском литературном языке — мертвый набокковский, рожденный игрой образованного ума, и платоновский — живое движение свободной души. В этом же *молодежном* номере журнала «Урал» напечатана статья Сергея Гусева «Изобретение колеса. Краткий курс по форме и содержанию прозы Андрея Платонова», а также стихи и проза разных авторов.

Михаил Маяцкий. Старшие братья по разуму. Лечим африканской философией комплекс русской исключительности. — «Логос». Философско-литературный журнал. 1999, № 1.

О возможности Чаадаева в Африке. Можно ли быть негром после Освенцима? Европа в истории Африки.

Рой Медведев. «Лучше пусть боятся, чем любят». Личная библиотека Сталина. — «Московские новости», 2000, № 3, 25 — 31 января. Электронная версия: <http://www.mn.ru>

Читая в романе «Воскресение» размышления Нехлюдова о том, что если люди будут следовать Нагорной проповеди, то на земле наступит Царство Божие, Сталин пишет на полях: «Л. Т. Ха-ха!»

Ирина Медведева, Татьяна Шишова. Демографическая война против России. Программы, препятствующие рождению детей, могут восприниматься как программы геноцида. — «НГ-Религии», 2000, № 1, 12 января. Электронная версия: <http://www.ng.ru>

Авторы уверены, что решение максимально сократить население России принято на самом высоком уровне, что это одно из условий предоставления нашей стране западных кредитов.

Виктор Мизиано. Культурные противоречия тусовки. — «Художественный журнал», 1999, № 25. Электронная версия: <http://www.guelman.ru/xz>

О том, что явление, получившее в просторечии наименование «тусовка», представляет собой оригинальный социокультурный феномен, не имеющий исторических аналогов. Этот и следующий номера «Художественного журнала» посвящены 90-м годам.

Дмитрий Минченко. Красный Моцарт. XX век для России прошел под знаком Дунаевского. — «Известия», 2000, № 16, 28 января. Электронная версия: <http://www.izvestia.ru>

К 100-летию композитора: жизнелюбие в музыке Дунаевского определялось не идеологией трудового энтузиазма, а хасидской основой его детства.

Надежда Муравьева. Сказки Блэрского леса. Детей, перешедших черту, не находят никогда. — «НГ-Религии», 2000, № 1, 12 января.

«В мире ужасов свет выключен и зло объемно». О религиозно-метафизическом содержании некоммерческого фильма «Ведьма из Блэр. Курсовая с того света» («The Blair Witch Project», США, 1999), делающего большие сборы, несопоставимые с минимальными затратами на производство.

Андрей Немзер. «Я не говорю за всю Одессу...». Исповедь ретрограда. Беседу вела Ольга Славникова. — «Урал», Екатеринбург, 1999, № 10.

«Ты говоришь, что я влиятелен?.. Всего моего влияния хватает на то, чтобы бегать по журналам и издательствам и уговаривать знакомых, которые там работают: да ты прочти! О каком „влиянии“ вообще может идти речь, если у одного из самых дорогих мне писателей — Валерия Володина — до сих пор нет книги?.. Сам Володин последние годы сидит в селе Неверкино Пензенской области (прежде жил в Саратове), связей в Москве у него нет, критикам читать нераскрученного автора недосуг — куда проще глумливо цедить: „А, это тот, которого Немзер хвалит!“ Или сходная история с другим (тоже замечательным!) писателем — Сергеем Солоухом, до недавних пор жившим в Кемерово. Его первый роман „Шизгара, или Незабвенное сибирское приключение“ в начале 90-х должен был выйти книгой в Москве. Издательство лопнуло, „Шизгару“ напечатала все та же „Волга“, прозаик оказался неинтересен московским законодателям литературных мод. Дальше — того веселее: роман „Клуб одиноких сердец унтера Пришибеева“ отфутболили четыре (как минимум!) журнала. Кто с комплиментами и вежливой отговоркой „не наше“, а кто и не продвинувшись до пятой страницы. Читать, дескать, трудно. Во-первых, мне так не трудно — виртуозные словесно-музыкальные построения не мешают Солоуху прочерчивать увлекательный и сложный сюжет; а во-вторых, Джойса с Прустом читать — тоже не семечки лузгать. „Клуб“ Солоух тиснул за свой счет. В Кемерово. 500 экземпляров. Грубо говоря — книги нет. Слава Богу, „Октябрь“ двумя подачами (в прошлом и в этом году) напечатал его цикл „Картинки“ — прелестные, остроумные, исполненные невероятного жизнелюбия и просто любви новеллы с чеховскими названиями („Дом с мезонином“, „Архиерей“, „Лошадиная фамилия“ и проч.). Думаешь, мало я о нем писал, перед издателями распинаясь? Пока та же история, что с Володиным. А ты — „влиятельный“!..»

Евгений Носов. Алюминиевое солнце. Рассказ. — «Наш современник», 2000, № 1. Рассказ известного курского прозаика был напечатан в прошлом году в журнале «Москва» (1999, № 7).

Валентин Осипов. Эмоции и факты. Открытое письмо Александру Солженицыну с 25 уточнениями, дополнениями и опровержениями. — «Субботник НГ». Ежедневное приложение к «Независимой газете». 2000, № 1, 15 января. Электронная версия: <http://www.ng.ru>

Настойчивая просьба к Солженицыну согласиться наконец с тем, что Шолохов и есть автор «Тихого Дона» (в связи с обнаружившимися черновиками романа).

Павел Палажченко. «Евгений Онегин» по-американски. — «Московские новости», 2000, № 3, 25 — 31 января.

В 1999 году появился подлинный шедевр, идеальный английский «Онегин» — перевод Джеймса Фейлена. «Впервые читая его, я иногда думал, что если бы Пушкин писал по-английски (что в принципе можно себе представить), то его „Онегин“ звучал бы именно так», — пишет переводчик П. Палажченко. Другой новый перевод «Онегина», сделанный профессором Дагласом Хофстадтером, — «это Пушкин, прочитанный, может быть, под звуки джазовой музыки американцем (никак не англичанином), любителем аллитераций, каламбуров, внутренних рифм».

Вадим Перельмутер. Реквием по запретной любви. — «Арион». Журнал поэзии. 1999, № 4.

Часть вторая: «Тоска по цензуре» (начало см.: «Арион», 1999, № 2). «Цензор — первый и очень пристрастный читатель, — конечно, создавал для автора *проблемы*, но и стимулировал, не давал расслабиться и забыть нередко теперь забываемое: что подготовка к публикации — тоже работа. Продолжение (или завершение?) сочинительства».

Кстати, автор называет *бюро проверки* архаизмом, уже нуждающимся в комментарии. В «Новом мире» должность редактора-библиографа, проверяющего даты, цитаты, а порой и факты, есть до сих пор, и отказываться от нее мы не собираемся.

Владислав Петров. Русский сфинкс. Роман в новеллах. — «Нева», Санкт-Петербург, 1999, № 12.

«Чучела. (Гаврила Державин, 1791 г.)», «Игра. (Дмитрий Горчаков, 1797 г.)», «Вербовщик. (Семен Бобров, 1804 г.)» и другие исторические новеллы.

Людмила Петрушевская. Вопрос о добром деле. Рассказ. — «Урал», Екатеринбург, 2000, № 1.

«Вопрос о добром деле был решен довольно просто, т. е. М. позвонила Н. и сказала, что погибает с голоду с маленьким ребенком. М., то есть Марта, слава Богу, молодец, родила без мужа в тридцать лет и где-то жила, поссорившись с родным отцом, а мать умерла давно, пятнадцать лет назад...»

Алексей Плуцер-Сарно. Языковые основы информационной войны на Кавказе. — «Логос». Философско-литературный журнал. 1999, № 8.

В Чечне ни одна из сторон не может победить другую из-за совершенно несовместимых культурно-языковых представлений о том, что такое *победа* (а также — *смерть* и др.).

Алексей Плуцер-Сарно. Государственная Дума как фольклорный персонаж. Пародия, плач, исповедь и пасквиль — жанры русской политики. — «Логос». Философско-литературный журнал. 1999, № 9.

Балаганный театр В. В. Жириновского. Исповедь в творчестве В. С. Черномырдина. «Слово о гибели земли русской», похоронные «причитания» и «плач невесты» в творчестве Г. А. Зюганова. Поучение и проповедь в творчестве Г. А. Явлинского.

Послание предстоятелей Православных Церквей по случаю начала празднования 2000-летия Рождества по плоти Господа нашего Иисуса Христа. — «НГ-Религии», 2000, № 1, 12 января.

Соборное рождественское послание, принятое в Вифлееме всеми предстоятелями Православных Церквей. Послание подводит некоторые итоги жизни Православных Церквей в прошедшем тысячелетии, одновременно формулируя важнейшие задачи на будущее. Текст переведен с греческого.

Рустам Рахматуллин. Над потопом. Метафизика Воробьевых гор в географических, исторических, литературных и художественных опосредованиях. — «Субботник НГ». Ежедневное приложение к «Независимой газете». 2000, № 2, 22 января.

Новая рубрика «Время и место». См. также образцы «метафизического москвоведения». Рустама Рахматуллина в «Новом мире» — эссе «Три монумента» (1998, № 12) и «Исход» (2000, № 1).

Григорий Ревзин. Короткий век. — «Коммерсантъ», 2000, № 8, 22 января. Электронная версия: <http://www.kommersant.ru>

«В XXI веке Россия превращается в провинцию... Двухязычие (правда, уже не русско-французское, а русско-английское) становится нормой для образованного человека. Журналы и газеты в основном публикуют рецензии на западную литературу, коей в России потребляется достаточное количество для того, чтобы эти рецензии были интересны. Во всем, что связано с пластическими искусствами, не говоря уже о кино, импортные товары безусловно лидируют, образованный человек смотрит на Запад, местное производство интересует национально ориентированных купцов вроде Павла Третьякова. Исключения делаются для нескольких мастеров, имеющих репутацию на Западе. Всю значимую архитектуру делают иностранцы. Самое парадоксальное заключается в том, что насколько сам вывод о провинциальности России звучит оскорбительно, настолько все конкретные выводы из этой провинциальности не только радуют, но даже и являются позитивной программой действий большинства культурных граждан по крайней мере в течение последних семи лет...»

Виктор Розов. «Я написал свою первую пьесу с голоду». Беседу вел Карим Садыков. — «Книжное обозрение», 2000, № 3, 17 января.

Среди прочего о том, что Александр Вампилов — лучший драматург современности, «его все подгоняют под Островского, а он скорее близок к Гоголю».

Сергей Романов. В Толстом все противоречия вместе живут. — «Литературная Россия», 2000, № 4, 28 января.

Полемика с радикальными предложениями прозаика Вячеслава Дёгтева («Роковая черта» — «Литературная Россия», 1999, № 40) вернуть Льва Толстого в лоно Православной Церкви, а на его могиле воздвигнуть часовню. Сергей Романов терпеливо объясняет оппоненту, что вернуть упорствующего в своих заблуждениях Льва Николаевича в лоно Православия мог только сам... Лев Николаевич, да и то при жизни, а сейчас, извините, уже поздно.

Михаил Рошин. Князь. — «Октябрь», 2000, № 1, 2. Электронная версия: <http://www.infoart.ru/magazine/October>

Книга о Бунине.

Лев Рубинштейн. Человек проекта. — «Итоги». Еженедельный журнал. 2000, № 3, 18 января.

Беседа с автором книг про сыщика Эраста Фандорина — писателем Борисом Акуниным, он же — Григорий Чхартишвили, заместитель главного редактора «Иностранной литературы». Говорит Акунин/Чхартишвили: «Обычно, когда ты знаешь сюжет, знаешь, кто убийца, перечитывать не станешь. Но Шерлока Холмса ты перечитаешь. И Честертона перечитаешь. Вот и мне хотелось написать такой детектив, который можно прочитать во второй раз и обнаружить в нем то, что не заметил с первого раза. А в третий раз — то, что не заметил со второго».

См. также пьесу Бориса Акунина «Чайка» в апрельском номере «Нового мира» — смесь детектива, комедии и театра абсурда. Мне кажется, что Антону Павловичу она бы понравилась.

Вадим Руднев. Божественный Людвиг. (Жизнь Витгенштейна). — «Логос». Философско-литературный журнал. 1999, № 1.

В этом же номере начинается публикация Витгенштейнова «Логико-философского трактата» с *параллельным философско-семиотическим комментарием* (продолжение см. в № 3, 8 «Логоса» за 1999 год).

Вадим Руднев. Метафизика футбола. — «Логос». Философско-литературный журнал. 1999, № 8.

«Итак, игра в футбол воспроизводит половой акт, где нога играет роль фаллоса, мяч — спермы, а ворота — вульвы... В хоккее сексуальность более утонченная — вместо круглого мяча — плоская шайба, ноги одеты в коньки-контрацептивы (плоская шайба — не мяч-сперма, а контрацептивная таблетка) и даже фаллос искусственный (клюшка) — зато сколько голов забивают: сугубо советская мужская похвальба — сколько „палок“ (клюшек) „впарил“ за ночь». Тут же напечатаны еще два рассуждения о футболе — Владимира Шухмина «Карикатура зимних игр» и Кирилла Кобринина «О природе толстокожего бога».

Алексей Руткевич. Возможен ли консерватизм в России? Творчество нового не должно превращаться в кровавый разрыв с прошлым и в истребление прежних

святынь. — «НГ-Сценарии». Ежемесячное приложение к «Независимой газете». 2000, № 1, 12 января. Электронная версия: <http://www.ng.ru>

Положительный ответ на поставленный в заголовке вопрос определяется, по мнению автора, прежде всего тем, что сохранились русская культура и суверенитет Российского государства.

Михаил Рыклин. Пешки, ложки и кресты. — «Ex libris НГ», 2000, № 2, 20 января.

Нирваной концептуализма называет текст книги Сергея Ануфриева и Павла Пеперштейна «Мифогенная любовь каст» (М., «Ad marginem», 1999) философ Михаил Рыклин. «Все персонажи романа, начиная от малышей и игрушек и кончая былинными старцами, смачно матерятся... В „Мифогенной любви“ создана атмосфера, в которой мат наконец-то окультурен, а окультурить его можно было, лишь предварительно дереализовав, радикально расцепив его с миром...»

См. об этом сочинении короткий, но решительный отзыв И. Роднянской в апрельском номере «Нового мира» за этот год.

Георгий Свиридов. Разные мысли. Публикация и предисловие Александра Белоненко. — «Фигуры и лица». Приложение к «Независимой газете». 2000, № 2, 27 января.

С начала 70-х годов композитор завел толстые, девяностошестистраничные тетради в клетку и стал вести нечто вроде дневника. Например: «Первый сатирический журнал, который издавался в России после установления Советской власти, начал выходить в 1918 году. Он назывался „Красный дьявол“. Очень красноречивое название» (запись от 21 ноября 1981 года).

Светлана Семенова. Христос и мы. — «Дружба народов», 2000, № 1.

Подведение итогов анкеты «Что значит для вас сегодня Иисус Христос?». При всем уважении к философским достоинствам Светланы Семеновой скажу, что любой *священник* на ее месте был бы убедительнее.

Ольга Сергеева. Пелевин — Верников — Сорокин и Великая Русская Литература. — «Урал», Екатеринбург, 1999, № 10.

«Тема этих романов („Generation 'P'“ Пелевина, „Голубое сало“ Сорокина, „Странники духа и буквы“ А. Верникова. — *А. В.*) — литература. Точнее, Великая Русская Литература. Еще точнее — ВРЛ как личное прошлое каждого из авторов. И если уж слишком, почти оскорбительно точно, то тема этих романов — невозможность остаться русским писателем».

Анна Сергеева-Клятис. Сожаление о старом халате. Из литературного быта пушкинской эпохи. — «Литература». Еженедельное приложение к газете «Первое сентября». 2000, № 2, январь.

Халат свободы — в жизни и в литературе.

Вера Серпова. О советских и постсоветских языческих культах. — «Посев». Общественно-политический журнал. 2000, № 1. Электронная версия: <http://www.glasnet.ru/~posev>

К концу 60-х — началу 80-х у нас сложился настоящий культ встречи Нового года. Советский Новый год — это совсем не то, что Новый год еще где-нибудь. Но в новогоднюю ночь еще не видно Вифлеемской Звезды.

Ольга Славникова. Проигравшие время. — «Дружба народов», 2000, № 1.

«Самоучки» Антона Уткина, «Свобода» Михаила Бутова, «Сказки по телефону» Эргали Гера — о сегодняшнем дне *без привкуса консерванта*. См. также статьи екатеринбургского прозаика и литературного критика Ольги Славниковой «Полюбите нас одетыми. Заметки о вторичных писательских признаках» («Литературная газета», 2000, № 3, 19 — 25 января) и «Искусство не принадлежит народу» («Новый мир», 2000, № 3).

О романе Эргали Гера «Сказки по телефону» см. рецензию Александра Гаврилова «Секс, ложь и медиа» в апрельском номере «Нового мира» за этот год.

Максим Соколов. Удовольствие быть сиротой. Научными аргументами фомениану бить бесполезно. — «Известия», 2000, № 4, 12 января.

Люди платят немалые деньги, чтобы узнать, что *они никто и звать их никак*. Это и есть главная составляющая феномена Новой Хронологии. Поэтому, считает Максим Соколов, бесполезно издавать капитальные научные труды о невежестве и недобросове-

стности академика Фоменко, ибо он удовлетворяет потребность трудящихся отнюдь не в знании, а в *метафизическом небытии*.

О научной «антифоменковской» конференции, состоявшейся в конце 1999 года на историческом факультете МГУ, см. статью Надежды Ажгихиной «Терминатор мировой истории. Феномен академика Фоменко и его „новой хронологии“ не столь безобиден, как кажется» («НГ-Наука», 2000, № 1, 19 января).

Александр Строев. Россия глазами французов XVIII — начала XIX века. — «Логос». Философско-литературный журнал. 1999, № 8.

«Каждый народ считает, что он живет в центре, что он посредник между двумя мирами, Западом и Востоком, Севером и Югом — будь то Россия, Греция, Германия или Польша. Тем более — Франция». Россия для французов XVIII — начала XIX века есть не Восток, а Север. Север — это Англия, Швеция, Россия, то есть страны, вставшие на путь приобщения к парижской цивилизации.

Татьяна Толстая. Литература — это разговор с ангелами. Беседу вела Ольга Кабанова. — «Известия», 2000, № 6, 14 января.

«Я реальную жизнь не знаю, а что знаю, мне не очень нравится».

Андрей Турков. «Я не ранен. Я — убит...». — «Знамя», 2000, № 1.
Из воспоминаний об А. Т. Твардовском.

Антон Уткин. Соседняя страна. Рассказы. — «Октябрь», 2000, № 1.

«Не Платон», «Соседняя страна» — новые рассказы автора «Хоровода» и «Самочук». См. также его рассказы из «Южного цикла» в журнале «Урал» (1999, № 11).

Сергей Федякин. Главная книга года. — «День литературы», 2000, № 1 — 2, январь.

Под главной книгой ушедшего года критик подразумевает долгожданный четвертый том биографического словаря «Русские писатели. 1800 — 1917» (М., 1999).

Борис Хазанов. Левиафан, или Величие советской литературы. — «Октябрь», 2000, № 1.

«В воспоминаниях покойного В. Я. Лакшина „Открытая дверь“ подробно рассказано о том, как „загоняли в глухой угол“ (по выражению мемуариста) возглавляемый Александром Твардовским „Новый мир“. Непрестанные цензурные и административные придирки; тщетные попытки отстоять талантливого автора, правдивую вещь; травля в официозной печати, демонтаж редакции и, наконец, отставка главного редактора. Кто не помнит, что значил в то время для образованной публики „Новый мир“? Перед нами один из самых ярких примеров того, как жизнь нарушала „проект“. Именно поэтому, читая эти волнующие страницы, испытываешь некоторое недоумение. Все участники „на работе“. Все получают зарплату, по тем временам очень неплохую. Обязанность всякого чиновника — соблюдать трудовую дисциплину, другими словами, выполнять инструкции и требования начальства. Вы их не выполняете или выполняете недостаточно аккуратно; вам говорят: следуйте такой-то линии, вы же норовите с помощью разных уловок от нее отклониться. Начальство недовольно и прибегает к санкциям. Чего ж вы жалуетесь? Мемуары Лакшина, как и множество подобных книг и статей, создают иллюзию, будто существовала независимо развивающаяся литература и противостоящая ей литературная бюрократия. Это неверно — во всяком случае, с точки зрения бюрократии, которая представляет государство и вне которой при существующем строе литературы вообще не может быть. *Do ut des*, говорит государство. „Я даю, чтобы и ты давал“. Кто платит, тот и заказывает музыку. Главный редактор обитает на комфортабельной даче, предоставленной ему начальством, приезжает на работу в государственной машине с шофером, чьи услуги ему не надо оплачивать. В городе у него имеется прекрасная квартира в доме на Бородинской набережной. Главный редактор — народный, то есть государственный, поэт-лауреат, занимающий высокие посты в партийной и литературной бюрократии. Союз советских писателей часто уподобляли министерству; можно сравнить его с офицерским корпусом. Мы бы не удивились, услышав, к примеру, что на съезде писателей Георгий Марков появился в мундире генерала армии, Шолохов — в казачьих портах с лампасами, а какой-нибудь Расул Гамзатов — в газырях и шароварах хана-главнокомандующего национальными формированиями. Твардовский в этой табели о рангах никак не ниже генерал-полковника».

Юнна Чупринина. Вернувшийся со звезд. — «Общая газета», 2000, № 3, 20 — 26 января. Электронная версия: <http://www.og.ru>

Говорит Станислав Лем:

— Что можно построить на Марсе? Только ГУЛАГ.

— Если бы я был лет на двадцать моложе, я бы подумал об эмиграции.

— Кстати, у вас в России знают, что я — философ? В Германии уже лет пять, как знают.

Игорь Шайтанов. Эффект целого. Поэзия Олега Чухонцева. — «Арион». Журнал поэзии. 1999, № 4.

Речь, произнесенная при вручении Олегу Чухонцеву Пушкинской премии, учрежденной Фондом Альфреда Тёпфера. «Бродский — Петербург. Чухонцев — русская провинция и Москва. Это двухголосие, вероятно, еще долго будет определять основной тон русской культуры».

Сергей Шаповал. «Если я перестану оперировать, перестану и писать». — «Фигуры и лица». Приложение к «Независимой газете». 2000, № 2, 27 января.

Беседа с главным редактором журнала «Новая Юность», автором романа «Мои встречи с Огастесом Кьюницем» Евгением Лапутиным, который несколько лет проработал нейрохирургом, а с 1988 года работает в Институте красоты пластическим хирургом. «Я канонически верующий, я верю во все, что написано в Библии... Правда, написанное в Библии не очень сочетается с тем, что я видел (как нейрохирург. — *А. В.*). Просто не настало время, когда знания и реальность пересекутся. Но это, конечно, случится».

Глеб Шульпяков. Праздные пражские дни. Опыт лирического путеводителя. — «Новая Юность», № 39 (1999, № 6).

В Прагу нельзя ступить дважды.

Леонид Юзефович. Князь ветра. Роман. — «Дружба народов», 2000, № 1, 2.

Легендарный начальник столичной сыскальной полиции Иван Путилин вспоминает, как он расследовал убийство писателя Каменского, а русский офицер Солодовников вспоминает, как в 1913 году он в качестве военного инструктора находился при монгольской повстанческой армии.



АДРЕСА: Дмитрий Галковский («Бесконечный тупик», «Разбитый компас и др.): <http://www.samisdat.ru>



ДАТА: 24 мая исполняется 60 лет со дня рождения Иосифа Александровича Бродского (1940 — 1996).

Составитель **Андрей Василевский.**

«НОВЫЙ МИР» РЕКОМЕНДУЕТ:

«Арион». Журнал поэзии. Электронная версия: <http://www.infoart.ru/magazine/arion>

«НГ-Религии». Религиозно-политическое обозрение «Независимой газеты». Электронная версия: <http://religion.ng.ru>

СЕТЕВАЯ ЛИТЕРАТУРА



Об институте сетевых обозревателей; о ЕЖЕвиках, о сайте Макса Фрая (и заодно — о восхитительном Лингвоанализаторе), о «Культурном гиде» Сергея Кузнецова, о Курицыне-обозревателе, о Бавильском и Сэй Сёнагон; а также развернутые цитаты из Открытого письма Дана Дорфмана в Интернете, адресованного автору этих обзоров

Назвав в прошлых обзорах как первую проблему новичка в русском литературном Интернете проблему ориентации и рассказав о способах ее решения (начинать знакомство с ресурсами Интернета на профессионально выстроенных сайтах, с сайтов литературных конкурсов, со специальных каталогов), я не упомянул еще один интернетовский институт — сетевых обозревателей. Очень полезный институт. Во всяком случае, заходя в Интернет с целью посмотреть, что там интересного появилось, лучше делать это через страницу выбранного вами обозревателя. Функция его проста: информировать пользователя о новых поступлениях в Интернет и вывешивать ссылки на это новое. То есть, прочитав у обозревателя о появлении, скажем, нового литературного журнала и щелкнув по названию этого журнала в тексте обозревателя, вы обычно переноситесь на страницы названного журнала.

Но обозреватель, как правило, не только информатор, он практически всегда еще и комментатор, обладающий, естественно, индивидуальностью, уровнем культуры, кругозором, пристрастиями и т. д. Индивидуальность эта, как правило, проявляется на фоне некой, скажем так, «интернетовской эстетики», сложившегося в Интернете стиля общения, предполагающего краткость, внятность, информативность, бойкость, почти обязательное использование нынешнего жаргона «молодых интеллектуалов» (на редкость скоропортящийся продукт!), элементов иронии (стёба) и т. д. То есть стиля той первоначальной молодежной «тусовки», которой и был Интернет лет пять — семь назад. Правда, сейчас там (в литературном Интернете) появилось довольно много людей старшего поколения, стиль общения которых формировался в других компаниях, и эти новые не всегда укладываются в «интернетовскую стилистику».

Вот такие родовые и индивидуальные особенности каждого обозревателя существенно влияют и на картину, которую он рисует. У каждого обозревателя как бы свой Интернет. Это явление неизбежное, нормальное и, в общем-то, положительное. Поставив в свой интернетовский список «Избранного» адреса трех-четырех обозревателей, вы получаете как бы три-четыре варианта интересующих вас секторов русского Интернета. Да и сравниться с профессиональными сетевыми обозревателями в их неутомимом любопытстве и соответственно информированности мало кому из нас под силу. Потому со спокойной совестью рекомендую воспользоваться обозревательскими страницами.

Самих обозревателей много. Сколько — думаю, никто не скажет. Самый полный из встреченных мною списков содержится сейчас на сайте «Ёж-лист», своеобразном перекрестке самых разных культурных сайтов (<http://www.ezhe.ru/images/index-13.jpg>). Создан в рамках «содружества on-line периодических изданий „Е}-|{Е”, в просторечии ЕЖЕ, или „Движения ЕЖЕй”. Содружество объединяет более пятидесяти различных по тематике электронных изданий и является неофициальной гильдией деятелей российского Интернета. Проект ведет отсчет с 19 марта 1997 года... география участников ЕЖЕпроект: Белоруссия, Германия, Израиль, Кипр, Россия, США, Украина, Финляндия, Эстония.

...Чтобы пользователям Сети было легче следить за изменениями, происходящими на страницах членов содружества, издается ЕЖЕдневная электронная газета „ЕЖЕковская ПРАВДА”. В целях борьбы с несправедливостью (а то и просто беспределом), порой господствующей в Сети, нами воздвигнута Доска Позора, или Hall of Shame (HASH), и СпамЭпидемСтанция (СЭС). Для того чтобы деятели

РУНЕТа не оставались неодоушевленными электронными адресами, нами поддерживается фотогалерея Физиономии российского Интернета (ФРИ). Календарь онлайн-изданий ЕЖЕweeka поможет сетевнику решить вопрос, в какой день недели логичнее выкладывать свои обновления, а пользователю даст четкую картину ЕЖЕдневных изменений, царящих в Сети» (из манифеста сайтера). И надо сказать, что большинство продекларированных в этом манифесте намерений держателями сайтов выполняется неуклонно. В частности, здесь вы имеете возможность познакомиться с основными деятелями русского Интернета, с его ведущими обозревателями. Вообще иметь ссылку на этот сайт очень удобно.

В этом выпуске «Сетевой литературы» я хочу представить пока только трех обозревателей: Макса Фрая, Сергея Кузнецова и Вячеслава Курицына.

Макс Фрай — «самая загадочная фигура» в русском литературном Интернете. Справка на ЕЖЕ о нем состоит из фотографии африканского красавца и краткого имени. Все.

Африканское происхождение обозревателя подчеркивается знойно-оранжевым колоритом самой страницы Макса Фрая, наличием в графическом оформлении стрел, барабанов и прочей африканской экзотики. Вполне африканским можно считать и темперамент Макса Фрая, сказавшийся в фантастической его работоспособности. Непонятно, как успевает он писать фантастику (а выставлено уже достаточно много), ироническую прозу (частично уже перенесенную в «бумажное» литературное пространство — в популярнейшей серии карманных изданий «Азбуки» издан его остроумный и стильный «Идеальный роман»), занимаясь притом своим главным и, тут уж поверьте на слово, достаточно трудозатратным делом: составлением регулярных «Обзрений литературных конкурсов», они же — «Фрайбургеры» (<http://guelman.ru/frei/logo.gif>). Содержание этих обзрений не ограничивается рассказом о ходе литературных конкурсов, информация здесь самая разная: от представления новых литературных текстов, литературных страниц в Интернете, новых изданий, рейтингов литературных сайтов до хроники литературно-интернетовского общения, полемик, скандалов и разного рода филологических диковинок. «На сегодняшний день (8 февраля 2000 года — день, когда я дописываю это обозрение. — С. К.) в номинации „Литературный сайт года“ лидируют с равным количеством баллов Русская Виртуальная Библиотека, Русская фантастика и „Тенёта“. Картинка диковатая, конечно. Очевидно, гений и судейство — две вещи несоместные». Вот тут я не могу удержаться и, возможно, с мстительным чувством консерватора-филолога процитирую выложенную Максом Фраем информацию об одной такой диковинке: «Из рассылки Голой ЕЖЕ-Правды я узнал о существовании Лингвоанализатора. Игрушка на первый взгляд забавная. Впрочем, стоит взглянуть на список „авторских эталонов“, чтобы волосы на спине зашевелились. Я не пожалел времени и провел несколько экспериментов, результаты коих превосходят возможности человеческого воображения. Помещаю в окошко отрывок из „Вечеров на хуторе близ Диканьки“ Гоголя. Лингвоанализатор задумывается на несколько секунд и выдает следующее: интегральные характеристики предложенного текста, в принципе, равно удалены от всех авторских эталонов. Однако среди всей совокупности авторских эталонов один автор, разумеется, оказывается в используемой метрике ближе всех остальных, и именно на этом основании можно утверждать, что автор данного текста пишет, как писатель Ник Перумов. Последнее справедливо со сравнительно небольшой вероятностью в 25%. В сложившейся ситуации необходимо упомянуть также двух авторов, чьи эталоны следующие по близости к данному тексту: писатель Андрей Печенежский или соавторы Сергей Лукьяненко и Ник Перумов. Жмурясь от извращенного удовольствия, провожу следующий опыт. Копирую „Сон смешного человека“ кисти Федор Михалыча, не побоюсь этого слова, Достоевского. ...можно утверждать, что автор данного текста пишет, как соавторы Ниэннах и Иллет. Последнее справедливо со сравнительно небольшой вероятностью в 20%.

...Ну и напоследок покусимся, пожалуй, на святое. Пушкин А. С. „Дубровский“. ...автор данного текста пишет, как писатель Василий Спринский... Все, выносите тело. Я умер.

Впрочем, есть у Лингвоанализатора одно неоспоримое достоинство. Чаще всего в его „анализах” встречается фраза: „Трудно утверждать что-либо определенное”.

Тут же, справа от текста «свежего фрайбургера», на главной странице колонкой представлены подразделы страницы Макса Фрая: «Чертова дюжина Макса Фрая», «Все рейтинги», «Всенародная сотня», «Черствые фрайбургеры» (соответственно — предыдущие выпуски обзоров), «Архив новостей», «Что почитать», «Гостиная» и еще восемь отдельных страниц. То есть перед нами, по сути, не просто страничка обозревателя, а отдельный самостоятельный сайт.

На прощанье заглянем, скажем, на страницу «Чертова дюжина Макса Фрая»: «Вообще-то я испытываю известную антипатию к разного рода рейтингам, спискам и прочим попыткам всем миром в очередной раз выбрать „самого главного человека в мире”. И вот докатился: в здравом уме и твердой памяти составляю свой собственный список 13-ти сетераторов... 1. Николай Байтов, 2. Рома Воронежский, 3. Данила Давыдов, 4. Дмитрий Горчев, 5. Максим Кононенко, 6. Антон Никитин, 7. Олег Постнов, 8. Владимир Пузий, 9. Александр Ромаданов, 10. Кира Тенишева, 11. Константин Шаповалов, 12. Мэри Шелли & Перси Шелли, 13. Баян Шириянов».

Вкусы и предпочтения уважаемого обозревателя комментировать не буду; позволю себе реплику только по поводу появления в нем Баяна Шириянова, скандальный текст которого рассматривался в третьем выпуске «Сетевой литературы» — единственное утешение при виде этого имени в числе очень разных и часто действительно интересных писателей я испытал от цифры, под которой он появился в данном сообществе.

Другой развернутый сайт, который я, например, мог бы порекомендовать нашему читателю, — это «Культурный гид» (<http://www.russ.ru/culture/guide/>) сетевого обозревателя Сергея Кузнецова на сервере «Русского Журнала» (Кузнецов известен еще и как литературный критик, выступающий в «бумажных» изданиях). «Культурный гид» «выходит по вторникам и состоит из нескольких разделов: в первом — различные опросы читателей и их обсуждение, во втором — анонсы культурных событий грядущей недели, а в третьем — рецензии на события недели прошедшей». В том, как выстроена страница Сергея Кузнецова, меньше игры, чем на сайте Макса Фрая, по своей стилистике она чуть суховата (впрочем, суховата только в контексте принятого на многих других сайтах стиля общения), подчеркнута информативна, но это общие черты стилистики «Русского Журнала». Тематика заметок Кузнецова в меньшей степени, чем у Фрая, сориентирована на интернетовские события. Кузнецов рассказывает о современной культурной жизни в общекультурном, а не только интернетовском контексте: новые фильмы, художественные выставки, музыкальные новости, московская клубная жизнь, заслуживающие внимания творческие проекты на радио и телевидении и т. д. В качестве примера привожу заголовки двух последних (то есть на 8 февраля 2000 года) выпусков «Культурного гида», кроме тематического охвата они демонстрируют отчасти их стилистику: «Ваш любимый московский кинотеатр. „Хрусталева, машину!” — настоящее кино, когда вроде бы ничего и не происходит, а глаз оторвать нельзя. Альбом „Мумий Тролля” состоит из трех композиций минут по 15. Выступают „Выход”, Л. Федоров, Рада и „Терновник”. Выставка Даны Вайз „Без названия”. Читатели предпочитают жесткое порно (1.02)». «Мелодрама, романтическая комедия, мягкая эротика или жесткое порно? „Лики любви”: „Раскат грома!” — смесь жесткого порно, фильма ужасов и пародии на Голливуд. Глазунов — единственный русский художник, сумевший стать всенародным Энди Уорхолом. Вечер поэта Евгения Бунимовича. „Ва-Банк” на слова Пелевина „Нижняя тундра” (18.01)».

Задачей совместить две функции (обзоров общекультурных и обзоров собственно интернетовских) в числе прочих задач занят на своем достаточно разветвленном сайте Вячеслав Курицын. Полное его название «Современная русская литература с Вячеславом Курицыным» (<http://www.guelman.ru/slava/logo.gif>); об этом сервере мы уже давали справку в первом выпуске наших обзоров, но в дан-

ном случае Курицын представляется нами в качестве сетевого обозревателя. В еженедельных обзорах Курицына представлены новости (интернетовские, и не только) как литературные, так и общекультурные, с упором все-таки на литературу. В обзоре, с которым я только что познакомился, содержится, например, информация о выходе новой книги Виталия Кальпиди «Запахи стыда» («...шедевр полиграфического искусства... в Москве несколько штук еще продается в магазине „Гилея“; но есть на свете (или где?) Интернет: электронная версия книги уже размещена на своей странице Александром Ивашевым», о «Книге» живущего ныне в Мюнхене Сергея Соловьева (издатель — журнал «Комментарии»), о новых литературно-критических текстах Дмитрия Бавильского и о новом выпуске журнала «Уральская Новь» (содержащем среди прочего еще и стихи Ильи Кутика, беседу Бавильского с Кутиком и статью Парщикова о Кутике), о выходе книги Сергея Солоуха «Картинки»; о «Третьей книге эссе» нижегородца Кирилла Кобринина, о рубрике Бориса Кузьминского «Круг чтения» в «Русском журнале» и т. д. А также (накипело!) о чувстве оскорбления за поруганную честь Моники Левински, которое пережил Обозреватель...

Таких обзоров за время существования сайта (с декабря 1998-го) Курицыным написано около полусотни. Собранные как «КУРИЦЫNweekly», они лежат на отдельной странице. И кстати, кроме «КУРИЦЫNweekly» на сайте еще почти два десятка разделов, среди которых: «Борис Акунин. Сказки для идиотов. (Хит)», «Изголовье Бавильского», «Линор Горалик. Альтернативные формы в литературе. Новое странное слово», «Арт-манифесты с Сергеем Тетериним», «Немировский вестник», «Просто текст», «Салоны и клубы», «Черная сотня», «КурицынDaily», «Курицын по-четным». Нужно сказать, что архитектура этого сайта очень удобна для пользователя, с главной страницы открыт доступ к ведущим литературным сайтам в литературном Интернете, к электронным версиям трех десятков — от «Знамени» до «Шестой колонны» — толстых литературных журналов, а также доступ ко всем проектам на серверах Гельмана.

Знакомясь с этим роскошным меню, я привычно вздрогнул, прочитав про «Черную сотню», но спешу успокоить таких же нервных читателей: я заглянул туда — вполне мирная страница, литературно-критические тексты, представленные на ней, написаны Андреем Носковым (о Михаиле Веллере), автором Н. (о Галковском и Сорокине), Александром Малюковым (о Романе Лейбове) и Ольгой Голуб (о Владимире Сорокине). И всего-то.

Симпатичным показалось содержание страницы «Изголовье Дмитрия Бавильского», на которой Бавильский приглашает вместе с ним продолжить занятие Сэй Сёнагон: «...днем она наблюдала за придворными нравами принцессы Садако, а вечером радостно переводила полученную в подарок кипу хорошей бумаги списками разного содержания и различной длины... Методика эта показалась мне весьма актуальной... жанр списка с киношным принципом кулешовского монтажа „клади рядом“ помогает разобрать завалы в верхнем ящике письменного стола. Стряхнуть пыль с эмоций и впечатлений. К тому ж новое тысячелетие на носу. И все такое. А мы живем. И помним. И живем. Коль ничего другого не умеем. Любой желающий может придумать свои собственные номинации и дополнения к уже существующим спискам или высказать отношение к уже существующим фрагментам Изголовья».

Р. С. Вот этим приглашением Бавильского к совместному творчеству я и намеревался закончить этот выпуск «Сетевой литературы», но, уточняя в Интернете адреса сайтов, наткнулся на письмо на сервере «Анти-Тенёта». Письмо называется «Первый блин? (Открытое письмо члену редколлегии журнала „Новый мир“ критику Сергею Костырко)», автор письма — Дан Дорфман (<http://anti.teneta.ru/texts/kost.htm>).

Я вообще предполагал, что какие-то отклики на содержание вот этих писавшихся исключительно для журнала обзоров «Сетевой литературы» могут появиться в Интернете. Но не думал, что так быстро (что же будет мне за — уже написанные, но еще не обнародованные — следующие четыре выпуска?!). Письмо Дорфмана —

полемичное, серьезное; разумеется, я буду на него отвечать (там же, в Интернете), предложенный автором письма разговор мне интересен.

Больше всего огорчили упреки в неточностях и неполноте той информации, которая содержалась в первом выпуске «Сетевой литературы». Упреки справедливые. Пишу я свои обзоры в качестве рядового пользователя, знающего ровно столько, сколько содержит информация на выставленных в Интернете страницах. И потому письмо Дорфмана оказалось очень кстати, оно дает мне возможность представить более полную информацию, которая, я думаю, окажется полезной читателям нашего журнала, — в качестве «Приложения» к своим обзорениям я привожу пространные цитаты из этого письма:

«...именно потому, что вы и ваш журнал первыми дерзнули штурмовать Сетевое литературное небо, я бы хотел пожелать вам чуть больше удачи и точности в этом штурме... Давайте посмотрим ваш обзор по порядку. Первым вы представляете ЛИТО им. Стерна, основанное Александром Житинским. Я практически полностью согласен с вашей высокой оценкой ЛИТО. Но при этом вы пишете, что это один из старейших литературных сайтов. Если бы вы первым поставили другой сайт и его назвали старейшим, а также отметили бы, что ЛИТО фактически рождено в недрах этого сайта, то добились бы требуемой точности и объективности. Но главная ошибка всего вашего обзора, которая практически зачеркивает его ценность для читателей, в том, что вы об этом сайте вообще ни словом не обмолвились. Хоть о его существовании прекрасно знаете. Я думаю, что вы уже догадались, о чем идет речь. Конечно, о „Тенётах“. (Информация о сайте „Тенёта“ содержится во втором выпуске „Сетевой литературы“ — „Новый мир“, № 2; автор письма еще не имел возможности ее прочитать. — С. К.). Если говорить, в частности, о ЛИТО, то объединенный литературный Сетевой конкурс „Арт-Тенёта, 97“ и породил ЛИТО. ЛИТО появилось только после того, как Житинский вышел из объединенного конкурса и основал свой конкурс Арт-ЛИТО и свое ЛИТО им. Стерна. „Тенёта“, если вы посмотрите на их главную страницу, проводились впервые в 1994 году. „Тенёта, 96“ прошли без участия Житинского, и только в 1997 году Житинский подключился к конкурсу и объединил свои усилия с отцом основателем „Тенёт“ Леонидом Делицыным. Так появились „Арт-Тенёта, 97“ и только после этого ЛИТО им. Стерна.

Когда Леонид Делицын впервые создал свой литературный сайт, который им был назван „Де-Ли-Цын“, когда появился „Центролит“ Дмитрия Манина, никакого ЛИТО не существовало, а писатель Житинский в те далекие времена понятия не имел о существовании слов „браузер“ и „вебсайт“. И именно Леонид Делицын, Дмитрий Манин и еще несколько человек были первыми и действительно основали старейшие литературные сайты РУНЕТа, а потом, объединив усилия, организовали действительно старейший на сегодняшний день и крупнейший в мире литературный конкурс на русском языке. Я намеренно не пишу „Сетевой“, потому что по количеству участников это самый большой литературный конкурс. В „Тенёта, 98“ было выставлено номинаторами конкурса 687 работ. В пятнадцати разных категориях. Конкурс не имеет себе равных не только по массовости и числу категорий, но и по географии участников — от Японии до Канады. И конечно же вся Россия. А не только две столицы. Хотели принять участие в „Тенётах, 98“ примерно 2000 литераторов. Я сужу по своему почтовому ящику. Мне, как одному из номинаторов „Тенёт“, прислали примерно в три раза больше работ, чем я номинировал.

...если посмотреть на состав участников „Тенёт“, то почти треть из них публиковались на бумаге, а некоторые и в толстых литературных журналах, включая „Новый мир“. Так что в этом конкурсе принимали участие далеко не дилетанты. Мною, например, номинирован в „Тенёта“ автор „Нового мира“ москвич Юрий Черняков. Он дебютировал в „Новом мире“ со своей повестью „Бригада“ еще в середине 80-х. И потом он публиковал в нашем журнале рассказы. А его рассказ, с которым он участвовал в „Тенётах, 98“, „Хас-Булат удалой“, получил специальный приз журнала „Соло“ и напечатан в этом журнале. У другой моей номинантки, нью-йоркской писательницы Анны Левиной, вышли уже три книги. Ее роман, „Брак по-эмигрантски“, был напечатан в „Звезде“ и после этого удостоен разгром-

ной рецензии в „Новом мире”. В „Тенётах” в разное время участвовали: Дмитрий Пригов, Игорь Яркевич, Сергей Солоух. Я думаю, что вам известны имена таких поэтов, как Владимир Друк и Александр Алейник. Они тоже участники „Тенёт”. Ну и среди упомянутых в вашем обзоре авторов почти все в разные годы участвовали в „Тенётах”. И наконец, координаторы практически всех вами перечисленных сайтов были участниками Сетевого или профессионального жюри „Тенёт”. Координатор сайта „Вавилон” Дмитрий Кузьмин был одним из руководителей конкурса „Тенёта, 98” и входил в его оргкомитет. Кстати, на торжественном закрытии конкурса „Тенета, 98” присутствовали, кроме свадебного генерала Кириенко, те же Кузьмин, Верницкий и другие вами упомянутые литераторы. Я убежден, что именно „Тенёта” — главный системообразующий фактор всего литературного „РУНЕТА”.

...Перечисляя сайты, вы называете руководителей проектов. И Житинского, и Верницкого, и Кузьмина, и Бараша, и Левина, и... вдруг, когда вы пишете о действительно уникальном сайте „Лавка Языков”, происходит еще один странный сбой. Вся Сеть знает, что „Лавка Языков” — это проект замечательного литературоведа и переводчика Макса Немцова. Человека, который на рубеже 90-х издавал достаточно известный журнал „ДРВ”, человека, который открыл русскому читателю сразу нескольких выдающихся американских авторов. Среди них — Чарли Буковски. В „Арт-Тенётах, 97” участвовала великолепная работа Немцова, посвященная Буку (так называли Буковски его поклонники), — „И не пытайтесь... Попытка”. Полюбопытствуйте, Сергей Павлович. Эта работа вполне достойна и страниц „Нового мира”. Но вы... не назвали Макса Немцова. Как бы вы отнеслись к человеку, который не назвал бы Некрасова, когда писал о „Современнике” 60-х годов 19-го века, или Твардовского, если бы речь шла о „Новом мире” 1960-х?

...Далее. Если вернуться к некоторым победителям „Тенёт, 98”, то оказывается, что они имеют прямое отношение к публикациям в „Новом мире”. Увы, отношение это можно охарактеризовать не очень тактичным словом „плагиат”. В майском „Новом мире” была напечатана повесть Андрея Савельева „Ученик Эйнштейна”. Одна из глав этой повести списана с рассказа победителя „Тенёт, 98” по разделу „Юмор”, участвовавшего в конкурсе под псевдонимом „Филипп”. То есть новомирский автор банально украл текст у Филиппа. Это эпизод, где рассказывается о поездке в ластах на спор. Действие происходит в автобусе. Время — тридцатые годы. Сергей Павлович, я вовсе не обвиняю редакторов журнала в том, что они, опубликовав повесть, причастны к плагиату. Плагиат на совести Андрея Савельева. Редакторы „Нового мира” не обязаны были читать работы победителей „Тенёт” и догадываться, что Савельев украл оттуда кусок своей повести. Но странно другое. Почему никто из редакторов не обратил внимания на то, что описывается поездка в ластах? Действие-то происходит в тридцатых годах. В это время никакие ласты в СССР не продавали. И поэтому ситуация эта просто невозможна. В оригинале действие происходит в спокойные брежневские времена, и конечно же никакого удивления ласты не вызывают. Почему же в моем любимом журнале никто не обратил внимания на ласты в тридцатые годы? Я думаю, что покойная Ася Берзер такого бы не пропустила».

Оценку небрежного обращения писателя Савельева с историческими реалиями разделяю полностью. Что же касается обвинения в плагиате, я бы не торопился. Историю о том, как в сырое, мутное февральское утро из похмеляющей компании молодых кинематографистов, поспорив с товарищами, вышел на улицу одетый только в плавки и ласты их соратник, чтобы спросить у милиционера на перекрестке, который час, — историю эту я слышал еще в середине семидесятых от кинорежиссера-документалиста Алексея Соколова. Рассказывалось как было. Скорее всего это так и было, а потом стало внутрикиношным фольклором, который мог использовать кто угодно. Кстати, Савельев по профессии кинематографист.

Добавление на стадии верстки.

Сказанное выше по поводу заимствований А. Савельева, мне казалось, в определенной степени закрывает вопрос. Но в гостевой книге «Анти-Тенёт» я наткнулся на сопоставление цитат, которое лишает меня такой уверенности.

Из рассказа Филиппа:

«— Ну что вы за люди! Зверье!! Я — спортсмен, подводным плаванием занимаюсь тут вот рядом, в бассейне „Чайка“, и у меня только что в раздевалке сперли ботинки. Что же мне теперь, по-вашему, босиком по гроду ехать?»

Из повести Савельева:

«— Товарищи, войдите в положение! Я из бассейна еду! У меня антипролетарская сволочь ботинки украла. Новые, на трудовые гроши купленные. Босиком — вы мне последние ноги отдадите. Войдите в положение, товарищи!»

Эстетическое преимущество второго текста (а следовательно, и права автора на прямое заимствование) далеко не очевидно.

«...Среди литературных вебсайтов, которые вами не были замечены, я бы хотел особо отметить ЛИМБ. Это поэтический клуб с ежемесячным журналом. Сегодня там появляется и прозаическая часть, но это дело будущего. В отличие от случая с „Тенётами“, я вполне допускаю, что вы ничего не знали о ЛИМБе. Потому что он существует всего год. И попытаюсь помочь вам преодолеть казенный афоризм Козьмы Пруткова про необъятное, обратив ваше внимание на совершенно уникальное, на мой взгляд, явление ЛИМБа РУНЕТУ. Почему уникальное? Потому что ЛИМБ — это самое фантастическое место литературной Сети. Если бы я не видел его собственными глазами, я бы решил, что такое невозможно.

У джазистов есть такое понятие „джемсэшн“. Это когда они собираются вместе и импровизируют. Почти без слушателей, сами для себя. Часто это бывает ночью, именно в то время, когда и пользователи Интернета в России могут чуть-чуть меньше платить за доступ. Так вот, ЛИМБ — это почти непрерывная поэтическая импровизация. Часто, как и у джазистов, ночная. И ее участники так же виртуозно это делают, как джазисты самого высокого класса...

...если бы я делал свой обзор сегодняшней Сетевой литературы, то начал бы не с ЛИТО, а с ЛИМБа. По моему мнению, этот проект — сегодняшний лидер литературного РУНЕТА. (Никак не комментирую оценок ЛИМБа по причинам действительно плохой осведомленности о содержании этого сайта, исправлю этот пробыл в ближайших выпусках. — С. К.)

Ваш Дан Дорфман».

Составитель Сергей Костырко.

ИЗ ЛЕТОПИСИ «НОВОГО МИРА»

Май

5 лет назад — в № 5 за 1995 год впервые появилась рубрика «Периодика».

30 лет назад — в № 5 за 1970 год напечатана повесть Василя Быкова «Сотников».

35 лет назад — в № 5 за 1965 год напечатана повесть В. Тендрякова «Подёнка — век короткий».

40 лет назад — в № 5 за 1960 год напечатаны заключительные главы книги А. Твардовского «За далью — даль» и статья А. Синявского «Проза и поэзия Ольги Берггольц».

70 лет назад — в № 5 за 1930 год напечатаны «Заморские рассказы» И. Соколова-Микитова.

SUMMARY



This issue publishes stories by Yury Buyda «The Nine Deaths of the Cat», the Vladimir Tuchkov's narrative «The Russian Collection», new chapters from the memoirs of Mikhail Ardiv «Around Ordynka». You can also read the end of Marina Paley's literary work «The Long Distance or The Slavic Accent»; the author calls such a genre as «screen script imitations».

The poetry is represented by new poems, written by Maria Vatutina, Vladimir Salimon and Dmitry Bykov.

Under the heading «Philosophy. History. Politics» is published an article of the economist Vladimir Mau «The Intelligentsia, History, Revolution. The Modern Russian Life Essays». It resounds an article by Alena Zlobina «Who am I? Concerning the Social Identification of the Former Member of Intelligentsia», published under the heading «Polemics».

In this Issue the Noble Prize Laureate Aleksander Solzhenitsyn publishes his speech at the ceremony of the Solzhenitsyn's Prize presentation to the writer Valentin Rasputin.

The constant heading «Along the Course of Events» is represented by the culturologist Yury Kagamanov.



Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Редакция журнала «Новый мир» не имеет никакого отношения к деятельности одноименных компаний в Москве и за ее пределами.

Общественный совет: С. С. Аверинцев, В. П. Астафьев, А. Г. Битов, С. Г. Бочаров, Д. А. Гранин, Б. П. Екимов, Ф. А. Искандер, Ю. М. Каграманов, А. А. Ким, А. С. Кушнер, С. И. Ларин, Б. Н. Любимов, А. М. Марченко, В. С. Непомнящий, П. А. Николаев, Т. В. Чередниченко, М. О. Чудакова

Главный редактор А. В. Василевский

Редакционная коллегия: М. В. Бутов, Р. Т. Киреев, С. П. Костырко, Ю. М. Кублановский, О. И. Новикова, А. А. Носов, И. Б. Роднянская, О. Г. Чухонцев

Корректоры Н. Н. Замятина, Т. И. Филиппова

Редактор-библиограф А. И. Фрумкина

Компьютерная верстка — И. Н. Колесникова

Компьютерный набор — Т. В. Дорофеева

Адрес редакции: 103806, ГСП, Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2.
Телефоны: главный редактор — 209-57-02, ответственный секретарь — 209-91-81,
отдел прозы — 200-54-96, отдел поэзии — 229-56-92, отдел критики — 209-05-88,
отдел публицистики, историко-архивный отдел — 209-12-50,
для справок, продажа журналов — 200-08-29.

Факс: 200-08-29. Электронная почта: nmir@aha.ru или seva@mail.cnt.ru или butov@aha.ru
Сетевой журнал «Новый мир»: <http://www.infoart.ru/magazine>

Свидетельство Государственного комитета Российской Федерации по печати № 138 от 9 января 1998 г.
Учредитель и издатель — АОЗТ «Редакция журнала „Новый мир“».

Сдано в набор 20.01.2000 г. Подписано к печати 29.03.2000 г. Формат бумаги 70x108¹/₁₆. Бумага кн.-журн.
Высокая печать. Объем 16,0 п. л., 22,4 усл. печ. л., 28,0 уч.-изд. л.

Тираж 14 900 экз. Зак. 2182. Цена договорная.

Отпечатано в Полиграфическом производственном объединении «Известия»
Управления делами Президента Российской Федерации.
103798, Москва, Пушкинская пл., 5.

**В год своего 75-летия
редакция журнала «Новый мир»
приняла решение учредить
постоянную литературную премию
за лучший рассказ года.**

**Премия присуждается автору,
живущему и работающему в России,
за рассказ на русском языке, впервые напечатанный
в текущем году на территории России
(циклы и сборники рассказов, рукописи
и сетевые публикации не рассматриваются).**

**Правом выдвижения произведений на премию
обладают авторы, издатели и критики.**

**Жюри формируется из сотрудников редакции
и независимых экспертов.**

**Состав жюри и денежное содержание премии
будут объявлены дополнительно.**

**Объявление лауреата и торжественное вручение премии
состоится в декабре 2000 — январе 2001 года.**

**Мы приглашаем заинтересованных лиц
стать соучредителями премии.**

Контактный телефон (095) 209-57-02.

E-mail:seva@mail.cnt.ru